

2

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

2



1965

# НОВОЫЕ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLI

№ 2

Февраль, 1965 г.

---

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАКСИМ ТАНК — Новые стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский	3
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Продолжение	7
МУСТАЙ КАРИМ — Из лирики. Перевели с башкирского И. Снегова и Е. Николаевская	66
ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ — В купе. Сценка	69
И. МЕТТЕР — Практикант, рассказ	72
АЛЕКСАНДР РЫТОВ — Два стихотворения	78
А. МАРЬЯМОВ — Девушка у колодца	81
ФРАНЦУЗСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Ф. И. ТЮТЧЕВА. С предисловием К. Пигарева. Перевел с французского М. Кудинов	88
М. ГАЛЛАЙ — В полетах и после полетов. Из записок летчика-испытателя	92

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

МАРГАРИТА АЛИГЕР — Чилийское лето	144
-----------------------------------	-----

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЛЕОНИД ИВАНОВ — Снова о родных местах	181
---------------------------------------	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

ИНГА КИЧАНОВА — Земной взгляд на «божественное»	213
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. ПОЛЯКОВА — Минувший век во всей его истине... (Заметки об историческом романе)	230
---	-----

(См. на обороте)

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	248
<b>В. Сурвилло.</b> От пьесы к роману.— <b>В. Гоффеншефер.</b> Читая Кайсына Кулиева...— <b>Е. Старикова.</b> Идеиная драма сатирика.— <b>А. Лебедев.</b> К выходу собрания сочинений Луначарского.— <b>Гр. Бернадт.</b> Бесспорное или спорное?	
<i>Политика и наука</i>	269
<b>С. Козлов.</b> Крупный военный теоретик.— <b>О. Лацис.</b> Пульс экономического соревнования.— <b>Д. Шелестов.</b> Комиссары возвращаются в строй.— <b>А. Манфред.</b> Деятели Великой французской революции.	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b>	282
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---

---

---

МАКСИМ ТАНК

★

## НОВЫЕ СТИХИ

*С белорусского*

### ТЕМПЕРАТУРА СЕРДЦА

Температура сердца, я твердо знаю,  
Не тридцать семь. При такой, товарищ,  
Не вскипятишь даже чашки чая,  
Ну, а уж каши подавно не сваришь.  
Если от сердца грозят загореться  
Губы,  
глаза

и даже льды,

Если стихи выплавляются сердцем  
Из тугоплавкой словесной руды,  
Если горит оно горем и радостью,  
Если готово на подвиг, на риск —  
Значит, оно достигает градусов,  
Каких не знает и солнечный диск.

\* \* \*

Когда я несу хорошие вести,  
Всегда начинаю бояться троллейбусов и трамваев;  
Им все равно кого переехать —  
Шагающего с пустыми руками  
Или идущего со счастливой ношей.

\* \* \*

Нарисовали дети  
Цветок,  
Который и во сне не приснится,  
Дерево,  
Которое корнями в землю вросло,  
А также  
Тридцатикрылую птицу

И каждое  
Расцветили крыло.  
Нарисовали домик,  
На паутинке

К радуге подвешенный,  
И четырехухого зайца,  
Который забавно присел  
На тропинке  
Под старой-престарой  
Орешинной.

Вспомнилось:  
Таковыми же были рисунки мои,  
Сказочны, невероятны, полосаты,  
Покуда я рос и не знал о вас,  
Фотографические  
Аппараты!

\* \* \*

У реки пенсионеры-рыбаки  
Вбили удочек антенны в мягкий ил  
И глядят, как тихо дремлют поплавки,  
Как рассвет глухую заводь обагрил.

Редко-редко верховодку подсекут,  
А потом сидят недвижны и грустны.  
Хоть и добрая наживка, а клюют  
Лишь одни воспоминания и сны.

Оттого, когда идут они домой  
Налегке по влажной зелени лугов,  
Плечи согнуты, как будто за спиной  
Ноша тяжкая, неслыханный улов.

\* \* \*

Нагрянул гром на голый лес.  
Примета — трудный будет год.  
Зерна, картофеля — в обрез,  
Грибов и ягод — недород.  
Слабее будет взятки пчел  
И мельче в заводях вода,  
Скуднее пыльный суходол,  
Скупее рыба в неводах.

Ударил гром в начале дня.  
Уж лучше б угодил в меня!

## УСИНСКИЙ ТРАКТ

Усинский тракт, как киноплёнка,  
 Что вьётся сотни километров,  
 Озвученная Усом звонким,  
 Тайгой,

звериным рыком,  
 ветром.

То возникает бор кедровый,  
 То блещут грани скал — на них ты  
 Находишь солнца блик багровый,  
 И снег, и вековые пихты.  
 С вершины проложив дорогу,  
 Поток в неистовстве гремячем  
 Летит маралом быстроногим  
 По острым по Саянским кручам.  
 Летит машина трактором пыльным,  
 В глазах мелькают серпантины.

И это все — сценарий фильма.  
 А вот и авторы картины.  
 Они тут рядом — тешут камень,  
 Ведут машины с важным грузом,  
 Возводят мост над светлым Усом  
 Своими добрыми руками.

\* \* \*

В пути от Воркуты до Нарьян-Мара,  
 Сказали, можно спать...

И верно,  
 Здесь примечательного мало.  
 Я в свой блокнот занес, пожалуй,  
 Лишь облаков плывущих перья,  
 Десяток встречных самолетов  
 И много солнц в болотных окнах  
 Внизу простертой рыжей тундры.  
 Что слева?

Северный Урал.  
 Он, как медведь, на солнце греет  
 Свои шерстистые бока.  
 Что справа?

Айсберги на Карском,  
 Как острова из детских снов.  
 Что впереди?

Дела и встречи,  
 Удачи, поиски, ошибки,  
 Вопросы грудные — на них  
 Не сразу, видно, и ответишь...  
 Еще в блокнот занес я адрес  
 Пилота нашего. Сегодня  
 Он справил юбилей в полете,  
 Пять миллионов километров

Отмерив крыльями своими.  
Пять миллионов!  
Среди них  
Иные круто пролегли  
Сквозь фронттовую непогоду,  
Сквозь огненные небосклоны,  
Над нашим партизанским краем.  
Жаль, записать не все успел я  
Во время рейса...  
В остальном  
Приметного и правда мало  
На этой заполярной трассе  
От Воркуты до тундры Нарьян-Мара.

*Перевел Яков Хелемский.*



---

---

И. ЭРЕНБУРГ

★

## ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ\*

5

**Я** вылетел из Москвы 12 апреля вместе с генералом Галактионовым; Симонова вызвали из Японии, и он должен был нас нагнать в Париже. Мы долетели до Смоленска и вернулись — мотор оказался неисправным, в Берлин мы попали только к вечеру. пришлось заночевать. На следующий день нам сказали, что в Париж мы полетим в самолете американского посла Бидл Смита — «холодная война» еще не успела стать бытом.

Мы летели над Германией. Города сверху похожи на полотна кубистов, но бомбы вмещались в гармонию, и Магдебург казался холстом «ташиста» — беспорядочные мазки. М. Р. Галактионов в генеральском мундире задыхался от жары и волнения: «Сейчас налетят журналисты. Вам легко — вы привыкли, а я никогда не разговаривал с иностранцами...»

На аэродроме Орли нас встретили американцы, сотрудники нашего посольства, Арагон, Эльза Юрьевна. Был солнечный весенний день; цвели каштаны; мы ехали мимо хорошо знакомых мне мест: рабочий квартал Итали, Бельфорский лев. Вот и Монпарнас — на этом углу прошла моя молодость! Я хотел загрустить, но не успел. Арагоны повели меня ужинать, пришли Муссиаки; я жадно слушал их рассказы о годах оккупации, о Соппротивлении, об общих друзьях.

Нас поместили в гостинице близ площади Этуаль. Там стояли американские военные. Все мне было чужим — и квартал, и шумливые офицеры, и американская еда. Я пошел бродить по Парижу, нашел моих старших сестер, застрявших во Франции. Они рассказывали, как прятались от немцев, как друзья им помогали. Прибежал взволнованный Фотинский, говорил, что поедет в Москву, теперь он не боится, что его снова задержат, русские — победители, они спасли мир. На Монпарнассе я увидел Цадкина, Ларионова. Смешливая Дуся смеялась, хотя, как все, пережила много совсем не смешного. Мы вспоминали прошлое; даже предвоенные годы казались древней историей. Кто-то сказал: «Неужели это было всего шесть лет назад?..»

Прилетел Симонов. Я решил накормить моих спутников настоящим французским ужином и пошел к Жозефине — до войны она держала ресторан на улице Шерш-Миди, который я описал в «Падении Парижа». Жозефина обрадовалась, сказала: «Мне говорили, что вы написали что-то про меня... А я часто думала, как вам в России?..» Когда я посвятил ее в мои планы, она всплеснула руками: «Бедный мосье Эренбург, вы не знаете, что у нас делается! Ничего нельзя найти...» Все же она пригото-

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.



вила чудесный ужин. Галактионов оценил петуха в вине, на устрицы он старался не смотреть, а когда Жозефина принесла различные сыры, сказал: «Я немного прогуляюсь и вернусь через четверть часа...» Симонов ел все и закурил гаванскую сигару, привезенную из Японии.

Посол Богомолов устроил пресс-конференцию: я должен был рассказать о войне, о восстановлении, об отношении советских людей к Франции. Народу пришло много, почти всех я знал: Арагон, Эльза Триоле, Шамсон, Вильдрак, Кассу, Станислав Фюме, Полан, Рене Блек, Марсель Кашен, Эмиль Бюре.

Мы должны были уехать семнадцатого, но нас вернули с аэродрома: зарядил дождь и полет отменили. Я обрадовался: еще один день в Париже! Генерал волновался: завтра должна начаться конференция, опаздываем.

Я пошел к Марке и долго глядел на пейзажи — вот чего мне не хватало: серой воды на холсте, толики искусства!

На следующий день мы вылетели. Гражданская авиация еще переживала молодость: мы сделали две посадки. В Северной Ирландии было зелено, нам дали ужин, я отгонял репортеров от Михаила Романовича. Потом полетели через океан. Оказалось, что лететь над водой так же просто, как над землей, и я задремал. В Ньюфаундленде все было занесено снегом. Нам подали утренний завтрак. Рядом местные жители пили пиво и зевали; я поглядел на часы в ресторане — по местному времени полночь. После европейской ночи предстояла вторая — американская.

Когда рассвело, я увидел большой город — Бостон. Небоскребы рвались к самолету; я понял, что мы действительно перелетели через океан.

Перед посадкой нам раздали листочки, которые нужно было заполнить. Помимо привычных вопросов, имелся вопрос о расе. Я заполнял анкеты за троих (Михаил Романович знал несколько десятков французских слов, а Симонов умел восклицать «вундефул» и «ай лав Америка»). Вместо ответа на вопрос о расе я поставил черточку. Мой антирасизм заставил нас лишний час проторчать в домике, где помещался паспортный контроль. Один из сотрудников посольства рассказывал, что полицейский звонил начальству: «Красные не хотят ответить, белые они или цветные...»

Поездом мы доехали до Вашингтона. Я ничего не соображал от усталости, но пришлось сразу отправиться на конференцию. В зале было человек триста — владельцы и редакторы различных газет; на каждом была бирка с фамилией и названием газеты. М. Р. Галактионов представлял «Правду», К. М. Симонов — «Красную звезду», я — «Известия». В перерыве какой-то владелец провинциальной газеты спросил меня: «Вы арендуете газету у вашего правительства или получаете годовой оклад?»

Мы выступали, потом нам начали задавать вопросы. Один редактор сказал, что жил в Москве в тридцатые годы, тогда иностранным корреспондентам было легче, они повсюду могли ездить, за исключением Средней Азии, да и цензура была умеренной; а теперь ограничили передвижение и цензура неистовствует. Мне пришлось отвечать, я свалил все на войну, добавил, что я не цензор, а журналист. Другой редактор возмущался: почему русские долго тянут с визами? Генерал молчал, выкручиваться снова пришлось мне: «Я не выдаю виз. Я давал бы всем — мне кажется, что чем больше журналисты будут ездить, тем лучше. Может быть, поэтому мне не поручают выдавать визы». Американцы рассмеялись, лед был сломан. Галактионов ответил на вопрос о разоружении. Вдруг один толстый журналист с большой сигарой (он походил на буржуа с плаката) встал и обратился к генералу: «Скажите, можете ли вы в вашей газете потребовать отставки премьера Сталина и замены его

хотя бы Молотовым или Литвиновым?» Михаил Романович повернулся ко мне; я увидел на его лице ужас: «Отвечайте! Вы привыкли...» Я спокойно ответил: «Нет, это исключено. Мне остается напомнить нашим коллегам, что в разных странах разный строй и разные порядки... Американцам понравилась прямота ответа, и на следующее утро я прочитал в газетах, что во мне «смесь цинизма и откровенности». Мы зашли перед банкетом в гостиницу. Михаил Романович несколько раз повторил: «Какой ужас!..»

Гостиница была ультрасовременной. Ночью я пришел в номер окончательно измученный и хотел открыть окно, но не смог; я нажимал различные кнопки — шли струи холодного воздуха, вспыхивал и гас свет, кричало радио, а окно не открывалось. Наконец я свалился измученный, а утром, проснувшись, кинулся к окну, ругал себя за техническую отсталость, беспомощность. Позвать горничную я не решился — подумают: ну и дикари эти русские! Секретарь посольства нашел меня в пижаме у окна. «Пора на заседание». Я ответил: «Нет, вы откройте окно...» Он попробовал и спокойно вызвал горничную, которая, улыбаясь, объяснила: «Окно не открывается — на улице пыль, чистый воздух поступает по трубе». Секретарю это понравилось: «Техника у них замечательная!..» А мне стало неудобно — даже окна нельзя открыть, наверно таким будет новый век...

Вскоре я понял, что старому европейцу нелегко в Новом свете. Симонув наслаждался и невиданным комфортом, и тем, что его военный роман — бестселлер, и тем, что ему тридцать лет. О том, что происходило с М. Р. Галактионовым, я расскажу дальше. Что касается меня, то я боялся оказаться в роли старого брызги, смотрел, встречался с сотнями людей, колесил по стране, а ночью записывал впечатления, разговоры. Я писал в одной статье: «В жизни человечества Америка заняла видное место, и нельзя понять наш век, не поняв Америки. Ей посвящены сотни од и сотни памфлетов — легко ее превознести или высмеять, труднее ее понять. За сложностью техники порой скрывается душевная простота, а за этой простотой — настоящая человеческая сложность».

С некоторыми американцами мне удалось подружиться; и все же признаюсь: отдыхал я с европейцами, будь то мои старые друзья — Тувим, Шагал, Стефа, Херасси, Роман Якобсон, Ле Корбюзье, де ля Пуап, будь то люди, которых я увидел впервые — Эйнштейн, Кузевицкий, Шолом Аш, Оскар Ланге. А когда в Нью-Орлеане я увидел старые европейские дома с балконами, я, счастливый, заулыбался.

В Соединенных Штатах я впервые усомнился в бесспорности традиций, привычных оценок, вкусов. Восемь лет спустя я поехал в Китай, потом побывал в Латинской Америке, в Индии, в Японии. Я уже знал, насколько мир многообразен, и реже прибегал к европейскому метру или аршину. А поездка в Соединенные Штаты была первой вылазкой, если угодно — начальной школой. Вот почему я хочу рассказать о ней в этой книге подробнее, чем о других моих путешествиях.

Прежде, когда я видел в американских фильмах неистовые ливни, они мне казались художественным приемом режиссера. Оказалось, что дождь в Америке не такой, как в Европе; все чрезмерно — зной, ураганы, наводнения. Плоды и ягоды очень большие, красивые, но лишены привычного для нас вкуса и запаха. Бывший вице-президент США Уоллес вывез из Советского Союза кустики «русской клубники» (фрагария моската) — невзрачной, мелкой, с зелеными пятнами, удивительно

ароматной. Он увлекался садоводством, и у нас нашлась общая страсть помимо политики. Он повел меня в свой огород, и я не сразу узнал мою землячку — ягоды были втрое больше, но запаха исчез.

Я вспоминаю первую ночь в Нью-Йорке. Гостиницы оказались переполненными, и консул снял для меня комнату на восемнадцатом этаже узкой улицы возле Бродвея. Уснуть я не смог — рядом горланили пьяные, по комнате носились отсветы реклам. Полночи я простоял у окна; небо над Бродвеем пылало, высились макушки небоскребов, грохотал джаз, а внизу, как в горном ущелье, изнемогали человеческие отары. Это было прекрасно и невыносимо.

Я как-то обедал с Ле Корбюзье в маленьком французском ресторане Сорок второй улицы. Он расспрашивал меня о войне, о том, что стало с нашими городами, говорил об архитектуре. Это необычайный человек. Он тогда с усмешкой сказал: «Скоро мне стукнет шестьдесят, а я еще очень мало построил — не дают. Я — человек поражений...» Как всякий новатор, Ле Корбюзье создавал эссенцию, а люди хотят такого искусства, где эссенция разбавлена. Теперь идеи Ле Корбюзье побеждают повсюду, побеждают архитекторы, которые у него учились, ему подражали, и вместе с тем трезво подходят к делу. А Ле Корбюзье думал не о заказчиках, но о стиле эпохи. Он строил здания-манифесты — в Марселе и в Рио-де-Жанейро, в Лионе и в Боготе, в Нью-Йорке и в Пенджабе, огромные небоскребы и поселки из небольших домов, воевал с улицами, защищал деревья и человеческие нервы, требовал свободы для солнца. Теперь ему семьдесят пять лет, и он дожил до признания. При первой встрече в Америке я ему сказал, что восхищен и подавлен архитектурой Нью-Йорка. Он улыбнулся: «Вы всегда были романтиком, даже когда защищали конструктивизм. Знаете, что такое Нью-Йорк? Это катастрофическая феерия».

Самое опасное — составить себе представление о человеке или о стране, которых недостаточно знаешь, а потом объяснять все намеченной заранее схемой. Я знал Америку по книгам американских писателей, по рассказам друзей, видел в Европе то, что мы называем «американизацией», и у меня было условное представление о Новом свете. Все оказалось правильным и вместе с тем неправильным — порой поверхностным, порой односторонним и, следовательно, несправедливым. Конечно, люди торопились, но, приглядевшись, я увидел, что это скорее форма жизни, чем ее содержание. Я увидел вдоволь и бестолочи, и бюрократизма, и нерасчесанных человеческих страстей.

На улице толкались; журналисты садились на мою кровать; люди жестикулировали не только руками, но и ногами; когда звали в гости, я знал, что кто-нибудь сядет на пол, а девушка скинет туфли; ругались; дружески хлопали по плечу; вели себя нецеремонно, порой на мой европейский аршин и бесцеремонно. Я слышал рассказы, как быстро делают карьеры, как соперники топчут друг друга, вчерашний миллионер становится бедняком, а вчерашний босяк мчится в «кадилляке». Все это было связано не столько с особой корыстью или с прирожденной грубостью, сколько с молодостью общества.

В течение моей жизни я видел не раз детей, низвергавших отцов, и отцов, возмущенных неблагодарностью, невоспитанностью, невежеством детей; это, кажется, вечная история. Многие достоинства и пороки Америки связаны с ее возрастом. До чего они молоды! — говорил я себе то в умилении, то в раздражении. Люди со всего света пришли на богатые малозаселенные просторы, пришли, наверно, отчаянные головы, энергичные неудачники, неунывающие ловкачи, неисправимые фантазеры, те, что первыми вырываются из театра, охваченного пожаром, и последними покидают игорный притон. Шолом-Алейхем писал: «В Америке люди не

живут, в Америке люди спасаются». Народ образовался из «спасавшихся». Приезжали англичане, итальянцы, евреи, ирландцы, поляки, украинцы, сербы, немцы, скандинавы. Все это быстро перемешалось. Люди привозили с собой смену белья и волю к жизни; что касается вековых традиций, то их не погрузишь ни на какое судно. Иммигранты начинали с азов. Так родилась нация, которой было суждено в будущем выйти на авансцену истории.

В Нью-Орлеане меня повели в старый трактир — американцы его посещают как достопримечательность. Дому почти сто лет. Был знойный день с той горячей сыростью, которая изматывает европейца, да и американцы обливались потом; они пили ледяные коктейли у большого пылающего камина — камин, дрова, это ведь нечто невиданное, глубокая древность, Помпея!

С возрастом связан и полукочевой образ жизни. После Америки Европа мне показалась обжитым, непроветренным домом. Американцы часто меняют квартиру, люди среднего достатка бросают при этом мебель — дороже перевезти, чем купить новую, а европейской привязанности к старому семейному хламу нет. Переезжают из города в город, из штата в штат.

Я почти не видел малолитражек: рабочие покупали большие машины, когда-то бывшие дорогими, но прошедшие сотни тысяч миль. Нет работы? Человек грузит семью, скарб и едет за счастьем (у нас в тридцатые годы говорили: за «длинным рублем»). Один американец решил меня покатать; подошел час ленча; он остановился возле ресторана, погудел. Принесли подносики с мясом, пивом, кофе. Есть пришлось в машине, а мы никуда не спешили, просто носились по чудесным дорогам мимо одноэтажных домиков, похожих один на другой. Я видел загон: автомобили въезжали туда, а на экране показывали кинокартину. Ночью в большом парке Нью-Йорка много темных машин. Друзья мне рассказали, что для парочек автомобиль заменяет комнату гостиницы; иногда полиция устраивает облавы.

В универсальных магазинах я видел, как человек, покупая костюм, бросал старый. Мой друг Гилмор, который возил меня на Юг, чуть ли не каждый день покупал рубашку, говорил, что это проще, чем отдавать в стирку.

В Америку я приехал не из древней Эллады, не из Италии или Испании, и все же меня поразила необычайная стандартизация. Города походили один на другой. Я видел те же улицы, те же дома, те же вывески, те же галстуки в Детройте и в Джексоне. Статейка хлесткого журналиста печаталась одновременно в пятидесяти газетах; повторялись сплетни, анекдоты, проповеди.

Казалось бы, выводы напрашивались, вставал классический образ мистера Вэббита. Но я не торопился с выводами, говорил себе: все это так и не так.

Меня сместили объявления в газетах о воскресных богослужениях — зазывали, как в балаган; одна церковь обещала цветной фильм на библейскую тему, другая соблазняла хорошим буфетом. Американцам такие рекламы, видимо, не казались кощунством. В Алабаме мы заехали к профессору; нас оставили пообедать; все сели за стол; профессор встал и прочитал импровизированную молитву — просил господина о мире между двумя великими народами; по лицам домочадцев было видно, что они действительно молятся. Я был на обеде, устроенном издателем «Нью-Йорк таймс», возле каждого прибора лежала карточка, я подумал, что это меню; оказалось — на одной стороне реклама газеты, на другой молитва; там уж никто не молился...

Вскоре после нашего приезда в Америку Симонова и меня пригласили на ужин, устроенный одной из еврейских организаций. Консул сказал, что мы обязательно должны пойти — эта организация собрала свыше двух миллионов долларов на детские дома в Советском Союзе. Народу пришло много, хотели послушать «красных» — так нас называли в газетах. Мы обедали на эстраде, а гости внизу за маленькими столиками. Профессионал по сбору денег (не раввин, а пастор) выполнял работу конферансье и ловко выкачивал доллары. Люди давали сто—двести долларов. Некоторые выписали чеки на тысячу, пастор их прочувствованно благодарил, и зал аплодировал. Мне нужно было выступить, а меня от всего подташнивало. В своей речи я напомнил, что собравшиеся в большом долгу перед советским народом и что, когда выплачивают крохотную часть задолженности, этим не гордятся, этому не аплодируют, сказал также, что у нас люди отдавали свою жизнь скромнее, чем здесь дают доллары. Один из организаторов ужина принес мне таблетки — решил, что резкость моих суждений объясняется болезненным состоянием.

Конечно, Синклер Льюис ничего не выдумал, и я сам услышал в Бирмингеме комплимент: «Вы выглядите на сто тысяч долларов». Конечно, культ доллара был весьма распространен. Но я встретил в Америке немало бескорыстных идеалистов. В Нашвилле жил скромный адвокат Фармер. Он уверовал в идею «мирового правительства». Потом эта идея была использована политиками для целей отнюдь не гуманных. Но Фармер был убежден, что мировое правительство спасет человечество от войны. Он превратился в проповедника. Он повез меня на ферму к своему отцу; там мы обедали, и сын пытался обратить отца в новую веру. В Нью-Орлеане я встретил инженера, который до войны сконструировал машину для механизации уборки хлопка; ему предложили за патент крупную сумму, а он после разговора с приятелем-экономистом уничтожил свое изобретение — боялся, что машина лишит хлеба десятки тысяч сельских рабочих. Я видел белых энтузиастов, выступавших в Миссисипи против притиснения негров, видел первую демонстрацию против атомной бомбы. В конце сороковых годов в Движении сторонников мира работал американский пастор Джон Дарр. Он записывал в тетрадку разговоры, казавшиеся ему значительными: хотел понять все тонкости марксистского толкования событий. Делегацию сторонников мира пригласили в Китай. Пастор Дарр, разумеется, и там записывал мудрые и немудрые изречения своих собеседников. Хотя сами китайцы аккуратно записывали все, что рассказывал я и другие гости, любовь американца к записям показалась им подозрительной, и они сообщили об этом в Москву. Наивный и честнейший Дарр стал пугалом. Он это понял и вернулся в Америку, а там продолжал выступать за мир, хотя это было связано для него со всяческими неприятностями. Теперь меня не удивляют рассказы о начавшейся в Америке борьбе за разоружение: я знаю, что там много людей совестливых и смелых.

Как все это понять? Вот над чем в 1946 году я ломал себе голову. В Париже дома примерно одного роста — шесть-семь этажей, а в американских провинциальных городах дома одноэтажные, но в центре обязательно несколько небоскребов. В Америке столько контрастов, что теряешь голову. Между двумя войнами мы восхищались американской литературой — Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбеком, Колдуэллом. Приехав в Америку, я увидел, что вокруг них пустота. В штате Миссисипи люди интеллигентных профессий не знали даже имени Фолкнера, хотя он жил рядом — в городе Оксфорде. Поразило меня отсутствие средней литературы: Хемингуэй или «дайджест», Фолкнер или дурацкие «миксы». Я видел прекрасные фильмы Форда, Уайлера, Уэллеса, Маму-

ляна, а в соседних кинотеатрах показывали плоские фарсы, свирепые мелодрамы, патоку и пакость.

Я давно хотел поглядеть на собрание членов «Клуба львов» — этот клуб имеет разветвления во всех гордах. Как раз на Юге, неподалеку от города, где жил Фолкнер, я попал на обед «львов». Председатель постучал деревянным молотком по столу, и члены клуба, главным образом коммерсанты, дружно зарычали «ууу!». Это было до того нелепо, что я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Обед кончился, «львы» вернулись к своим делам, а я шел по длинной Мэн-стрит и думал: хорошо, но откуда у них Фолкнер?..

В Нью-Йорке я пошел к Джону Стейнбеку. Еще до войны в Париже я восхищался его повестью «Мыши и люди». Он жил в центре Нью-Йорка в одноэтажном доме — это было роскошью: в Голливуде сделали несколько фильмов по его романам; он ругал эти фильмы, ругал многое другое и пил виски со льдом. Мы сидели в большой мастерской (жена Стейнбека — художница). Он сказал мне: «Если плюнуть в пасть льва, лев станет ручным»... (Эти слова я потом не раз вспоминал — они верны по отношению ко львам различных мастей.) Несколько лет спустя Стейнбек приехал в Советский Союз. Я был с ним в Загорске, он захотел там посмотреть мастеров, которые вырезают из дерева зверушек. Прежде они работали хорошо, но под влиянием тяги к натурализму стали изготавливать соответствующий товар. Когда мастер сделал общую форму медведя, Стейнбек попросил продать ему неоконченную игрушку. Мастер обиделся: «Хочет, чтобы в Америке над нами посмеялись...» А Стейнбек восхищался: «Вот это искусство!..» И добавил: «Когда пишешь роман, тоже нужно вовремя остановиться...»

Прошло еще пятнадцать лет, и недавно я снова увидел Стейнбека. Он много с тех пор написал, узнал и годы неудач, и славу. Он сидел у меня большой, крепкий, и я все время думал: до чего он связан с Америкой! Молодая страна, люди в ней не стареют — живут, потом падают. Не знаю, умеет ли Стейнбек вовремя остановиться, когда пишет роман; я его не стал об этом спрашивать — кажется, нет на свете автора, который знал бы самого себя: писатели заняты своими героями, им недосуг задуматься над собой. Конечно, Стейнбек стал как-то спокойнее, я почувствовал тяжесть и снисходительность седьмого десятка, все же он остался громким, неумным, похожим на свою страну.

Теперь я несколько лучше понимаю американцев. А в 1946 году я спрашивал себя: чем живет Стейнбек? Чем живет Америка? Это были не праздные вопросы, не любопытство туриста, не работа этнографа — я видел, что после войны многое на свете изменилось. Все зависит от того, по какому пути пойдет эта богатая, чрезвычайно цивилизованная и вместе с тем полудикая страна.

Сотни американцев пытались мне доказать, что американцы самые свободные люди и что это объясняется частной инициативой, психикой пионеров, значением личности. Слушая такие разговоры, можно было подумать, что передо мной испанские анархисты и что Трумэн — ученик Мигеля Бакунина. Действительно, я побывал в городах, где частные компании отпускали не только электричество и газ, но даже воду; на дорогах несколько раз нашу машину останавливали и брали деньги за проезд — оказывалось, дорога принадлежит бизнесмену или плантатору; мост через Миссисипи эксплуатировался акционерным обществом. В 1946 году правительство проводило кампанию против расточительности. Я видел повсюду рекламы: «Не забывайте, что на свете пятьсот миллионов человек голодают. Гейнц — пятьдесят семь соусов». Я спросил председателя торговой палаты в городе Джексон, почему фирма Гейнца рекламирует свои соусы с помощью гуманных фраз. Предсе-

датель покачал головой: «Напротив, фирма Гейнц старается помочь правительству. Официальным декларациям не верят, а у Гейнца большой авторитет...» Вместе с тем власти преспокойно вмешивались в частную жизнь американцев. В Нью-Йорке в гостинице, где я прожил неделю, ночью была облава; арестовали провинциалов-молодоженов — у них не было при себе удостоверения о браке. Имелись штаты, где венчали без волокиты, а штат Невада разбогател потому, что там легко развестись. В вагон-ресторане официант забрал стакан с виски: «Мы проезжаем через сухой штат...»

Я был у крупного ученого Зворыкина, изобретателя иконоскопа. Он жил возле Филадельфии в чудесном доме. Он долго рассказывал, как быстро развивается в Америке наука. Я знал, что Эйнштейн и Ферми обаяны многим Соединенным Штатам. Роман Якобсон как раз напролет говорил мне о будущем новой науки — кибернетики. В Принстоне я видел замечательные аудитории, лаборатории, библиотеки.

В Джексона, в Ноксвилле я с трудом разыскал книжный магазин.

Разноречивые впечатления я изложил в очерках. Конечно, в них было много случайного, были, наверно, и ошибки — трудно за короткий срок понять чужую жизнь. Однако тогда я не поддался соблазну отделаться памфлетом. В 1946 году «холодная война» быстро разгоралась, и те американцы, которые ее раздували, радовались некоторым статьям или фельетонам, напечатанным в наших газетах. Журнал «Харперс мэгэзин», участвовавший в антисоветской кампании, опубликовал перевод моих очерков, но в своих комментариях признал: «Важны не отдельные детали, а общее впечатление, которое получит от этих статей советский читатель... Трудно себе представить, что он увидит в них Америку грубым, жадным, механизированным и бездушным чудовищем, каким ее изображали в прошлом европейские спиритуалисты, например, Андре Зигфрид... Статьи мистера Эренбурга появлялись в «Известиях» с июня по сентябрь — во время ныне знаменитой «культурной чистки», от которой пострадали многие писатели и кинорежиссеры... «Известия» писали в передовой: «Чему же могут учиться лучшие люди советского общества, творцы его культуры у «модных» деятелей современного Запада и Америки, выразителей морального распада и гниения капиталистического строя?» Читая это, мы в испуге вспомнили одно место в четвертой статье мистера Эренбурга: «Мы можем многому научиться и у американских писателей, и у американских архитекторов, и даже (несмотря на потрясающую пошлость средней продукции) у американских кинорежиссеров». Возникает тревожное чувство, что благодаря этим статьям мистер Эренбург повис на суке. Мы надеемся, что он принял меры предосторожности и снял с себя галстук». (Антисоветские журналисты надеялись, что меня уничтожат, и до сих пор не могут мне простить, что я остался в живых.)

Однако мои очерки были продиктованы не только желанием погасить огонь «холодной войны». Я понимал, что европейцы начинают походить на американцев — в пристрастии к комфорту, в некотором упрощении эмоциональной жизни, в культе техники и спорта. Мне хотелось приободрить себя и, думая о новой интеллигенции, представителей которой я встречал в Нью-Йорке, Бостоне, Нью-Орлеане, я доказывал, что многие американцы начинают походить на европейцев: «Америка не застывший мир, она все время в движении. Вчерашние пуритане становятся запойными неврастениками, героями Хемингуэя. Дети баптистов и методистов читают «Нью-Йоркер», высмеивающий «американизм». Вообще так издеваются над Америкой, как это делают сами американцы, никогда не сможет ни один европеец; и в этом тоже залог роста. Я убежден, что американцы, проклиная Америку, на самом деле страстные патрио-

ты. Они — новые пионеры, их тоже трясет лихорадка, но не «золотая»: они ищут духовные ценности; им мало высоких домов, и если они смеются над этими домами, то не потому, что предпочитают хижины, а потому, что хотят высоких дум и высоких чувств».

Вероятно, все это правильно, но «быстро сказка сказывается», а история петляет. Прогресс естественных наук стал повсеместным. Американцы растерялись, увидев в некоторых областях превосходство советской техники; однако это было связано скорее с выкладками политиков и военных, чем с поисками «высоких дум и высоких чувств».

В годы, называемые теперь годами «культы личности», у нас кибернетику называли шарлатанством. Впервые Большая Советская Энциклопедия заговорила о ней в дополнительном томе. Наши специалисты по кибернетике с возмущением вспоминают прошлое; один из них обиду перенес на искусство, как будто в походе на новую науку повинно «анахроничное увлечение Бахом или Блоком». Между тем люди, запрещавшие кибернетику, с опаской поглядывали на искусство. Я продолжал и продолжаю спорить не столько с Америкой, сколько с «американизмом». С увлечением я прочитал книгу Винера (хотя не все в ней понял); я слышал электронную музыку, охотно верю, что машины, сочиняющие стихи, делают это быстрее и не хуже многих членов Союза писателей. Баха или Блока машины, однако, не заменяют, да и не могут заменить.

Может быть, в недалеком будущем межпланетные ракеты будут предоставлять парочкам, лишенным свидетельства о браке, большой комфорт, чем теперешние «кадилляки» или «бьюики»; не нужно много фантазии, чтобы это себе представить. Я не хочу думать, что люди грядущего не будут обладать той культурой эмоций, которая отличает любовь героев Шекспира, Гёте или Льва Толстого от случки питекантропов.

Древние изображали богиню мудрости с совой, и Маркс говорил, что сова взлетает, когда опускаются сумерки. Обидно, что о многом начинаешь задумываться к вечеру жизни.

## 7

Наш приезд в Америку рассматривался как «ответный визит» — в 1945 году три американских журналиста побывали в Советском Союзе. «Холодная война» только начиналась. Американцы вели переговоры с Советским правительством об увеличении тиража журнала «Америка»; выходявшего на русском языке, об облегчении работы американских корреспондентов в Москве, и государственный секретарь Бирнс решил показать свою добрую волю. Все газеты сообщили: «Трое красных журналистов приглашены познакомиться с Америкой. Они будут свободно разъезжать по стране за счет правительства Соединенных Штатов». От денег мы отказались, а разрешением свободно передвигаться решили воспользоваться. Галактионов предпочитал остаться в Нью-Йорке, где было много советских работников, но, посоветовавшись с послом, решил, что поедет на несколько дней в Чикаго, и, когда нас пригласил заместитель Бирнса Бентон, объяснил, что намерен познакомиться с работой крупных чикагских газет. Симонов сказал, что выбрал Западное побережье — Голливуд. Пришел мой черед: «Я хотел бы поехать в южные штаты». Бентон попытался меня отговорить: далеко, воздушная связь плохая, да и не повсюду имеются хорошие гостиницы. Я возразил: от Москвы до Вашингтона еще дальше, я могу поехать поездом, а комфортом мы не избалованы. Бентон повторил, что мы свободны в выборе.

Один из вашингтонских комментаторов, или, как в Америке говорят, «колунистов», статьи которых печатают одновременно десятки газет, Марквиз Чайлдс писал: «Совершенно ясно, почему Эренбург — самый



яркий и агрессивный из трех — выбрал «Табачную дорогу». В жизни Юга он цинично ищет подходящих для него историй...» (Говоря о «Табачной дороге», журналист, конечно, имел в виду не мою страсть к куренью, а книгу Колдуэлла.)

Признаться, я меньше всего думал и о Колдуэлле, и о материале для газетных очерков; мне хотелось понять то, что с давних пор оставалось для меня загадочным: положение негров в Америке. В молодости я считал, что прогресс неминуемо освобождает людей от суеверий и нетерпимости. Я знал, что южные штаты Америки далеко отстали от северных, что там мало промышленности, есть неграмотные, и этим объяснял живучесть предрассудков. Только когда расизм восторжествовал не далеко за океаном, а в хорошо мне знакомой Германии, я понял, насколько был наивен. Судьба американских негров перестала быть исключительным явлением; расизм вошел в быт века. Решив поехать в южные штаты, я думал не о газетных статьях, а о только что закончившейся, еще не отошедшей от меня войне, думал о многом темном, с чем мне пришлось в жизни столкнуться, искал разгадку, пробовал осмыслить противоречивую эпоху.

В первые же дни моего пребывания в Нью-Йорке я понял, что Новый свет забит хламом старых предрассудков.

В киосках можно было увидеть десятки газет, выходящих в Америке на различных языках — итальянском, польском, еврейском, немецком, испанском, греческом, армянском, украинском, сербском и других. Я попал в итальянский квартал, там висело на веревках белье, в трактирах люди накручивали на вилку длинные макароны, кто-то пел, мне показалось, что я в Генуе или в Неаполе. В еврейском квартале торговали солеными огурцами, халвой, водкой, были вывески и русские и польские; старик, похожий на героя Бабеля, пил на улице чай и рассуждал: «Сульцбергер пишет, что он любит бога, если не еврейского, то американского, но, наверно, этот бог с таким вниманием читал «Таймс», что даже не заметил, как сожгли варшавское гетто...»

Названия городов напоминают, что люди пришли сюда отовсюду: Нью-Йорк, Нью-Орлеан, Манчестер, Амстердам, Пекин, Париж, Одесса, Толедо, Франкфурт, Кантон, Кембридж, Москва, Берлин, Рим, Оксфорд, Кордова... В любой отрасли науки встречаешь имена, которые ясно говорят, что если не сам ученый, то его дед родился — кто в Ирландии, кто в Польше, кто в Германии, кто в России. Я хотел понять, почему же в стране, где перемешались все расы, все национальности, все языки, расцвели и расизм, и своеобразная национальная иерархия.

Аристократия знала родовую иерархию: потомственный дворянин глядел свысока на личного дворянина, а этот последний презирал мещанина; во Франции выше всего стояли принцы, за ними шли герцоги, потом маркизы, графы, виконты, бароны, наконец обыкновенные дворяне, у которых перед фамилией значилось «де». Считалось, что в жилах аристократов течет «голубая кровь». Но Америка не знала ни феодализма, ни голубой крови. И вот, загадочным для меня образом, создалась своя иерархия крови: выше всего люди, происшедшие из семейств английских, шотландских, скандинавских, голландских; несколько хуже немцы, за ними идут французы, ниже славяне, еще много ниже итальянцы, почти внизу евреи, китайцы, порториканцы и всех ниже негры. Есть клубы, куда не принимают славян, итальянцев. Что касается евреев, то их положение хорошо мне объяснил один словоохотливый американец: «С ними обедают, но не ужинают» — обед это деловая встреча в ресторане без жен — с евреями можно делать дела, но не якшаться». Мне показывали гостиницы, куда не пускают евреев; обычно это на курортах, у моря или у озера.

Через несколько дней после моего приезда в Нью-Йорк друзья повезли меня в негритянский квартал Гарлем; там я познакомился с журналистами, писателями, актерами, музыкантами; с некоторыми из них я подружился.

Теоретически негры в Нью-Йорке пользовались всеми правами. Но квартир в домах, где жили белые, неграм не сдавали. Они жили в Гарлеме, и что ни говори — это гетто. Как-то я возвращался из Гарлема поздно ночью. Шофер такси довез меня до границы гетто, объяснил, что дальше ему ехать не стоит — не найдет назад пассажиров, окликнул такси с белым шофером, и я пересел. Конечно, были богатые негры, были даже занимавшие государственные посты (таких было мало и посты были некрупными, но видимость соблюдалась); однако большинство черных выполняло черную работу: носильщики, мусорщики, сторожа, лифтеры, судомойки, прачки. В Гарлеме я видел «госпиталь рубашек» — так называлась мастерская, где на месте латали рубашку, клиент сидел полуголый и ждал: у него была всего одна рубашка.

Если негр заходил в ресторан, который содержал американец, ему вежливо говорили, что все столики заказаны. Если он пробовал найти работу почище, ему любезно сообщали, что вакансия уже занята. Я хотел позвать к себе друзей-негров. Меня предупредили, что их не подымут вверх — я жил на шестнадцатом этаже, скажут, что лифт не работает.

Американцам нравилась негритянская музыка, черные певцы, актеры. Негритянские труппы часто играли на Бродвее. В партере сидели белые, они аплодировали. Но если актеры захотели бы после спектакля поужинать, они должны были найти французский, итальянский или еврейский ресторан — в американском им сказали бы, что все столы заняты...

Расизм заразил даже тех, которые от него терпели: я встречал негров-антисемитов. А обиженный кем-то еврей кричал: «Почему вы со мной так разговариваете? Я, кажется, еще не негр!..» Мулат в Вашингтоне рассказывал о своей беде — его дочь влюбилась в негра.

Я начал готовиться к путешествию. Друзья сказали, что они пришлют ко мне одного прогрессивного южанина, который посоветует, куда поехать. Дэниэл Гилмор был сыном адмирала; до войны издавал левый литературный журнал «Пятница» (под таким же названием выходил еженедельник в Париже, его редактировали Жан-Ришар Блок и Шамсон). Он сказал, что повезет меня в своей машине. Это было нечаянной удачей — никогда бы я не разыскал тех захолустий, куда меня повез мой новый друг.

Госдепартамент сообщил мне, что меня будет сопровождать редактор журнала «Америка», выходящего на русском языке. Нельсон был сыном выходца из России и превосходно говорил по-русски. Он показал себя тактичным, и между нами установились хорошие отношения.

Нельсон обращался к местным властям: меня приглашали на официальные обеды — то председатель торговой палаты, то издатель крупной газеты, то чиновник, занятый делами культуры. Гилмор знал многих, возил меня в редакции негритянских газет, в заштатные городки, на хлопковые плантации. Я разговаривал с сотнями разных людей — с профессорами и плантаторами, с пасторами и с профсоюзниками, с художниками и с рабочими.

Мы были в Алабаме, когда Гилмор рассказал, что «коломнист» Сэм Графтон хочет описать поездку советского писателя по Югу и просит разрешения присоединиться к нам. Дальше мы колесили уже вчетвером в утомленном, но поместительном «бьюике».

Почему-то моим спутникам понравился русский обычай называть человека по имени и отчеству. И вот со мной ездили Дэниэл Горациевич Гилмор. Бил Бенедиктович Нельсон и Сэм Ноэмович Графтон. Мы

подружились, и южане не раз принимали нас всех за «красных». Мы останавливались на ночь то в больших гостиницах, то в «мотелях», то в комнатах, которые жители городишек сдавали проезжим. Южане оказались гостеприимными, приглашали пообедать или поужинать с ними. Мне повезло — я ездил, как американский турист.

В Нашвилле я провел день в частном негритянском университете Фиск. Там училось около семисот юношей и девушек, они готовились стать врачами, педагогами, адвокатами, но знали, что смогут лечить, учить, защищать только «цветных». Среди профессоров был крупный химик Брэди. Он рассказал, в каких условиях ему приходится работать. В университете для белых прекрасно оборудованные лаборатории, но туда он не имеет права войти, не может он пользоваться и университетской библиотекой; когда ему нужна справка, белый юноша идет вместо него в библиотеку и выписывает. А на международные конгрессы профессора Брэди посылают: для Нашвилла — он негр, для заграницы — видный американский ученый.

(Я прочитал статью известного зоолога Лилли, профессора Чикагского университета, посвященную умершему в начале войны биологу Дзосту: «Трагизмом отмечена вся научная деятельность Дзоста — он был негром в Соединенных Штатах... В Европе его принимали дружески, и легко понять, почему он себя обрек на добровольное изгнание, но глубоко обидно, что его знания, беззаветная преданность науке не смогли найти приложения на его родине...»)

Среди студентов Нашвилла я увидел рыжеватую девушку с веснушками, она заговорила со мной по-русски. Оказалось, отец ее негр, а мать одесситка, звали ее Лилиан Вальтфильд. По виду ее никак нельзя было принять за негритянку, но в паспорте значилось: «цветная».

Мы осматривали плотину Теннесси — огромное строительство, осуществленное Рузвельтом. Электростанция изменила экономику шести южных штатов. Я восхищался дорогами, домами, парками, но повсюду я видел надписи «Для цветных» и угрюмо думал: да бог с ней, с этой диковинной техникой, если она может сочетаться с оплевыванием человека!..

Когда мы ехали на Юг, Бил Бенедиктович мне рассказывал, как хорошо поставлено в Америке народное образование и какие суммы расходуются на здравоохранение. В Миссисипи я увидел, как живут негры, арендующие клочок земли, или сельские рабочие. В темных лачугах копились огромные семьи, спали на полу. Мы встречали много неграмотных — школ для негров не хватало, встречали людей, никогда в жизни не выдавших доктора: врачу нужно заплатить столько, сколько целая семья вырабатывает в три месяца.

А радушный хозяин большой плантации, угощавший нас яствами Юга, говорил: «Неграм у меня хорошо. Я их даже в церковь отпускаю...»

Войдя в одну злосчастную хижину, Сэм Графтон вышел потрясенный — никогда прежде он не бывал на Юге. Я ему сказал: «Видите, и я пригнулся — благодаря мне дядя Сэм познакомился с дядей Томом...» Нельсон тоже впервые увидел южные штаты и был подавлен; больше он не заговаривал ни о медицинском обслуживании, ни о народном образовании.

Я вспоминаю большую ярко-желтую реку Миссисипи, старые усадьбы, где жили опоэтизированные герои Митчелл, уют, комфорт, который не снился нашей Салтычихе, и темные, зловонные хижины, едкое человеческое горе — голод в краю изобилия, работу через силу и ко всему ежечасное надругательство: «Куда лезешь, грязный негр!..» (Эти слова я услышал на трамвайной остановке — вагоны, где имели право ездить только белые, проходили почти пустые, а на площадке места не было.)

Трудно видеть чужое горе, нужду, нищету — это я не раз чувствовал и дома, и в Испании, и в Индии. Но только раз в жизни я очутился среди чужого унижения. Однажды в Нью-Орлеане я сидел в милом доме у хороших и просвещенных людей — знакомых Гилмора. Один из гостей, высокий, светловолосый, оказался архитектором. Мы говорили сначала об урбанизме, о Ле Корбюзье, потом о живописи. Меня мучила жажда — было нестерпимо жарко. Я предложил пойти в соседний бар и там продолжить беседу. Никто меня не поддержал. Полчаса спустя я попросил стакан воды. Архитектор встал: ему пора домой. Когда он вышел, хозяйка объяснила, что он по паспорту «цветной» и не может войти в бар — его в городе знают. Мне стало стыдно: ведь я его поставил в трудное положение. Больше не хотелось пить и, если говорить откровенно, не хотелось жить.

Другой раз я испытал нестерпимый стыд, когда очень светлая мулатка рассказала мне, как носильщик, не догадавшись, что она «цветная», посадил ее в вагон для белых; поезд тронулся, она не успела выйти. Один белый подозвал проводника и сказал, чтобы он выкинул «цветную». Девушка никак не походила на мулатку; проводник оказался сердобольным и шепнул заподозренной: «Я ему объяснил, что вы еврейка, поэтому у вас черные волосы...» Девушка, смеясь, добавила: «А я так испугалась, что двинуться не могла...» Вот тогда впервые в жизни мне стало стыдно, что я еврей, хотелось стать черным евреем.

Сторонники «расового разделения», или, говоря проще, расисты, разговаривая со мной, пробовали обосновать южные порядки: есть естественное неравенство рас, нужны века, чтобы негры доросли до белых; теперь с ними общаться трудно, их следует учить, создавать для них сносные условия и давать ту работу, которую они в силах выполнить. Это я слышал много раз. Это сказал мне и один юрист, у которого мы ужинали. Его молодая жена добавила, что хорошо это или плохо, но каждый американец чувствует к неграм физическое отвращение. (Я почувствовал отвращение к молодой хорошенькой женщине, но, будучи гостем, промолчал.) Мы встали, и хозяйка сказала, что покажет нам своего первенца — он родился ровно месяц назад. Младенца принесла огромная толстая негритянка, сверкавшая белыми зубами, — она кормила грудью сына хозяев...

В промышленном Бирмингеме много негров работало на металлургических заводах. Мы зашли к одному из них; он жил бедно, но чисто, в маленькой комнате помещались пять человек. Разговорились о работе, о квартирах. Потом я спросил, какие у него отношения с белыми товарищами. «На работе хорошие». — «Бываете вы у кого-нибудь из них?» — «Нет». — «А к вам приходят?» — «Никогда. Вы — первый белый, который зашел в этот дом...»

В Нью-Орлеане я пошел в профсоюз моряков. Секретарь показал мне клуб, сказал, что их профсоюз называют «красным»: у них негры присутствуют на общих собраниях, в других профсоюзах для «цветных» имеются особые секции. «Вот места для негров», — сказал секретарь. Скамейки были не хуже других, но негров все же сажали отдельно.

Помню долгий откровенный разговор с адвокатом Робертсоном. Он был хороший человек, которого возмущала расовая дискриминация, он старался как мог помочь неграм. Он рассказывал мне о чудовищных приговорах. Одна женщина увлеклась негром, которого звали Вилли Меги, он был шофером грузовика. Она затаскивала его к себе в дом. Соседки об этом судачили. Однажды муж вернулся не вовремя. Женщина закричала: «Помогите, меня насилуют!..» Все, включая судей, знали, что женщина лжет, но никто на суде об этом не сказал. Напрасно адвокат пытался спасти Вилли Меги — его приговорили к смертной

казни. В городке Олбевилл шестеро белых изнасиловали негритянку; все знали, что они виновны, но их оправдали. Робертсон вспомнил и другие судебные дела в штате Миссисипи. Я спросил его, почему расизм оказался настолько живучим. Он ответил: «Мне неприятно вам признаться, но это в нас с детства, мы все отравлены этой пакостью. У нас домашняя работница негритянка. Мы с женой к ней хорошо относимся. Недавно она рожала. Позвали врача. Я зашел поглядеть на ребенка и поймал себя на мысли — живое существо, а все-таки не белый... Я сам себе неприятен...»

Я понял, что дело не только в страшной эпопее Гитлера. Конечно, в Америке не было ни Освенцима, ни Треблинки. Случаи линчевания становились все большей редкостью. В 1946 году в южных штатах существовали законы, весьма напоминавшие те, над которыми трудился Глобке (еще недавно он занимал в Западной Германии весьма почетное место). Но и рабовладельцы Юга не были новаторами. Семь параграфов закона, опубликованного в XIII веке испанским королем Альфонсом X, которого прозвали Мудрым и который действительно покровительствовал астрономии, другим наукам, гласили о разделении в жизни христиан и евреев и устанавливали ограничения для евреев, весьма схожие с теми, которые существовали в середине XX века в южных штатах для негров.

Я знаю, что теперь многое изменилось. Даже американские реакционеры поняли, что Африка проснулась и что гонение на негров в Соединенных Штатах исключает возможность добрых отношений с новорожденными государствами. Да и внутри самой Америки наблюдаются сдвиги сознания. Все же мы видим, что негры Алабамы ходят в школы, как солдаты идут на штурм форта. И это в 1962 году — ровно сто лет спустя после того, как Линкольн объявил мобилизацию для того, чтобы разбить взбунтовавшихся рабовладельцев и расистов!..

Дело не только в уничтожении отвратительных законов, дело в изменении душевного мира людей — никакое, даже самое передовое законодательство не может вытравить из сознания древних предрассудков; они порой прячутся, камуфлируются, ищут новых, более приспособленных к современной жизни обоснований и вдруг показываются во всей своей отвратительной наготе. О поездке на Юг я рассказал не для того, чтобы осудить американцев, эта книга — не сборник политических статей. Я задумываюсь над тем, что увидел и пережил, мне хочется найти выход. Кажется, я был прав в молодости, когда думал, что свет изгоняет тьму, только в те далекие годы я часто принимал образование за воспитание и знания за совесть. Выход, наверно, в гармоничном развитии человека, это требует много душевных сил, много разума, да и много времени; но если люди не возьмутся за это, то они погибнут смертью, недостойной человека, — от превосходства смертоносного оружия над хрупкостью «немыслящего тростника», и погибнут независимо от цвета кожи или от формы носа.

Мне казалось, что я потерял возможность изумления: перелетел океан, побывал в разных странах, встречался со знаменитыми, порой великими людьми, пережил три войны, революцию, тридцать седьмой, фашизм, победу, и вот неожиданно 14 мая 1946 года я пережил изумление подростка, который впервые видит необычайное явление природы — меня повезли в Принстон, и я оказался перед Альбертом Эйнштейном. Я провел у него всего несколько часов, но эти часы мне запомнились лучше, чем некоторые крупные события моей жизни, — можно забыть радости, напасти, а изумление не забывается, оно врежется в память.

Конечно, я видел фотографии Эйнштейна, кто их не видел, но выглядел он иначе, может быть, потому, что снимки были давнишними, может быть, потому, что фотообъектив не глаз. Эйнштейну, когда я его увидел, было шестьдесят семь лет; очень длинные седые волосы старили его, придавали ему что-то от музыканта прошлого века или от отшельника. Был он без пиджака, в свитере, и вечная ручка была засунута за высокий воротник, прямо под подбородком. Записную книжку он вынимал из брючного кармана. Черты лица были острыми, резко обрисованными, а глаза изумительно молодыми, то печальными, то внимательными, сосредоточенными, и вдруг они начинали задорно смеяться, скажу, не страшась слова, — по-мальчишески. В первую минуту он показался мне глубоким стариком, но стоило ему заговорить, быстро спуститься в сад, стоило его глазам весело поиздеваться — как это первое впечатление исчезло. Он был молод той молодостью, которую не могут погасить годы, он сам ее выразил брошенной мимоходом фразой: «Живу и недоумеваю, все время хочу понять...»

В «Хулио Хуренито», написанном в 1921 году, я рассказывал, что читаю о теории относительности в популярном изложении. Во многих областях науки я чрезвычайно невежествен (к счастью, я это понимаю) — сказывается «незаконченное среднее». Популярное изложение я одолел, но даже в нем не все понял, о некоторых вещах скорее догадывался. По дороге из Нью-Йорка в Принстон я волновался: о чем я смогу говорить с великим ученым — я ведь неуч?.. О своих страхах я рассказал еврейскому литератору Брайнину, который повез меня в Принстон. Он ответил, что Эйнштейн человек простой, он меня пригласил потому, что интересуется Россией, угрозой новой войны. Это меня не успокоило. Но стоило Эйнштейну заговорить, как страх исчез. Конечно, я отвечал на его вопросы, что-то рассказывал, но теперь мне кажется, что говорил только он, а я слушал и если раскрывал рот, то от изумления.

Все меня изумляло — и его внешность, и биография, и мудрость, и задор, а больше всего то, что я сижу, пью кофе, а со мной разговаривает Эйнштейн.

(Как-то я сидел рядом с Жолио-Кюри на заседании Всемирного Совета Мира. Ораторы один за другим повторяли общеизвестные истины. А Жолио, наклонившись к моему уху, говорил о судьбе физиков. (Видно, какая-то фраза навела его на эти мысли.) «Физики похожи на поэтов, они делают открытия в молодости. Это как вдохновение. Ферми в тридцать три года создал теорию бета-распада. Резерфорд проявил свой гений в тридцать два года, де Бройль и Паули сделали важные открытия в тридцать один год, Дирак — в двадцать шесть. А вы знаете, сколько было Эйнштейну, когда он сформулировал частную теорию относительности? Двадцать шесть!» Глаза Жолио лукаво заблестели, вдруг он надулся: «Нужно послушать, что он говорит...» А я записал слова Жолио на проекте очередной резолюции.)

Конечно, мое волнение, когда я ехал в Принстон, было связано с масштабом человека. Я вспомнил, как в 1934 году Ланжевен мне говорил: «Эйнштейн перевернул все естественные науки. Физикам до него казалось, что все известно, а он доказал, что есть другое познание. С него начинается современная физика, да и не только физика — новая наука...»

Он разбивал старые представления о кабинетном ученом, замкнутом в пределах своей специальности. Я знал, что он дружил с Роменом Ролланом, в 1915 году выступал против войны, знал о его борьбе против фашизма, и человек, которого я увидел, помог мне многое понять в нашей противоречивой эпохе.

(Много позднее я прочитал его «Автобиографические наброски», воспоминания его друзей и увидел, что мое изумление было естественным. Его жизнь напоминала бурную горную реку. Начну с паспорта: он был немецким подданным, потом швейцарским гражданином и наконец американским. Когда он сделал свое гениальное открытие, он числился «экспертом третьего ранга в бернском бюро патентов». Три года спустя, когда об открытии Эйнштейна говорили все передовые ученые мира, он читал лекции в Бернском университете, и на этих лекциях бывали всего два студента. Вскоре о нем начали говорить не только на ученых заседаниях, но и в трамваях. Он читал курсы лекций в Цюрихе, в Праге, в Берлине, в Лейдене, в Пасадене, в Принстоне; побывал во многих странах Европы; ездил в Индию, в Палестину, в Японию. С кем только не встречался он в жизни, не вел задушевных бесед! Я не говорю об ученых — естественно, что со многими из них его связывала дружба, но перечислю некоторые неожиданные встречи, с которых он писал или упоминал в разговоре: Ромен Роллан и лорд Бертран Рассел, Кафка и Чарли Чаплин, Рабиндранат Тагор и наркоминдел Чичерин, историк хасидизма Бубер и Бернард Шоу, бельгийский король Альберт и негритянская певица Андерсон, Рузвельт и Неру. Он терпеть не мог приемов, аплодисментов, фимиама, чрезвычайно редко выступал публично, обожал играть на скрипке, увлекался садоводством, отдавался парусному спорту (даже написал статью «Вопросы управления парусной яхтой»), и вместе с тем не было события, на которое он не реагировал бы страстно, самоотверженно. В годы первой мировой войны, узнав, что Ромен Роллан выступает против националистического ослепления, он поехал к нему в Швейцарию, выступил против мировой бойни. Он мужественно приветствовал Октябрьскую революцию, клеймил немецкий милитаризм. Фашизм нашел в нем непримиримого врага. Он не был националистом — ни немецким, ни еврейским, ни американским. Собирая деньги на устройство еврейского университета в Палестине, он говорил: «Я видел, как в Германии высмеивали евреев, и мое сердце обливалось кровью. Я видел, как были мобилизованы школа, юмористические журналы, всяческие другие способы пропаганды, чтобы подавить в моих братьях евреях веру в себя...» Он сделал все, что мог, для Испании, отстаивавшей свое достоинство. Он участвовал во многих организациях, борющихся против угрозы новой мировой войны. Он вышел из культурного отдела Лиги наций, заявив, что она потворствует сильным и поощряет агрессоров. Он публично заявил в Америке, что он — сторонник социализма и друг Советского Союза. Он писал о дискриминации негров: «Это темное пятно на совести каждого американца». В годы второй мировой войны он помогал сбору средств для помощи Советскому Союзу. Он осудил атомное оружие, предал анафеме «холодную войну», настаивал на всеобщем разоружении и за месяц до смерти сидел над текстом обращения, которое должно было быть подписано им, Бертраном Расселом и Жолио-Кюри.

У него было много врагов. Некоторые ученые долго пытались отрицать его открытия, им казалось, что они подрывают их небольшую, заработанную всеми правдами и неправдами, репутацию. Его ненавидели немецкие фашисты: для них он прежде всего был евреем. Была образована организация «Антиэйнштейн», куда входили некоторые известные физики, нобелевские лауреаты. Эта организация занялась травлей Эйнштейна — срывали лекции, печатали псевдонаучные пасквили, листовки. В 1922 году «королевские молодчики», узнав, что Эйнштейн приезжает в Париж, устроили враждебную демонстрацию. Когда Гитлер пришел к власти, Эйнштейн был приговорен заочно к смертной казни, за его голову обещали крупное вознаграждение. В 1933 году мракобесы

требовали, чтобы Эйнштейну запретили въезд в Соединенные Штаты. В 1945 году конгрессмен Ренкин в Палате представителей предлагал правительству «покарать агитатора, некоего Эйнштейна», осмелившегося выступить против режима Франко. Пять лет спустя тот же Ренкин говорил: «Старый шарлатан, некий Эйнштейн, который называет себя ученым, а в действительности является участником коммунистического лагеря...» Эйнштейном занялась знаменитая Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности.)

В записной книжке я нашел некоторые фразы Эйнштейна — записал сразу, вернувшись из Принстона в Нью-Йорк. Вот что он говорил об американцах: «Это дети, иногда милые, иногда распушенные. Нехорошо, когда дети начинают играть со спичками. Лучше бы играли с кубиками... Я не думаю, что средний американец читает меньше, чем европеец, но он читает другое и, главное, читает иначе. Я спросил одного студента, читал ли он такую-то книгу, он ответил: «Кажется, да, не помню. Но ведь эта книга вышла несколько лет назад, наверное, она устарела...» Такому интересно только новое... Здесь умеют быстро забывать. В годы войны у среднего американца при слове «Сталинград» был рефлекс — снять с руки часы и послать красноармейцу. Михоэлс и Фефер это видели. Теперь при том же слове у многих совсем другой рефлекс: показать русским, что у нас атомная бомба. Конечно, это результат газетной кампании... В Центральной Африке существовало небольшое племя — говорю «существовало» потому, что читал о нем давно. Люди этого племени давали детям имена Гора, Пальма, Заря, Ястреб. Когда человек умирал, его имя становилось запретным (табу) и приходилось подыскивать новые слова для горы или ястреба. Понятно, что у этого племени не было ни истории, ни традиций, ни легенд, следовательно, оно не могло развиваться — чуть ли не каждый год приходилось начинать все сначала. Многие американцы напоминают людей этого племени... Я прочитал в журнале «Нью-Йоркер» потрясающий репортаж о Хиросиме. Я заказал по телефону сто экземпляров журнала и роздал моим студентам. Один потом поблагодарил меня, в восторге сказал: «Бомба чудесная!» Конечно, есть и другие. Но все это очень тяжело... Я выступал осенью. Кажется, скоро снова придется...»

Он еще вернулся в разговоре к бомбе: «Видите ли, самое опасное — рассчитывать на логику. Вы убеждены, что дважды два четыре? Я нет... Несчастье, что умер Рузвельт — он не допустил бы...»

(Опять-таки позднее я узнал о том, что называют «драмой Эйнштейна». За месяц до начала второй мировой войны некоторые друзья Эйнштейна, физики, сообщили ему, что в Германии работают над созданием атомной бомбы. Захватив Чехословакию, гитлеровцы располагают ураном. Друзья уговорили Эйнштейна написать об этом Рузвельту. В апреле 1945 года, когда стало ясно, что гитлеровцы не успели создать атомную бомбу, узнав, что такая бомба уже имеется у американцев, Эйнштейн вторично написал Рузвельту — умолял не прибегать к ужасающему оружию. Рузвельт умер до того, как получил письмо. А новый президент Трумэн несколько месяцев спустя отдал приказ сбросить бомбы на Хиросиму и Нагасаки.)

Я знал, что Эйнштейн интересуется изданием «Черной книги» — так условно называли сборник человеческих документов: дневников, писем, рассказов очевидцев, — посвященных убийству гитлеровцами еврейского населения на захваченной территории. Я привез некоторые опубликованные материалы, фотографии. Эйнштейн внимательно глядел, потом поднял глаза, я увидел в них скорбь, его губы чуть вздрагивали. Он сказал: «Не раз в моей жизни я говорил, что возможности познания



безграничны и безгранично то, что мы должны узнать. Сейчас я думаю о том, что у низости и жестокости тоже нет границ...»

Он спросил, куда я собираюсь поехать. Я ответил, что послезавтра уезжаю на Юг — хочу поглядеть, как живут негры. Он сказал: «Живут они ужасно. Постыдно! Действия правительства южных штатов подпадают под некоторые пункты обвинительного акта Нюрнбергского процесса...» Несколько минут спустя, когда мы спустились в сад и нас там мучал фотограф, он рассказал, как давно одна молодая и красивая американка, защищая расовую дискриминацию, задала ему распространенный в Америке вопрос: «Что вы сказали бы, если бы ваш сын объявил вам, что женится на негритянке?» — «Я ей ответил: «Не знаю.захотел бы познакомиться с невестой. А вот если бы мой сын сказал, что собирается жениться на вас, я, наверно, лишился бы сна и аппетита». (В его глазах загорелся задорный огонек.)

Он меня расспрашивал о Советском Союзе. Потом сказал: «Я верю, что вы быстро восстановите экономику. Я вообще верю в Россию. Скажите, вы часто встречаетесь со Сталиным?» Я ответил, что ни разу с ним не разговаривал. «Жалко — мне хотелось бы узнать о нем как о человеке. Один коммунист мне говорил, что я отстал — преувеличиваю роль личности. Конечно, я не марксист, но я знаю, что мир существует вне субъективных оценок личности. И все же личность играет крупнейшую роль... Я куда лучше представляю себе Ленина — читал о нем, видел людей, которые с ним встречались. Он вызывает к себе уважение — не только как политик, но и как человек с высокими моральными критериями...»

Еще записана одна фраза — не могу вспомнить, в каком месте разговора он это сказал: «На меня очень большое впечатление произвели «Братья Карамазовы». Это одна из тех книг, которые разбивают механические представления о внутреннем мире человека, о границах добра и зла...»

Прощаясь, он сказал: «Главное теперь — не допустить атомную катастрофу... Хорошо, что вы приехали в Америку, пусть побольше русских приезжают, рассказывают... Человечество должно оказаться умнее, чем Эпиметей, который раскрыл ящик Пандоры, а закрыть его не смог... До свидания! Приезжайте снова...»

Десять дней спустя я услышал по радио знакомый голос: Эйнштейн говорил о смертельной опасности, нависшей над человечеством, — необходимо договориться с русскими, отказаться от атомного оружия, не вооружаться, а разоружаться — он хотел захлопнуть ящик Пандоры.

Я слушал и вспоминал маленький серый дом с зелеными ставнями, книги, рукописи, прожженные трубки — все казалось заброшенным, как будто хозяин уже ушел из привычного уюта в мир, который безграничен. Вспоминал я старого человека с ручкой за воротником, со светящимися глазами, с космами белых волос, которые трепал весенний ветер.

Это было в Нью-Йорке в начале моего знакомства с Америкой. В полутемной мастерской я примерял брюки, когда меня вдруг ослепила вспышка лампочки. Фоторепортер бубнил, что хотел снять меня на улице, а примерку снял ради шутки, мне на память, конечно, эта фотография не будет опубликована; и, конечно же, на следующий день я ее увидел в одной из вечерних газет. Журналист сообщал, что Эренбург отказался от застёжки «молния», предпочитая ей традиционные пуговицы. Вместо того, чтобы посмеяться, я рассердился и, встретив редактора несколько дней спустя, спросил его, почему он напечатал столь

игривую фотографию — я ведь не кинозвезда, а пожилой мужчина. «У нас существует интерес к человеку», — объяснил мне редактор. «Но почему к его нижней половине?..» Он удивленно посмотрел, потом захохотал: «Здорово! У вас чисто американский юмор. Завтра это пойдет в номер...»

Вначале меня удивлял характер многих американских газет; потом я привык и перестал обращать внимание. Беспокоило меня другое — первые признаки того, что год спустя было окрещено «холодной войной».

Помню, в Ноксвилле, просматривая местную газету, я вдруг остолбенел: прочитал, что в псалме сто девятнадцатом говорится о Мосохе, где живут люди, ненавидящие мир, и что пророк Иезекиил указывал, что в Мешехе люди поклоняются идолу Гогу, а Мосох и Мешех не что иное, как Москва. Конечно, Ноксвилл — небольшой провинциальный город, можно было бы посмеяться над глупостью и кликушеством. Но на следующий день я разговаривал с одним фермером, очень гостеприимным, и он сказал мне: «Вот беда — только отвоевали и снова придется воевать, теперь уж не с немцами, а с русскими...» Сказал он это без задора, даже без неприязни, скорее печально. Подобные рассуждения я слышал не раз, хотя еще продолжался Нюрнбергский процесс и в первую годовщину победы над Гитлером многие вспоминали, что русские были союзниками. Людей сбивали с толку сенсационные телеграммы. Вдруг газетчики выкрикивают: «Красные танки идут на Тегеран...» Опровержений никто не помнил, помнили страх. Я спрашивал людей, разбирающихся в иностранной политике: почему они считают третью мировую войну неизбежной? Они не ссылались на Библию, а говорили: «Русские собираются захватить Персию... Россия в ближайшие месяцы нападет на Турцию... Москва претендует на Грецию... Красные грозят начать войну, если Тито не получит Триеста...»

Мы прибыли в Америке два с половиной месяца, и за этот короткий срок многое изменилось: газеты все чаще выказывали неприязнь, люди, с которыми мы встречались, стали настороженнее. Конечно, это было самое начало «холодной войны». Еще можно было надеяться, что вчерашние союзники договорятся. Я встречался с политическими деятелями, пытавшимися отстоять линию Рузвельта, — с бывшим вице-президентом Уоллесом, с бывшим послом Дэвисом, с парламентариями Пеппером, Коффэ, Томасом. Они выступали вместе с нами на больших митингах или на встречах. В Мэдиссон-сквер пришли двадцать тысяч американцев; выступали и посол Громыко, и мы трое, и Дэвис. Я видел в масляной полутьме огромного зала дружеские улыбки.

Все же настроение рядовых американцев менялось на глазах. Меня поразила фантазия журналистов из газет, принадлежавших Херсту: они писали небылицы о нас, хотя мы были рядом. Многие газеты уверяли, что я путешествую под наблюдением сопровождающего меня агента ГПУ, и милейший Билл Бенедиктович смеялся, когда я представлял его: «Тайный агент красной полиции, сотрудник Государственного департамента мистер Нельсон». Я приехал с Симоновым в Бостон, ехали мы ночь, на вокзале нас встретил член Совета американо-советской дружбы. Накинулись репортеры; мы отвечали; наконец член совета сказал: «Дайте им позавтракать, передохнуть»... Вечерняя газета вышла с крупным заголовком: «Русский консул запретил советским писателям разговаривать с представителями прессы». Я спросил редактора, почему он печатает в своей газете бессмыслицу — ведь в Бостоне нет советского консула. Он ответил, что произошло недоразумение: говорили «каунсел» (совет), а репортеру послышалось «кенсел» (консул). Может быть, так и было на самом деле, а может быть, и не так: я не раз замечал, что,

когда в дело замешана политика, недоразумения объясняются разумием и бессмыслицы полны смысла.

Херстовские газеты меня называли «замаскированным агитатором», «говарищем-циником», «Ильей из Коминтерна». Это звучало почти академично. (Два года спустя те же газеты, говоря обо мне, прибегали к более ярким определениям, помню хорошо два из них: «кремлевский недоносок» и «наемный микроцефал».)

Один из друзей Рузвельта объяснил мне новую политику Америки: «Трумэн отнюдь не думает о войне. Он считает, что коммунизм угрожает некоторым странам Западной Европы и может восторжествовать, если Советский Союз экономически встанет на ноги, шагнет вперед. Неприемимая политика Соединенных Штатов, испытания атомных бомб заставят Россию тратить все силы и все средства на модернизацию вооружения. Сторонники «твердого» курса говорят об угрозе советских танков, а в действительности они объявили войну советским кастрюлям».

Два месяца спустя после этой беседы Трумэн предложил министру торговли Уоллесу, защищавшему идею соглашения с Советским Союзом, выйти в отставку.

В Соединенных Штатах официальные лица были с нами вежливы, мы свободно разъезжали по стране, выступали на собраниях, и обижали нас только некоторые журналисты, старавшиеся обогнать время. Мы увидели самое начало первого действия. В Канаде нам показали сцену из следующего акта. Мы хотели съездить в Мексику и на Кубу — нас туда приглашали, но из Москвы пришла телеграмма: нам советовали принять приглашение Канадско-Советского общества дружбы — выступить в Торонто и Монреале; пришлось согласиться.

Еще в Нью-Йорке ко мне пришел канадский дипломат и предложил после Монреаля посетить Оттаву, где мы будем гостями канадского правительства. Улыбаясь, как и подобает дипломату, он сказал, что в Оттаве мы сможем отдохнуть: гости правительства должны воздерживаться от публичных выступлений.

Переехав границу, мы сразу поняли, какой именно отдых нам предстоит. Как раз в те дни происходил суд над канадцами, которых обвиняли в выдаче военных тайн Советскому Союзу. Главным свидетелем обвинения был сотрудник посольства Гузенко — его соблазнили деньгами, перспективой комфортабельной жизни. На процессе он был звездой, носил панцирь под пиджаком, газеты восхищались его отвагой. Поскольку шпионажем занимаются все государства, большие и малые, обычно такого рода дела разбираются без излишнего шума, газеты сообщают, что задержанные лица «работали в пользу одной иностранной державы». На этот раз канадское правительство (вряд ли по своей воле) подняло ожесточенную кампанию против Советского Союза. Газеты ежедневно писали о «красной опасности». В Оттаве вокруг посольства толпились штатные единицы или добровольцы, поносившие Москву. Атмосфера, таким образом, была не совсем подходящей для мирного знакомства со страной.

Помню первый вечер в Торонто. Нас пригласил на ужин владелец крупной газеты, сказал, что хочет побеседовать, как укрепить культурные связи, установить взаимопонимание. В тот же вечер должен был состояться ужин «Комитета помощи России в войне», и мне пришлось на него пойти. Владельцу газеты я сказал, что после ужина приеду на часок. Ужин прошел нормально — с деревянным молотком председателя, с благородными речами, с чеками и с аплодисментами. Я уже знал программу и старательно исполнял порученную мне роль. Владельц газеты жил за городом в доме, окруженном прекрасным садом. Войдя в столовую, я сразу почувствовал что-то неладное. Галактионов сидел

неподвижно, поджав губы, а Симонов делал вид, что рассматривает гравюры на стенах. Мое появление, видимо, прервало разговор. Принесли кофе, я не успел взять чашку, как хозяин, повернувшись к Михаилу Романовичу, сказал: «Таким образом, вы должны понять, что канадцы не без основания видят в каждом советском посетителе разведчика...» Я встал, сказал, что устал, хочу спать. Хозяин понял, что хватил через край, и начал говорить, что любит Россию, рад нашему приезду. Мы постояли минут десять и ушли.

Начались пресс-конференции. Напрасно канадцы из Общества дружбы пытались унять журналистов. Напрасно мы говорили о жизни и культуре советского народа. Нам задавали вопросы о шпионаже, о военных приготовлениях Кремля, о предстоящей войне. На первой пресс-конференции я сказал: «Мне нравятся страна, народ, но меня удивляют две вещи. Почему у вас журналисты только и говорят, что о новой войне? Неужели вас не интересует, как мы живем, как зоевали, как восстанавливаем разрушенные города? И второй вопрос: по конституции Канада — двуязычная страна, а на границе не понимают, когда говоришь по-французски, на почте тоже, да и среди журналистов — я вижу по лицам — большинство меня не понимает».

Мои слова были мемом для французской печати Монреаля и Квебека. Газеты, выходящие на французском языке, крупным шрифтом оповестили своих читателей: «Эренбург считает, что в Канаде слишком много говорят о войне и слишком мало говорят по-французски». Это предопределило относительно благожелательное отношение к нам французских газет, в своем большинстве крайне правых.

В первые дни мы не отвечали на вопросы, связанные с процессом. Некоторые газеты обвинили нас в трусости. Когда на ужине прессы Канадского легиона в десятый раз поставили тот же вопрос, я счел невозможным отмалчиваться. У меня сохранился номер «Ля патри», где напечатан мой ответ: «Советское правительство заявило, что оно думает по этому поводу. Я вам скажу, что думаю об этом я — один из советских граждан. В деле есть юридическая сторона, ее я не собираюсь касаться. Есть в нем и политическая сторона. Я видел канадские войска в годы первой мировой войны. Они находились на одном из самых опасных секторов фронта. Это было почетным местом. То же самое можно сказать о месте канадцев во второй мировой войне — на Шельде. Мне кажется, что в словесной войне, объявленной Советскому Союзу, канадцев снова поставили на самое опасное место, но вряд ли его можно назвать почетным. Я не понимаю, почему Канада должна быть зачинщицей? Думаю, что нам лучше договориться и дружить».

Разумеется, газеты заговорили о моем вмешательстве во внутренние дела Канады. В Монреале власти нас предупредили, что лучше отменить митинг — готовятся беспорядки. М. Р. Галактионов по состоянию своего здоровья переживал происходящее особенно мучительно. Митинг все же не отменили. Я выступал по-французски, а в этом городе говорить без переводчика означало сразу подкупить собравшихся.

Я хотел поехать на один день в Квебек — посмотреть старый французский город, но представитель правительства мне сказал: «В Квебеке нет ни одной свободной комнаты, где вы могли бы переночевать»...

Самым неприятным было наше пребывание в Оттаве. Нас окружали чиновники среднего калибра. День мы провели в нашем посольстве, там немного отдохнули, да и развеселили сотрудников, которые сидели, как в бесте.

В последний день нас неожиданно пригласил к себе премьер. Мы решили, что к нему пойдут Галактионов и Симонов и скажут, что я прошу прощения — устал, плохо себя чувствую: меня ведь атаковали больше

других. Премьер понял, что моя болезнь дипломатическая, и пытался снять с себя вину. Когда мы сели в самолет, я улыбался: слава богу, кончилось!.. В Олбани самолет приземлился. Нас долго держали на поле, потом сказали, что погода нелетная, пассажирам заказаны билеты в поезде.

В Олбани мы провели несколько часов — без программы, без журналов, без друзей. Это был обычный провинциальный город Соединенных Штатов. По улице ходили молодые люди в новеньких костюмах и ярких галстуках. В барах на высоких табуретах сидели крикливые и в то же время молчаливые люди — они не разговаривали друг с другом, а время от времени издавали резкие, скрипучие звуки — то заказывали «бурбон-сода», то ругались, то, осклабясь, восклицали «иесс». В витринах магазинов красотики из пластмассы, залитые синим зловещим светом, напоминали о дешевизне летних платьев и о доступности десятиминутного счастья. Мы сидели в баре, бродили по улицам, приходили на вокзал и снова уходили: ждали поезда.

Я запомнил этот вечер в Олбани потому, что там я неожиданно разговаривал с одним из посетителей бара. На вид ему было под пятьдесят; его медно-красное лицо сверкало от пота — вечер был жарким. Он прожил два года в Брюсселе и хорошо говорил по-французски. Он рассказывал мне свою биографию: его отец был мелким плантатором в штате Небраска, он знал в детстве не нужду, но бедность. Отец поставил его на ноги — послал в коммерческое училище. Потом он начал работать в фирме санитарных приборов, придумал новый способ рекламы, получил премиальные, бросил службу, уехал в Сан-Франциско, открыл крохотную колбасную, быстро разбогател — топался прекрасный мастер-венгр, убежавший из тюрьмы. Салами ему вскоре надоела, он перешел на страховку. Получил место в Бельгии, но европейская жизнь ему не понравилась. Он вернулся на родину и начал издавать в Канзасе финансовый листок. Его считали человеком энергичным, он шел в гору, женился. Вдруг разразился кризис, он обнищал, торговал в киоске горячими сосисками, подумывал о самоубийстве, особенно после того, как жена спуталась с начальником полиции. Но, в общем, все приходит и уходит, кризис кончился, он приободрился, нашел компаньона и открыл в Кливленде бюро частного розыска, увлекся политикой — участвовал в предвыборной кампании, правда неудачно: агитировал за республиканцев, а прошёл снова Рузвельт. Он вторично женился — на вдове, получил в придачу пасынка-шалопая, но и сбережения, купил небольшой завод, там делали сейфы, и вдруг — Пирл-Харбор, завод начал работать на военное ведомство, расширился. Тут произошла крупная неприятность — забраковали поставки, газеты, подкупленные конкурентом, требовали суда, пришлось потратить уйму денег на дорогих адвокатов, все пиروвали, а он снова шел ко дну. Но жена вытащила сбережения, завод продали, он переехал в Олбани и занялся рекламами. Теперь дела идут хорошо, в его бюро одиннадцать служащих. Пасынок исправился, у него оказались способности — он изобрел машину для световых реклам, которые сообщают также биржевые курсы, политические новости, получил монополию на рекламы Гейнца, сигарет «кэмел», трех банков. Теперь ему предлагают стать во главе парижского отделения большой фирмы, а в бюро останется пасынок...

Я спросил, не устал ли он от такой беспокойной жизни. Он презрительно усмехнулся: «Я не бельгиец, не француз и не русский, я настоящий американец. В мае мне исполнилось пятьдесят четыре года, для мужчины это прекрасный возраст. У меня голова набита идеями. Я еще могу взобраться на вершину». Потом он начал философствовать: «Я ничего не имею против русских. Они здорово воевали. Наверно, они хоро-

шие бизнесмены. Но я читал в «Таймс», что у вас нет частной инициативы, нет конкуренции, выйти в люди могут только политики и конструкторы, а остальные работают, получают жалованье. Это неслыханно скучно! Да если бы во время великой депрессии (так он называл кризис конца двадцатых годов) мне сказали: дадим тебе приличное жалованье, но с условием, что ты больше не будешь ни переезжать из штата в штат, ни менять профессию, — я покончил бы с собой. Вы этого не понимаете? Конечно! Я видел в Брюсселе, как люди спокойно живут, откладывают на черный день и вырождаются: там каждый молодой человек — духовный импотент...»

Подошел Симонов, сказал, что пора на вокзал.

В пультмановском вагоне было темно — все спали за занавесками. Я прошел в помещение возле уборной — там можно было курить, читать, пить содовую воду. Там я записал рассказ случайного собутыльника.

Неделю спустя в Бостоне мы сели на французский теплоход «Иль де Франс». До войны он считался роскошным, но потом служил для перевозки американских частей в Европу. Солдаты повсюду солдаты, и они привели нарядные залы, каюты в состоянии, соответствовавшее их душевному разору.

В Бостоне была забастовка портовых рабочих. Багаж грузили «желтые», а багажа было много: Европа возвращалась в Европу. Кого только не было на «Иль де Франс»! Жюль Ромэн (которого ждали звание академика, или, как говорят французы, «бессмертного», мундир, шпага) и румынская коммунистка, просидевшая в бухарестской тюрьме шесть лет, бельгиец, фабрикант сигар и чешский профессор. Ехали все в разоренную, голодную Европу, везли меховые манто и запасы кофе, стиральные машины и консервы. На палубе днем доносились обрывки фраз. Итальянский студент, горячась, кричал, что пора покончить с «проклятыми клерикалами». Старая аристократка из Пуатье вздыхала: «Зять написал, что во Франции пахнет революцией. Он считает, что Бидо — честнейший человек, но тряпка, допустил, что Торез теперь во дворце Матиньон. А партизаны припрятали оружие... Конечно, в Америке спокойнее, но я хочу умереть у себя дома...» Молодые спорили о книгах Сартра, о том, будет ли во Франции коммунизм, и о том, нужно ли восстанавливать разрушенные города такими, какими они были, или строить наново. Все были охвачены волнением перед встречей с родными, друзьями, с оставленной на несколько лет родиной. Не знаю, как выглядели пароходы, увозившие в Америку эмигрантов, но «Иль де Франс» увозил людей, не осевших в богатой и сытой Америке.

Люди волновались, а океан был спокойным. По ночам я часто сидел на верхней палубе — то записывал американские впечатления, то забирался в темноту и любовался водным простором. Я записал в одну из ночей мои мысли о путешествии и в записи вернулся к меднолицему американцу, которого встретил в Олбани: «В ранней молодости, когда я вошел в гимназическую организацию, я думал обо всем по брошюрам «Донской речи». Там было ясно сказано, что социализм прежде всего восторжествует в странах с концентрацией капитала, с передовой индустрией. Получилось наоборот: в горах Черногории люди кричат: «Белград — Москва!», а в Америке капитализм переживает если не молодость, то «прекрасный возраст для мужчины», как говорил тот в Олбани. Он не случайный искатель приключений, а человек авантюристического мира. Все, что он ценит, для него не кончается, а начинается. С Америкой нужно договориться — революции там в ближайшие десятилетия не будет. Остановка за американцами. Они, в общем, мирные люди, но уж очень азартные...»

Я думал о том, что слышал в Канаде, думал с ужасом: тоже полу-

чилось не по программе — послевоенные годы начинают оборачиваться в предвоенные. Я хочу дописать роман о той буре, что улеглась. А люди, с которыми я спорил в Канаде, успели распрощаться с недавним прошлым — для них буря только-только начинается, ветер кружит столбы пыли...

Океан ворочался, как человек, которому снятся беспокойные сны, но для океана это было легким волнением. Конечно, шлюпку швыряло бы, а в баре «Иль де Франса» чуть позванивали стаканы. Ночи были по-июльски теплыми с мотовством раскиданных на небе звезд. О чем я думал? Не помню. Наверное, о том, о чем думают все люди, оторванные на неделю от житейской лихорадки, среди воды, под звездами, — о прожитой жизни, о ненаписанных книгах, о том, что пора подводить итоги...

Помню только, что в одну из ночей ко мне подошел Галактионов. Он пожаловался на бессонницу, потом сказал, что наверху хорошо — морской воздух, звезды, и вдруг начал декламировать: «...И звезда с звездой говорит...» Он ушел, а я спустился в каюту. Мне хотелось писать стихи, но вместо этого я записал: «Мы в жизни разговаривали друг с другом очень редко, наверно, куда реже, чем звезда со звездой»...

## 10

Стоит мне вспомнить поездку в Америку, как я начинаю думать о судьбе Михаила Романовича Галактионова. В «Красной звезде» почти каждый вечер я встречал этого скромного, старомодно учтивого человека; мы здоровались, иногда обменивались несколькими словами, и, конечно, я не знал, что он за человек. Во время нашей поездки в Америку я порой подолгу с ним беседовал, кое-что узнал о нем и все же долго не понимал главного. Я часто упрекаю себя за невнимательность к людям, иногда мне кажется, что это не мой порок, а нравы века: мы удивительно мало знаем соседей, сослуживцев, даже приятелей, говорим о событиях короткого дня или спорим почти отвлеченно, а о том, что нас действительно волнует, молчим — старательно прячем свое и столь же старательно боимся случайно напасть на припрятанное чужое.

Американские журналисты, увидев впервые Галактионова, называли его «старым солдатом» — обманывали седые волосы, усталые глаза под очками в темной оправе, звезда на погонах. До нашей поездки я тоже думал, что Михаил Романович старше меня, а ему, когда мы были в Америке, не было и пятидесяти. Генеральская форма придавала ему некоторую сухость, казалось, что он весь накрахмален — и щеки, и слова, и мысли. А это было неправдой. О чем только мы не беседовали, оставаясь вдвоем, когда он еще мог спокойно разговаривать, — о мастерстве Чехова и о страшной судьбе наших солдат, попавших в плен, о старых постановках в Киевском театре Соловцова и об опасности механизации человека. Когда-то Галактионов учился на филологическом факультете, потом стал прапорщиком, как тогда пренебрежительно говорили «прапором» или «фендриком». Хотя Галактионов в 1918 году пошел добровольцем в Красную Армию и почти всю свою жизнь прослужил в ней, при разговоре я чувствовал старую интеллигентскую закваску.

В начале нашей поездки я не только ничего не знал о душевном состоянии Михаила Романовича, я и не понимал его поступков. Меня удивляло, как болезненно он реагирует на бесцеремонные вопросы журналистов, на издевательскую шутку одного из «колумнистов», на любую мелочь, которой Симонов или я даже не замечали. Потом я начал кое-что понимать, а узнал все слишком поздно.

В первый месяц нашей американской жизни я как-то зашел в номер Галактионова. Он сидел сгорбившись у стола, мне показалось, что он

нездоров. Он ответил: «Все в порядке» — и поглядел на меня глазами затравленного зверя. Я сказал, что нам нужно ехать на обед Юнайтед Пресс. Он встал, причесал волосы, даже улыбнулся и вдруг тихо выговорил: «Каждый день встречаться с иностранцами... Это пытка!..»

Он честно выполнял порученную ему работу: выступал на собраниях, казался приветливым, общительным. Хотя «холодная война» усиливалась, журналисты вели себя куда почтительнее с генералом, чем с писателями. Однако Михаил Романович нервничал. Однажды крупный военный комментатор на приеме сказал ему: «Я слышал, что у вас готовится история войны. Мы теперь заняты тем же, стараемся разобраться в наших неудачах — на Тихом океане, в Африке, в Италии. Скажите, ваши военные историки могут проанализировать неудачные операции, например, Керченскую?» Галактионов ответил, что в первый год войны у немцев было преобладание в технике. Тогда американец, усмехаясь, сказал: «Разумеется, поскольку Красной Армией командовал генералиссимус Сталин, стратегические ошибки были исключены».

В Нью-Йорке я и Симонов весь день бродили по городу, а Михаил Романович не выходил из своего номера. Когда не было официальных обедов, он и ел у себя в комнате. Сотрудник торгпредства приносил ему из библиотеки книги. Было жарко, генерал раздевался, садился в кресло и читал Чехова, Тургенева, Лескова. Как-то я застал его за чтением Чехова. «Удивительный писатель, — сказал он, — кажется, десятый раз перечитываю и восхищаюсь. Он просвечивал насквозь человека. Вчера после того, как мы вернулись с проклятого ужина, я читал «Палату № 6». Чуть ли не наизусть знаю, но, когда дохожу до сцены, как Никита выдает доктору шутовской халат, не могу дальше читать... Бывают модные писатели. Когда-то я зачитывался Леонидом Андреевым. А здесь принесли мне его рассказы, не могу читать — смешно, устарело. А вот до вашего прихода я читал «Человека в футляре»... Меня точность поражает — ни одного слова не прибавишь и не убавишь. Вот вы послушайте: «Постное есть вредно, а скоромное нельзя...» Или еще вот это место: «Видеть и слышать, как лгут и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не смея открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться...» В дверь постучали, Михаил Романович захлопнул книгу.

На моей совести грех — сам того не подозревая, я способствовал развитию болезни Михаила Романовича. Начиналось нестерпимо знойное нью-йоркское лето, а он ходил в военной форме и страдал от жары. Притом он привлекал к себе внимание: стоило ему выйти на улицу — как на него все глазели. Я уговорил его купить летний костюм. Он ожил, сказал, что вышел под вечер погулять, и никто на него не смотрел, даже рассмеялся: «Наверно, я похож на обыкновенного пожилого бизнесмена...» А на следующий день я нашел его в ужасном состоянии, перед ним лежала газета, и он еле вымолвил: «Можете прочитать. Вот к чему привели ваши советы!..» Нужно сказать, что «колумнисты» усиленно нами занимались: один написал, сколько долларов потратил Симонов на ужин с актрисой, другой рассказывал, что я купил ящик дорогих гаванских сигар. И вот один из «колумнистов» написал: «Зацвели сады, запели птички, и грозный генерал Галактионов сменил свое оперение. Мы видали, как вчера он выпорхнул в светло-сером костюме и направился... Мы не скажем куда». Михаил Романович был подавлен: «Вы понимаете, что это значит? А я только дошел до угла и вернулся. Да что тут говорить!..» Я все еще не понимал и наивно сказал, что жена Михаила Романовича — умная женщина, если даже газета дойдет до нее, она рассмеется. Он крикнул: «Причем тут жена?.. Я вам говорю:



что там скажут?» Он показал на потолок. Я пытался его успокоить: мало ли писал вздора обо мне, Симонове, у нас знают стиль бульварных газет. Но он не успокоился: «Вам все сойдет — вы писатели. А я человек военный...» И вдруг не удержался: «Я слишком много пережил...» Сказал и быстро спохватился, заговорил о другом. Потом он мне рассказывал о своей молодости, о боях возле Самары, у Кронштадта, о встречах с Фрунзе, но никогда не возвращался к мрачным воспоминаниям.

Теперь много пишут и еще больше говорят о жертвах «культы личности», вспоминают расстрелянных, погибших в лагерях. Михаил Романович никогда не был арестован; он только ждал ареста. Семена Гудзенко спасли после тяжелого ранения, а умер он десять лет спустя от давней контузии. Михаил Романович был контужен ударной волной «ежовщины». Только недавно я узнал, что скрывалось за случайно вырвавшимися словами «я слишком много пережил». Послужной список Галактионова похож на множество других. В партию он вступил в 1917 году, ему тогда было двадцать лет, пошел на фронт, остался в армии, подымался вверх, кончил военную академию, работал в оборонной группе Совнаркома. Разразилась гроза: арестовали его сослуживцев. Дивизионного комиссара Галактионова обвинили в том, что он был связан с «вредителями». В его шкафу нашли книги «врагов народа». Партийное собрание единогласно постановило исключить его из партии. Он лишился военного звания, работы. Ему повезло: полгода спустя его восстановили в партии, потом взяли на работу в «Красную звезду». А в 1943 году кто-то наверху вспомнил, что был такой скромный и старательный человек, и Галактионову присвоили звание генерал-майора, ввели в редакционную коллегию «Красной звезды», потом перевели в «Правду», послали в Америку. Все стало на свое место. Только человек был контужен: он помнил, как на собрании его называли «трусом», «подхалимом», «лицемером», как ночью он прислушивался к шуму на лестнице.

Поездка в Америку ускорила развязку. Михаил Романович был меньше всего подготовлен к трудным и сложным разговорам с американскими журналистами, за внешней вежливостью которых чувствовал неприязнь. Особенно мучительными были дни в Канаде. Я рассказал об обстановке. Я удивлялся, как спокойно держался при чужих Галактионов. Его трювили, а он помнил, что не следует подливать масла в огонь, отвечал с достоинством, но, как всегда, учтиво, доброжелательно. На пароходе я сказал Симонову, что Михаил Романович душевно болен.

Он пробыл, кажется, неделю в Париже, повеселел, ходил в книжные магазины; как-то мы просидели с ним часок в Люксембургском саду возле памятника Верлену. Он говорил о священных камнях Европы, о Герцене, о парижских рабочих. Я подумал: пройдет, человек жив...

В 1947 году в «Правде» я встретил Михаила Романовича. Он плохо выглядел, был очень мрачен. Я хотел его развеселить, вспомнил, как в вашингтонской гостинице мы врвались в чужие номера — не знали, что цифры те же, но есть «W» и «E» — «запад» и «восток», это походило на водевиль. Но он не улыбнулся. 5 апреля 1948 года Михаил Романович Галактионов кончил жизнь самоубийством.

Я остановился в гостинице на левом берегу Сены около бульвара Сен-Жермен; мне отвели мансардную комнату с балконом, откуда был виден Париж — черепица, трубы, старые дома, сбившиеся, как овцы, в смутное, серое стадо. Порой в сумерки я любовался знакомой мне картиной, порой ее не замечал.

Мне сказали, что Дениз приехала на несколько дней из Аннеси, где жила с сыном. Мы пошли в кафе «Фрегат» на берегу Сены, там мы иногда встречались пятнадцать лет назад. Она рассказывала про годы оккупации. Глаза ее по-прежнему казались лунатическими. Я спросил, не рассердилась ли она, что актриса Жаннета из «Падения Парижа» напоминает ее. Она ответила: «Мне об этом говорили. Я не стала читать...» В чернильной Сене бились красные и зеленые круги.

Арагон и Эльза Юрьевна позвали Симонова и меня на «Чердак» — так называлось помещение Комитета писателей. Еще жила память о годах оккупации, спайка военного времени. Я увидел много старых знакомых — Элюара, Вильдрака, Кассу, Кокто, Авелина, Мартен-Шоффье, Полана, Сартра. Молодые, с которыми я встречался, обязательно заговаривали о Сартре — видимо, он выражал беспокойство тех лет. Париж и вправду изменился: мало кто из писателей говорил о реализме, сюрреализме, персонализме — рассказывали о Сопрогивлении, о книгах, выходивших в подполье, о неразберихе — искали, где свои, вероятно, многие в громких и противоречивых событиях искали себя.

Здесь мне хочется сказать хотя бы коротко об Арагоне. Познакомился я с ним в 1928 году, когда он был молодым, красивым сюрреалистом. На Монпарнассе много говорили и об его прекрасной книге «Парижский крестьянин», и о различных шумливых демонстрациях: задором сюрреалисты напоминали наших футуристов, Арагон был одним из самых боевых. Потом он стал сторонником реализма, коммунистом, создавал различные организации, редактировал журналы, газеты. Мы продолжали с ним встречаться и порой отчаянно спорили. В 1957 году Арагон возмутился нападением на меня одного критика в «Литературной газете» (это было после моего очерка о Стендале) и выступил в «Леттр франсэз» с ответом. В статье он, между прочим, писал: «Я привык, и уже говорил об этом, спорить с Ильей Эренбургом в течение тридцати лет. Мы расходимся во всем, кроме самого существенного — мира и социализма, войны и фашизма...» Может быть, я заговорил об Арагоне именно в этой главе потому, что в 1946 году «самое существенное» поглощало всех и мы с ним даже мало спорили. А в общем, Арагон прав: порой мне бывало с ним трудно, но ни разу наши споры не переходили в размолвку.

Не стану говорить о том, что всем известно: это большой поэт и большой прозаик; одни его книги мне близки, другие нет, но я сейчас не об этом хочу сказать. Он человек очень сложный, он часто менял свои оценки, но он справедливо сердится, когда пробуют противопоставить один его период другому — он всегда оставался Арагоном. В нем есть одержимость, даже когда он пишет классическим стихом или посвящает страницы романа описанию одежды героя. Выбрав линию жизни, с начала тридцатых годов он защищал от врагов и то, что называл «самым существенным», и то, с чем по-человечески не мог примириться, защищал искренне и неистово. К «самому существенному» нужно добавить любовь к Франции: она органична и всепоглощающая — она продиктовала и его стихи в годы Сопрогивления, и роман «Страстная неделя». Мне кажется, что он преемник Гюго, только нет у него ни внуков, ни уютной бороды, ни некоторых идиллических картин, которыми утешался Олимпо, а близок ему Арагон блистательностью, красноречием, неутомимостью, ясностью, гневом, романтикой реальности и реализмом романтического. Конечно, у Арагона больше горечи — на дворе другое столетие...

В последний раз мы виделись в начале 1963 года. Он расспрашивал меня о том, что тогда волновало людей, связанных со стихией искусства. Потом мы замолкли. Я глядел на него и видел молодого сюрреалиста в

баре «Куполь». Вот только волосы побелели... Он принес рукопись своей новой книги и прочитал мне исступленное стихотворение о трагедии мавра, который говорит о своей вере, о том, как много горя причинил ему коран.

А в 1946 году Арагон был веселым — еще свежей была победа.

Приехала из Москвы Люба. Фотинский повел нас на Монпарнасс. В кафе сидели незнакомые люди. Потом пришла Дуся, она, как когда-то, смеялась, но рассказывала грустное — как пряталась при оккупации, как исчезали люди. Вишняков отправили в Освенцим. Замучали художника Федера. Когда Сутин заболел, хотели вызвать врача, но он испугался, что врач выдаст его немцам, и умер без медицинской помощи.

Андре Шамсон позвал нас к себе, он был директором музея Пти Пале. Мы ходили по пустым залам — музей был закрыт, и я долго стоял перед холстом Ватто; снова думал о непонятной силе искусства. Когда Ватто было двадцать лет, он считался художником жанра, писал бедствия войны в манере фламандцев; пять лет спустя он нашел себя — вот паяц, в котором все горе художника, да и трагедия внешне легкомысленного века, профессионал-комик, забывший про свое амплуа...

Мы пошли к Марке. Он, как всегда, застенчиво улыбался, молча показывал пейзажи. Мы спорили о том, что будет с Францией, он глядел, может быть, на реку, а может быть, пытался разглядеть будущее.

Окна квартиры Пьера Кота тоже выходили на Сену. Вода никогда не надоедает, она течет, меняется, и, глядя на нее, можно говорить обо всем — о поэзии, о Бидо, о времени и о минуте. Пьер Кот объяснял мне, что правительственная коалиция недолговечна; предстоит междоусобица, неизвестно кто победит — Франция разорена, а деньги у Америки...

Нас позвал к себе Эффель, печально дурачился, показывал новые карикатуры.

Ланжевен плохо выглядел, постарел, его чудесные глаза стали еще умнее, еще печальнее. (Я не знал, что ему осталось жить всего несколько месяцев.) Он сказал мне: «Все было бесчеловечно, но, может быть, самое бесчеловечное впереди»...

Из Монбара приехала Шанталь. Мы попробовали вспомнить далекую молодость и сразу осеклись; говорили о холстах Боннара, о Лондоне, о мирной конференции (в Люксембургском дворце, где до войны заседали почтенные сенаторы, я увидел Вышинского — шли споры о мирном договоре с Италией). Шанталь меня спрашивала, как пишут советские художники, а я говорил про Касторное.

На набережной, как и полвека назад, на складных стульчиках сидели дряхлые букинисты. Только Вольтер исчез: немцы соблазнились — не усмешкой, а бронзой.

Я был с близкими мне людьми, с близкими и бесконечно далекими. Я знал нечто, о чем не мог им сказать, да и они пережили за шесть лет много такого, о чем не расскажешь ни за час, ни за месяц. Все меня спрашивали, изменился ли Париж, я отвечал «нет» — город тот же, но я теперь чувствовал себя чужим, прохожим, который хочет подглядеть в окно чужую жизнь. Я не мог, как прежде, принимать к сердцу то, что моим друзьям казалось близким и важным.

«Париж очень изменился, — сказал я Дениз и тотчас поправился: — Наверно, изменился я...»

Конечно, во Франции мне было куда легче, чем в Америке: французы понимали, что такое война. (В Нью-Йорке одна дама мне сказала, что американцы в годы войны тоже терпели лишения, она, например, с трудом достала белую рубашку для мужа, повсюду были только кремовые или голубые.) Во Франции было трудно с обувью; на улицах еще раздавалась чечетка деревянных подошв; в одном бретонском городе я видел,

как, когда пошел дождь, девушки разулись, а туфли спрятали под плащи. Парижские модницы ходили без чулок и передвигались на велосипедах с большими авоськами, перекинутыми через плечо. В витринах дорогих магазинов были выставлены клипсы из керамики, платочки, расписанные изголодавшимися художниками, безделки из бумаги, глины, стекла. В винодельческих районах, где до войны кабатчик ополаскивал стакан вином, чтобы не идти к крану, рабочие за обедом пили воду. В фешенебельном курорте Ла-Боль развлекались богатые парижанки, американские военные и тут же ютились жители разрушенного Сен-Назера. В Туре, пострадавшем от бомбежек, я увидел ряды унылых барачков. Говорили о том, что нет масла, нет мяса, скоро зима, а об угле нечего мечтать. Все было понятно, знакомо.

Те, что разбогатели за годы оккупации, успели отдышаться, нашли влиятельных защитников, пили аперитивы на Елисейских полях, загорали на пляжах. В Анже владелец ликерного завода мосье Куантро, показывая мне различные цеха, говорил: «Немцы очень ценили наши изделия»... Я часто слышал от богатых виноделов Анжу и Турени: «1942-й был замечательным!» Они говорили о достоинствах вин — один год не походит на другой. Но я вспоминал Ржев, сожженную Старицу, голодных солдаток... Один критик мне рассказывал, что на премьерах немецкие офицеры восхищались остроумием Кокто, Жироду, Салакру. В доме Анатоля Франса я увидел на стене размашистую подпись: «Здесь побывал солдат Клотцке».

Всего год прошел после окончания войны, а многие о прошлом не думали. Газеты писали о различных аферах то с вином, то с карточками на текстиль. Министром продовольствия назначили Ива Фаржа. Я его встретил 14 июля во время демонстрации, он сказал: «Я тоже был в Америке. Присутствовал при испытании бомбы в Бикини, там мне сообщили о назначении. Я не мог отказаться... Бикини — это грязная история. Я попробую что-то сделать. Но и здесь много грязи, слишком много...» Фарж объявил войну крупным мародерам, богатеющим на вине, мясе, хлебе. На своем посту он продержался всего четыре месяца — короли «черного рынка» оказались сильнее.

Все путалось — бывлые мюнхенцы, коллаборационисты, вчерашние партизаны. На фасадах старых церквей, школ, рынков, тюрем красовались «да» или «нет», выведенные краской, дегтем, мелом, — ответы на референдум.

Передо мной фотография — президиум собрания, где я выступал, а Симонов читал стихи. За длинным столом — Эррио, премьер Бидо, Торез, Ланжевен, посол Богомолов. Торез жил во дворце Матиньон; как-то он позвал нас ужинать. Сановитый привратник оглядел нас, и в этом взгляде сказались неприязнь: конечно, Торез был заместителем премьера, но для привратника он оставался подозрительным заговорщиком.

Я был в Париже во время очередного референдума. За два года французов в седьмой раз приглашали к урнам; многим это надоело и процент непроголосовавших был высок. Де Голль предложил отвергнуть текст новой конституции. В «Известиях» за октябрь 1946 года я нашел мою статью о Франции, в ней я писал: «Де Голль — человек, перенесенный из семнадцатого века в двадцатый. Он вовремя понял значение моторов в войне, но значение тех, кто изготавливает моторы, осталось для него скрытым. Может быть, он считает себя новой Орлеанской девицей, призванной спасти Францию? Люди, которые несколько лет тому назад кричали, что де Голль «изменник», «террорист», «коммунист», теперь кричат: «Вся власть де Голлю!»

Новая конституция была одобрена незначительным большинством: Пьер Кот был прав — я увидел Францию, расколовшуюся на две поло-

вины. Впрочем, это началось давно — еще в середине тридцатых годов: рабочие были недостаточно сильны, чтобы взять в свои руки власть, и достаточно сильны, чтобы правящий класс жил в постоянной тревоге. Этим неустойчивым равновесием в значительной степени объясняются события 1938—1940 годов. Скрытая гражданская война продолжалась и в то время, о котором я рассказываю.

Мы провели несколько недель в Рошфор-сюр-Луар, где нас приютил владелец аптеки поэт Жан Буйе. Я увидел, как отражаются политические события на буднях крохотного городка. Некоторые набожные католички за лекарствами ездили в Анже, чтобы не поощрять аптекаря, слывшего «красным». Я хотел зайти в кафе, но Буйе меня остановил: «Этот кабатчик «сотрудничал»...» Детям католиков родители запрещали играть с детьми безбожников. Мэром оставался тот же человек, что был мэром при немцах, — крупный землевладелец и торговец вином: большинство голосовало за правых. А меньшинство открыто обличало вчерашних коллаборационистов.

Я много бродил по окрестным холмам. Кругом были виноградники, луга, старые вязы или тополя, островки на широкой Луаре, глубокий мир августа. Впервые за много лет я отдыхал, старался ни о чем не думать. Но стоило заглянуть в деревушку, посидеть в полутемном кабачке, где крестьяне рассуждали о том о сем, как мне передавалось общее беспокойство, духота слишком долго собиравшейся, но так и не разразившейся грозы.

В другом городке, который славится вином, Вуврэ, в пещерах — погреба, там зимой не холодно, а летом не жарко. Вуврэ, как Франция, распался на две почти равные половины. Зажиточный винодел говорил: «Зачем ломать горшки? Коммунисты не крестьяне, а пришлые... Мое богатство оплачено потом трех поколений». Дочь другого винодела Бедуар была коммунисткой, кандидатом партии на выборах в Учредительное собрание. Ее муж прежде работал в Париже. Мы разговаривали с его старым отцом, он говорил: «Мой отец был коммунаром»... А двенадцатилетняя дочка Бедуаров могла побить профессиональных дегустаторов: в точности определяла год вина и откуда оно — с холма или с участка возле кладбища.

В Лимузене я познакомился со многими участниками маки. Они меня водили по лесам, рассказывали о стычках — в моей голове рождались многие герои «Бури»: Деде, Мики, Медведь. Я услышал песню: «Свисти, свисти, товарищ...»

Я побывал в Орадуре. Жителей этого городка гитлеровцы собрали в церкви, детей — в школе и сожгли. Уцелели те, что работали в поле. На обгоревших стенах еще виднелись вывески кабачков, рекламы шоколада Менье. При въезде в город плакат предупреждал: «Тише!» — развалины стали реликвиями. А рядом строили новый Орадур, и его мэр был коммунистом.

Марсель Кашен предложил мне поехать с ним в городок Эймутье — там праздновали пятидесятилетие боевой деятельности старого коммуниста Фрезье. Кашен вспоминал: «Я выступал в Эймутье сорок лет назад, помню на собрание пришли трое. А сейчас здесь не меньше двух тысяч...» Потом обедали, сидя на длинных скамьях. Кашен мне говорил, что теперь Советский Союз — победитель, он сможет спокойно восстанавливать города; расцветет культура; никогда американцы не посмеют напасть — Западная Европа «восстанет». Потом он спросил, правда ли, что в Москве закрыли Музей западной живописи: «Я там несколько раз был — чудесная коллекция. Особенно наших импрессионистов...» Я знал, как Кашен восхищается холстами своего друга Синьяка, и вместо ответа заговорил о только что открывшейся выставке картин, похищенных гит-

леровцами и вернувшихся во Францию,— там были прекрасные пейзажи Синьяка.

В Дордони можно было дешево купить полуразвалившиеся усадьбы. Одну из них приобрел художник Люрса, коммунист. Он мне рассказывал, что к нему пришли крестьяне, и старик сказал: «Товарищ помещик, ты как раз вовремя приехал — мы решили создать парторганизацию...»

Отдыхать мне пришлось недолго. «Известия» торопили с очерками об Америке, о Франции. Общество дружбы «Франция — Советский Союз» просило поехать по стране. Я выступал на больших собраниях в Лионе, Сен-Этьене, Лиможе. Приходилось выстаивать на различных приемах — в мэриях, в отделениях Общества дружбы, в союзах журналистов, говорить по радио, отвечать на сотни вопросов. В Лиможе я ночевал в префектуре в парадной комнате, где останавливались министры. В Лионе автор «Клошмерля» Шевалье хотел, чтобы я ему объяснил, чем страшен Зошенко. Скульптор Саландр просил рассказать о наших памятниках. В Лион приехал летчик «Нормандии» Жоффри, с ним я отдохнул, он вспоминал Минск, генерала Захарова, советских механиков — все стояло на своем месте: отвага, могилы, дружба.

Хрупкая антигитлеровская коалиция официально еще держалась; я часто слышал, что она скреплена кровью и что нет цемента прочнее. Человеку всегда хочется верить в лучшее. А история зачастую пренебрегает не только логикой, но и тем, что мы называем совестью.

Несколько раз я заходил в Люксембургский дворец на мирную конференцию. Протекала она отнюдь не мирно. Недавние союзники обвиняли друг друга в коварстве. Особенно резко выступал австралиец Эванс. В глазах журналистов он вскоре стал «звездой» — знали, что стоит ему взять слово, как произойдет скандал, и в буфете для прессы оставляли неподпитыми чашки кофе, когда кто-нибудь сообщал: «Сейчас выступит Эванс...»

Я на себе почувствовал, что такое «холодная война». Когда я оставился в Париже по дороге в Америку, газеты писали обо мне приветливо или по меньшей мере вежливо. Это было ранней весной. А поздним летом и осенью многие газеты начали меня ругать. Одна уверяла, что я подкуплен — у меня в Москве квартира из десяти комнат, вилла в Крыму, даже охотничий павильон в Белоруссии. Другая писала, что я злоупотребляю исконным гостеприимством Франции, хочу восстановить французов против американцев, уверяю, будто негры в Соединенных Штатах лишены свободы, наверно, мне поставят памятник в Черной Африке, но из Франции мне лучше уехать. Третья, вдруг припомнив далекое прошлое, требовала, чтобы я вернул французским держателям царских займов «украденные у них деньги». В Лионе продавцы газет, желая сбыть местную вечерку, залихватски кричали: «Москва готовится оккупировать Францию!» В Нанте какие-то подростки разграбили дорогой ресторан; одна из местных газет уверяла, что у преступников найдены русско-французские словари; в очередном интервью меня ехидно спросили, не был ли я часом в Нанте.

Коммунистическая партия была самой сильной во Франции. Неустойчивое равновесие сохранялось: «холодная война» шла в любом французском городе. Пьер Кот говорил: «Исход неизвестен...» Человеку не хочется огорчать себя, и мне казалось, что все так или иначе наладится. Стояла чудесная осень, в октябре цвели розы. Люди улыбались — характер у французов легкий, они способны утешиться хорошей погодой, шуткой, миловидной женщиной, прошедшей мимо.

Я зашел к Жан-Ришару Блоку в редакцию «Се суар». Он предложил пойти в соседнее кафе, выпить стаканчик вина. Излагал свои надежды: социалисты не смогут порвать с коммунистами, а за этими двумя пар-

тиями большинство — и в парламенте и в стране. Потом он заговорил о Москве и вдруг вынул записную книжку: «Переведите». Я прочитал записанную латинскими буквами русскую поговорку «перемелется — мука будет». Перевести было нелегко, но я перевел и шутя добавил: «У нас иногда говорят вместо «мука́» «му́ка»...» Он сердито посмотрел: «Му́ка — когда мелют. А когда перемелют — должна быть мука́».

## 12

В крохотной, хорошо мне знакомой квартире на улице Суридьер, где жили Арагоны, я увидел чудесные рисунки Матисса. Арагон рассказал, что в 1942 году часто встречался с Матиссом — в Ницце, где художник всегда живет, а теперь он в Париже — работает над картонами для ковров. От Арагона я узнал, что в 1941 году Матисса оперировали — вырезали желудок, он вынужден работать в кровати, а когда встает на несколько часов, надевает на себя корсет.

В сентябре Арагон сказал мне, что Матисс хочет, чтобы я ему позировал. Дом, в котором он жил, находился почти напротив гостиницы «Ницца», где прошла моя молодость. На стенах обыкновенной спальни висели картоны с приколотыми кусками цветной бумаги. Я увидел лицо, хорошо мне знакомое по многим фотографиям, но, когда он снял очки, меня удивили светлые голубые глаза.

Когда я познакомился с Пикассо, Леже, Модильяни, я был зеленым юношей, да и они были всего на восемь—десять лет старше меня. В те времена я восхищенно глядел на холсты Матисса, но художника я увидел впервые, когда ему было семьдесят семь лет.

Он поздно начал. Пикассо в четырнадцать лет рисовал, как опытный мастер; а Матисс учился юриспруденции, работал в нотариальной конторе. Когда ему было двадцать лет, после операции аппендицита он со скуки начал перерисовывать картинки. Великий мастер Возрождения Мазаччо умер в возрасте двадцати семи лет, столько же было Рафаэлю, когда он закончил свои знаменитые «станцы». Пикассо успел до двадцати семи лет написать холсты «голубого периода», «розового», «Авиньонских девушек» и пришел к кубизму. А умри Матисс в двадцать семь лет, от него остались бы только ученические работы, помеченные талантом.

Я позировал Матиссу три раза. Во время первого сеанса он мне рассказал: «Когда меня понесли на операционный стол, я про себя простился с жизнью. Случилось чудо — судьба мне подарила вторую жизнь. Надбавку... И, знаете, я теперь особенно остро радуюсь всему — людям, деревьям, краскам...»

Над кроватью висели картонные диски с черным кружком, продырявленным пулей. Матисс объяснил, что иногда отправляется в тир, хотя это ему трудно: «В моем ремесле очень важно сохранить хорошее зрение и твердость руки. Проверяю...»

За три сеанса он сделал, если память мне не изменяет, около пятнадцати рисунков, два подарил мне и под лицом красивого юноши, чуть улыбаясь, надписал: «По Эренбургу». Не знаю, следует ли назвать эти рисунки портретами. Он говорил, что не может писать или рисовать иначе, чем с натуры. Я видел, что, рисуя, он всматривается в мое лицо. Во всех рисунках было нечто общее: «Таким я вас представляю... В другой раз, показав мне рисунок, Матисс сказал: «Это — голова, глаза, рот плюс то, что я о вас знаю...» Работая, он все время разговаривал, точнее спрашивал, хотел, чтобы я говорил: «Это мне не мешает, а помогает». (А он рассказывал многое, отдыхая между двумя рисунками.) В конце последнего сеанса он сказал, что теперь знает мое лицо, знает и меня,

но тотчас поправился: «Лучше сказать: вижу и чувствую». Когда я спросил его, почему он привязан к природе, он улыбнулся: «Я всю жизнь учился и теперь учусь расшифровывать иероглифы природы...»

Меня поразила точность линии — рука не колебалась. (Потом я увидел документальный фильм о Матиссе, там применен способ замедленного показа, видно, как точно художник проводит линию.) Я сказал ему, что меня поражает уверенность рисунка. Он покачал головой: «Конечно, за шестьдесят лет кое-чему я научился. Далеко не всему... Помню, я читал книгу о Хокусан, он прожил девяносто лет и незадолго до смерти признался ученикам, что продолжает учиться... Никакой уверенности у меня нет. Поэты прежде любили говорить о вдохновении. А мы говорим: «Сегодня хорошо работается». Это связано с внутренним состоянием: иногда чувствуешь — значит видишь, а иногда не выходит... Сколько в моей жизни я уничтожил рисунков, сколько раз закрашивал неудавшийся холст!..»

Во время последнего сеанса он много говорил об искусстве. Позвал молодую женщину, Л. С. Делекторскую, которая помогала ему в работе над картонами: «Принесите слона». Я увидел негритянскую скульптуру, очень выразительную — скульптор вырезал из дерева разъяренного слона. «Вам это нравится?» — спросил Матисс. Я ответил: «Очень». — «И вам ничто не мешает?» — «Нет». — «Мне тоже. Но вот приехал европеец, миссионер, и начал учить негра: «Почему у слона подняты вверх бивни? Хобот слон может поднять, а бивни — зубы, они не двигаются». Негр послушался...» Матисс снова позвонил: «Лидия, принесите, пожалуйста, другого слона». Лукаво посмеиваясь, он показал мне статуэтку, похожую на те, что продают в универмагах Европы: «Бивни на месте. Но искусство кончилось».

Тогда же он начал говорить об истоках современной живописи: «Арагон считает, что все началось с Курбэ. Может быть. Может быть, позднее — с Манэ. А может быть, и куда раньше. Дело не в этом. Знаете, кому многим обязана современная живопись? Дагеру, Ньепсу. После изобретения фотографии отпала нужда в описательной живописи. Как бы ни пытался художник быть объективным, он пасует перед фотообъективом. Для того, чтобы судить, каким был Энгр, я должен посмотреть его автопортрет, портреты Давида, других художников, каждый из них расходится с другими, и я не знаю, какой рот был у Энгра. А Гюго я знаю по дагерротипам, по фотографиям. Глаз и рука художника подчинены его эмоциям. Я изучал анатомию, если мне захочется узнать, каковы породы слонов, я попрошу фотографии. А мы, художники, знаем, что бивни могут подыматься...»

Он много курил, на кровати лежали пачки различных сигарет — французских, египетских, английских. «Моя жидкая пища однообразна и ничего не говорит небу. Различный вкус сигарет — это то чувственное наслаждение, которое мне оставили. беру одну, потом другую. Ну и глаза... Никогда прежде я так не радовался цветку или красивой женщине...»

Я пришел к нему в последний раз 8 октября. Он вырезывал арабески для ковра. Ножницы столь же уверенно проводили линию, как уголь или карандаш. Картоны для двух ковров «Полинезия» были почти закончены. (Много позднее я увидел его картины, сделанные с помощью цветной бумаги — он не мог сидеть у мольберта, а его преследовали живописные замыслы. Он умер в возрасте восьмидесяти пяти лет и до конца продолжал работать. Из личной беды он создал новую возможность, и, глядя на картины с наклеенными кусками бумаги, забываешь о человеке, прикованном к кровати, видишь крылья творчества.)



Матисс расспрашивал меня о Москве. «Я там был ровно тридцать пять лет назад — в октябре 1911-го,— меня пригласил Щукин... Я пробыл недолго. Увидел Рублева. Это, может быть, самое значительное в мировой живописи... В Москве я кое-что понял, почувствовал... Я не разбираюсь в политике, но не скрываю моей симпатии к вашей стране. Наверно, в организации общества необходим разум, как в композиции картины. Удивительно, что русские это поняли первыми, ведь когда я был в Москве, мне казалось, что русские в будничной жизни обожают беспорядок...»

(Матисс всегда чуждался политики, однако после начала «холодной войны» он начал говорить, что некоторые люди на Западе потеряли рассудок, что необходимо спасти мир. В 1947 году я написал для «Литературной газеты» статью о борьбе за мир. В ней были такие строки: «Не случайно среди коммунистов или друзей Советского Союза мы видим крупнейших ученых Франции — покойного Ланжевена и Жолио-Кюри, крупнейших ее художников — Пикассо и Матисса, крупнейших ее поэтов — Арагона и Элюара». Арагон получил французский перевод статьи и опубликовал его в «Леттр франсэз». А несколько дней спустя в Париж пришел номер «Литературной газеты», и антисоветская печать с восторгом поместила примечание: «Редакция считает неправильным, что тов. И. Эренбург обходит молчанием вопрос о формалистско-декадентском направлении творчества Пикассо и Матисса». Друзья мне рассказывали, что Матисс, прочитав об этой истории, рассмеялся. В 1948 году он послал приветствие Вроцлавскому конгрессу, а в 1950 году подписал Стокгольмское воззвание.)

Редко я встречал человека, который и внешностью, и складом ума был бы настолько выраженным французом, как Матисс. Больше всего он любил ясность. Конечно, с точки зрения художника, стремящегося состязаться с фотографом, его творчество изобилует деформацией предметов, мне же оно кажется не только реалистическим, но и освещенным сознанием потустороннего картезианца.

Он рассказывал о русских коллекционерах: «Щукин начал покупать мои вещи в 1906 году. Тогда во Франции меня мало кто знал. Гертруда Стайн, Самба, кажется, всё... Говорят, что есть художники, глаза которых никогда не ошибаются. Вот такими глазами обладал Щукин, хотя он был не художником, а купцом. Всегда он выбирал лучшее. Иногда мне было жалко расставаться с холстом, я говорил: «Это у меня не вышло, сейчас я вам покажу другие...» Он глядел и в конце концов говорил: «Беру тот, что не вышел». Морозов был куда покладистее — брал все, что художники ему предлагали. Мне рассказывали, что в Москве теперь чудесный музей новой западной живописи...»

«Лидия, принесите портрет Щукина»... Я увидел прекрасный холст раннего Матисса. Он сказал: «Его много раз хотели купить, но я не продавал. По-моему, его место в Москве, в Музее западной живописи. Если вас это не затруднит, возьмите с собой, передайте в музей, как мой дар». Я знал, что Музей западной живописи закрыт, холсты Матисса хранятся в фондах. Куда я его отвезу?.. Я сказал Матиссу, что возьму портрет в следующий раз — наверно, скоро снова поеду в Париж. Потом я упрекал себя — нужно было взять и сохранить у себя, теперь бы он висел в Эрмитаже или в Музее Пушкина. Но такого рода мысли французы называют «сообразительностью на лестнице», а русские говорят: «Крепок задним умом».

Матисс упомянул в разговоре, что в годы оккупации делал рисунки к стихам Ронсара. Я рассказал, как нашел в Восточной Пруссии первое издание Ронсара, сказал и про то, как раздирающе было читать стихи о радости среди могил и развалин. Матисс ответил: «Я вас понимаю...

Я думаю, что поэт похож на художника. А живопись живет любовью к жизни, восхищением жизнью и ничем иным. Можно обладать гением, но, если художник не в ладах с жизнью, он заставит людей спорить о нем, превозносить его, но никого не обрадует...»

Матисс родился на севере Франции, но почти сорок лет прожил и проработал в Ницце, там и умер — влюбился в цвета юга. Что он писал? Молодых женщин в ярких платьях, в пестрых шалях, пальмы, анемоны, птиц, золотых рыбок, кактусы, зеленые жалюзи, раковины, апельсины, причудливые тыквы, море, большие кувшины, небо, танцы — он знал земное, телесное счастье и умел этим счастьем поделиться. А когда мне выпала удача и я увидел творца радостного, ослепительного мира, передо мной оказался старый человек, которого страшная болезнь пыталась придавить и который продолжал работать — мудро, скажу не сграшась, что слово может резнуть, — весело.

Для меня тогда только начинался вечер жизни, встреча с Матиссом была и радостью и уроком.

## 13

В последней части этой книги еще меньше, чем в предшествующих, я буду придерживаться хронологической последовательности. Описывать события не к чему — они у всех в памяти. Картины Москвы моего детства, «Ротонда», кафе, где «ничевоки» провозглашали конец мира, для большинства читателей неизвестны, но вряд ли стоит перечислять все эпизоды «холодной войны» или описывать все конгрессы сторонников мира. Да и пора бы, дойдя до послевоенных лет, попытаться понять время, себя. Но объяснить все, что я видел и пережил, мне не под силу. Конечно, лестно выглядеть в глазах читателей человеком, взобравшимся на гору, откуда все как на ладони. Но я не хочу лгать. Раньше я не раз говорил о том, как ошибался, заглядывая в будущее, это не могло никого удивить: я ведь не выдавал себя ни за пророка, ни за гадалку. Теперь приходится признаться и в другом: задумываясь над прожитым, я вижу, до чего мало я знаю, а главное — из того, что знаю, далеко не все понимаю.

Чем ближе события, тем чаще я обрываю себя. Когда я писал в одной из предшествующих частей, что буду все реже и реже приподымать занавеску исповедальни, я думал о своей частной жизни — хотел предупредить, что если я мог рассказать про первую любовь гимназиста, то не стану исповедоваться в «кружении сердца» взрослого человека. А в последней части книги то и дело опускается не только занавеска исповедальни, но и занавес театра, на сцене которого разыгрывалась трагедия моих друзей, сверстников, соотечественников. Когда-то я бывал всюду младшим; из людей, описанных мною в первых частях, мало кто остался в живых. В послевоенные годы редко где я не был старшим, и почти все люди, с которыми я встречался, живы. Скажу и о событиях. У писателя есть своя внутренняя цензура, она хватается за ножницы не только когда речь идет о людях, но и когда вспоминаются детали некоторых событий, казалось бы, давно рассекреченных историей. Я ведь не чувствую себя гражданином в отставке, отшельником или хотя бы умиротворенным пенсионером. Описывая прошлое, я защищаю мои сегодняшние идеи, пытаюсь перекинуть мостик в будущее. Есть, конечно, у меня недоброжелатели, но не так уж много я о них думаю. А вот у советского народа, у идей, которые мне близки, врагов хоть отбавляй, и на них я не могу смотреть с другой звезды или из другого века — битва продолжается. Это тоже заставляет меня опустить некоторые детали; но, конечно, о самом главном я не хочу, да и не могу умолчать.

Наконец меня ограничивает сознание, что где-то придется поставить черту — окончить книгу, следовательно, попытаться подвести итоги. Окончить я решил на том времени, когда писал «Оттепель». «Последнее сказанье», таким образом, написано не будет — я не старец Пимен и эта книга меньше всего бесстрастная летопись. Как бы ни казалась лоскутной история пережитых мною послевоенных лет, как бы ни выглядели картины разрозненными, дни и мысли оборванными, я верю, что читатели почувствуют в сбивчивом рассказе не проповедь, а исповедь.

Возвратившись в Москву, я вернулся к «Буре» и окончил ее летом 1947 года. Писал я с утра до ночи, торопился, хотя знал, что именно работа над романом ограждает меня от горьких мыслей и что не скоро мне удастся снова сесть за книгу. Так и случилось. Но если я долго не решался начать роман, то, закончив его, еще дольше не мог освободиться от героев, продолжал с ними мысленно беседовать — не только потому, что автору всегда мучительно расстаться с теми из персонажей книги, которых он полюбил, но и потому, что память о войне позволяла мне мириться со многим происходившим вокруг.

Иногда по вечерам я слушал наше и парижское радио. За то время, когда я писал «Бурю», мир успел измениться. Моя поездка за границу казалась давней буколичкой. Во Франции рабочие проиграли массовые забастовки, полиция стреляла в демонстрантов. В Америке крайние круги одержали верх. Я слышал новые слова: «план Маршалла», «доктрина Трумэна», «превентивная война». Это было неправдоподобно и страшно: ведь не прошло и трех лет со дня общей победы, люди еще хорошо помнили огонь минометов, бомбежки, прожитые всеми жестокие годы. Я слушал по радио псевдоученые разговоры о необходимости «отстоять западную культуру от советской экспансии», слушал и возмущался. Один видный французский писатель, сторонник де Голля, заявил, что существует «атлантическая культура», его выступление совпало с созданием Северо-атлантического союза. Все это слишком напоминало рассуждения гитлеровцев о превосходстве культуры, созданной «северной расой».

Отвечая в газетных статьях на военную пропаганду Запада, мне порой удавалось напомнить о некоторых вдоволь азбучных истинах, в те годы часто попиравшихся. В августе 1947 года я писал: «Культуру нельзя разделять на зоны, разрезать, как пирог на куски. Отделять западноевропейскую культуру от русской, русскую от западноевропейской попросту невежественно. Когда мы говорим о роли, которую сыграла Россия в духовной жизни Европы, то отнюдь не для того, чтобы принизить другие народы. Ходули нужны карликам, и о своем расовом, исконно национальном превосходстве обычно кричат люди, не уверенные в себе. Глубокая связь существовала с древнейших времен между мыслителями и художниками различных стран, способствовала богатству и многообразию культуры. Мы учились у других, и мы учили других. Нужно ли еще раз напоминать, что без классического русского романа нельзя себе представить современную европейскую и американскую литературу, как нельзя себе представить современную живопись без того, что создано французскими художниками прошлого века. Белинский сто лет назад писал, что европейские народы «нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно бессильных и ничтожных».

Западные газеты меня называли «беспечным шулером» и «остроумным циником» (знакомые слова). А у меня на сердце окребли кошки.

К. М. Симонов, с которым в то время я часто встречался, рассказал мне, что Сталин придает большое политическое значение борьбе против

низкопоклонства перед Западом. Кампания ширилась. Как это часто бывало, некоторые сами по себе разумные мысли доводились до абсурда. Преклонение перед всем заграничным высмеивал еще Фонвизин — это очень старая болезнь: восхищались немецкой техникой, уверяли, что «немец луну сделал», и одновременно залихватски повторяли: «Русский немцу задал перцу». Я с детства видел приниженность и спесь настолько породнившимися, что трудно было определить, где начинается одно и кончается другое. Часто, выслушивая наивные восхваления наших туристов, впервые оказавшихся за границей, я вспоминал созданную Мятлевым мадам де Курдюков. Комплекс неполноценности порождал комплекс превосходства. В одном и том же номере газеты можно было найти высокомерное заверение, что наша агрономия первая в мире, и сообщение о том, что какому-то голландскому негоднику понравился русский балет.

Достаточно заглянуть в Большую Советскую Энциклопедию, точнее в ее тома, вышедшие до 1954 года, чтобы увидеть, к каким искажениям приводила кампания против низкопоклонства: о работах иностранных ученых гворилось бегло. Не лучше было и с историей искусства. Далее хозяйственники пытались проявить рвение, и сыр «камамбер» был переименован в «закусочный».

Некоторые люди на Западе занялись легким, зачастую невежественным зубоскальством. Один крупный романист на митинге иронически заявил, что русские говорят о каких-то заслугах никому не ведомого радиотехника Попова. (Заглянув теперь в маленькую энциклопедию Ларусса, я увидел: «Беспроволочный телеграф изобретен в 1895 году Поповым (Россия) и Маркони (Италия)».) В Палате депутатов Бидо издевательски сказал: «Нам объявляют, что великие открытия сделал некто Ломоносов». Я ответил в «Правде»: «Мне отвратителен национализм, я не терплю людей, которые оскорбляют культуру другого народа. Возмущаясь поведением г. Бидо, я отстаиваю пietet не только перед Ломоносовым, но и перед Лавуазье. Великие люди остаются великими безотносительно от того, что о них скажет некто Бидо».

Вернувшись из Америки, Симонов написал повесть «Дым отечества», в ней он хотел противопоставить сытым и самодовольным американцам душевные богатства жителей Смоленщины. На обсуждении «Дыма отечества» К. А. Федин и я говорили о достоинствах этого произведения. На Сталина, однако, повесть произвела другое впечатление. Не знаю, что его рассердило — попытка Симонова иметь собственные суждения или название повести, но только «Культура и жизнь» обругала «Дым отечества», а заодно Федина и меня.

Прочитав письмо одного из моих французских друзей, который справлялся о моем здоровье, я не сразу понял, в чем дело, а потом получил из нашего посольства кипу газетных вырезок — антисоветские газеты торжествующе сообщали о «новой расправе с советскими писателями»; одна даже спрашивала: «Интересно, отделается ли Эренбург Сибирью или его ждет петля?»

Очередной жертвой стал молодой писатель Э. Г. Казакевич, только-только получивший премию за повесть «Звезда». Он написал повесть «Двое в степи», в которой рассказывал, как в страшные дни отступления юноша, впервые попавший под огонь, растерялся, не выполнил боевого задания и был приговорен к расстрелу. Его сторожил солдат-казах. Поскольку отступление продолжалось, казаху и приговоренному к смертной казни офицеру пришлось вместе пробиваться на восток. Заключенный и конвоир подружились. В повести хорошо обрисованы герои, процесс их сближения показан правдиво. Я считал (и считаю) «Двое в степи» одной из лучших книг о войне. Я об этом сказал на собрании,

и у меня сохранилось письмо от Эммануила Генриховича: «Я взволнован вашим вниманием и горд вашей оценкой моей второй вещи». Казакевич стойко переживал нападки. Это был человек скромный, мягкий, но с большим мужеством, убеждения для него были выше успеха, и служение народу он никогда не менял на прислуживание.

Смерть еще меньше считается с логикой, чем история, слишком часто она замахивается косою на зеленую, невызревшую полосу. Казакевич вернулся с войны, хотя был разведчиком и не раз рисковал жизнью. Он был полон энергии, писал новую книгу, казался человеком крепкого здоровья и умер, не дожив до пятидесяти лет.

В 1949 году праздновали пятидесятилетие С. П. Шипачева. Я сказал, что хочу выступить на его вечере с приветствием. Мне нравились скромные короткие стихотворения поэта, особенно нравился он сам — были в нем честность, естественность, прямота. В коротком слове я сказал, что Шипачев сумел оградить свою поэзию «в эпоху инфляции слов». Это было сказано на писательском вечере, и сказано сдержанно, но многим мои слова показались вызовом — видимо, клеймо лживой риторики отмечало немало лиц. Позднее несколько раз я беседовал со Степаном Петровичем и увидел, что не ошибся. Высокий, прямой, он похож на свои стихи, есть в нем душевное благородство. Когда мне бывало трудно, я вдруг вспоминал Шипачева и с большим доверием думал о жизни.

Пока я писал «Бурю», меня выручала работа. А потом пришлось прибегнуть к старому лекарству: поезда с их ночными пронзительными вскриками, ухабы дорог, случайные ночевки, исповеди на полустанках, незаконченные беседы, пропадающие в тумане лица, калейдоскоп. Где я только не побывал за полтора года! Приведу список из записной книжки: Орша — Минск — Вильнюс — Каунас — Клайпеда, Шауляй — Паланга — Лиепая — Елгава — Рига — Тарту — Таллин — Нарва — Ленинград — Новгород — Валдай; Калинин — Кашин — Калязин; Варшава — Вроцлав — Лодзь; Киев — Погар — Брянск; Владимир — Суздаль — Иваново; Тула — Орел; Пенза — Белинский; Ленинград — Таллин; Варшава — Вроцлав — Кельцы — Краков; Кишинев — Бельцы — Сороки — Фалешти — Бендеры — Болград — Килия — Измаил...

Воспоминания об этих поездках напоминают случайно склеенные кадры из различных фильмов. В Иваново я поехал для того, чтобы укрепить положение освобожденного, но еще не реабилитированного Н. Н. Иванова, бывшего поверенного в делах во Франции, который работал нештатным сотрудником Общества по распространению политических знаний.

В одном селе устроили доклад; я должен был рассказать о поездке в Америку; в самую патетическую минуту в сарай, куда собрались слушатели, вошла корова. В Погар меня пригласили для того, чтобы я рассказал, как изготавливают сигары на Западе; была дегустация, я привез гаванскую сигару, но ее раскритиковали. Я увидел много интересного, хорошего и плохого — большие заводы и непроезжие дороги, богатства древней Суздала, работы эстонского художника Адамсона, развалины Новгорода, толкучки Молдавии; не стану обо всем этом рассказывать, припомню только поездку в Пензенскую область.

Праздновали столетие со дня смерти Белинского, меня включили в писательскую делегацию. Руководителем был Фадеев.

(В одной из предшествующих частей этой книги я обещал рассказать о Фадееве. В годы 1947—1955 я по-настоящему его узнал. Не скажу, чтобы мы подружились — уж очень разными мы были; но, может быть, Александр Александрович порой бывал со мной откровеннее, чем со многими из своих друзей. Почти во всех событиях, описываемых мною в последней части книги, Фадеев сыграл крупную роль. Я выполнил обе-

щание и написал об Александре Александровиче. Эту главу, как и некоторые другие страницы, я решил отложить до выхода книги отдельным изданием. Хочу, чтобы читатель, знакомясь с этими страницами, имел перед собой текст всей книги в целом.)

Открыли памятник Белинскому; Фадеев произнес речь. Пенза мне сразу приглянулась, хотя не было в ней никаких достопримечательностей. В старой части города облупившиеся фасады домов, где прежде проживала одна семья и где теперь был сдан и пересдан каждый угол, выглядели печально. Понравились мне люди. Они были как-то сосредоточеннее, чем в суетливой Москве, больше читали, больше и думали. Студент шел со мной по городскому парку и читал на память страницы Салтыкова-Щедрина. Молодая женщина, учившаяся в Ленинграде, провела меня в фонды музея, с жаром говорила о Коровине, о «Бубновом валете», о Сезанне, вспоминала запасник Эрмитажа. На встрече со студентами начались споры о Казакевиче, Некрасове, Пановой; кто-то декламировал стихи Пастернака. Рабочий часовой фабрики пришел ко мне в гостиницу и сразу заговорил об искусстве: «Когда я слушаю серьезную музыку, мне кажется, что время распадается, а может быть, наоборот — тысячелетие сгущается в один час, кончится — и чувствуешь, что прожил несколько жизней...»

Новое повсюду перемежалось со старым. В Лермонтове (в Тархах) колхозники по тем временам жили сносно. В селе была десятилетка. Сидя возле пруда, я услышал, как мальчишки выкрикивали непонятные слова; разговарившись с ними, я узнал, что это они ругаются по-французски. Я захотел познакомиться с учителем французского языка, но, когда ему сказали об этом, он ушел в лес.

Учительница истории О. С. Вырыпаева, узнав, что я люблю керамику, повезла меня в соседнее село Языково: там колхозники издавна занимались гончарным промыслом. Я увидел курные избы. Почему-то ходили слухи, что в Белинский на юбилей приехал Ворошилов, и меня приняли за одного из его сопровождающих. В избу, куда я зашел, набралось много народу: колхозники, перебивая друг друга, излагали свои претензии — с них берут побор за все кувшины и горшки, которые они грузят, а по пути в Чембар половина товара бьется. Я слушал, записывал, потом мне стало не по себе: хлестаковствую — ведь все говорят: «Расскажи Сталину»... Я объяснил, что я всего-навсего писатель, постараюсь помочь, но не уверен в успехе. На печи сидел демобилизованный, кашлял, глаза у него были лихорадочные. Он молчал, а тут заговорил: «Писатель... Он тебе опишет — не изба, а дворец, не горшок — ва-аза»... Он долго повторял, кашляя и ругаясь: «Ваз-за!..» Мы вышли. Учительница, по уши влюбленная в литературу, растерянно говорила: «Представить себе, что это в 1947 году! Безобразие!»... А я подумал: пожалуй, он прав.

(Год спустя я поехал с В. Г. Лидиным в Пензенскую и Тамбовскую области и снова увидел противоречивые картины. Музей в Тамбове поражал своим богатством (там среди прочего хранилась замечательная скульптура Донателло); в городе была прекрасная библиотека. А в районном центре Кирсанове музей нас рассмешил: в одной комнате мы увидели просиженный диван, кресло, разбитую вазу — надпись объясняла: «Жизнь и быт княгини Оболенской»; в другой — стояла ничем не примечательная скульптура с ярлычком: «Произвольный бюст неизвестного мастера». Мы побывали в Пойме у писательницы А. П. Анисимовой, влюбленной в народное творчество. Она нас повезла в Невежино, где сохранились мастерицы русской вышивки. Мы увидели бедные покосившиеся избы; школа казалась полуразвалившейся, все выглядело печально. А на следующий день нас пригласили в расположенный неподалеку колхоз имени Ленина — на открытие книжного магазина.

Там были городского типа дома, библиотека, ясли. Трудно было поверить, что Неужкино рядом...

В 1947 году я впервые увидел много мест, связанных с русской литературой прошлого века. Я побывал в Ясной Поляне, где Толстой писал «Войну и мир», «Анну Каренину»; но в доме видишь Льва Николаевича, старого, душевно мечущегося и вместе с тем за чаем наставляющего «толстовцев», того Толстого, который пахал со смирением, что паче гордости, и завещал похоронить его без имени, без плиты; может быть, больше всего меня взволновала его могила — он выбрал место, где мог бы соседствовать с единственно достойным партнером — природой. Я поехал в Спасское, там под тенистыми кленами Тургенев писал романы, а поздней осенью отправлялся в Париж; когда однажды ему отказали в заграничном паспорте, он построил флигелек и написал Виардо, что живет, как ссыльный. В Орле я видел его диван, книги с пометками; поглядел на дом Лескова. Постоял у заброшенной могилы Фета. В Чембаре ходил по школе, в которой учился Белинский. Трудно объяснить, почему в музее особенно потрясает одна картина, и я не знаю, почему больше всего мне запомнились дни в Тарханах, или, говоря по-новому, в селе Лермонтово.

Там я познакомился с молодой преподавательницей русской литературы В. А. Дарьевской. Она меня спрашивала, каким был в жизни Маяковский, нравятся ли мне стихи Багрицкого, где достать хороший перевод Гейне. А я от нее узнал про школу, про жизнь села. Это была скромная девушка, любившая свою работу и искусство; она рассказывала, что иногда ей удается съездить на воскресенье в Пензу — там ведь театр... До железной дороги больше тридцати километров, иногда приходится возвращаться пешком. Вера Анатольевна однажды зимой встретила волков, сначала приняла их за собак, а волки подошли к деревне, зарезали колхозных баранов: «Ох, как я испугалась!..»

Мы пошли в склеп. Там стоял гроб, в котором привезли тело Лермонтова из Пятигорска. Было сыро, и на гроб громко падали капли.

Музей был смешанным: отдельные вещи, связанные с поэтом, и различные плакаты, диаграммы, посвященные крепостному праву, революции, успехам колхозников Пензенской области. В одной комнате я увидел трубку Лермонтова и рисунки к «Демону», в другой висел большой портрет Сталина.

Ночью я написал стихотворение. Никогда я его не печатал, а теперь приведу, потому что оно — клочок обещанной исповеди. «Тарханы это не поэма — большое крепкое село. Давно в музей безумный Демон сдал на хранение крыло. И посетитель видит хрупкий, игрушечный, погасший мир, изгрызенную в муке трубку и опереточный мундир. И каждому немного лестно, что это — Лермонтова кресло. На стенах множество цитат о происшедшей перемене. А под окном заглохший сад и «счастье», скрытое в сирени. Машины облегчили труд. В селе теперь десятилетка. Колхозники исправно чтут дела прославленного предка, и каждый год в тот день июля, когда его сразила пуля, в Тарханах праздник. Там с утра вся приедета детвора. Уж кумачом зардели арки, уж сдали государству рожь, и в старом лермонтовском парке танцует дружно молодежь. Здесь нет ни топота, ни свиста... Давно забыт далекий выстрел, и только в склепе, весь продрог, стоит обшитый цинком гроб. Мотор заглох, шофер хлопочет. А девушка в избе бормочет все тот же сердцу милый стих. и страсть в ее глазах глухих, приподняты углами брови. А ночь, как некогда, темна. Поют и пьют. Стихи читают. Сквернословят. А сердце в цинк стучит. Все выпито — до дна. «Люблю отчизну я, но странно любовью...» А что тут странного? Она — одна».

Конечно, я люблю родину не только потому, что она — одна, люблю

и потому, что потомок выходца из Шотландии написал «Тамань», перечитывая которую я каждый раз изумленно приоткрываю рот, как ребенок, за то, что колхозники села Лермонтова, смелые, измученные и гордые солдатики, пахали на коровах и втихомолку плакали над треугольниками фронтовых писем, люблю за скромность природы тех же Тархан, за все эти пригорки, перелески, прудики, за дерзкий замысел народа, за «перемены», о которых сухо говорили диаграммы музея, за девушку Веру, которая повторяла в темной избе: «Есть речи — значенье темно иль ничтожно», которая пошла на «Гамлета» и повстречала волков, за то, что в захудалом Чембаре вырос неистовый Виссарион, равно преданный справедливости и красоте, за то, что в Пензе подросток Мейерхольд мечтал о балагане, за то, что в Пензенской области есть села с удивительными названиями — Волчий Враг, Соседка, Верхозим, Шемышейка, за цветистость ругани и стыдливость ласки, за тысячу других вещей, больших и малых, которые, может быть, лучше всего я выразил в коротком признании: «Она — одна».

## 14

В октябре 1947 года Фадеев сказал мне, что нужно поехать в Польшу, туда отправляют делегацию писателей: Твардовский, Тычина, Бровка, Эренбург. Фадеев начал меня наставлять и вдруг рассмеялся: «Да вы сами знаете... Прожили полжизни за границей». Я подумал: одно дело жить — другое входить в делегацию... В купе я оказался с П. Г. Тычиной, который тогда был министром просвещения Украинской республики. Мы долго спорили, как разместиться — каждый пытался взобраться на верхнюю полку. Мы с Павлом Григорьевичем родились не только в тот же самый год, но и в тот же самый день. Я говорил, что Тычина должен остаться внизу: он — министр. Павел Григорьевич возражал. Я вышел в коридор, разговорился с Твардовским. Тычина воспользовался этим, и, вернувшись, я увидел его лежащим на верхней полке. Мы дружески побеседовали, потом погасили свет. Я уже засыпал, когда Павел Григорьевич сказал: «Будет обязательно помылка...» Хотя я родился в Киеве, но детство и отрочество провел в Москве; многие украинские слова мне кажутся загадочными. «Помылка» — это «ошибка», потом мне объяснили, а тогда в полусне мне казалось, что нам мылят головы: это была вторая моя поездка за границу в составе делегации и я тоже побаивался.

На вокзале улыбался Тувим, и я сразу успокоился. Поляки нас встретили радушно. Я увидел другую Польшу, не ту, что видел двадцать лет назад в эпоху санации. Тогда ведь не только власти, но и некоторые писатели разговаривали со мной настороженно.

Конечно, Польша стала другой, и в то же время я многое узнавал: характер народа не меняется — меняется жизнь. В 1947 году я увидел испепеленную Варшаву. Я не узнавал улиц, но людей узнавал. Из тех, кого я знал раньше, многих уже не было: погибли и всем известные, прославленные, и те, которых знали только друзья. В 1928 году я познакомился с писателем Бой-Желенским. Мы проспорили весь вечер — о Монтене, о Прусте. Он куда больше знал, чем я, и говорил страстно, порой зло, но с той любовью к искусству, которая обезоруживает. Ему было шестьдесят семь лет, когда фашистские недоросли расстреляли его во Львове. В Париже в тридцатые годы я встречал на Монпарнассе молоденького архитектора Сениора. Он мечтал что-то построить, обожал Ле Корбюзье, жил в нужде, а когда мать присылала ему из Польши посылку (он говорил «пачку»), угощал нас рябиновой водкой и полендвицей. Летом 1939-года он уехал домой, чтобы сражаться против гитлеровцев, и погиб. Я позна-



комился с молодыми писателями, художниками, с сотнями людей различных профессий. Год спустя я снова увидел Польшу во время Вроцлавского конгресса, а в последующие годы часто бывал в Варшаве, и хотя это всегда было связано с конгрессами, конференциями, комиссиями, резолюциями, выкраивал время для старых и новых друзей. Я все сильнее влюблялся в польский характер, и эта глава, наверно, будет скорее походить на лирическое объяснение, чем на рассказ о стране и людях.

В течение долгого времени между русскими и поляками был глубокий ров — память о нашествиях, о разделах, о крови повстанцев. Учитель истории говорил нам, что любой поляк чванлив, как шляхтич, что Польша погибла оттого, что каждый пан в сейме кричал «не позволю» и накладывал запрет на закон. Один из наставников моей молодости, Достоевский, в своих романах выводил карикатурных поляков. Я Польшу не знал, и где-то внутри таилось предубеждение. Помню, что меня поразила страсть, с которой Тувим говорил о польском характере при первой нашей встрече. Потом я услышал от Бабеля: «Это поэтический народ...» А ведь Бабель видел поляков во время войны, когда они сражались против Советской России. Я задумался и только в 1928 году, побывав в Польше, кое-что понял.

Человеческие ценности — радость труда, борьбы, любовь, искусство — осознаешь не по школьным урокам и не по книгам, а по житейскому опыту. Но есть и такие ценности, которые начинаешь понимать в недостатке, в отлучении. Что такое хлеб, я понял в Париже, когда ничего не ел несколько дней, а из булочных шел дивный аромат. В горах Арагона во время боев я понял, что такое глоток воды. Я писал, что значение родины осознаешь вдали от нее. Обостренный патриотизм поляков связан с историей: они пережили или слышали от своих родителей длинную лептись попрапия национального достоинства.

Я рассказывал, как Тувим, бродя со мною среди развалин Варшавы, повторял: «Посмотри, какая красота!..» Может быть, не все поляки это говорили, но все это думали. Старая часть Варшавы отстроена с такой любовью к любой детали, что забываешь о реставрации. Дело не только во вкусе, дело и в страсти.

Меня притягивает к полякам страстность — она в национальном характере, она сказалась и в старой скульптуре Ствоша, и в поэзии — от Мицкевича и Словацкого до Тувима и Галчинского, страстность в народных песнях и в длинной повести о неудачных восстаниях, она в Домбровском, о котором когда-то мне рассказывал старик коммунар, и в Янеке, которого я видел возле Уэски. Стоит поглядеть в глаза старого усатого пенсионера, который ходит по чинному, но дивному Кракову, или услышать в заброшенной деревне вскрик маленькой девчонки с белой косичкой и смехом, похожим на слезы, как снова и снова видишь избыток чувств, диковинный клубок судеб.

Я читал много суровых оценок барокко — чрезмерность, неожиданность сочетаний, порой непонятность казались вычурностью, формализмом, отказом от искренности, пренебрежением простотой. А между тем барокко, родившись в эпоху заката аристократии, пришелся по душе народам. Есть нечто общее между поэзией Гонгоры, Марино или Грифиуса и теми глиняными Христами, которых лепят польские гончары, забыв о размере головы или рук, но помня о безмерности человеческого страдания. «Здесь похоронено сердце Шопена» — чужестранец дивится, а и это в характере Польши.

В 1947 году польское правительство подарило нам, четверем советским писателям, произведения народного искусства. Мне достался ковер, сотканный из лоскутков Галковскими в Кракове. Этот ковер вот уже пятнадцать лет приподымает меня в грудные часы. Я гляжу на зверей, кото-

рых нет и не было, но которые живут, режутся, рычат и дремлют в моей комнате, на девушек, на диких рыцарей и вижу не только чудесное сочетание тонов, полутонов, но и силу искусства.

Польша для меня неотделима от искусства, от правды преувеличений, от силы воображения, способной превратить, казалось бы, заурядный домишко в космос. В 1947 году была трудная эпоха для поэтов или художников. Однако и тогда я увидел много холстов, показывавших, что искусство живо. Нужно ли говорить о последующем десятилетии? Некоторые польские фильмы обошли мир. Начали переводить польскую прозу. Помню, как я читал путевые заметки Казимежа Брандыса, он рассказал, что чувствовал, завтракая в приветливой чистенькой гостинице Западной Германии,— я нашел художественное выражение того, что смутно чувствовал.

Вдохновение в Польше не удел избранных, оно в гуще народа. Достаточно поглядеть на серо-черные кувшины — в них все оттенки и все благородство горя. Крестьянка, никогда не бывавшая в городе, вырезывает из бумаги тропические рощи. Если зайти в магазин утвари, то поражаешься не только вкусу, а и фантазии. Может быть, именно эта насыщенность искусством притягивает меня к Польше? Но ведь она связана с характером народа, и я не забываю ни батальона Домбровского в Испании, ни женщину, которая таскала камни на стройке в Варшаве.

Я говорил о Тувиме. Мне хочется теперь сказать о его друзьях из «Скамандра», с которыми я часто встречался в Варшаве. Слонимский некоторым кажется англичанином, чересчур насмешливым, даже едким, а за его иронией скрыты доброта, безрассудство польской поэзии и польской судьбы. Ирония у разных народов разная — Сервантес не похож ни на Свифта, ни на Мольера. Ирония Слонимского не раствор, а эссенция, может быть слишком крепкая для другой страны или для другой эпохи, если она и разбавлена, то не водой, а слезами. Ивашкевич на первый взгляд кажется баловнем судьбы, он мягок, даже благодушен, но никак душевно не благополучен. Он похож на мечтателя шляхтича, но в его книгах много современного смятения. Я вспоминаю сейчас его новеллу, написанную в тридцатые годы,— польский писатель едет во Флоренцию на какой-то конгресс (видимо, и писатели и конгрессы всегда были — это как дождь). Новелла напоминает тургеневские «Вешние воды», но в ней воздух нашего века — любовь не та, да и не то отчаяние.

В 1947 году я еще не мог забыть о поездке в Польшу двадцать лет назад, когда мы жили в разных мирах,— старался быть особенно вежливым, обходить темы, связанные с трудностями того времени,— словом, частенько вел себя, как дипломат. Расскажу о смешном и потому, что лирику мне всегда хочется перебить шуткой, и потому, что этот рассказ покажет, насколько я тогда не понимал происшедших перемен.

Я говорил, что поляки приняли нас на редкость гостеприимно. Нам поручили привезти в Москву к Октябрьским праздникам делегацию польских писателей. Я радовался, что мы сможем их принять, как они приняли нас. Поехали с нами известная писательница Налковская (ей было за шестьдесят), драматург Кручковский, который тогда был вице-министром культуры и искусства, и молодой поэт Добровольский. До Бреста мы ехали в специальном вагоне со всеми онерами, а в Бресте нас никто не встретил. (Потом я узнал, что телеграмма опоздала.) Все выглядело катастрофично: в «Интуристе» наотрез отказались продать для гостей билеты в кредит, а рублей у нас, разумеется, не было. Налковская, увидав советский состав, сказала, что устала, хотела бы прилечь. Я ответил, что посадка не началась. (На беду в ту самую минуту в вагон вошел генерал, адъютант ташил его чемоданы.) Я позвонил секретарю обкома. Рабочий день кончился, и разыскал я его дома. Он выслушал, пособлез-

новал, но объяснил, что в обкоме никого нет — где же он достанет деньги? Я начал увещевать, молить, даже глухо пригрозил «дипломатически-ми осложнениями». Он отвечал: «Попробую, но за результаты не ручаюсь...» Прошел час, два. Налковская спрашивала, не началась ли посадка. Кручковский учтиво молчал. Добровольский что-то говорил о стихах Галчинского и Пастернака. Но мне было не до поэзии, я то и дело убегал — звонил секретарю обкома, глядел, не покажется ли машина. Наконец секретарь обкома приехал: «Достал на три спальных...» Я попросил его поприветствовать гостей. Налковская наконец-то смогла прилечь. А мы собрались в купе и начали считать имевшиеся у нас рубли. Сегодня — ужин, завтра — завтрак, обед, ужин, послезавтра мы приезжаем в одиннадцать — значит, еще один завтрак. А денег только на ужин сегодня. Бровка сказал, что завтра утром сойдет в Минске, жалко, что до города далеко...

Я попытался попросить в вагон-ресторане, чтобы нас кормили в кредит, в Москве на вокзале мы расплатимся, но мне ответили, что это исключено — в пути может сесть контролер. Мы пошли ужинать, заказали пол-литра. Налковская попросила маленький стакан красного вина. Подали бутылку. Добровольский снова заговорил о поэзии и вдруг сказал: «Я хотел бы увидеть поэта, который может превратить пустую бутылку в полную...» Я убежал, снова пересчитал наши капиталы и заказал еще одну бутылку. Утром мы сказали, что не завтракаем — пьем только чай. В Минске Бровка распрощался со всеми, и вдруг я увидел Петра Устиновича, который несся обратно, как чемпион по бегу: «До ЦК далеко, я добежал до дому, а жены нет, вот все, что нашел в ящике стола...» Он сунул мне в руку бумажки. На обед хватило. Мы решили сказать, что вечером не будем ужинать, но вечером в Смоленске нас ждало чудо — в вагон вошел писатель Симонов. Я тотчас отозвал его в сторону и попросил сказать гостям, что он приехал из Москвы, чтобы встретить делегацию. Потом я спросил его: «Сколько у вас денег?..» Он ответил: «Ничего нет. Я обрадовался, увидев вас, думал, поужинаем, выпьем бутылочку вина...» В одном из купе оказался знакомый Симонова. Мы были спасены.

Два года спустя, подружившись с Добровольским, я рассказал ему, что пережил, когда он заговорил о превращении пустых бутылок в полные. Он долго смеялся: «Да ведь это чисто польская история...» Смеялся потом и Кручковский.

Конечно, когда я говорю, что теперь ничего нас не отделяет от поляков, я меньше всего думаю об «Интуристе». В 1928 году поляки и мы жили в разных мирах. Даже Тувим, даже Броневский тогда многого не понимали, да и я часто судил опрометчиво. Некоторые традиционные предубеждения оказались живучими, и только приехав в Варшаву в 1958 году, я почувствовал, что ничто больше нас не разделяет. Слонимский, Ивашкевич — это давние друзья, но я познакомился с молодыми писателями и, беседуя с ними, не ощущал границ стран или границ поколений.

Ни осенью 1947 года, с которой я начал эту главу, ни впоследствии в Польше я не знавал одиночества — это сухая справка, но она говорит о многом.

Месяцы, о которых мне предстоит рассказать, может быть, самые тяжелые в моей жизни, и я надолго прервал работу: не решался начать эту главу. С какой радостью я опустил бы ее! Но жизнь не корректура и пережитого не перечеркнешь. С тех пор прошло пятнадцать лет. Я не хочу беречь заживающие раны, не назову некоторых — меньше всего

меня привлекает роль прокурора. Притом я многого не знаю, ограничусь тем, что коротко, сухо расскажу о пережитом.

Теперь я понимаю, что начало некоторых событий, о которых хочу написать, связано с трагической смертью С. М. Михоэлса, и прежде всего скажу о Соломоне Михайловиче. Познакомился я с ним давно, еще в двадцатые годы, но мало его знал; а понял и полюбил в годы войны; одно время он довольно часто приходил к нам в гостиницу «Москва», иногда горевал вслух, иногда дурачился, иногда как-то вбирал в себя руки и ноги, сжимался, молчал. Он был большим актером, и, конечно же, его стихией было искусство. Я хорошо помню его в роли короля Лира. Он казался неузнаваемым — в жизни он был небольшого роста и лицо у него было не короля, а скорее насмешливого интеллигента с выпуклым лбом и выпяченной нижней губой. Но на сцене, высокий и трагичный, король Лир был невыразимо прекрасен в своем горе и гнев. Талант Михоэлса почитали актеры различных направлений; я помню, с каким восхищением говорили о нем и Качалов, и Мейерхольд, и Питоев. Никогда Михоэлс не был националистом, он любил русский язык, и его друг А. Н. Толстой иногда говорил: «Не понимаю, почему Соломон не хочет играть в русском театре...» Но у Михоэлса было любимое дитя — Еврейский театр. На спектакли этого театра приходили и зрители, не понимавшие еврейского языка. Игра Михоэлса и Зускина была настолько выразительной, что все бывали захвачены похождениями местечкового Дон-Кихота или бедой Тевье-молочника.

Во время войны С. М. Михоэлс был душой Еврейского антифашистского комитета. Кто тогда мог думать об искусстве? Гитлеровцы убивали в местечках Украины и Белоруссии и старых героев Шолом-Алейхема, и девочек-пионерок. Михоэлса послали вместе с поэтом Фефером в Америку. В 1946 году американцы мне рассказывали, как в одном городе рухнула эстрада — слишком много людей хотели подойти к советским гостям. Михоэлс и Фефер собрали миллионы на советские госпитали, детские дома.

После победы к Михоэлсу обращались с просьбами тысячи людей — в их глазах он оставался мудрым ребе, защитником обиженных.

И вот Михоэлса убили...

Тогда нам сказали, что Соломон Михайлович поехал в Минск вместе с Голубовым-Потаповым по поручению Комитета, присуждавшего Сталинские премии, — он должен был дать отзыв о постановке, выставленной на премию. Ночью его позвали в гости — он шел опять-таки вместе с Голубовым-Потаповым по одной из окраинных улиц, и там не то бандиты убили обоих, не то их раздавил грузовик. Эта версия казалась убедительной весной 1948 года; полгода спустя в ней многие начали сомневаться. Когда арестовали Зускина, все задумались: а как погиб Михоэлс?.. Недавно советская газета, выходящая в Литве, рассказала, что Михоэлса убили агенты Берии. Не стану гадать, почему Берия, который мог бы преспокойно арестовать Михоэлса, прибег к злодейской маскировке; конечно, не потому, что щадил общественное мнение, скорее всего развлекался.

Я был на панихиде по Соломону Михайловичу в помещении его театра. Изуродованное лицо загримировали. Произносили речи. Помню выступление Фадеева. На улице стояла толпа, многие плакали.

Двадцать четвертого мая был вечер памяти Михоэлса. Я выступал, не помню, что говорил. Было очень горько.

Но я еще ничего не предвидел.

В сентябре 1948 года я написал для «Правды», по просьбе редакции, статью о «еврейском вопросе», о Палестине, об антисемитизме. Вот несколько цитат:

«Мракобесы издавна выдумывали небылицы, желая представить евреев какими-то особенными существами, непохожими на окружающих их людей. Мракобесы говорили, что евреи живут отдельной, обособленной жизнью, не разделяя радостей и горестей тех народов, среди которых они проживают. Мракобесы уверяли, будто евреи — это люди, лишенные чувства родины, вечные перекасти-поле. Мракобесы клялись, что евреи различных стран объединены между собой какими-то таинственными связями.

...Да, евреи жили отдельно, обособленно, когда их к этому принуждали. Гетто было изобретением не еврейских мистиков, а католических изуверов. В те времена, когда глаза людей застилал религиозный туман, были среди евреев фанатики, как они были среди католиков, протестантов, православных и мусульман. И как только раскрылись ворота гетто, как только дрогнул туман средневековой ночи, евреи разных стран вошли в общую жизнь народов.

Да, многие евреи покидали свою родину, эмигрировали в Америку. Но не потому эмигрировали они, что не любили своей земли, а потому, что насилия и оскорбления лишали их этой любимой земли. Одни ли евреи искали порой спасения в других странах? Не так ли поступали итальянцы, ирландцы, славяне стран, находившихся под гнетом турок и немцев, армяне, русские сектанты?..

...Мало общего между евреем туниском и евреем, живущим в Чикаго, который говорит, да и думает по-американски. Если между ними действительно существует связь, то отнюдь не мистическая: эта связь рождена антисемитизмом... Невиданные зверства немецких фашистов, провозглашенное ими и во многих странах осуществленное поголовное истребление еврейского населения, расовая пропаганда, оскорбление сначала, печи Майданека потом — все это родило среди евреев различных стран ощущение глубокой связи. Это солидарность оскорбленных и возмущенных...

...Конечно, есть среди евреев и националисты и мистики. Они создали программу сионизма, но не они заселили Палестину евреями. Заселили Палестину евреями те идеологи человеконенавистничества, те адепты расизма, те антисемиты, которые сгоняли евреев с насиженных мест и заставляли их искать не счастья, а права на человеческое достоинство — за тридевять земель...»

В статье я приводил высказывания об антисемитизме Горького, Ленина, цитировал и Сталина: «Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма».

Газетная статья не исповедь, в ней многого не скажешь. Теперь, когда я дописываю книгу о моей жизни, мне хочется сказать, как я понимаю то, что часто называют «еврейским вопросом».

Ребенком я слышал разговоры о деле Дрейфуса, об еврейских погромах. Я знал, что Лев Толстой, Чехов, Горький возмущаются направлением русских на евреев. Несколько лет спустя я прочитал в подпольной газете статью Ленина. Мой отец говорил, что антисемитизм — пережиток, порождение фанатизма и невежества, и в этом я разделял его суждения.

Как читатель знает, я родился в Киеве, мой родной язык русский. Я не знаю ни идиш, ни древнееврейского языка. Никогда я не молился ни в синагоге, ни в православной церкви, ни в костеле. Меня восхищали и восхищают некоторые художественные памятники, которые для верующих связаны с религией, а для меня с человеческими мыслями и чувствами, — «Книга Иова», «Песня песен», «Экклезиаст», евангелия, в том числе «запретные», «Апокалипсис», Шартрский собор, Акрополь, иконы Андрея Рублева, живопись фра Беато, индусские богини в Эллоре,

фрески в древнем буддийском монастыре Аджанта. Однако все это для меня не мертвые каноны религий, а живое искусство. Детство и отрочество я провел в Москве, и мои товарищи были русскими. Когда я работал в подпольной организации, мы называли друг друга по кличкам, меня не интересовало, были ли среди моих товарищей евреи. Потом я очутился в Париже. Я встретил двух чудесных поэтов,— один из них, Аполлинер, был по происхождению поляком, другой, Макс Жакоб, евреем, но для меня оба были французами. Я полюбил итальянца Модильяни; однажды он мне рассказал, что он еврей, но для меня он оставался связанным с тревогой предвоенных лет и с искусством итальянского Возрождения, а не с древним Ягве.

Я люблю Испанию, Италию, Францию, но все мои годы неотделимы от русской жизни. Никогда я не скрывал своего происхождения. Были времена, когда я о нем редко думал, были и другие, когда я повторял вслух, где мог: «Я еврей» — мне кажется, что солидарность с теми, кого преследуют,— азбука человечности.

Я смотрел фильмы Чаплина, и мне не приходило в голову, что он еврей; об этом мне сообщили гитлеровцы. Они приводили черные списки. Евреями оказались композитор Дариус Мийо, философ Бергсон, люди, с которыми я встречался, не задумываясь над их происхождением,— Бенда, Анна Зегерс, писатели, которых я читал, как, например, Кафка.

Есть ли какой-то особый, присущий евреям национальный характер? Антисемиты и еврейские националисты отвечают положительно. Возможно, что века гонений и обид заостряли иронию, раздували романтические надежды на лучшее будущее. Национальный характер ярче всего сказывается в художественном творчестве. Поэзия Гейне полна романтической иронии, но я не знаю, чем это объясняется — происхождением поэта или эпохой. Припоминая произведения моих современников — Модильяни, Кафки, Сутина,— я вижу прежде всего трагичность: она отражала действительность, воспоминания сочетались с предчувствием или предвидением. Математика относится к тем проявлениям человеческого разума, которые менее всего связаны с климатом, языком или традициями. Однако в Германии в начале тридцатых годов нашлись ученые, которые отвергали теорию относительности, открытую Эйнштейном, как «еврейские штучки».

В прежние времена антисемитизм был связан с религией, с идеей искупления: «Евреи распяли Христа». Власть духовенства постепенно ослабевала. Многие стали понимать, что Христос был одним из еврейских бунтовщиков и выступал против ортодоксальных священнослужителей, сотрудничавших с римскими оккупантами. Французская революция провозгласила равноправие евреев. Различные государства одно за другим отменяли существовавшие веками ограничения. Евреи начинали жить жизнью тех народов, на землю которых пришли их прадеды.

В конце прошлого века разразилось дело Дрейфуса, оно показало, что антисемитизм, обычно прятанный в щели, жив. В течение нескольких лет к Дрейфусу, человеку самому по себе незначительному, исправному французскому офицеру, воспитанному на дисциплине, были обращены взоры миллионов людей. Когда Золя выступил с защитой невинно осужденного, его поддержали Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен, Жорес, Анатоль Франс, Метерлинк, Энзор, Клод Монэ, Жюль Ренар, Синьяк, Пеги, Мирбо, Малларме, Шарль-Луи Филипп. Кто же поддерживал обвинителей? Писатели-националисты — Баррес, Моррас, Дерулед. Антидрейфусары были не только антисемитами, но и врагами прогресса, шовинистами; в своих газетах и листовках они называли Золя «итальяшкой».

До революции русские евреи могли проживать только в черте оседлости. В городах и местечках Украины или Белоруссии они жили обособленно, говорили на идиш. Революция все изменила; еврейская молодежь ринулась в русские школы, университеты. Еврейки выходили замуж за русских, евреи женились на русских. Обособленность евреев исчезала не только у нас, но и во Франции, даже в Германии. Тогда на помощь антисемитизму пришла «расовая теория» Гитлера.

Конечно, разговоры о существовании «низших рас» не были новыми. Рассказывая о поездке в южные штаты Америки, я хотел показать, насколько силен и живуч расизм в стране цивилизованной. Однако в двадцатые годы мы считали бывших рабовладельцев Алабамы или Миссисипи исключением. На сцене истории появился Гитлер. Он и его приверженцы начали доказывать, что существуют высшие расы, прежде всего «арийская», или «северная», и низшие, среди которых самая низшая — евреи.

В годы гражданской войны я увидел еврейский погром, организованный белыми. Несколько месяцев спустя пьяный врангелевский офицер с криком: «Бей жидов, спасай Россию!» — хотел сбросить меня с борта парохода в море. Мне показалось это естественным: призраки прошлого отстаивали власть тьмы.

В конце двадцатых годов я познакомился на Монпарнассе с еврейским писателем из Польши Варшавским, с его друзьями. Они мне рассказывали смешные истории о суевериях и хитроумии старозаветных местечковых евреев. Я прочитал сборник хасидских легенд, которые мне понравились своей поэтичностью. Я решил написать сатирический роман. Герой его, гомельский портной Лазик Ройтшванец, горемыка, чьего судьба бросает из одной страны в другую. Я описал наших изгнанников и захолустных начетчиков, польских ротмистров эпохи санации, немецких мещан, французских эстетов, лицемерных англичан. Лазик, отчаявшись, решает уехать в Палестину; однако земля, которую называли «обетованной», оказывается похожей на другие — богатым хорошо, бедным плохо. Лазик предлагает организовать «Союз возвращения на родину», говорит, что он родился не под пальмой, а в милом ему Гомеле. Его убивают еврейские фанатики. Моего героя западные критики называли «еврейским Швейком». (Я не включил эту книгу в собрание моих сочинений не потому, что считаю ее слишком слабой или отрекаюсь от нее, но после нацистских зверств опубликование многих сатирических страниц мне кажется теперь преждевременным.)

Приход Гитлера к власти меня поразил: цивилизованная страна была отброшена назад, в темноту изуверства. «Хрустальная ночь» (так называли гитлеровцы ночь грандиозных погромов) была для меня одним из проявлений ненавистного фашизма. Гитлеровцы жгли книги не только еврейских авторов, но и Энгельса, Ленина, Горького, Романа Роллана, Золя, Барбюса, Генриха Манна. Они убивали немецких коммунистов «арийского» происхождения. В Испании я увидел свирепую сущность фашизма.

Во время нашествия фашистов на нашу страну я был свидетелем множества зверств. Гитлеровцы убивали русских детей, жгли деревни Украины и Белоруссии. Об этом я писал каждый день в газете. Об этом писали и другие. Гитлеровцы в своих листовках уверяли, что они воюют только против евреев, нужно было опровергнуть эту ложь.

В конце войны вместе с В. С. Гроссманом я начал собирать человеческие документы, связанные с поголовным убийством евреев на захваченной фашистами территории нашей страны, — предсмертные письма, дневники — рижского художника, харьковской студентки, стариков, детей. Мы назвали готовившийся сборник «Черной книгой» — она показы-

вала злодеяния фашистов, но в ней было много светлого: мужество, солидарность, любовь. Книга была набрана, сверстана, нам говорили, что она выйдет в конце 1948 года.

Идеи сионистов, связанные с древней историей, никогда меня не увлекали. Государство Израиль, однако, существует. Во времена расцвета арабской культуры евреи не знали преследований, подобных инквизиции, в различных калифатах Андалузии жили, работали такие люди, как философ Маймонид и поэт Галеви. Я хочу верить, что евреи Израиля, на себе узнавшие, что такое несправедливость, найдут путь для примирения с арабами. Каждому ясно, что миллионы евреев, живущих в разных странах Европы и Америки, не могут разместиться на территории Израиля, да они и не хотят туда уезжать — они тесно связаны с народами, среди которых живут. Негры Алабамы или Миссисипи вовсе не мечтают уехать в одно из суверенных государств Черной Африки, они требуют равноправия и борются против расовых предрассудков.

Меня связывают с евреями рвы, где гитлеровцы закапывали в землю старух и младенцев, в прошлом реки крови, в последующем злые сорняки, проросшие из расистских семян, живучесть предубеждений и предрассудков. Выступая по радио в день моего семидесятилетия, я сказал моим читателям, что буду всегда говорить, что я — еврей, пока будет существовать на свете хотя бы один антисемит. Не национализм продиктовал мне эти слова, но мое понимание человеческого достоинства. Я продолжаю думать, что антисемитизм — дурной пережиток прошлого, что он исчезнет, как исчезнут все расовые предрассудки; только теперь я знаю, что очистить сознание от вековых предрассудков — дело долгое.

Вернусь ко времени, о котором рассказываю. В конце 1948 года закрыли Еврейский антифашистский комитет, газету «Эмес», разбросали набор «Черной книги». Вскоре арестовали поэтов и прозаиков, которые писали на идиш: Переца Маркиша, Квитко, Бергельсона, Фелера и других.

В январе 1949 года газеты сообщили «о раскрытии антипатриотической группы театральных критиков». Почему кампания началась со второстепенного вопроса — с театральной критики? Не знаю. Может быть, Сталину вовремя пожаловался обиженный драматург, а может быть, случайно — не все ли равно, в какое место пруда бросить камень — лишь бы от него пошли круги.

В первой же статье, которая открыла новую кампанию, имелась такая фраза: «Какое представление может быть у А. Гурвича о национальном характере русского советского человека?» Два дня спустя я прочитал другую статью, в ней «гурвичи и юзовские» писались со строчных букв. Круг «космополитов» ширился: к критикам присоединили некоторых поэтов и кинорежиссеров. Две недели спустя начали разоблачать «безродных космополитов», скрывавшихся за псевдонимами.

Многие мои друзья с возмущением относились к происходившему; помню беседы с Образцовым, Кончаловским, архитектором Рудневым, Фадеевым, Всеволодом Ивановым, скульптором С. Д. Лебедевой. Нужно ли напоминать, что всякий расизм, в том числе и антисемитизм, шел вразрез и с традициями русской интеллигенции, и с теми высокими идеями интернационализма, которые были заветом Ленина и на которых воспитывались советские люди?

Преследование «космополитов» не было обособленным явлением. Арестовывали множество людей, побывавших, конечно, не по своей вине, в фашистском плену, не успевших эвакуироваться, вернувшихся добровольно из эмиграции, репрессированных в тридцатые годы, имеющих за



границей родственников; произвол, осуществляемый Берией, был воистину всеобъемлющ.

Что касается меня, то с начала февраля 1949 года меня перестали печатать. Начали вычеркивать мое имя из статей критиков. Эти приметы были хорошо знакомы, и каждую ночь я ждал звонка. Телефон замолк, только близкие друзья справлялись о моем здоровье. Да еще «проверяли»: знакомые поосторожнее звонили из автомата — хотели узнать, не забрали ли меня, а когда я отвечал, клали трубку.

В марте 1938 года я с тревогой прислушивался к лифту: мне тогда хотелось жить; как у многих других, у меня стоял наготове чемоданчик с двумя сменами белья. В марте 1949 года я не думал о белье, да и ждал развязки почти что безразлично. Может быть, потому, что мне было уже не сорок семь лет, а пятьдесят восемь — успел устать, начиналась старость. А может быть, потому, что все это было повторением, и после войны, после победы над фашизмом, происходившее было особенно нестерпимым. Мы ложились поздно — под утро: мысль о том, что придут и разбудят, была отвратительна. Как-то позвонили в два часа ночи. Люба пошла открыть дверь. Я ни слова не сказал, только поглядел на нее. Оказалось, это шофер Симонова — его прислала жена Константина Михайловича. Симонов сказал ей, что думает зайти ко мне.

В конце марта прибежал кто-то из приятелей и восторженно воскликнул: «Значит, неправда!..» Он рассказал, что накануне один довольно ответственный в то время человек на докладе о литературе в присутствии свыше тысячи человек объявил: «Могу сообщить хорошую новость — разоблачен и арестован космополит номер один, враг народа Илья Эренбург».

Я написал короткое письмо Сталину: писал, что уже два месяца лишен газетной работы и что вчера такой-то объявил, будто я арестован. Я, однако, еще не арестован и прошу поручить выяснить мое положение. Я хотел одного — чтобы кончилась неизвестность. Письмо я сдал в кремлевскую будку.

На следующий день мне позвонил Маленков. Я хорошо помню разговор. «Вы писали Сталину. Он поручил вам позвонить. Скажите, откуда это пошло?..» — «Не знаю. Я хотел бы вас об этом спросить». — «Но почему вы не предупредили нас раньше?» — «Я говорил с товарищем Поспеловым, это все, что я мог сделать». — «Странно, товарищ Поспелов такой чуткий человек, а он нам ничего не сказал...» (П. Н. Поспелов несколько лет спустя говорил мне, что это неправда, он все передал, но его слова не возымели действия.)

Сразу затрещал телефон: различные редакции говорили, что «произошло недоразумение», статью напечатают, просили еще написать.

У меня в это время были А. М. Эфрос и Л. Н. Чернявский. На диване лежал Г. М. Козинцев, заболевший гриппом. Григорий Михайлович вскочил, завернувшись в одеяло. Все взволнованно говорили.

Задним умом все крепки. Весной 1949 года я ничего не понимал. Теперь, когда мы кое-что знаем, мне кажется, что Сталин умел многое маскировать. А. А. Фадеев говорил мне, что кампания против «группы антипатриотических критиков» была начата по указанию Сталина. А месяц или полтора спустя Сталин собрал редакторов и сказал: «Товарищи, раскрытие литературных псевдонимов недопустимо — это пахнет антисемитизмом...» Молва приписывала произвол исполнителям, а Сталин будто бы его останавливал. В конце марта он, видимо, решил, что дело сделано.

От злорадства зарубежных врагов нашей страны мне было вдвойне горько. Я видел народ, который тридцать лет подряд боролся за идеи Октября, за братство против интервентов и белогвардейцев, против фа-

шистского нашествия, против погромщиков и расистов. Народ был неповинен в тех газетных статьях, о которых я говорил, он грудно жил, работал с утра до ночи и не сворачивал с избранного им нелегкого пути.

Несколько лет спустя один журналист в Израиле выступил с сенсационными разоблачениями. Он утверждал, что, находясь в тюрьме, встретил поэта Фефера, который будто бы ему сказал, что я повинен в расправе с еврейскими писателями. Клевету подхватили некоторые газеты Запада. У них был один довод: «Выжил? Значит, предатель».

Я был в плохой форме, не мог работать. А тут мне сказали, что нужно ехать в Париж на Конгресс сторонников мира. Защита мира казалась мне прекрасным делом, но я чувствовал, что у меня нет сил. Очутиться за границей в таком состоянии — да ведь это пытка! Меня попросили написать выступление и дать его просмотреть. Когда передо мной оказался белый лист, я начал писать о том, что меня волновало. В написанной речи были такие строки: «Нет ничего отвратительнее расовой и национальной спеси. У мировой культуры — кровеносные сосуды, которые нельзя безнаказанно перерезать. Народы учились и будут учиться друг у друга. Я думаю, что можно уважать национальные особенности, отвергая национальную обособленность». Меня вызвал Григорьян, занимавший довольно высокий пост, жал руку, благодарил. На столе у него лежало мое выступление, перепечатанное на хорошей бумаге, и против процитированного мною места на полях значилось «Здорово!». Почерк показался мне мучительно знакомым...

Мы вылетели в Париж в середине апреля. В Москве было холодно, в лесочке возле Внукова еще белел снег. Люба говорила, что в Париже я отдохну, развлекусь; я отвечал: «Конечно».

На аэродроме в Париже я увидел Эльзу Юрьевну. Она сказала, что Арагон и она заедут за мной вечером — мы вместе поужинаем. Нас повезли в посольство, где посол объяснял политическое положение. Я старался слушать и не мог. Вдруг я понял, что заболел — весь в поту, наверно, температура. Это уж совсем глупо!.. Потом меня повезли в гостиницу на правый берег возле зала Плейель, где должен был проходить конгресс. Я ничего не понимал, не видел — сильный жар. Вдруг шофер, пожилой француз, сказал: «Ну и жарыща!..» Я вытарашил глаза: «Вам, значит, тоже жарко?..» Он в свою очередь удивился: «Да ведь тридцать градусов, все газеты пишут, что такого в апреле не было сто лет...» Я обрадовался: значит, не болен. Я увидел то, чего прежде не замечал: на верандах кафе люди без пиджаков жадно пьют пиво или лимонад. Но в голове по-прежнему было смутно.

Арагоны повели меня в шумный ресторан «Медитерране»; там было тесно; люди рассказывали о том, как провели пасхальные каникулы. К Арагонам подходили знакомые, шутили. А Луи и Эльза меня спрашивали по-русски: «Что это значит — «космополиты»? Почему раскрывают псевдонимы?» Это были свои люди, я их знал четверть века, но ответить им не мог. Подошел Кокто и завел светский разговор, я старался улыбаться. Ворочали усищами огромные лангусты. Соседи смеялись. Было нестерпимо жарко.

В номере гостиницы я быстро разделся, лег, погасил свет — мечтал уснуть, но вскоре понял, что это не удастся. Я повернулся с боку на бок, зажег свет, почему-то оделся, сел в кресло и начал маниакально фантазировать — что придумать, чтобы меня завтра отослали назад в Москву? Перебирал все варианты — заболеть, объяснить, что не смогу выступить, просто сказать: «Хочу домой». Так я просидел до утра. Передо мной вставал Перец Маркиш таким, каким я его видел в последний раз. Я вспоминал фразы газетных статей и тупо повторял: «Домой!»...

Я сказал, что в этой главе хотел рассказать о самом тяжелом для

меня времени, вряд ли это удалось, да и не знаю, можно ли про такое рассказать, одно добавлю — самой страшной была первая ночь в Париже, в длинном узком номере, когда я понял, какой ценой расплачивается человек за то, что он «верен людям, веку, судьбе».

## 16

Утром, когда я брился, в комнату вбежал Фотинский: «Я прочитал в газете, что ты приехал, а в посольстве сказали, где ты...» Фотинский не задавал мне неприятных вопросов, а начал рассказывать о забавках, о том, что все против правительства, о Монпарнассе, о Дусе, о художниках. «Много интересных выставок. Ты сейчас свободен?..» Мы пробродили до обеда. Я глядел то на Сену, то на серые дома с зеленоватыми ставнями, то на яблоки Сезанна. Все мне казалось прекрасным и бесконечно чужим. Фотинский вдруг встревоженно спросил: «А ты здоров?» Я ответил, что здоров, но не выспался. Я ни о чем не думал, но ничего не мог забыть, мне трудно было разговаривать — отвечал невпопад.

Перед обедом мы зашли в кафе. На столике лежала оставленная кем-то газета. Я машинально развернул, мне бросилась в глаза заметка: «Преступная слабость правительства. Вчера из Москвы прилетела группа, которой поручено организовать в Париже беспорядки под вывеской «конгресса за мир». Правительство выдало визу даже хорошо известному Илье Эренбургу, который написал клеветнический «роман» «Падение Парижа» и который примечателен тем, что получил от Сталина дворец великого князя в Крыму за организацию террористической сети в странах, свободных от коммунистической тирании. Вместе с Эренбургом «защищать мир» будут уполномоченный Тореза расторопный Арагон, английский «ученый» Бернал, неизвестный в научных кругах, но слишком хорошо известный полиции, некто Цвейг, выдающий себя за писателя, разумеется, Жолио-Кюри, решивший окончательно променять профессию физика на должность главного кремлевского агитатора, и старый клоун Пикассо, изготовивший марксистскую голубку, которая загадила все стены нашего прекрасного, но, увы, беззащитного Парижа». Я засунул газету в карман и сказал Фотинскому: «Давай выпьем за врагов». Он не понял, а я не стал объяснять.

Работая над этой книгой и вспоминая трудные годы, я часто с благодарностью думаю о врагах. Конечно, ругань вроде тех строк, которые я выписал, можно было найти только в листках будущих «ультра». «Фигаро», даже «Орор» говорили языком более сдержанным, но они также клеветали, грозили. Враги помогали мне многое преодолеть, напоминали, что, как бы ни были горьки события некоторых месяцев или лет, они не должны заслонить главного. Так было и в тот день — я как-то очнулся, даже повеселел.

На следующий день открылся Конгресс сторонников мира. Он заседал в большом концертном зале Плейель — в районе, где живут состоятельные люди. Однако с утра возле входа в зал толпились и студенты, и модистки, и рабочие, и случайные зеваки. Жолио-Кюри, Пикассо, Ива Фаржа, Арагона узнавали, приветствовали. Разглядывали яркие народные костюмы некоторых полек и словачек, юбочки шотландцев. Гадали, откуда приехал бородатый епископ в ослепительно белом клобуке — из Греции или из Болгарии? А это был митрополит Крутицкий Николай. (Я несколько раз летал с ним на конгрессы или сессии Всемирного Совета и всегда видел картонку для дамских шляп, в которой он вез клобук.) Проходили аббат Булье в сутане, индийские делегатки в пестрых сари.

Зал был набит и делегатами, а их было около двух тысяч, и гостями. Раздавались возгласы на понятных и непонятных языках. Зал был шум-

ливым, южным — самыми многочисленными делегациями были французская и итальянская. Это был, кажется, первый международный конгресс после войны, и молодым все было вновь. Речи то и дело прерывались возгласами, смехом, аплодисментами.

В 1949 году «холодная война» перешла из газетных статей не только в государственные договоры, но и в повседневный быт. Именно в том году родился Атлантический пакт. Раскол Германии принял государственные формы: в том же году в Бонне была провозглашена федеральная республика, а полгода спустя образовалась демократическая республика. На одном из заседаний конгресса огласили сообщение, что Народная армия освободила Нанкин; Китайская Народная Республика родилась в 1949 году, и в том же году Голландия была вынуждена признать независимость Индонезии. Во Вьетнаме продолжались бои. Сражались и в Греции, перед открытием конгресса партизаны снова заняли гору Граммос, но исход гражданской войны был предрешен «доктриной Трумэна». В Италии то и дело вспыхивали забастовки, происходили бурные демонстрации, никто не знал, как повернутся события. Мне казалось, что и в самой Франции борьба разгорается; только год спустя я понял, что грандиозные забастовки 1947—1948 годов были последними валами послевоенной бури. Американцы давали деньги («план Маршалла»). Заводы начали обновлять обветшавшее оборудование. В магазинах стало больше товаров. Правда, цены росли и многие французы еще жили очень плохо. Но все понимали, что страна экономически встает на ноги.

Однако и читатели «Фигаро», и читатели «Юманите» боялись думать о будущем. В одном средней руки ресторане я услышал разговор, который мне напомнил весну 1939 года: «Мы решили провести каникулы возле Брива, там у жены тетка. Конечно, если не начнется война...» О таких же настроениях мне рассказывали англичане, итальянцы, бельгийцы. Конгресс отвечал тревоге сотен миллионов людей — слишком свежей была память о годах войны, слишком тревожными газетные сообщения. Одни опасались, что американцы начнут превентивную войну, другие считали, что не сегодня-завтра русские танки двинутся к атлантическому побережью.

Газеты, поддерживавшие политику Трумэна, хотели замолчать конгресс, но не выдержали. Передо мною заметка в «Пари-пресс»: «На пресс-конференции знаменитый советский писатель Илья Эренбург ответил на вопрос одного журналиста, не считает ли он, что Соединенные Штаты действительно хотят мира: «Нельзя делать два дела вместе — говорить о мире и при этом вытаскивать из кармана атомную бомбу». Американская реакция была молниеносной. Вчера вечером атташе государственного департамента г. Мак Дермотт заявил: «Участники Парижского конгресса сторонников мира стараются доказать, как это им предписано, что только Советский Союз хочет мира. Все это ловкая пропаганда Москвы». Французская газета «Ле монд» писала, что коммунисты «нашли лозунг, понятный всем».

Был ли конгресс коммунистическим, как утверждали газеты? По-моему, нет. Если просмотреть состав инициативного комитета, приветствия, список участников, можно увидеть ряд имен политических деятелей, писателей, художников, очень далеких от коммунистической идеологии. Назову некоторые имена, которые имеются в маленькой энциклопедии Ларусса, следовательно — известны даже французским школьникам: бывший президент Мексики Карденас, бельгийская королева Елизавета, Генрих Манн, Матисс, Шагал, Чарли Чаплин, драматург Салакру. Среди различных организаций, поддержавших созыв конгресса, я нашел такие: Союз часовых мастеров Женевы, университет Панамы, Союз

художников Аргентины, Объединение мелких коммерсантов Туниса, Ассоциация норвежских домашних хозяек, Лига защиты детей в Сирии и другие, мало напоминающие компартии.

На конгрессе я слышал несколько выступлений людей, которых трудно причислить не только к коммунистам, но и к социалистам. Американского юриста Рогге я встретил впервые на Вроцлавском конгрессе. Он показался мне хорошим оратором, человеком с путанными идеями, деловым и в то же время наивным — я встречал таких в Америке. Беседуя со мной, он говорил, что спасение человечества в психоанализе. Ему аплодировали, когда он осудил Атлантический пакт. Он сказал, что американцы напрасно боятся русских, а русские американцев, мир идет к войне, подгоняемый всеобщим страхом. Он сказал также, что у капитализма и у социализма есть свои слабости и свои достоинства; молодые итальянцы и французы неодобрительно зашумели. Однако проводили Рогге аплодисментами и выбрали в постоянный комитет конгресса. (На втором конгрессе в Варшаве Рогге протестовал против нападков на Югославию, обвинял в корейской войне обе стороны. Его речь прерывали свистки наиболее экспансивных делегатов. Он отошел от движения.)

Английский юрист Мур с юмором, напоминающим «Пиквикский клуб», обличал некоторые, на его взгляд, чересчур воинственные речи делегатов, советовал быть осмотрительнее в выражениях, искать не односторонних осуждений, а соглашения, приемлемого для обеих сторон. «Холодная война» приучила всех к другому языку, и речь Мура многих рассердила, но ему дали договорить до конца, и часть зала ему аплодировала.

Пожалуй, наиболее возмутила молодых коммунистов речь шведской пацифистки, руководительницы религиозной организации Седергрэн. Я сейчас просмотрел стенограммы конгресса. Седергрэн сказала: «Нам угрожают два гиганта — американский капитализм и русский большевизм». (Шум в зале.) Кончила она словами: «Попытаемся же стать мостом над бездной, разделившей мир. Человечеству нужны мир и свобода». (Шумные аплодисменты.)

На конгрессе выступили только два человека, известные всем как профессиональные политики: итальянский социалист Ненни и левый лейборист Зиллиакус. Делегаты знали, что Жолио-Кюри, Пикассо, Неруда, Амаду — коммунисты, но для всех они были большими учеными или художниками.

(Как всякое движение, Движение сторонников мира пережило и приливы и отливы, было текучим — одни уходили, приходили другие. В 1956 году от движения отошло большинство итальянских социалистов. В разное время и по разным причинам ушли писатели Фаст, Бломберг, Веркор, Мартен-Шофье, Кассу, Итало Кальвино. В 1952 году на конгрессе выступил Сартр. К движению примкнули д'Астье, шведский писатель Лундквист, депутаты индийской партии конгресса, японский профессор Ясуэ, многие другие. Пожалуй, всего характернее для Движения сторонников мира роль людей, которых никак нельзя назвать профессиональными политиками — ученых Жолио-Кюри, Бернала и блистательных дилетантов в различных областях, включая политику, вроде Ива Фаржа или д'Астье.)

Если в 1949 году социальная борьба в Западной Европе начала несколько утихать, то борьба против подготовки войны только начиналась. Конечно, на Парижском конгрессе было немало людей известных (перечислю хотя бы писателей: Арагон, Неруда, Элюар, Амаду, Арнольд Цвейг, Фадеев, Зегерс, Гильен, Андрич), но это был прежде всего конгресс людей, которых газеты называют «простыми», хотя зачастую они куда сложнее многих знаменитостей.

В кулуарах я познакомился с делегаткой города Лориан, сильно разрушенного во время войны; ее фамилия была Кере. На конгрессе она не выступала, но рассказала мне, почему решила бороться за мир: «Мой Луи был матросом, он погиб в 1942 году. У него была невеста. Он был такой веселый... Мой Жозеф ушел в маки. Он партизанил недалеко от Лориана. Его послали на мотоцикле не знаю зачем, и один мерзавец его выдал, его пытали, потом убили и сожгли, это мне рассказал его товарищ. Мой Жильбер партизанил в Коррез, а потом, как Луи, возле Лориана. Он был ранен, ему ампутировали обе ноги, он умер накануне победы — седьмого мая. Мне сказали в госпитале, что перед смертью он звал маму. Мой Альберт был женат, остались две дочки. Его расстреляли возле нашего дома... Я здесь познакомилась со многими матерями, я понимаю, почему они приехали. У нас слишком короткие руки, чтобы обнять как следует в первый день войны, а потом и руки ни к чему — некого обнимать...» Я записал ее рассказ.

Я встретил на конгрессе некоторых моих старых друзей — итальянского писателя Бонтемпелли, Пабло Неруду, я их не видел после войны; познакомился с людьми, с которыми потом подружился — с Жолио-Кюри, Фаржем, Жоржи Амаду, Монтегю (о них расскажу в следующих главах). Мои дни были полны впечатлениями — многое и для меня было нове.

На конгрессе были и югославы; но по решению Сталина их в газетах социалистических стран называли «изменниками». Милый Андрич прислал мне гаванскую сигару с записочкой: «Мы сейчас не можем встретиться, но знайте, что я остаюсь вашим другом».

На второй день конгресса французы устроили в баре зала Плейель мою пресс-конференцию. Собралось полтора десятка журналистов различных стран и различных мастей. Мне пришлось ответить на девяносто два вопроса, некоторые из них были коварными. Газета «Ле монд», относившаяся к конгрессу скорее неприязненно, писала: «У г. Илья Эренбурга галстук завязан наизнанку, и вид у него человека очень рассеянного, но он показал в своих ответах, что внешность обманчива». Газета «Джорнале д'Италия» сообщала: «Удивительно спокойно Илья Эренбург отвечал на многочисленные вопросы и вышел сухим из воды». На самом деле я очень волновался, может быть именно поэтому казался спокойным.

После пресс-конференции я пошел с Гильеном в маленький ресторан на левом берегу Сены. В феврале я перевел десяток коротких стихотворений Гильена. Он попросил меня прочитать переводы и, улыбаясь, повторял: «Ах, Куба, скажи мне, откуда взяла ты эту лазурь»... Мы говорили о сути поэзии — о непонятном притяжении и отталкивании слов, и я не вспоминал пресс-конференцию.

Журналисты мне, однако, не давали покоя. На следующее утро, не стучась, вошел фоторепортер и, разочарованный, сказал: «Вы уже одеты? Ничего не выйдет...» Вечером я ужинал с итальянскими писателями; пригласил меня издатель Эйнауди. По его просьбе я выбрал ресторан — ту «Жозефину», куда водил генерала Галактионова и Симонова. Мы оживленно беседовали в маленькой комнате, когда муж Жозефины, чрезвычайно рослый мужчина, сказал мне: «Там два журналиста, они хотят вас сфотографировать». Я поглядел в шелку и увидел того, что утром, не стучась, ворвался в мой номер. «Не хочу», — ответил я. Донесся шум — это хозяин выбросил на улицу упрямых репортеров. Я вернулся в гостиницу поздно ночью. Лифт был с решеткой. Вдруг вспыхнула лампочка, я увидел знакомое лицо, аппарат. В «Самди-суар» появилась фотография с пояснительным заголовком: «Илья Эренбург в Париже скрывается за железным занавесом». Я ходил на злого старого каторжника — фоторепортер умел работать.

Если просмотреть стенограммы конгресса и припомнить климат тех лет, то можно назвать мое выступление вполне миролюбивым. Я говорил, что писал его в Москве, надеясь — не понравится и не пошлют на конгресс. Я не только отрешивался от модного тогда утверждения, что приоритет почти всех открытий принадлежит русским, но и припомнил слова Герцена о «священных камнях» Европы. В конце речи я сказал: «Сохраним наш общий дом, нашу древнюю культуру! Мы обращаемся с этим призывом не только к нашим единомышленникам, но ко всем людям доброй воли, будь они марксисты или кантианцы, католики или свободомыслящие. Мы пришли сюда не для того, чтобы доказывать правоту наших идей или превосходство нашего социального строя. Мы предпочитаем это доказать трудом, творчеством, прогрессом. Мы пришли сюда, чтобы протянуть руку всем людям, которые ненавидят войну». Это понравилось залу, а говорил я искренне: считал (и теперь считаю), что только при таком объединении можно сохранить мир.

На следующий день, в воскресенье, был грандиозный митинг в южном пригороде Парижа на стадионе Буффало. Из провинции прибыли «караваны мира» — поезда, автобусы, добрались «караваны» из Италии с мэрами двадцати городов, из Бельгии, Голландии. Делегации проходили перед трибуной президиума конгресса. Стадион вмещает восемьдесят тысяч человек, а демонстрантов было, судя по газетам, четыреста — пятьсот тысяч. Меня особенно взволновало шествие бывших узников гитлеровских концлагерей. Они шли в полосатых костюмах с номерами — сохранили их как реликвии.

К вечеру сразу после конца митинга разразилась гроза с проливным дождем. На улочке предместья я забрался под навес. Рядом стояла женщина в черном суконном платье — так одеваются крестьянки, отправляясь в город; лицо у нее было румяное и морщинистое, похожее на зимнее яблоко. Она радовалась ливню — ведь дождей не было с февраля при необычно ранней и знойной весне: «Вот даже бог почувствовал!..» По улочке бежали участники демонстрации, подгоняемые дождем, и, глядя на них, женщина сказала: «Теперь они увидят, что люди не дураки...»

Меня позвал к себе в мастерскую Пикассо. У него был Элюар, и мы пообедали втроем — отпраздновали радостное событие: накануне у Пикассо родилась дочка. Он улыбался, как молодой отец, хотя ему было под семьдесят. (Впрочем, с Пикассо я всегда забываю о возрасте: когда он был молод, он мне казался умудренным стариком, а теперь меня поражает в нем задор юноши.) Пикассо сказал, что назовет дочку Палом (по-испански это значит «голубка»). Мы поглядели на десяток живых голубей в огромной клетке, они ссорились и довольно противно кричали.

Я принес газету, в которой была напечатана заметка под заглавием «Черчилль и Пикассо». Пикассо попросил прочитать ее вслух. В заметке говорилось о завтраке, устроенном президентом Английской академии художеств Альфредом Меннингсоном, на котором присутствовали Черчилль и маршал Монтгомери. Президент в своем тосте ополчился на современную живопись, особенно на Пикассо и Матисса: «Они не могут нарисовать дерево, чтобы оно походило на дерево. Кстати, г. Уинстон Черчилль разделяет мое мнение. Недавно во время прогулки он обратился ко мне с вопросом: «Послушайте, Альфред, если мы сейчас встретим Пикассо, можете ли вы дать ему ногой в зад?» Я ответил: «Разумеется». Пикассо сделал вид, что он испугался: «Хорошо, что я не в Лондоне! Их ведь двое. А вдруг и маршал бы присоединился...»

Элюар молчал и все время тихо улыбался. Мы побродили по большой мастерской, смотрели холсты, вдруг Элюар тихо сказал: «Это очень нужно. Не только мне или тебе — всем. Это как воздух...»

Пикассо поглядел на часы: «А ведь пора на конгресс...» Он прилежно слушал длинные речи, участвовал в комиссии, выступил ее докладчиком — словом, вел себя как образцовый конгрессист. Только порой, когда какой-нибудь оратор, доказывая превосходство мира над войной, начинал цитировать Аристофана, Гюго, Маркса и Сталина, в глазах Пикассо вспыхивал лукавый огонек.

Меня повезли на улицу возле театра Комеди Франсэз. В богатой квартире жил только что приехавший в Париж Пабло Неруда. Увидев его, я обомлел: никогда я не думал, что усы, даже большущие, могут настолько изменить лицо. Одни говорят, что Неруда похож на Будду, другие шутя сравнивают его с муравьем; во всяком случае усы ему не подходят, да он их и отрастил, чтобы его не узнали. Из Чили он пробрался в Аргентину, а оттуда под чужим именем приехал в Париж. Он не мог показаться в зале Плейель до того, как власти легализируют его въезд во Францию — об этом шли переговоры.

Мы долго хлопали друг друга по спине. Потом Пабло сказал, что он голоден, и мы начали обедать. Важный лакей наливал чудесные вина. Неруда обличал чилийского диктатора Виделу, рассказывал, как его спрятали от полиции, как он перебрался через границу. Он похвалил бургундское вино, но добавил, что в Чили есть вино получше. Пообедав, он начал засыпать.

На конгрессе он появился в последний день, уже без усов. Его встретили и проводили оглушительной овацией. Не все, конечно, читали стихи Неруды, но все знали, что он — знаменитый поэт, что он выступил против диктатора, скрывался в подполье, перебрался через Анды (одни говорили — пешком, другие — на коне, третьи — на осле). Бог ты мой, как людям нужна романтика! Нужна она даже заведомым сухарям. А в зале было много молодых, они в восторге кричали — перед ними на трибуне поэт и герой, он читает стихи, это не отчет мандатной комиссии и даже не речь, посвященная Уставу ООН...

После конца конгресса мне не удалось побродить по Парижу, отдохнуть. Французские сторонники мира попросили Фадеева выступить в Лиможе, а меня в Дижоне. Я думал, что все пройдет спокойно, и утешал себя, что снова увижу город, который люблю.

В Дижоне мне сразу сказали: «Ваш приезд — бомба. Наверно, вечером будет драка — молодые голлисты собираются сорвать доклад...» Мне дали местные газеты, и я прочитал уморительную историю. Один из членов муниципального совета, коммунист, предложил, чтобы меня приняли в мэрии. Это предложение вызвало в муниципальном совете оживленные споры. Мэром Дижона был католик, каноник Кир, который потом проявил себя смелым человеком и горячим сторонником мира. В годы фашистской оккупации каноник вел себя как примерный патриот, был приговорен к расстрелу. В 1949 году он, однако, как очень многие, поддался антисоветской кампании и в корректной форме высказался против предложения коммунистов. Другие советники из правого лагеря повторяли доводы «Эпок» или «Орор», уверяли, что «Падение Парижа» — «грязная, клеветническая книга», что Конгресс сторонников мира устроен Москвой для того, чтобы усыпить французскую бдительность, что Советская Армия готовится к походу на Париж. В двенадцатом часу ночи приступили к голосованию. Восемнадцать советников — «независимые» и голлисты — голосовали против предложения, шесть коммунистов — за, а пять социалистов воздержались. Вот это меня и рассмешило. Можно воздержаться, когда голосуют закон, постановление, даже регламент, но вопрос шел о том, принять ли иностранного писателя в мэрии или нет, и социалисты все же воздержались. Я смеялся,



а дижонские сторонники мира говорили, что им не до смеху — голлисты решили устроить в зале Флор драку. Воспользовавшись свободным часом, я пошел посмотреть химер на дижонском Нотр-Дам.

Когда я вошел в зал, народу было столько, что люди не могли шелохнуться. Вдруг погас свет — не знаю, было ли это саботажем, как говорили дижонские друзья, или случайной аварией, но положение обострилось. На трибуну принесли несколько свечей. Зал гудел. В темноте легко начать драку, тогда всем придется уйти... Я решил прибегнуть к маневру. В самом начале речи я сказал, что приехал в Дижон, хотя во Франции останусь всего несколько дней. Я — офицер Почетного легиона, но визу мне не продлевают. А награду я получил в годы войны от генерала де Голля. В задних рядах раздались аплодисменты. Принесли еще одну свечу, и дижонец мне шепнул: «Это аплодируют голлисты, я знаю, где они сидят...» Молодые сторонники генерала, видимо, растерялись, не знали, как себя вести. Вечер кончился благополучно.

Дижонцы решили повезти меня в винодельческий район Романэ, Вужо, Ньюи. На следующий вечер я должен был выступить в Париже, и уехать туда нужно было не позднее двух часов. Мы выехали очень рано, и я раздобыл в гостинице только чашку черного кофе. Мы останавливались у виноделов, которых знали мои попутчики; принимали нас радушно, показывали виноградники, погреба, угощали вином. Я люблю красное бургундское, но его нужно пить за обедом с мясом или сыром. А мне приходилось дегустировать натошак, я боялся, что опьянею, и все же пил: отказаться — значило обидеть людей, которые гордятся своими бутылками, как художник холстами.

В Ньюи меня повезли к богатой владелице виноградников. Она сначала недоверчиво на меня поглядывала, даже заметила, что предпочитает красное вино красным идеям. О конгрессе она ничего не знала: «Я не читаю газет. Там такой ужас, что теряешь голову. А мне нужно присматривать за вином... Я люблю читать романы, там, если даже герой погибает, это красиво, благородно...» Она начала приносить бутылки, к счастью дала хлеб и сыр, обрадовалась, когда увидела, что я разбираюсь в вине, отмечаю лучшие бутылки. Один из моих попутчиков объяснил: я долго жил во Франции, написал роман «Падение Парижа». Женщина всплеснула руками: «Но я читала этот роман! Это ужасно грустная книга, я даже заплакала, когда убили бедную артистку...» Она убежала и вернулась с бутылкой, покрытой густым слоем пыли: «Это самое лучшее вино в Ньюи. Случайно уцелела одна бутылка... Я хотела ее поднести канонику Киру. Но я уверена, что он не обидится, когда я ему расскажу, что угостила русского писателя — он мне говорил, что русские замечательно воевали...»

Когда я доехал до Парижа, пришлось сразу отправиться в «Мютюалите» — я выступал в том самом зале, где в 1935 году заседал Антифашистский конгресс писателей. Доклад устроило Общество дружбы. Говорить мне было легко, а когда я кончил, ко мне подошел Элюар: «Знаешь, через две недели я, кажется, поеду с Фаржем в Грецию — в район, который наши удерживают. Это счастье!..»

На следующий вечер я выступал в Версале; не знал, как меня там встретят: Версаль — город чиновников, военных, рантье. Председательствовал один из вдохновителей общества «Франция — Советский Союз», почетный председатель государственного банка Франции Эмиль Лабейри. Это был человек немолодой, с тем скрытым огнем, который отмечает людей прошлого века. В его квартире, весьма скромной, я увидел на стенах замечательные холсты и рисунки — он любил искусство. (Десять лет спустя он приехал в Москву. Я его позвал к себе, он принес рисунок Коро — драматический пейзаж. Я не хотел брать слишком

ценный подарок: «Почему вы решили подарить его мне?» Он улыбнулся: «Потому что я стар и потому что я вас люблю.» Я говорил о дружбе двух народов, о единстве культуры, о мире, и все оказалось проще, чем я думал.

В постоянный комитет конгресса включили девять советских делегатов, в том числе меня. Когда я прощался с Ивом Фаржем, он мне сказал: «Объясните вашим друзьям, что нужно бороться против врагов мира, а не против пацифистов или людей, которые не согласны ни с коммунистами, ни со мной, но искренне хотят мира и готовы участвовать в нашем движении...» Я ответил, что вполне с ним согласен.

В самолете я вспоминал дни конгресса. Люди, с которыми я встретился, мне понравились (некоторые из них потом стали моими близкими друзьями). Да и дело было чистым: постараться убедить всех, что третья мировая война уничтожит цивилизацию.

«Холодная война» проникала во все поры человечества. В Вашингтоне работала хорошо памятная Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, всех, кто осмелился выговорить «мир», она осуждала за «сочувствие к коммунизму». В день отъезда из Парижа я прочитал в газете «Франс-суар» коротенькое сообщение, что полиция задержала «четыре молодых коммунистов, которые возле здания посольства Соединенных Штатов кричали: «Мы хотим мира», и другие оскорбительные слова».

Вот и маленький советский «ИЛ». Я прочитал «Правду» от 1 мая. В статье одного литератора были суровые отзывы о писателях Запада. Синклера Льюиса называли «грязной душонкой», Хемингуэя — «потерявшим совесть снобом», Фейхтвангера — «литературным торгашом». Это было несправедливо и бессмысленно: в те годы мы как будто толкали людей к апологетам американской «комиссии». Я вспомнил слова Фаржа. Конечно, никто у нас не хочет войны: ни обыкновенные советские люди, ни Сталин. Но полагается ругать Запад, вот и стараются...

Конечно, я не мог тогда подумать, что Парижский конгресс станет началом нового тома моей жизни, что я буду отдавать различным конгрессам, конференциям, совещаниям больше времени, чем моему ремеслу. Я охотно выполнял и выполняю эту работу. Со дня Парижского конгресса прошло пятнадцать лет. Движение сторонников мира узнало и романтику и бюрократию, и победы и неудачи, и мудрые решения и грубые ошибки, но оно превратилось в подлинную силу.

Когда я пишу эти строки, весь мир занят только что подписанным соглашением о запрете ядерных взрывов. Жолио-Кюри мне однажды сказал: «Бизнесмену, богатейшему на уране, безразлично, что будет после него, но люди, которые думают о будущем, которые идут на жертвы, чтобы юноши двадцать первого века жили чисто, справедливо, по-человечески, не должны убивать или калечить правнуков...» Радуюсь вместе с миллионами людей, я думаю о скромной, но благородной роли Движения сторонников мира. В темные, глухие годы сторонники мира говорили на языке человеческой солидарности. Мне радостно, что в океане доброй воли — капля моих лет... А началось все в Париже в ослепительную, но нерадостную весну 1949 года.

*(Продолжение следует)*



---

МУСТАЙ КАРИМ

★

## ИЗ ЛИРИКИ

*С башкирского*

### *Горы*

И горы, как люди — чем выше,  
Тем круче и резче судьба,  
Тем большей опасностью дышит  
Идущая наверх тропа.

На гребни спускаются тучи,  
И долго не видно вершин,  
А льдом покрываются кручи,  
И лед этот — несокрушим.

Там ветер не тот, что в низинах,  
Там грохот, и хохот, и вой,  
Там молний скрещение синих,  
Как шашек взбесившихся бой.

Но горы не ропщут — их доблесть  
Превыше снегов их седых,  
Ведь солнца встающего отблеск  
Всех раньше приветствует их.

И люди, как горы — чем выше,  
Тем круче судьба и трудней,  
И риском подъем ее дышит,  
И грозы бушуют над ней

Вверху. Но высоты, конечно,  
Не званье, не место, не чин,  
Все это величье не вечно,  
Нет, я — о высотах вершин.

В высокой душе не бывает,  
Чтоб вечно — прозрачность да лад.  
Бывает, тоска прибывает,  
Бывает, сомненья гудят,

И времени бури и хвори  
По ней ударяют сильней...  
Но все-таки, все-таки зори  
Всех раньше восходят над ней!

На кочку и грозы не рухнут,  
И тучка не сядет вовек...  
Не вздумай же сетовать, друг мой,  
Высокий, большой человек!

*Перевела Ирина Снегова.*

### *Людям снятся разные сны*

Человеку сны дурные снятся:  
Будто вся земля дрожит от страха,  
Воды обратились в клубы пара,  
Горы обратились в тучи праха.

Человеку сны дурные снятся:  
Что глупец — великий повелитель,  
Мудрецы ж ликуют: «Поглядите,  
Вот мудрец!..» — и не хотят уняться.

Человеку сны дурные снятся:  
Будто нежность запятнали ложью,  
Дружба заблудилась в бездорожье,  
Предал сын отца... Куда деваться?!

Человеку сон хороший снится:  
Будто в мире нет вражды от века,  
Путь от человека к человеку  
Не перерезается границей.

Человеку снится сон хороший:  
Что везде почет уму и чести,  
Глупость на своем примолкла месте  
И — покончено со злом и ложью.

Человеку сон хороший снится:  
Будто все плоды в садах созрели,  
Будто все незрячие прозрели,  
Сын отца признал — и не стыдится...

Снятся сны различные ночами —  
Снами управлять ведь мы не вправе!..  
Пусть хороший обернется явью,  
А дурные — остаются снами...

*Перевела Елена Николаевская.*

## *Берега остаются*

По Белой, басистый и гордый,  
Смешной пароходик чадит.  
В лаптях,  
В тюбетейке потертый  
На палубе мальчик сидит.

Куда он — с тряпичной котомкой?  
К чему направляет свой путь?  
Лишь берега дымная кромка  
Да Белой молочная муть

Вдали. И на воду большую  
Глядит он и все не поймет:  
— Совсем неподвижно сижу я,  
А горы, а берег плывет!..

Я — мальчик тот, я! И сквозь годы  
Кричу ему: — Милый, не верь!  
Плывем — это мы, а не горы,  
А берег все там и теперь!..

Кричу... А в лицо мое ветер,  
А палубу набок кренит,  
Корабль мой почти не заметен —  
Вокруг него море кипит!

Стою... Волны мимо и мимо  
Наскоком, галопом, подряд...  
Стою... Словно кем-то гонимы,  
Дни, месяцы, годы летят...

— Сто-ой, дяденька! — вдруг через темень,  
Сквозь годы мне — с палубы той:  
— Плывем-то ведь мы, а не время,  
А время, как берег крутой,

За нами осталось, за нами,  
Другим — я не знаю кому...  
А сам ты, влекомый волнами,  
Что времени дал своему?

И эхо сквозь грохот и тьму  
Все вторит и вторит ему:  
Времени-и своему-у,  
Времени своему...

*Перевела Ирина Снегова.*



---

## ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

★

### В КУПЕ

*Сценка*

**О**днажды я ехал из Москвы в Ленинград по очень важному для меня делу. Ехал в двухместном купе. Не из склонности к шику — просто в кассе не оказалось других билетов. Дело, о котором я говорю, было не только важным, но и приятным, поэтому я решил, что имею право позволить себе такую роскошь. Потом я пожалел об этом. Теперь вспоминаю об этом с улыбкой. А тогда было так...

Когда я вошел в вагон, настроение у меня было хорошее. Каждому встречному мне хотелось сделать или по крайней мере сказать что-нибудь приятное, все люди без исключения казались мне в ту минуту прекрасными. Даже моя соседка по купе не вызвала во мне с первого взгляда никаких подозрений. Это была блондинка лет тридцати, но еще довольно свеженькая, с большими, грустными, как мне сначала показалось, глазами, с ямочками на щеках. Одета она была в темно-синий костюм, в белую накрахмаленную блузку под жакетом. Синенький ромбик свидетельствовал о том, что моя соседка — человек образованный.

— Здравствуйте,— сказал я, внося впереди себя чемодан,— я ваш сосед.

В ответ на это я услышал:

— Мужчина? — напрямик спросила она, облив меня холодной ненавистью.

Я несколько смутился. До сих пор мне как-то не приходилось сомневаться в своей принадлежности к этой половине человечества.

— А что, разве не похоже? — пробормотал я.

— К сожалению, слишком похоже,— тихо и отчетливо сказала она.

Я сперва растерялся, но потом решил, что она просто шутит, и сам попытался настроиться на шутливый лад. Я спросил:

— А это хорошо или плохо?

— А вы сами как думаете?

Я подумал.

— Вы правы. Это просто ужасно. Я, конечно, понимаю всю трагичность своего положения, но что делать? Разве я виноват в том, что родился в этом качестве?

— Выходит, я виновата?

— Ну что вы,— сказал я, устраивая свой чемодан под полкой.— Только, я думаю...

— Мне не интересно, что вы думаете.

— Я понимаю. Но я хочу сказать, что, когда вы покупали билет, шансы оказаться в соседстве с мужчиной или женщиной были примерно

равные. Впрочем, если вас смущает мое присутствие, вы можете с кем-нибудь поменяться.

— Зачем же я буду меняться? Это мое купе.

— И мое тоже,— напомнил я.

— Но вы же мужчина,— сказала она и тут же поправилась: — Хотя, конечно, если у мужчины есть возможность остаться вдвоем с женщиной...

— Смотря у какого мужчины и с какой женщиной,— не выдержал я и пошел к проводнице узнать, не найдет ли она мне другое место.

Другого места не оказалось. Никто не хотел меняться. Я вернулся в купе и сказал об этом своей соседке.

— Ну, конечно,— сказала она и отвернулась к окну.

Мы помолчали. Но сидеть друг против друга как-то тягостно. Я решил с ней объясниться.

— Вы, ей-богу, странная женщина,— сказал я.

— Еще бы,— сказала она очень гордо,— когда женщина ведет себя, как полагается...

Мне это надоело. Я пошел к проводнице, взял у нее простыни и начал стелить постель. Она смотрела в окно и время от времени поглядывала на меня с таким выражением, словно я делал нечто непристойное. Вдруг спросила:

— Я смотрю — в других купе едут мужчины и женщины вместе. Это что же — все мужья и жены?

— Простите, я у них брачные свидетельства не проверял.

— И напрасно. Едут незнакомые женщины с незнакомыми мужчинами, и это никого не волнует. Это у меня просто в голове не укладывается.

Я промолчал. Чтобы дать ей возможность постелиться и лечь, я достал сигареты и вышел из купе, притворив за собой дверь. Вернувшись, застал ее в прежней позе, на прежнем месте.

— Вы что же, спать не собираетесь? — спросил я.

Мой вопрос вызвал бурю негодования.

— Спать? Я не такая, как вы думаете.

— Как хотите,— сказал я и закрыл дверь.

Она, как кошка, метнулась к двери и распахнула ее настежь.

— Вы извините, но дверь я все-таки закрою,— сказал я и тут же выполнил обещанное.

— Нет, вы не закроете,— сказала она и открыла дверь.

— Нет, я закрою,— сказал я и снова толкнул дверь от себя.

— Нет, вы не закроете,— сказала она и двинула дверь в обратную сторону.

— Нет, закрою.

— Нет, не закроете.

Единоборство продолжалось бесконечно долго. Проходивший мимо пассажир с полотенцем на шее остановился, как бы раздумывая, броситься на помощь женщине или не надо. Видимо, он быстро понял, что женщина сама за себя постоит, и молча, покачав головой, пошел дальше.

Я первым не выдержал.

— Послушайте,— взмолился я,— может быть, вы думаете, что, закрыв двери, я стану тут же бросаться на вас?

— Я ничего не думаю.— Она тяжело дышала.

— Тогда извините, я хочу спать.— Я снова взялся за ручку двери. Она тут же кинулась в контратаку. Рот у нее был широко открыт, глаза горели сумасшедшим блеском.

Я больше не мог сопротивляться, я устал. Я сказал ей:

— Разрешите мне закрыть дверь. Я даю вам слово, что не буду посягать на вашу честь. Вы мне не нужны абсолютно.

— Еще бы,— прошипела она,— вам, конечно, больше нравятся женщины, которые себе позволяют...

— Дорогая...— сказал я.

— Я вам не дорогая.

— Недорогая,— поправился я.— Вы понимаете, я устал и хочу спать. Но я не привык спать при открытых дверях.

— Свои привычки надо оставлять дома.

Я плюнул и лег так. Я долго не мог заснуть. Свет из коридора бил прямо в глаза. Я отвернулся к стене. Я лежал, проклиная ту минуту, когда согласился взять билет в двухместное купе. Но потом я подумал, что в конце концов ко всему надо относиться с юмором. И еще я подумал, что было бы, если бы мою соседку сделать главной хозяйкой всей нашей жизни. Она многое могла бы перестроить в порядке разъединения мужчин и женщин. Сейчас у нас существуют отдельно бани, туалетные комнаты, общежития. Это разделение можно было бы распространить для начала на кинотеатры, магазины и общественный транспорт. Скажем, на одном трамвае написано «ж», на другом — «м». Остановки тоже отдельные, разделенные глухими перегородками. Дальше — больше. Можно разделить города и села на мужские и женские. В процессе освоения космического пространства можно будет решить этот вопрос окончательно — расселив представителей разных полов по отдельным планетам. С этой чертовщиной я заснул. И мне снилась вселенная и множество круглых планет. На одних было обозначено «ж», на других — «м».

Несколько раз я просыпался от ужаса и видел одну и ту же картину. Она сидела, подперев подбородок руками, измученная, сонная, веки у нее слипались. Но как только она замечала, что я проснулся, она насто-раживалась, распрямлялась, вытягивала вперед руки, готовясь к самому худшему.

Когда я совсем проснулся, было уже светло. За окном мелькали мокрые от дождя платформы пригородных станций.

Соседку мою было не узнать. Она сидела измученная, мятая, бледная. Под глазами темнели синие круги. Можно было подумать, что она занималась ночью бог знает чем. Казалось, что она уже не может реагировать ни на что, но стоило мне пошевелиться, как она опять вздрогнула и приняла защитную стойку. Мне стало жаль ее. Я подумал, что, если бы использовать энергию, которую она тратит на защиту неизвестно чего, можно было бы много полезного сделать для общества. Я даже хотел сказать ей это, но тут вошла проводница и стала собирать белье. Поезд подходил к Ленинграду.





---

И. МЕТТЕР

★

## ПРАКТИКАНТ

*Рассказ*

— Значит, так,— сказал Гуляев.— Ты ушами не хлопай, ты на старуху посматривай. Мы с Борисом будем производить обыск, а у тебя одно задание — старуха. Она себя непременно окажет... В первый раз?— спросил он.

— В первый,— ответил Саша.

— Приучайся,— сказал Гуляев. Он остановился у ворот дома и заглянул во двор.— Сейчас запасемся вторым понятием. Давай, Борис, дворника.

Борис ушел, Гуляев в ожидании закурил, присев на тумбу у ворот.

— По мелочи найдем что-нибудь,— сказал он Саше.— Золотишка, конечно, у него нету, деньжата должны быть. Я этих делашей трёс порядочно, крепкие попадаютя орешки.

— А бывало, что ничего не находили?— спросил Саша.

— Если версия отработана правильно,— сказал Гуляев,— то брака не бывает.

Вернулся Борис с молоденькой дворничихой. Вероятно, он уже объяснил ей, в чем состоят ее обязанности, потому что она молча прислонила свою метлу к стене и пошла впереди оперработников.

Поднялись по черной лестнице на третий этаж. У самой двери в квартиру Гуляев спросил дворничиху:

— Вас как зовут, товарищ дворник?

— Катя.

— Значит, Катя, сделаем так: если спросят: «Откуда?»— отвечаете: «Из жилконторы». Ясно?— Он посветил спичкой у звонка и добавил:— Нажимаем три раза.

Сперва никто не откликнулся, и Гуляев хотел надавить еще, но потом за дверью раздались быстрые мелкие шаги и чей-то тонкий голос спросил:

— Кто?

— Я,— сказала дворничиха.— Открой, Люба.

Дверь отворилась, и девочка лет десяти, в школьном платье и в белом школьном переднике, отступя немного назад, поздоровалась:

— Здравствуйте, тетя Катя.

— Здравствуй,— ответил Гуляев, проходя вперед.— Где тут у вас свет зажигается?

Поднявшись на цыпочки, Люба дотянулась до выключателя и засветила тусклую лампочку под пэтслом прихожей. На стене висел велосипед без колес. Под ним стоял драный сундук. Три вешалки были при-

биты по углам. Длинный темный коридор уводил из прихожей в глубь квартиры.

Гуляев пропустил вперед дворничиху и пошел вслед за ней. У третьей двери направо она остановилась и постучала.

— Чего там,— сказал Гуляев и нажал ручку.

В комнате на неприбранной железной кровати сидела старуха в стареньком темном платье и в больших, не по ноге, разбитых валенках. Голова ее была повязана толстым шерстяным платком.

— Добрый день, бабушка,— сказал Гуляев.

— И вам также,— ответила старуха.

— Вот какое дело,— сказал Гуляев,— мы из горотдела милиции. Вы грамотная, бабуся?

Старуха ничего не ответила. Люба подошла к ней и встала рядом.

Наклонившись к дворничихе, Гуляев тихо и досадливо спросил:

— Бабку-то как звать?

— Ксения Макаровна. Она погостить приехала, из деревни.

Гуляев придвинулся к старухе поближе и, слегка согнувшись над ней, громко и раздельно произнес:

— Разъясняю вам, Ксения Макаровна. Сейчас мы зачитаем вам один документ, называется постановление на обыск комнаты вашего сына Лебедева Валерия Никифоровича и его сожительницы Тулиной Евдокии Ивановны. Ясно?

— На работе они,— сказала старуха.— В обед придут.

— Давай,— обернулся Гуляев к Борису.

Борис вынул из портфеля постановление и, не сходя с места, прочитал его вслух.

В комнате было неопрятно, на столе, покрытом липкой клеенкой, стояли вразброс тарелки с остатками еды, пахло консервами. На придвинутой к окну детской парте лежали стопкой учебники и раскрытая тетрадь. Постель с дивана была не убрана, а скатана к изголовью.

Покуда Борис читал, дворничиха Катя опустила на стул у двери.

Гуляев быстрым, приценивающимся взглядом скользил по комнате.

Присев на краешек дивана, Саша следил за старухой. Она сидела все так же неподвижно, редко мигая короткими веками. Еще в самом начале, как только они все вошли, она выпростала одно свое ухо из-под толстого платка, чтобы лучше слышать голоса чужих людей, и теперь поворачивалась к тому, кто говорил, этим большим голым ухом.

Борис показал постановление старухе, понятой Кате и, сунув его обратно в портфель, тем же плоским голосом, которым читал сейчас, произнес подряд:

— Оружие, яды, золото, драгоценности прошу выложить на стол.

— В обед обязательно придут,— сказала бабка.— Валерик велел картошки начистить, а Дуська обещалась принести котлет.

Девочка потянула старуху за рукав и, придвинув губы к ее уху, горячо зашептала ей что-то.

Тем временем Борис с Сашей убирали уже грязную посуду со стола на подоконник; клеенку сняли и, аккуратно сложив ее, повесили на спинку стула.

— Люди добрые,— сказала старуха.— Как же без хозяев-то?

— Мы, Ксения Макаровна, действуем согласно закона,— пояснил Гуляев.— Постановление вам было предъявлено, понятые тоже с ним ознакомлены...

Он подошел к платяному шкафу, стоящему у самой двери, и подергал запертую дверцу.

Борис начал обыск слева направо, Гуляев — справа налево. У окна они должны были встретиться.

Борису было проще: на его пути попадались незамысловатые вещи — телевизор, тумбочка, этажерка. У телевизора он отвинтил заднюю стенку, чтоб видны были внутренности, повернул весь ящик к свету, пошарил рукой в пыли.

Ни о чем постороннем он сейчас не думал: он не умел думать о постороннем во время работы. Его вело чутье, как ведет оно собаку, взявшую след. Отличало же его сейчас от собаки, идущей по следу, отсутствие злобности. Он искал, вкладывая в это дело только свой опыт и логику, а эмоции его сейчас в деле были ни к чему.

Еще входя в эту комнату, он тотчас же стал прикидывать, с чего надо начинать, и как вести порученную ему работу, и какие именно трудности могут встретиться на его пути. Борис сразу понял, что Гуляев, который был старшим в группе, возьмет себе правую сторону, а ему, Борису, даст левую. По правую руку стоял трехстворчатый шкаф, в нем могло быть много добра, в особенности под бельем на полках. Но и левая не так чтоб уж очень плоха, есть, правда, одно маленькое затруднение — железная кровать, на которой сидит старуха. Еще хорошо, если она не парализованная, а просто так сидит, отдыхает. Над головой ее висит икона, икону тоже придется посмотреть, в прошлом году у одного торговца вытряхнули оттуда порядочно; между прочим, эти иконы довольно халтурно производят, серийно, что ли, наверное, тоже есть план — слеплены они на живую нитку.

Деловито и беззлобно, не вслушиваясь в то, что говорят в комнате, Борис осматривал домашние вещи заведующего овощным складом Лебедева В. Н., арестованного сегодня утром по месту работы.

Мысли Бориса не уходили дальше тех домашних вещей, которые он вертел в руках. Здесь надо отвинтить, думал он, эту крышечку надо приподнять, а эту штуковину поставить на попа и постучать по ней, нет ли там двойного дна. Сперва сделаем так, думал он неторопливо, а потом сделаем эдак.

У Гуляева не задалось с самого начала. Начинать надо было с платяного шкафа, а дверцы его были заперты на ключ. Нижние ящики тоже не поддавались.

— Ключи у кого, девочка? — спросил он Любу.

Она ничего не ответила, ожесточенно заплетая и расплетая свои косички.

— Я вас, Ксения Макаровна, по-хорошему прошу, — сказал Гуляев. — Конечно, это для вас неприятное переживание, но постановление вам было зачитано в присутствии понятых, социалистической законности мы не нарушаем, а ключи вы должны мне вручить.

— Люди добрые, — сказала старуха, подняв на Гуляева размытые годами глаза. — Дождитесь вы, за ради Христа, Валерика. И ключи при нем, и сам разъяснит... Можете вы это понять?

Люба потрясла ее за колено и громко сказала:

— Перестань, бабушка. Не проси их.

— А ты, девочка, села бы за уроки, — посоветовал Гуляев, соображавший в это время, как ему быть. — Вон у тебя и книжки разложены.

Люба окинула его гордым и презрительным взглядом, подняла с пола мяч и принялась кидать его об стену, ловя в руки.

Гуляев нашарил в своем кармане связку ключей от служебного письменного стола; всовывая их поочередно в замочные скважины, он подобрал наконец подходящие и отпер шкаф.

Жуликов Гуляев ловил давно. Он был честным человеком, стремившимся исправно исполнять свои обязанности, и мог бы, вероятно, достигнуть больших чинов и званий. Но в жизни многое менялось, а Гуляев, не замечая поворотов, продолжал двигаться в заданном направ-

лении. Он крепко усвоил когда-то, что преступников надо ловить и сажать без всяких церемоний, допрашивать их следует, стремясь к цели напрямик. Это уж потом началась вся эта возня с общественностью, в которую Гуляев не слишком верил, хотя и он, выступая на собраниях и совещаниях, произносил все положенные по службе сочетания слов, но делал это крайне неуклюже. Его беда и заключалась в неуклюжести языка, которая выдавала его с головой. Модно было нынче разговаривать с жуликами очень вежливо — они и сами об этом знали, — и чуть что не так скажешь — тотчас строчили жалобы.

По характеру своему и исполнительности Гуляев был солдатом, и, как всякий солдат, он считал, что дела на всем фронте обстоят именно так, как в расположении его роты.

Арестовав сегодня утром Лебедева на овощном складе, а затем его сожительницу Тулину в магазине, Гуляев был совершенно убежден в том, что они опасные преступники. И сейчас им владело чувство удовлетворения оттого, что лично ему удалось их обезвредить. Оставалось только найти в этой комнате побольше нажитого нечестным путем имущества, чтобы вернуть его государству.

И Гуляев начал планомерно обыскивать шкаф.

Сперва он открыл широкую правую створку. На круглой палке, от стенки до стенки, висела вплотную друг к другу на деревянных плечиках мужская и женская верхняя одежда. Запах от нее шел магазинный, ненаошениый, пахло из шкафа мануфактурой, а не человеческим телом.

Вынув на свет наугад несколько вещей — пальто, шубы, костюмы, — Гуляев быстро осмотрел воротники, края рукавов и убедился, что они ненадеваны.

Дворничиха Катя с горестным любопытством следила за тем, что он делал. Богатство, открывшееся ее глазам, богатство, которое она не могла даже оценить, больно ударило ее. «Ах ты, господи, — думала она, глядя в шкаф, — что ж это на самом деле творится! Наворовали средь бела дня Валерка с Дуськой. По двору в чем попало ходили, а у них вон сколько добра припрятано. Спину гнешь, лестницы сахарканные моешь, вертишь контейнеры с помоями, другой раз так накантуешься, что пальцы не разогнуть. А эти вон как живут. Сволочи. Матери родной этот Валерка леденца не принес. Валенки у нее прохудились, так и ходит. Кругом у них с Дуськой, видать, подкупленные были. Ах ты, господи, что делается!..»

— Товарищ понята, — сказал Гуляев, — прошу посмотреть сберегательные книжки.

Запустив руку по локоть под белье, сложенное доверху стопкой на полке, Гуляев нащупал пальцами и узнал их раньше, чем вынул, четыре сберкнижки.

Катя подошла к нему, он разложил их на столе рядом, отогнув и разгладив картонные обложки.

— Любовь Валерьяновна Лебедева, — тихо прочитал Гуляев. — Сумма вклада тысяча двести рублей... Любовь Валерьяновна Лебедева, — прочитал он в следующей книжке, — сумма вклада семьсот рублей... Ксения Макаровна Лебедева, сумма вклада тысяча пятьсот рублей... На предъявителя, сумма вклада девятьсот рублей.

— Паразит! — прошептала Катя. — Вот паразит.

Старуха сидела на железной кровати, не шевелясь. Ей давно хотелось прилечь на подушки, ломило поясницу, ныли опущенные вниз ноги. Но лечь она не могла, потому что в комнате были чужие люди, и она была в ответе за это перед сыном. Глаза ее плохо различали то, что

делалось сейчас в комнате, внучка стучала мячом по стене над самым ухом, голосов она тоже не разбирала.

Когда ей прочитали ордер, она сразу поняла, что против сына затевается неладное. «Дуська, наверное, его подвела. От Дуськи все и повелось. Она его по миру пустила, лишней копейки в доме нет, все дочиста проедают. Насмотрелась, слава богу, за две недели. Любу, внучку, тоже обижает, мачеха и есть мачеха. Третьего дня вступилась за девчонку, получила от ворот поворот. Ежели, говорит, вам, маманя, у нас не нравится, то мы силком не держим. Пять, говорит, рублей как высылали, так и будем высылать, картошка у вас своя. Валерик, конечное дело, молчит, а она об него ноги вытирает. Придут сейчас в обед, расшумятся на старуху: зачем пустила, зачем не вскричала соседей. А я их городских порядков не знаю».

Ее клонило в сон и одновременно хотелось есть: при невестке она чинилась за завтраком, не ела досыта. От голода и от страха перед сыном, который вот-вот вернется, старуха стала икать.

На столе посреди комнаты уже лежала груда вещей, добытых Гуляевым из шкафа: несколько коробок по дюжине чулок в каждой, две стопки шерстяных импортных кофточек, три стопки — нейлоновых, отрезки бостона и драп-велюра. С барахлишком был полный порядок.

На другом конце стола Борис сложил кучку облигаций трехпроцентного займа, пять пар часов, мужских и дамских, желтого металла (как принято при обысках именовать золото), несколько сережек и колец.

— Икону будем потрошить? — спросил Борис у Гуляева.

— Не надо, — сказал Гуляев, с опаской взглянув на икавшую старуху. — Давай оформлять.

Протокол составляли долго, извели много бумаги. За окном стемнело, зажгли электричество.

Гуляев диктовал тихим голосом, Борис записывал. Саша не принимал участия в обыске.

Сперва он сидел на диване и следил за старухой, как ему было велено. Из разговоров в угрозыске студент-юрист третьего курса Саша Овчаренко знал, что во время обыска надо присматривать за хозяевами: по выражению их лица можно догадаться, близко ли к тайнику подошел оперработник.

Взяв газету и исподволь, поверх нее, поглядывая на старуху, Саша ничего подозрительного не замечал. Сидела против него старая женщина, руки ее упирались в край кровати, поддерживая неверное тело, чтобы оно не повалилось набок. Сперва лицо ее обеспокоилось, а потом утихло. Торчало из-под платка бесполезное ухо, шевелился острый кончик подбородка, словно она жевала, глаза заволокло мутной слезой. Раза два за время длинного обыска старуха вскидывалась, обводила слепым, безучастным взглядом комнату, рука ее дотягивалась до девочки, про-верая, здесь ли она, не увели ли ее потихоньку прочь.

И была эта старуха похожа на его, Сашину, бабушку, которая растила его в деревне лет до пяти, когда отец с матерью уехали в город на заработки. Была она похожа на всех бабушек, которых он встречал за свою двадцатилетнюю жизнь. Он угадывал сейчас ее покорность и страх — на это было унижительно смотреть здоровому молодому человеку. Может быть, если б Саша занимался сейчас в этой комнате делом — искал накопленное, награбленное имущество, — то и он расплялся бы против жуликов Лебедевых. Но ему поручили наблюдать старуху, и поэтому он видел только ее, а в ней видел то, что ему не было поручено. Думал Саша и про девочку. Она стояла спиной к нему, спиной ко всем, отгородившись от них своей обидой и поправной гордостью; она

играла в мяч, чтобы доказать им всем, что ничего не случилось — как было, так и останется. Завтра ее вызовут в классе к доске, думал Саша, отвечать урок, а если она его не выучила, то учительница будет корить ее, не зная, не догадываясь, какое горе настигло ее сегодня.

— Ну, все,— сказал Гуляев, разминаясь.— Пошабашили, братцы. Вещи после описи сложили обратно в шкаф, облигации, часы и драгоценности взяли с собой в горотдел.

Во дворе попрощались с понятой. Пожимая ей руку, Гуляев подмигнул:

— Вот такая получается картина, Катюша. Недосмотрела ты за своими жильцами, крепче надо держать связь с участковым. Прошу прощения, что задержал.

Настроение у Гуляева было хорошее, все у них сегодня получилось «в цвет».

Из горотдела вышли поздно, зашли на радостях в столовку «Уют» поужинать. Взяли в буфете три винегрета, заказали горячее.

Сперва жадно ели, набросившись на хлеб с горчицей. Выпили по стопке.

— Славно поработали,— сказал Гуляев.— Я думал, подальше заховают. Часы ты здорово, Борис, из тумбочки достал.

— А чего их было доставать,— сказал Борис.— Лежали себе и лежали. Зря мы икону не посмотрели. И бабкину кровать.

— Ненадежная была бабка. Могла загнуться.

— Как же они теперь? — спросил Саша.

— Ты про кого? — Гуляев поднял на него захмелевшие от усталости глаза.

— Про старуху с девочкой. Они-то ведь не виноваты.

— Ну и что? — сказал Гуляев.— Мы их и не трогали. Старуха-то, положим, сынка воспитывала. Не в лесу рос. Семья и школа — во главе угла.

— Где-нибудь у них еще припрятано,— сказал Борис.— Зря я в иконе не покопался.

Гуляев положил вилку и пристально посмотрел на Сашу.

— Вон ты, оказывается, какой скромняга парень!

— Какой? — спросил Саша.

— Жалко тебе их?

— Конечно, жалко.

— А государство тебе не жалко?

Саша улыбнулся.

— Ты чего ухмыляешься? — разозлился Гуляев.— Из чего состоит государство? Из людей. Видал, чего я выгреб из шкафа? Он овощи тоннами пускал налево, капитал сколотил на наших трудностях...

— Я же не про него,— сказал Саша.— Вы поймите меня, пожалуйста. Вот мы сидим втроем, пьем, едим. А там старуха с девочкой...

— Не имею я права об этом думать,— сказал Гуляев.— Ясно тебе? И не желаю. У меня сердца на всех не хватит.

— И все-таки здесь что-то не так,— сказал Саша.

— Ах, не так? — Гуляев приблизил к нему через стол лицо.— А можешь ты мне сказать, как?

— Не могу,— сказал Саша.



---

---

АЛЕКСАНДР РЫТОВ

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

\* \* \*

Нет, никогда на кинолентку  
Такие кадры не отснять..  
Возили как-то мы зеленку  
За километров двадцать пять.

Сидеть бы в этот день под кровом —  
Дождь вместе с громом шел и врозь.  
Прицеп был плотно утрамбован,  
И мне сгружать его пришлось.

И плеть обух перешибает!  
С какого ни начнешь угла,  
Трава, еще совсем живая,  
Спротивлялась, как могла.

Я оглянулся ошалело:  
Шофер стоит, здоровый, ч-черт!  
А ты, наверно, пожалела  
И руки вскинула на борт...

Я до сих пор их вижу четко  
В разводах напряженных жил..  
И женщина, почти девчонка,  
Едва раздавшаяся вширь,

С какою силой откровенной  
Подхватит пласт, свернет валок,  
Шутя поддаст его коленом  
И вилами в зеленый бок —

И вкусно, с хрустом входят вилы,  
И зелень, как волна в прилив,  
Обрушилась!.. К щеке пугливо  
Трилистник клевера прилип.

И, сам того не замечая,  
Отбросив грузную копну,  
Я вдруг почувствовал плечами,  
Что тоже многое могу!

\* \* \*

Не о траве высокой, в пояс,  
Здесь речь пойдет, не о луне...  
Сестре отрезал ноги поезд,  
А брат ослеп не на войне.

Был муж — не то чтоб проходимец,  
Но и нельзя назвать святым:  
Два года жил в семье кормилец,  
Потом рассеялся, как дым!

И не ищите между строчек  
Подтекст — он явно ни к чему.  
И пил, и бил, оставил дочку,  
Постранствовал и сел в тюрьму.

Свекровь (куда деваться старой?)  
Живет при ней. И не грызет!  
Ну, а ее зовут Тамарой,  
Вот это, в сущности, и все...

И на ночь распуская косы,  
Подолгу женщина сидит;  
Ей только-только двадцать восемь,  
Ей долго-долго до седин!

Ей плечи тени обнимают,  
Приходит слабость, как недуг,  
Ее заботы отнимают  
От чьих-то губ, от чьих-то рук!

И по щекам течет усталость,  
И долго ночь не смежит век...  
А утром — что куда девалось? —  
Она смеется громче всех!

И не под глупую гармошку  
День на свиданье приходил —  
Мы грузим вместе с ней картошку,  
Тамара — просто бригадир.



Ее в совхозе понимают,  
И за спиною нет смешков —  
Ее заботы поднимают  
Над темной лестью мужиков!

Ее судьба не отравила,  
Не обесцветила глаза.  
— А ведь Тамара — героиня! —  
Мне Борька вечером сказал.

Ленинград.



---

---

А. МАРЬЯМОВ

★

## ДЕВУШКА У КОЛОДЦА

**Н**ичего этого я бы, конечно, не вспомнил, если бы австрийское го-  
степриимство не завело саратовского доктора Макаревича в ти-  
рольский городок Линц.

С Юрой Макаревичем мы лет сорок с лишним назад играли в  
«казаки-разбойники» в кустах, спускавшихся к днепровскому берегу от  
белых хат околицы, называвшейся в нашем городке почему-то «Кав-  
казом».

Мальчишками разъехались. Внезапно встретились снова — уже  
после войны. И так славно поговорили, что с тех пор примерно раз  
в год стали обмениваться недлинными письмами, а раз в два-три года  
случалось и встретиться — когда Юра по своим делам приезжал в  
Москву.

Юра стал кардиологом и слыл, кажется, хорошим специалистом.  
Впрочем, в его делах я разбирался так же плохо, как и он в моих.

На этот раз, по телефону, он объяснил, что возвращается из Вены,  
был в научной командировке, а ждать саратовского поезда несколько  
часов.

Полчаса спустя он появился с чемоданом — веселый, седой, завидно  
легкий.

Он побывал за границей впервые, был полон впечатлений, еще не  
успел выговориться. Ему все было интересно: называть улицу, на кото-  
рой он жил, улицы, по которым ходил, вспоминать себя в сочетании с  
названиями, всем известными.

— Поехал я в Венский лес, — говорил Юра. — Оказывается, боль-  
шой старый парк. Деревья в снегу. Очень красиво.

Он рассказал, как слушал орган в соборе святого Стефана.

Тоже — очень красиво.

— А про Дунай говорят, что никакой он не голубой. Желтый. И да-  
же грязный. Сам я воды не видел — зима... А лед весь аж черный от  
копоти..

Милое нашему южному слуху «аж». Оно у него сохранилось.

Но Днепр, как видно, уже не часто вспоминался доктору Мака-  
ревичу. Он сказал:

— У нас, под Саратовом, Волга чище.

То, что он называл, вспоминая Вену, было для меня лишь сценами  
из фильма «Большой вальс», страницами прочитанных книг, репродук-  
циями из архитектурных альбомов. Но Юру я понимал хорошо. Конечно,  
всегда приятно ощутить, что ты сам вошел в прочитанную страничку,  
все на ней приобрело цвет, трехмерность, запах, ожило вдруг, двинулось  
на тебя и вот еще не успело потускнеть и утратить свою удивительность.

Под конец, когда работа в Вене была закончена, хозяева справились, не ходит ли доктор Макаревич на лыжах, услышали, что как же, конечно, ходит, и повезли его на три дня в Тироль.

Несколько пожилых кардиологов прожили эти три дня в маленьком деревянном горном отеле: ближний Линц очаровал Юру, и, рассказывая о нем, он полез в чемодан за открытками.

— У них, в Австрии, еще один Линц есть, — сказал он. — Большой город, порт на Дунае, что ли. А этот — совсем другой. Представь себе пятачок, в полчаса можно все обежать от края до края, красная черепица под снегом, старые готические дома, чудо как хорошо. Кругом горы, тоже в снегу. Коровы проходят с колокольчиками. Патриархально, уютно...

Шегольские, глянцевиито-пестрые снимки — все были сделаны летом, и на них как раз не было того, о чем рассказывал Юра. Горы — ядовито-зеленые, черепица — пронзительно-красная. Впрочем, несмотря на шибяющие краски, городок действительно казался очень уютным. Небольшая стрельчатая колоколенка поднималась над крохотной булыжной площадью среди очень старых домов. На другом снимке узкая улочка круто уходила вверх по горному склону. Еще была фотография другой площади, поменьше, но зато с более крупной и старой булыгой. Тут был тоже очень старый колодец, и возле него стояла девушка в крахмальном чепце, в белом фартуке, в блузке, расшитой красным узором.

И когда я увидел этот старый колодец, и за ним узкие двухэтажные домики с асимметричными окнами и темными досками, косо перекрещенными по белой стене, и эту девушку в празднично накрахмаленном чепце, — вдруг пришла безотчетная мысль, что, никогда не бывавши в Линце, я все это знаю, и я так долго смотрел на фотографию, что Юра сказал:

— Правда, красиво? — и великодушно предложил: — Возьми, у меня много.

И тут же заторопился на вокзал: до саратовского поезда оставалось уже недолго.

Мы простились. Проводив гостя, я вернулся к фотографии и сразу вспомнил. Да, верно. Конечно, я это знаю.

Тетрадки так и лежали в старой полевой сумке. Я достал их.

Но еще не открывая тетради, я вспомнил решительно все.

В мае 1942 года мы высадились у полуострова Среднего, недалеко от того места, где в Мотовский залив Баренцева моря впадает Западная Лица — маленькая быстрая речка. Берег был занят немцами.

Корабельные артиллеристы устроили кутерьму, со всей допустимой щедростью обрабатывая снарядами береговой участок, на котором якобы готовилась высадка. Горные егеря генерала Дитла усилили там оборону. А тем временем мобилизованные флотом рыболовные траулеры высадили нас совсем в другой стороне, в тихом месте, на пологую полосу черной прибрежной гальки. У согретого теплым Гольфстримом моря сразу начиналась мерзлая, в середине мая покрытая льдом и снегом Муста-Тунтури — кольская скалистая тундра.

Про егерей, с которыми нам предстояло драться, мы знали немного.

Вернувшиеся отсюда разведчики рассказывали, что боезапас егеря возят на мулах. Мулы взяты в Греции, оттуда доставлены в Нарвик, а у Западной Лицы они подышают, не выдерживая здешних морозов.

Сами же егеря — австрийцы; немцы считают их «вторым сортом» и дразнят «мармеладниками» за то, что те не признают завтрака без мармелада, намазанного на хлеб. Это нам было не очень понятно. Про нем-

цев тоже говорили. что к завтраку им дают мармелад. А у нас в ту зиму главной пищей была пустая похлебка с колючей, неразваривающейся пшеницей. Зато в десант нам выдали сало и мясные консервы. И австрийскому мармеладу мы не завидовали.

Мы высадились благополучно.

Без боя протянулись на несколько километров в глубь материка и стали занимать позиции среди обледенелых камней.

Накануне высадки метеорологи обещали оттепель. Но к вечеру стал прихватывать крепкий, градусов на пятнадцать, мороз. Впрочем, никакого вечера не было, стоял полярный день, было светло почти круглые сутки. Пока мы двигались, мороз не очень давал себя знать. Но стоило остановиться — и он сразу хватал тебя за ноги, проникал под ватник, овладевал всем твоим существом. К тому же нельзя было зажигать костры. И закопаться в землю тоже нельзя было. Снега не хватало, чтобы зарыться. А под снегом и льдом лежал камень.

Первые выстрелы слышались справа, из батальона Петрова.

Вскоре у нас начали рваться немецкие мины. Потом мы увидели перебегающие фигуры егерей и поняли, что они стреляют из автоматов. Рядом упал Кирюшка Кузнец.

— Поднимайсь! Поднимайсь!

Это, конечно, не Кирюшке кричал старшина. Но все равно это было самое неуместное и глупое слово для той минуты...

Труп Томаса Фляшвергера попался мне, кажется, на третий день после высадки, когда я возвращался к нашему КП от Петрова.

Это я потом узнал, что убитого егеря звали Томас Фляшвергер. А сперва я просто споткнулся обмороженными, плохо слушающимися ногами о невысокий сугроб и тогда только разглядел шинельное сукно, припорошенное снегом, и то белое, что было прежде лицом, и то остекленелое, что было прежде глазами. Тут уже проходили до меня бойцы трофейного взвода, потому что оружия при убитом егере не было.

В прошлом году, десять месяцев тому назад, мы высаживались в этих же местах, немцы только что здесь появились, но тогда у трофейного взвода главной добычей были наши собственные противогазы, и мой в том числе. Почему-то таскать с собою противогаз было особенно тошно. Мы выпивали спирт из двух крохотных ампулок, приложенных к противогазу, набивали сумки патронами и сухарями, а противогазы бросали, и их собирали шедшие следом бойцы трофейного взвода. Нам крепко доставалось за это, но совладать с собою мы никак не могли. А на следующий день было уже не до трофеев. Нас оттеснили к самому берегу, и трофейный взвод делал то же, что и все остальные.

На этот раз сопки, оставшиеся в нашем тылу, были уже прочесаны после боя. Кроме оружия, с убитых егерей снимали документы. Поэтому шинель егеря была расстегнута, а карманы вывернуты торопливой рукой.

Мертвый на войне сразу становится неодушевленным предметом.

Особенно при пятнадцатиградусном морозе.

Я увидел на снегу эдельвейс — эмблему тирольских стрелков. Наклонившись за серым цветком с сердцевинкой, покрашенной желтой краской, я заметил еще и припорошенную снегом оброненную пачку бумажек, перехваченных резинкой, и сунул ее в карман вместе с эдельвейсом.

Потом, на КП, когда я смог разглядеть эту пачку, я увидел какие-то талоны, несколько печатных листочков, заменявших солдатам деньги, несколько писем. Там была и эта фотография: девушка смотрит прямо в объектив, а за ее спиной — круглый колодец на старинной готической площади маленького городка. Письма я прочитал после, когда

мы вернулись из десанта на базу. Вот все, что было в солдатском кармане. Я не изменяю здесь ни одного слова:

1. Томасу Фляшвергеру — его брат Тони

Галль, 27.I.1942.

...Могу утешить тебя: мы тоже выступаем. Каждый день ожидаем приказа, и из-за этого нам не дают отпуска. В воскресенье я посетил брата Дрейца. Он выглядит очень плохо, страшный, глаза нехорошие. Он сначала и меня не узнал, так здорово я изменился. Да, жизнь крепко схватила нас, и кто знает, вернемся ли мы когда-либо. Дорогой брат! У меня одно желание, чтобы мы встретились, все три брата, на родине после великой борьбы. Кто знает?

У нас много бывает маршей, пехотной службы, с противогАЗами, с придуманными каверзами.

Пишет ли тебе Миццль? Или все еще ссоритесь? Девушки нас, соб-ственно говоря, никогда не поймут, они просто не могут себе предста-вить, как живет солдат...

2. Ему же — он же

1.III.1942.

...Здесь скоро будет весна, прекрасное время на родине, но сейчас оно не может быть радостным. Наша молодость пропадает. Даже если мы вернемся обратно, то будем лишними на свете. Что ж, приходится со всем соглашаться...

3. Ему же — сестра Марта

Михельсдорф, 31.III.1942.

Дорогой брат! Хотя это и будет тяжело, но я должна сообщить тебе правду. Судьба определила так, что мы потеряли бедного, милого Тони.

Вчера получили письмо от капитана, что Тони 24 марта застрелился.

Капитан пишет, что Тони был очень грустен в последнее время и не мог овладеть собою. Мы помним Тони, как лучшего из братьев, и пожелаем ему покоя...

4. Томасу Фляшвергеру — Мицци Погатниг

Линц, 10.VII.1940.

Лучший друг! Я считаю, что каждый должен подметать перед своей дверью... Мне все равно, что говорят люди. Как я поняла из твоего письма, планы твои совершенно переменялись. Об этом я и прежде догады-валась. Я охотно уступаю тебе дорогу. Что нами пережито, больше не вернется. Я думаю, что лучше нам, каждому, идти по своей стороне улицы. Пожелаю тебе счастья на солнечном юге и — вернуться из Греции с победой.

С приветом

Мицци Погатниг.

Извини за ошибки и плохой почерк.

5. Ему — она же

Линц, 29.I.1942.

Дорогой друг! Было полной неожиданностью получить от тебя со-общение о жизни. Как я вижу из твоего письма, ты живешь не очень хорошо. Такая зима, — конечно, мало радости...

Твой брат Дрейц недавно писал мне, что он все еще лежит в лазарете. Когда я была в отпуске дома, я хотела его навестить, но, к сожалению, все время оказывалась занята, так и не вышло.

Дома провела время весело. К величайшему изумлению, я встретила твою прежнюю невесту, и она, конечно, спрашивала про тебя. Она вернулась из Зейссона и снова здесь без работы. Как я слышала, она намерена поступить кассиршей в кафе. Каждый день она бывала в Михельсдорфе.

Твоя прекрасная девочка меня боялась, не знаю почему. Я ведь не людоедка, а она всегда очень осторожно пробегала в булочную и, как только замечала меня, поворачивала сразу обратно. Но ей нечего было бояться, я не стану у нее на дороге.

Я слышала, что сын твоей сестры вернулся из больницы. Эгон Костмайер умер. Еще одна печаль: Марошиц Эрна родила девочку, когда отец был на фронте, а теперь он на небе. Ты должен это уже знать сам. Любопытно, что будет дальше? Пока мне живется хорошо. Меня радует, что зима скоро пройдет. Летом будет веселее.

Очевидно, я задержала тебя своими каракулями. А теперь сожги, пожалуйста, это письмо.

Твой старый друг Мицци Погатниг.

#### 6. От имени фюрера и командующего вооруженными силами

Награждаю обер-ефрейтора Фляшвергера Томаса II штабной батареей 118-го горноартиллерийского полка крестом II класса за боевые заслуги.

20 февраля 1942 года.

Командир дивизии  
генерал-майор Шернер.

Печать 6-й горной  
дивизии.

#### 7. Томасу Фляшвергеру — Рин Гербранд

25.III.1942.

Дорогой незнакомый солдат!

Разрешите послать Вам наилучшие пожелания.

Было бы для меня большой радостью получить от Вас ответ.

Хайль Гитлер!

Рин Гербранд.

Рин Гербранд, Ампфинг, 4, Мапеллен-Зальцбург.

#### 8. Обер-ефрейтору Томасу Фляшвергеру

Михельсдорф, 29.III.1942.

Сердечный пасхальный привет шлют тебе с прекрасной родины

Лени Несман, Эрна Раабек, Ганни Погатниг.

#### 9. Ему же — Мицци Погатниг

Линц, 22.III.1942.

Дорогой Томас!

Многokrатно благодарю тебя за письмо, которое недавно получила. Мне очень приятно услышать что-либо о твоей жизни. Как я заключила из твоего письма, ты живешь хорошо. Это очень хорошо.

Ты снова начинаешь подогрывать старое — о своем отпуске. Я могу тебе только сказать, что и я тоже отдалась от тебя, и мы, надеюсь,

квиты. Ты все еще мне напоминаешь о нашей последней встрече. Очевидно, ты забыл, что мы опять успели подружиться. Мне было очень тяжело на сердце, но я должна была сдерживать себя в твой последний отпуск. Мы пожимаем теперь друг другу руки и хотим никогда не продолжать спора.

Если ты мне это обещаешь, то лучшего мне и не надо. Да? Или нет?

Дорогой Томас! Я никогда не могу понять тебя. Что ты ни напишешь, я понимаю по-другому. Я надеюсь, ты хорошо меня знаешь: то, что я обещаю, я исполняю всегда. И думаю, ты хорошо понимаешь меня и знаешь, что все мои мысли с тобой, что я буду и дальше оставаться верной подругой. Так как эти вечные споры не приведут к добру, то мы должны их благоразумно прекратить до конца войны.

Очевидно, ты с моими планами согласен. Мы наконец больше не дети. Ты, может быть, другого мнения — опять я сомневаюсь. Прошло уже много лет, как мы познакомились. Я была тогда еще очень молода и глупа, как принято говорить. Теперь я стала немного умнее. И ты, конечно, тоже имеешь тридцать за плечами и можешь быть порядочным отцом. Мы с каждым днем стареем и стареем. Судьба есть судьба.

Ну, как ты поживаешь? Я живу хорошо, только всеми покинута. Через восемь дней моя сестра едет домой, это очень печально. Я уже радуюсь лету и твоему отпуску. Может быть, увидимся? Или нет надежды? На сегодня я заканчиваю свое письмо. Извини за ошибки и плохой почерк.

Сердечный привет и пожелания шлет тебе твоя

Мицци Погатниг.

#### 10. Томасу Фляшвергеру — от матери

Михельсдорф, 4. IV.1942.

В первых строчках шлю тебе сердечный привет, дорогой Томас! Застанет ли тебя письмо в полном здоровье? Сообщаю тебе большую печаль: Тони лишил себя жизни. Так сообщил нам его капитан. Мы послали ему все, что могли: каждый месяц посылку с мясом, каждую неделю посылку с хлебом и шпиком. Все, что только могли, и все напрасно, 22 марта он получил от меня еще один пакет с одиннадцатью папиросами и талонами на четырнадцать дней. Никто не ожидал, что его жизни придет конец. Я не могу поверить, что это сделал он сам. 23 марта он написал мне письмо и дал новый адрес. Письмо было очень веселое. И 30 марта мы получили сообщение, что Тони уже похоронен.

Дорогой Тони, мои нервы совсем расшатались от этого волнения. Но я должна быть сильной, это еще не все.

Томас, ты так далеко от нас, что можно месяц пролежать в могиле, пока ты получишь сообщение.

Только одна у нас надежда — что ты когда-нибудь приедешь.

Бедный наш Тони.

Прощай на далекой чужбине. Должна кончать, мои нервы совсем разболелись.

Твоя мама.

В бумажнике Томаса Фляшвергера рядом с письмами лежал еще и листок, очень бледно отпечатанный через которую-то копиру на утлой штабной машинке. Наверно, писаря в неурочное время печатали это, выполняя заказы приятелей. Это было нечто вроде памфлета, сочинен-

ного самодеятельным острословом и одобренного егерями, отправленными из Тироля в Грецию, оттуда в Нарвик, а потом оказавшимися среди скал Муста-Тунтури, у Западной Лицы:

### 11. Старый норвежский воин

Много, много времени прошло после войны. Во всей Европе царит глубокий мир, все казармы превращены в дома для молодежи. Больше не услышишь четких шагов солдатского марша, так как даже из Сибири войска давно вернулись домой.

Наш фюрер и Герман Геринг наслаждаются закатом своей жизни после неутомимой деятельности. Теперь они могут с наслаждением созерцать через окно мирную жизнь.

Вдруг из-за угла выходит длинная процессия. Впереди военный оркестр исполняет старинный марш. Позади мужчины с длинными бородами. Они катят перед собою детские коляски или тачки, до отказа нагруженные рыбными консервами и мехами чернобурых лисиц. Некоторые везут для себя тресковый жир и солидные обломки скал — на память. Они смотрят пугливо, как молодая лошадь на автомобиль.

Фюрер удивился этому шествию мужчин, оснащенных ранцами и сумками. Он обратился к Герингу:

— Они носят часть нашего армейского обмундирования. Но я не могу понять, почему на них лыжные ботинки, пестрые шерстяные перчатки и цветные рубашки?

Герман Геринг нагибается к ближе стоящим и кричит:

— Алло, откуда вы идете в отпуск?

Окликнутые пугливо подходят, шамкают беззубыми челюстями, смущенно улыбаются, как трехлетняя девочка, услышавшая неприличную шутку.

Потом один пролепетал: «Хайль Гитлер!» — и отпил несколько глотков из фляги. Другой принял «норвежскую стойку» — это значит засунул по локоть свои руки в карманы брюк. Старший стрелок — узнали мы по звезде, которую он носит, как орден, на левой стороне груди. Наконец он сказал:

— Прошлой зимой у нас умер главный ефрейтор, старый человек. Он был однажды в отпуске и до конца дней своих вспоминал о нем. А мы — мы не знаем, что такое отпуск.

Герман Геринг отпрянул назад.

— Боже мой! Мы провели блестящее мероприятие в Норвегии... Но, я думаю, мы забыли там этих людей...

С согласия двух великих мужей все эти люди были поселены в долине Тироля. И после этого о них ничего не было слышно.

И вот передо мною лежит старая тетрадка, серый железный эдельвейс и две фотографии.

Сколько лет может быть теперь Мицци Погатниг?

Лет пятьдесят, наверно, не больше.

Это уже другая девушка снималась у того же колодца для пестрой фотографии, которую туристы покупают на память.





---

---

## ФРАНЦУЗСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

### Ф. И. ТЮТЧЕВА

В полных собраниях стихотворений Ф. И. Тютчева имеется небольшой раздел французских стихов.

Тютчев был не единственным русским поэтом, изредка писавшим стихи на французском языке, широко распространенном тогда в русском обществе. Из современников Тютчева можно назвать Пушкина, Лермонтова, К. Павлову. По своим художественным достоинствам французские стихотворения Тютчева, конечно, уступают его лирическим шедеврам, созданным на родном языке. И все же они представляют для нас несомненный интерес, потому что в них нашли выражение те же заветные думы поэта, те же мотивы и образы, которые знакомы нам по его прославленным русским стихотворениям.

Ниже печатаются переводы девяти наиболее значительных из французских стихотворений Тютчева.

Первое стихотворение посвящено немецкому поэту Аполлониусу Мальтицу (1795—1870), находившемуся на русской дипломатической службе и в 1837 году сменившему Тютчева на посту первого секретаря русской миссии в Мюнхене. Мальтиц был знаком и переписывался с В. А. Жуковским. Незадолго до того, как было написано это стихотворение, Мальтиц породнился с Тютчевым, женившись на сестре его первой жены — Клотильде Ботмер. Мальтицу принадлежит самый ранний немецкий перевод знаменитого стихотворения Тютчева «Весенняя гроза».

Второе — экспромт в одном из писем Тютчева к его второй жене, Эрнестине Федоровне, урожденной Пфедфель (1810—1894). К ней же обращены третье и седьмое стихотворения. Упомянутый в стихотворении «Мечта» альбом-гербарий, принадлежавший Э. Ф. Тютчевой, сохранился. В нем под засушенными цветами — записи памятных дат, нередко имеющие прямое отношение к биографии поэта. Есть основания полагать, что с Э. Ф. Тютчевой связано также пятое стихотворение.

В четвертом стихотворении описан зимний Петербург.

Несколько особняком в ряду печатаемых стихотворений стоят восьмое и девятое. Восьмое посвящено светской знакомой Тютчева Елизавете Николаевне Анненковой (1840—1886) и носит характер альбомного комплимента. Непосредственный повод, вызвавший эти стихи, не установлен. Четверостишие, которым завершается публикуемый цикл, является политической эпитаграммой, написанной по поводу награждения турецкого султана английским орденом Подвязки. Горькая ирония Тютчева вызвана тем, что это награждение последовало вскоре после жестоких репрессий, которым подверглось со стороны Турции христианское население острова Крит, боровшееся за свою национальную независимость. Эпиграмма была послана Тютчевым жене английского посла в Петербурге леди Бьюкенен. Последняя строка четверостишия — девиз ордена Подвязки.

Французские стихотворения Тютчева (кроме одного) переводились и ранее. Мысль о новом их переводе возникла в связи с подготовкой к печати полного собрания лирики Тютчева, которое выйдет в ближайшее время в издательстве «Наука», и стремлением в большей степени приблизить перевод к подлиннику.

К. Пигарев.

\* \* \*

Устали мы в пути, и оба на мгновенье  
Присели отдохнуть и ощутить смогли,  
Как прикоснулись к нам одни и те же тени,  
И тот же горизонт мы видели вдвои.

Но времени поток бежит неумолимо.  
Соединив на миг, нас разлучает он.

И скорбен человек, и силою незримой  
Он в бесконечное пространство погружен.

И вот теперь, мой друг, томит меня тревога:  
От тех минут вдвоем какой остался след?  
Обрывок мысли, взгляд... Увы, совсем немного!  
И было ли все го, чего уж больше нет?

Линдау, 4 апреля 1838 г.

\* \* \*

Как зыбок человек! Пришел — его страданья  
Едва заметили. Ушел — забыли их.  
Его присутствие — едва заметный штрих.  
Его отсутствие — пространство мирозданья.

1842.

### МЕЧТА

Что подарить в такое время года?  
Холодный вихрь обрушился на луг —  
И нет цветов. Безмолвствует природа.  
Пришла зима. Все вымерло вокруг.

И взяв гербарий милой мне рукою,  
Перебирая хрупкие цветы,  
Вы извлекли из сонного покоя  
Все прошлое любви и красоты.

Вы разбудили то, что незабвенно,  
Вы воскресили молодость и пыл  
Минувших дней, чей пепел сокровенный  
Гербарий этот бережно хранил.

На два цветка ваш выбор пал случайный,  
И вот сни, без влаги и земли,  
В моей руке, подвластны силе тайной,  
Былые краски снова обрели.

Цветы живут и шепчут: «Посмотри-ка,  
Красивы мы, и ярок наш наряд»...  
Сверкает роза, искрится гвоздика,  
И вновь от них струится аромат.

— Кто два цветка живой наполнил силой?  
В чем тут секрет? — спросили вы меня.  
Открыть его? Зачем же, ангел милый?  
Вы просите? Ну что ж, согласен я.

Когда цветок, дар мимолетный, тленный,  
Утратил краски, сник и занемог —

К огню его приблизьте, и мгновенно  
Вновь расцветет зачахнувший цветок.

Таковыми же мечты и судьбы сганут,  
Когда часы последний час пробьют:  
В душе у нас воспоминанья вянут,  
Приходит смерть — и вновь они цветут.

7—19 октября 1847 г.

\* \* \*

Тяжелый небосвод окутан ранней мглой.  
Упрятана река под ледяной покров,  
И гонит зимний вихрь, не знающий покоя,  
Пыль снежную вдоль смутных берегов.

Вот море наконец замерзло. Скрылся где-то  
Тревожный мир живых, мир бурный, грозовой,  
И Полюс северный при тусклых вспышках света  
Баюкает во мгле любимый город свой.

6 ноября 1848 г.  
С.-Петербург.

\* \* \*

Как робко любящее сердце! Как с годами  
Оно все более охвачено тоской!  
И время я прошу: о, не беги, постой!  
Ведь может каждый миг стать бездной между нами —  
Между тобой и мной.

Неумолимый страх, гнетущая тревога  
Легли на сердце мне и жгут его огнем.  
Я слишком долго жил, дней прошлых слишком много,—  
Так пусть твоя любовь не будет прошлым днем.

Конец 40-х — начало 50-х годов.

\* \* \*

Вам, изливающим из глубины ночной  
Свой непорочный свет, чья сущность неизменна,—  
О звезды, слава вам! Сияя красотой,  
Не ведаете вы ни дряхлости, ни тлена.

А люди призрачны... Топча земную твердь,  
В один и тот же миг живя и умирая,  
На вас глядят они, идущие на смерть,  
Бессмертный свой привет вам, звезды, посылая.

23 августа 1850 г.

\* \* \*

Вверх по теченью вашей жизни  
Иду, когда внимаю вам,  
Иду к неведомой отчизне,  
К первоначальным родникам.

Как здесь легко! Какие тайны  
Сокрыты в этих берегах!  
Как ласков свет необычайный,  
Разлитый в смутных небесах!

Как благостно цветов дыханье,  
Как ярка синева волны,  
Какие нежные мечтанья  
Лазурью вод отражены!

Непонятое детство ваше  
Вы раскрывали предо мной,  
И все вокруг казалось краше,  
Незримой веяло весной.

12 апреля 1851 г.

### Е. Н. АННЕНКОВОЙ

Неужто томною, болезненной девицей,  
Что в северных лесах живет,  
Стать захотелось вам, в которой все искрится,  
Сверкает, блещет и поет?

Простите мне, мой друг, невольное сомненье:  
Не будут ли тогда все говорить вокруг  
О том, что южное, цветущее растение  
Березой притворилось вдруг?

Март 1858 г.

\* \* \*

Христианский король перед всем белым светом  
Решил палача христиан наградить.  
Так можно ли, как в старину, говорить:  
«Стыдись, подумавший плохо об этом»?

Июль 1867 г.

*Перевел с французского М. Кудинов.*



---

---

М. ГАЛЛАЙ

★

## В ПОЛЕТАХ И ПОСЛЕ ПОЛЕТОВ\*

*Из записок летчика-испытателя*

### Летная техника и летная этика

**С**амолет снижался быстро и неотвратно. До земли оставалось немногим более километра. На этой высоте особенно заметно, как приближается горизонт. Его линия обретает привычную, земную четкость. В стратосфере, даже в ясную погоду, горизонт обычно не просматривается: он так далек, что теряется где-то за тридцать земель и превращается в широкий, неопределенного цвета мутный пояс, ниже которого — земля, а выше — небо. Спускаясь с высоты, летчик видит, как сужается этот пояс и вот здесь — как раз где-то около тысячи — тысячи пятисот метров — вновь превращается в линию.

Пределы видимого быстро сокращаются. Но зато это видимое увеличивается в размерах, конкретизируется, прорастает незаметными с высоты деталями: ползущими автомашинами и поездами, закопченными участками — пятнами цивилизации — вблизи фабрик и заводов, бликами света, отраженного в стеклах. Даже дороги, только что казавшиеся тонкими черточками, приобретают вторую размерность — ширину.

Земля — оживает.

И, сколько ни летай, это возвращение с необитаемых высот на живую Землю никогда не проходит незамеченным, каждый раз вызывает какое-то теплое движение в душе летчика.

Каждый раз — но не сегодня.

Сегодня машина снижается не так, как обычно. Не слышно прерывистых выхлопов работающего на малом газу мотора. Нет привычной мелкой дрожи на ручке управления. За стеклами кабин шуршит плотный воздушный поток обтекания — и больше ничего. Как на планере.

Самолет действительно снижается, как планер. Только, к сожалению, во много раз быстрее! Мотор выключен, винт не дает тяги и вращается вхолостую, как ветрянка, от встречного потока воздуха.

Да, сейчас летчику не до красот природы. Из всего, раскрывающегося внизу, его интересует только одно — аэродром, по направлению к которому он планирует. И одна лишь мысль вертится в голове: «Дотяну или не дотяну?»

Поначалу, сразу после выключения мотора, казалось, что запаса высоты, чтобы спланировать на аэродром, хватает. Потом вдруг возникли сомнения. Еще через некоторое время они снова исчезли: «Нет, дотяну. Без лишних запасов, но, кажется, дотяну».

К сожалению, никаких приборов, точно показывающих точку зем-

---

\* Новые главы записок летчика-испытателя. Первая книга этих записок — «Через невидимые барьеры» — была опубликована в «Новом мире», №№ 6 и 7 за 1960 год. Вторая книга — «Испытано в небе» — в №№ 4 и 5 за 1963 год.

ной поверхности, в которую попадет планирующий самолет, не существует. Приходится оценивать положение вещей на глаз. А этот глаз — прибор, увы, не всегда надежный!

Не мудрено, что уверенность летчика в исходе дела претерпевала столько колебаний: «Дотяну или не дотяну?..»

Сомнения летчика были на сей раз особенно тяжки.

И на это была своя причина: дело в том, что мотор сегодня, в сущности, не отказал — не разрушился, не заклинил, не сбросил самопроизвольно тягу. Летчик сам выключил его. Перекрыл топливный кран, убрал сектор газа, протянул левую руку к выключателю зажигания — и выключил. Также решение он принял потому, что обнаружил слабые, пусть пока еще косвенные, но уже бесспорно тревожные симптомы в показаниях приборов, контролирующих работу мотора: чуть-чуть не такая, какая полагалась бы на данном режиме, температура, чуть-чуть не такое давление... Ничто еще не вышло за пределы допустимого, но явно двинулось к этим пределам.

А мотор — новый, опытный. Ради его испытания и проводятся полеты по всей программе. Запороть такой мотор — большая беда!

Но и выключить его без бесспорных к тому оснований — значит подвергнуть весь самолет, вместе с драгоценным опытным мотором, риску вынужденной посадки. Тут риск — и там риск. Где он меньше?

Нелегко принять решение при подобных обстоятельствах! Собственной рукой выключить здоровый, работоспособный, ровно гудящий мотор! В этом есть что-то противоестественное. Когда узнаешь о таком случае, каждый раз что-то в подсознании активно протестует: «Не надо! Оставьте все, как есть! Ведь ничего плохого пока не происходит!..»

Да и душу самого летчика, конечно, гложет червь сомнения: а вдруг врут приборы? Это же бывает! А ты, так легко поверив им, выключаешь исправный, ни в чем не виноватый мотор! И хорошо еще, если дело окончится только прерванным, не выполненным до конца заданием: осмотрят мотор на земле, убедятся, что все в порядке, улыбнутся: «Эх ты, старый перестраховщик!» — и через час ты снова в воздухе на этой же машине.

А если вынужденная посадка вне аэродрома? «Просто так», фактически безо всякой причины разбитый или по крайней мере серьезно поврежденный самолет? От одной мысли об этом холодок по спине!

В день, о котором идет речь, последний вариант — ни за что ни про что разбитая машина — неожиданно стал весьма реальным: когда земля была уже совсем близко и до соприкосновения с ней (где и как оно бы ни произошло) оставалось не больше минуты, летчик вдруг увидел, что нет — не дотягивает! Самую малость — каких-нибудь несколько сот метров, — но не дотягивает.

Правда, в его распоряжении оставался отличный, самый, казалось бы, естественный способ избежать вынужденной посадки вне аэродрома — включить мотор снова на какие-нибудь десять—пятнадцать секунд. Работал же он совершенно безотказно до момента выключения — протянет, конечно, и эти секунды.

Рука пилота сама потянулась к выключателю зажигания. Одно легкое движение — и неписаная лётно-испытательская заповедь — сделать все возможное и невозможное, но посадить машину на аэродром — будет выполнена.

Тащить раненую машину на аэродром, невзирая ни на соображения благополучия собственной персоны, ни на что иное, — эту традицию настоящих испытателей я увидел на ряде блестящих примеров и в полной мере оценил, как только попал в Отдел лётных испытаний ЦАГИ.

До этого, учась в институте и летая в Аэроклубе, я, исправный читатель газет, совершенно всерьез принимал известную формулу: «Жизнь летчика нам дороже любой машины». И хотя очень скоро после рождения указанной эффективной формулы окружающая действительность стала давать все больше и больше оснований усомниться в незыблемой ценности человеческой личности, я далеко не сразу освободился от гипноза бесконечных повторений — «дороже любой машины» — во множестве статей, речей, докладов. Сейчас, конечно, мне было бы приятно изобразить себя в юности более умным и проницательным, чем это было на самом деле, но, увы, факты остаются фактами.

Да и попав в ЦАГИ, я, по молодости лет, задумался сначала не о степени искренности упомянутого изречения, а только о самом понятии «ценность машины». Впрочем, это «только» оказалось весьма существенным.

Один за другим возникали передо мной примеры самоотверженной борьбы летчика-испытателя за сохранение попавшего в беду опытного самолета.

В первые же дни пребывания в ЦАГИ я услышал рассказ о том, как летчик-испытатель И. Ф. Козлов (в недалеком будущем — мой первый учитель испытательского искусства) блестяще довел до своего аэродрома и благополучно посадил полуразвалившийся в воздухе опытный истребитель. Я уже говорил об этом случае в книге своих записок — «Через невидимые барьеры» — и не буду сейчас возвращаться к нему во всех подробностях. Вкратце дело сводилось к тому, что на огневых стрельбах при первом же залпе разнесло одну из тяжелых пушек, установленных под крыльями машины. Конструкция самолета представляет собой такое тесное взаимосплетение отдельных элементов, что разрушение одного из них редко остается безразличным для других (впрочем, подобная зависимость наблюдается, кажется, не только в самолетных конструкциях, но и в системах, гораздо более важных, обширных и не обязательно технических).

Так или иначе, разрушившаяся пушка сорвала с мест узлы крепления балок, на которых держалось хвостовое оперение, самолет лишился устойчивости, почти полностью потерял управляемость, и каждую секунду его угрожающе вибрирующий, как говорится, на честном слове держащийся хвост мог совсем отвалиться. Трудно, очень трудно было спасти эту машину. И уж, конечно, если следовать официальной формуле о сравнительной ценности человека и машины, Ивану Фроловичу следовало без малейших раздумий — пока был запас высоты — прыгать на парашюте. А он поступил иначе, причем его образ действий был решительно одобрен всеми окружающими.

Нет, тут явно было что-то не то! Казавшееся самоочевидным «жизнь человека нам дороже...» здесь ходу не имело или во всяком случае применялось далеко не безоговорочно.

Помню, выслушав с открытым ртом рассказ о незаурядной посадке Козлова, я ощутил целый комплекс чувств: и, конечно, естественное восхищение отвагой и мастерством летчика, и сожаление, что не видел этой посадки собственными глазами и вот вынужден теперь довольствоваться рассказами очевидцев (я еще не подозревал тогда, что вдоволь насмотрюсь — и со стороны и «изнутри» — на подобные случаи и быстро перестану воспринимать их с телячьим восторгом), и наконец некоторое удивление. Удивление — по той же самой причине: из-за бросающегося в глаза противоречия между тем, как меня приучили думать, и тем, как обстояло дело в реальной жизни.

Может быть, поступок Козлова — исключение?

Нет, жизнь подбрасывала все новые и новые факты. Вот мастерски посадил тяжелую машину на одно колесо при невыпустившемся втором С. А. Корзинщиков. Вот А. И. Жуков, потеряв несколько километров высоты в безуспешных попытках вывести из штопора заупрямившийся истребитель, наконец вырвал его буквально в нескольких десятках метров от земли. Вот Ю. К. Станкевич притащил на одном моторе за сотни километров к своему аэродрому двухмоторный самолет, по всем данным на одном моторе горизонтально не летящий.

Словом, это были уже не частные случаи.

Это была традиция, правило, норма поведения.

Откуда она взялась? Может быть, летчики-испытатели следовали этой норме потому, что просто не придавали должной цены собственной жизни? Страдали атрофией присущего всему живому инстинкта самосохранения? Тянулись к самоубийству?

Конечно, нет! При всей своей юношеской поверхностности мышления, я быстро понял это.

Дело обстояло иначе: испытатели того времени (как, впрочем, и все последующие поколения этой профессии) четко ощущали, что цена опытной или экспериментальной машины — понятие не только денежное (хотя и в денежном выражении она тянет многие миллионы!). Более того — цена эта прежде всего не денежная. В ней сосредоточен длительный (иногда многолетний), тяжелый труд большого коллектива, в ней заложен темп развития нашей авиации.

Если вдуматься — это ведь тоже жизни людей: жизни, потраченные на какое-то дело сейчас, жизни, сбереженные (или, наоборот, напрасно потерянные) в будущих боях. Это уже соизмеримо с судьбой экипажа опытной машины или тем более одного летчика-испытателя! Место общих, хотя и выглядевших очень гуманистическими, фраз занимал расчет. Расчет, может быть, жестокий, но разумный. Так, в бою, где какие-то человеческие потери так или иначе неизбежны, задача командира заключается в том, чтобы свести их к возможному минимуму и уж во всяком случае никогда не отказываться от того, чтобы сберечь несколько жизней, отдав взамен одну.

Не знаю, занимались ли мои старшие товарищи — летчики-испытатели ЦАГИ — подобными расчетами. Скорее всего, нет. Но на практике каждый из них неизменно следовал жестокой логике: в острых ситуациях думать прежде всего о своих товарищах по экипажу, затем — о доверенной ему опытной машине и лишь в последней очередь — о себе самом.

И — в полном соответствии законам диалектики — в этом, казалось бы, насквозь рационалистическом, построенном на холодном расчете образе действий явственно просматривалась своя романтика, свой пафос, своя красота.

Такие категории, как романтика, красота, пафос, доходили до молодежи в то время безотказно. (Как, впрочем, по моему глубокому убеждению, безотказно доходят и сейчас.) Во всяком случае благородная традиция бороться за машину до последней возможности — первая из развернутого ряда норм летной этики, с которой мы столкнулись, — была воспринята нами, молодыми летчиками ЦАГИ, мгновенно.

Воспринята всей душой, но, увы, — поначалу одной только душой! Реализовать свою полную готовность выводить самолет из любого опасного положения, не считаясь с риском для собственной жизни, мы не могли по той простой причине, что, как назло, никаких опасных положений ни у кого из нас — ни у Гринчика, ни у Шунейко, ни у меня — в полетах не возникало.



Конечно, мы прекрасно понимали, что это не случайно. Просто задания, которые мы выполняли, и самолеты, которые нам доверяли, были настолько просты, надежны и многократно до нас апробированы, что ожидать какого-то осложнения приходилось лишь как редкой и весьма маловероятной случайности.

Я уже летал в то время не только на двухместных разведчиках-бипланах Р-5 и Р-2, по схеме напоминавших старый, добрый учебный У-2, несколько увеличенный в размерах и более тяжелый по весу. Кроме этих машин, мне доверяли и американский штурмовик-моноплан «нортроп», купленный нами в одном экземпляре для изучения и исследования, и даже двухмоторный разведчик-бомбардировщик Р-6, у которого уже были некоторые, правда сравнительно невинные, пилотажные тонкости: он любил, едва летчик во время посадки чуть-чуть зазевается, закатить самопроизвольный энергичный разворот влево.

И Р-5 и Р-6 имели славную биографию. На Р-пятых, созданных в конструкторском бюро Н. Н. Поликарпова, в конце двадцатых — начале тридцатых годов летчики Ингаунис, Широкий и другие выполнили несколько перелетов за рубежи нашей страны, преимущественно на Ближний Восток. На этих же самолетах весной 1934 года, в памятные дни операции по спасению экипажа затонувшего в Арктике судна «Челюскин», летчиками В. С. Молоковым, М. В. Водопьяновым и Н. П. Каманиным была вывезена из ледового лагеря Шмидта большая часть челюскинцев.

На самолете Р-6, сконструированном коллективом инженеров под руководством А. Н. Туполева, полярный летчик (до этого — известный планерист-рекордсмен) П. Г. Головин в мае 1937 года первым из советских пилотов пролетел над Северным полюсом.

Чтобы в полной мере оценить значение этого факта в послужном списке как летчика, так и самолета, надо иметь в виду, что в то время Северный полюс по степени достигаемости выглядел не намного ближе, чем в наши дни Луна. Так сказать, принципиально попасть туда можно. технически задача осуществима, но практическая ее реализация — большой подвиг. Подвиг научный, подвиг технический и, конечно, подвиг личного мужества.

Помню, как в пасмурный мартовский день сложного, противоречивого, на всю жизнь запомнившегося нам тридцать седьмого года с нашего аэродрома стартовала в первую полярную экспедицию группа самолетов Полярной авиации: четыре тяжелых четырехмоторных ТБ-3 и двухмоторный разведчик Р-6. Командирами этих кораблей были уже в то время знаменитые М. В. Водопьянов, В. С. Молоков, А. Д. Алексеев, И. П. Мазурук и П. Г. Головин. Руководил экспедицией большой ученый — астроном, математик, исследователь Арктики — Отто Юльевич Шмидт. Заместителем его был начальник Полярной авиации — с самого начала ее существования и по сей день — М. И. Шелелев. На борту флагманского корабля находилось четверо отважных людей, которые должны были остаться одни на дрейфующей льдине и провести на ней почти целый год: И. Д. Папанин, Е. К. Федоров, Э. Т. Кренкель и П. П. Шишов. Словом, на борту кораблей экспедиции было собрано лучшее из лучшего, чем располагала советская арктическая наука и Полярная авиация.

Но все эти подробности — и состав участников экспедиции, и даже сами ее дерзкие по тому времени задачи — до поры, до времени особенно широко не рекламировались, и мы, молодые летчики ЦАГИ, знали обо всем этом главным образом по слухам.

Правда, вдумчивого человека могла бы навести на некоторые предположения развернувшаяся незадолго до того в печати дискуссия о воз-

возможности посадки тяжелого самолета на заранее не подготовленную, выбранную прямо с воздуха дрейфующую льдину.

Интересная подробность: основой этой дискуссии послужила не научная статья, не докладная записка, а повесть «Мечта пилота», написанная летчиком М. В. Водопьяновым — одним из инициаторов небывалой до того времени экспедиции. Конечно, в ходе дискуссии что-то из предложенного Водопьяновым было уточнено, что-то вовсе отвергнуто, что-то дополнено, но основная идея, так сказать, исходная позиция всего дела получила полное одобрение.

Так что, повторяю, вдумчивый человек мог бы о многом догадаться по этой, конечно, неспроста развернувшейся дискуссии. Но — именно вдумчивый. А я особых оснований причислять себя к этой уважаемой категории людей не имел: все-таки мне было двадцать два года.

Выкрашенные в непривычный для авиационного глаза ярко-оранжевый цвет, тяжело нагруженные корабли, надрывно завывая моторами, один за другим шли на взлет. Из-под громадных колес веерами вырывался снег вперемешку с водой. Лишь где-то совсем недалеко от края аэродрома снежные веера становились меньше, из них появлялись колеса — и очередной корабль повисал в воздухе. Еще через несколько секунд машина проплывала перед нашим ангаром: резкий всплеск шума (это нас проскакивает бегущая вместе с самолетом плоскость вращения его винтов), дружное дребезжание стекол во всех окнах и галереях — и вот уже только неровный черный шлейф выхлопной струи тает в воздухе. На летном поле начинает разбег следующая машина...

И только в мае, когда экспедиция добралась до последнего перед прыжком на полюс аэродрома (сейчас этот путь самолет проходит за один-два дня), в печати стали появляться сообщения об ее работе. Самым сенсационным, да и по существу наиболее важным из них была, конечно, весть о посадке 21 мая флагманского самолета экспедиции на Северном полюсе. Но первой ласточкой оказалась небольшая заметка в центральной прессе о полете летчика Головина 5 мая «далеко на север» (слово «полюс» произнести почему-то постеснялись; впрочем, поиски логики в определении, что можно и чего нельзя печатать, — задача порой безнадежная). Таким образом, Р-6 оказался первым советским самолетом, пролетевшим над снегами таинственного, далекого, недоступного Северного полюса.

Да, у нас были все основания относиться с полным уважением к машинам, за штурвалами которых проходил первый год нашей испытательной работы. Они того вполне заслуживали.

Конечно, сами по себе эти самолеты — и Р-5, и Р-З, и Р-6, и даже заокеанский гость «нортроп» — были к тому времени полностью и надежно доведены, выпускались серийно, и на нашу долю оставалось испытывать на них различного рода новое оборудование да выполнять некоторые научные исследования, в которых сам самолет как таковой использовался в роли чего-то вроде летающей лаборатории. Впрочем, и такие виды испытательной работы нужны, а для молодых испытателей к тому же и очень полезны.

Казалось бы, летай себе и радуйся!

Но не тут-то было! Конечно, мы и летали и радовались этому, но (такова человеческая натура!) хотелось большего. Прежде всего, разумеется, скорейшего перехода к более сложным самолетам: быстрым, вертким пилотажным истребителям и огромным, могучим многомоторным бомбардировщикам, а затем и к совсем новым, опытным и экспериментальным летательным аппаратам всех видов и назначений.

А пока до таких вершин летно-испытательной работы было далеко, хотелось хотя бы (хотя бы!)... происшествий. По-видимому, старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» встречается на белом свете гораздо чаще, чем принято думать.

В свое оправдание могу сослаться, во-первых, на те же уже упоминавшиеся двадцать два года, во-вторых, на то немаловажное обстоятельство, что знаком с летными происшествиями я был тогда только понаслышке (или, в лучшем случае, «вприглядку») и не очень точно представлял себе, почем фунт лиха, и, в-третьих, на то, что вскоре же мои устремления изменились на диаметрально противоположные, и всю свою последующую летную жизнь я только и делал, что активно избегал летных происшествий. При всей своей романтичности, вблизи они оказались куда неприятнее, чем представлялось со стороны.

Но тогда я мысленно молил бога о хотя бы небольшом происшествии, и господь-бог довольно оперативно откликнулся на мои мольбы: первый «случай» не заставил долго ждать себя.

Я выполнял очередное задание на разведчике Р-Z. Взлет и подъем прошли, как обычно. Вот уже набрана заданная высота — пора переходить в горизонтальный полет, и я, предупредив об этом по переговорному аппарату сидящего за моей спиной экспериментатора В. П. Куликова, взялся за сектор газа — рычаг управления мощностью мотора. Но что это? Сектор подозрительно легко, безо всякого усилия, пошел за моей рукой назад, а мотор как работал на полном газу, так и продолжал работать, ни на полтона не изменив свой, показавшийся мне в этот момент весьма неблагозвучным, рев. Выполнять задание невозможно; более того: если начать снижаться при таком режиме работы мотора, машина разгонится до недопустимо большой скорости, опасной для прочности конструкции. Странное положение: мы носимся полным ходом в чистом небе, не имея возможности ни выполнять задание, ни хотя бы возвращаться домой!

Оставался один выход — выключать мотор полностью и снижаться, как на планере, уточняя расчет на посадку только отворотами и в самом конце скольжением.

Конечно, ничего особенно сложного в этой ситуации не было: мотор работал — значит оставалось сколько угодно времени для раздумья. Требовалось только выбрать наиболее удобное место, над которым выключить мотор, а после этого рассчитать заход на посадку, уже не имея спящего сознания, что любую ошибку своего глазомера можно будет исправить если не подтягиванием на моторе, то в крайнем случае уходом на второй круг и повторным заходом на посадку.

Единственное, что, пожалуй, действительно несколько осложняло дело, было расположение аэродрома внутри огромного города. И если бы, сколь, в общем, ни несложно это было, мне не удалось попасть куда надо, — посадка среди домов и улиц обязательно окончилась бы катастрофой. В последующие годы мои товарищи, да и я сам не раз благополучно сажали на свой аэродром с неработающими двигателями гораздо более строгие в управлении самолеты, имевшие несравненно большие скорости снижения, чем старик Р-Z.

Но прошу читателя не забывать, что речь идет о первом в жизни молодого летчика случае, когда что-то с самолетом получилось не так, как положено.

И вот мотор выключен. Тишину нарушает только шум встречного потока. Каждая стойка, каждая расчалка подают свой собственный голос, и все они сливаются в один общий свистяще-шипящий аккорд. Стоит изменить скорость планирования или положить машину в спираль, как тон этого аккорда меняется. Но мне не до музыки! Высота быстро

тает. Как это я раньше не замечал, что наш аэродром, оказывается, такой маленький? А вокруг него — улицы, дома, фабричные корпуса.

Вот, совсем рядом с аэродромом группа домов и какой-то большой склад посреди пустыря — тогда я еще не мог знать, что на этом самом пустыре, отвернув от одного из домов, чтобы спасти находящихся там людей, через несколько месяцев погибнет Чкалов... Ни одного клочка земли, на который можно было бы приткнуться, если я не сумею попасть на аэродром. Может быть, пока не поздно, отвернуть в сторону и направить машину в пригороды — там садись, куда хочешь! Самолет на какой-нибудь своевременно не замеченной канавке или кочке, возможно, будет подломан, но мы с Виктором Павловичем почти наверное останемся целы. Податься, что ли, туда?

Но эта капитулянтская мысль только мелькнула у меня в голове — и исчезла, чтобы больше не появляться.

Высоты хватает, попасть на аэродром в принципе можно — значит, надо это сделать.

Вот уже осталось пятьсот метров... четыреста... триста... Аэродром под левым крылом. Немного отворачиваю от него, чтобы оставить себе место на радиус последнего перед посадкой разворота, и приближаюсь к точке, над которой обычно делал этот разворот. Легко сказать — обычно! Обычно у меня в кармане мотор...

Сейчас будет пора... Еще немного... Хорошо... Разворот... Выход на прямую.

Аэродром передо мной. Я иду чуть-чуть выше, чем нужно. Постепенно выбираю этот избыток высоты небольшими подкальзываниями на левое крыло. Под самолетом мелькают последние обрамляющие аэродром строения. Высота десять метров — граница летного поля подо мной! Еще несколько секунд — и P-Z касается бетона...

Конечно, ничего особенного в этой посадке не было: от меня, в сущности, только и требовалось, что делать все «как всегда», правда, сознавая при этом, что исправить допущенную и своевременно не исправленную ошибку вблизи земли будет нечем. Иными словами, трудности были не фактические, а лишь чисто психологические. Но ни одна вынужденная посадка не запомнилась во всех деталях так, как эта — первая в моей летной жизни.

И самое почетное место в моем небольшом личном архиве занимает пожелтевший листок с выцветшим машинописным текстом и поблекшей печатью — выписка из приказа, в котором начальник Отдела летных испытаний ЦАГИ объявлял мне благодарность (первая благодарность!) за четкие действия в усложненных условиях полета и отличное выполнение расчета на посадку с вынужденно выключенным мотором.

А причина всего происшествия оказалась простой: в одной из качалок системы управления газом был внутренний порок материала, и от неизбежных в полете вибраций качалка в один прекрасный момент разрушилась.

Несколько дней я ходил, высоко задрав нос, и небрежно отвечал изнывающим от черной зависти однокашникам, что, мол, да, удалось машину посадить. Нет, не особенно трудно. Конечно, мог бы, если придется, повторить еще раз. Смогли бы они справиться так же на моем месте? Что за вопрос: разумеется, смогли бы!

Самое забавное, что все эти столь картинно изрекаемые мной истины оказались чистой правдой. И повторять подобные вещи (причем в вариантах, по всем статьям несравненно более трудных) пришлось не раз. И сама трудность эта перестала замечаться. И на долю всех нас — в то время молодых испытателей — таких приключений досталось во всяком случае значительно больше, чем нам в дальнейшем хотелось бы.

Стремление во что бы то ни стало вернуться на аэродром, сохранив машину в том виде, в каком она оказалась в результате самого происшествия в воздухе, стало и для нас нормой поведения. Стало и по велению души (романтика!), и, главное, по велению разума (все равно ведь от дефекта, если уж он существует, не уйдешь: не разберемся сейчас — подстережет в другой раз).

И в случае, с описания которого началась эта глава, дело представлялось ясным и легко осуществимым: включить мотор на несколько секунд — и машина на аэродроме!

Все скажут: «Летчик справился!»

Справился ли?

В новом опытном моторе, ради испытания которого и заварена, в сущности, вся каша, явно возник какой-то дефект. Какой именно — неизвестно. Но выяснить это чрезвычайно важно! А чтобы выяснить — надо доставить мотор на землю без каких-либо дополнительных повреждений. Дополнительные повреждения здесь — примерно то же самое, что посторонние вещества, подброшенные в пробирку, в которой происходит новая, специально изучаемая химическая реакция.

Включить мотор на несколько секунд — дело нехитрое. И посадка будет «как в аптеке» — на своем аэродроме. И никаких мало-мальски неприятных последствий для летчика от этого не последует; даже похвалят, наверное. Скажут: «Молодец». Но в раненом моторе за эти несколько секунд первоначальные повреждения буквально потонут во вновь возникших. Слабое место конструкции останется загадкой.

А если, не трогая мотор, посадить машину с убраным шасси в заснеженном поле, не долетев считанных сотен метров до аэродрома? Что тогда?

Тогда — аварийная комиссия. Письменное донесение. Ответы (тоже письменные; они чем-то неуловимо противнее устных) на каверзные вопросы комиссии: как же это получилось, что не дотянул? Все ли возможности использовал? Своевременно ли оценил обстановку? Может быть, можно было, не включая мотора, все-таки попасть на аэродром? (Прямого утверждения, что, мол, мотор надо было включить, со стороны лиц официальных, разумеется, не последует. Это, махнув со зла рукой, скажет кто-нибудь из коллег.) В конце концов даже если дело обойдется без формальных взысканий — выговора в приказе, снижения в классе или чего-нибудь в подобном роде, — моральной травмы не миновать: «Не оправдал...»

Перед испытателем встала сложная моральная дилемма, в которой техника и этика переплетались так, что попробуй расплети!

При этом в отличие от большинства известных человечеству задач подобного рода решать ее нужно было в течение секунд. Героям произведений художественной прозы полагается, столкнувшись со сложной моральной проблемой, провести бессонную ночь, заполнить все пепельницы окурками, написать и разорвать несколько писем, а наутро поступить диаметрально противоположно тому, как было решено в означенную ночь. Увы, подобная роскошь летчику недоступна: на решение отпущено несколько секунд, причем без возможности «передумать» в дальнейшем.

И наш товарищ решил эту проблему.

Он посадил самолет «на брюхо» в снег, прошел сквозь строй всех положенных в подобных случаях неприятностей, расстался, пусть временно, с какой-то частью своего завоеванного годами летной работы феноме, — но дал конструкторам мотора возможность найти и устранить

дефект. Не берусь назвать точную цифру, сколько пилотов военной и гражданской авиации остались живы или во всяком случае избежали аварий благодаря тому, что новый мотор поступил в серийное производство без лишнего скрытого недостатка...

Вся эта история произошла не со мной и даже не со знакомым мне летчиком на далеком от нас аэродроме. Но, узнав о ней, я почувствовал, что установившаяся уже в моем сознании этическая норма — во что бы то ни стало тащить неисправную машину на аэродром — знает исключения. Как и всякая этическая категория, при ближайшем рассмотрении она оказалась сложнее, чем могло представиться с первого взгляда.

Время шло. И каждый очередной случай спасения испытываемой машины из, казалось бы, безвыходного положения укреплял мою веру в целесообразность, более того — обязательность подобного образа действий летчика-испытателя. Исключения вроде только что рассказанного лишь подкрепляли правило.

Но риск потому и называется риском, что не всегда оборачивается счастливым концом. Бывало иногда и так, что, безрезультатно испробовав все средства спасения машины, летчик уже не успевал спастись сам. И после каждого такого случая, особенно в начале моей жизни в авиации, в душу (слаба человеческая душа!) заползали сомнения: стоило ли отдавать жизнь, так сказать, безрезультатно? Все равно ведь сохранить самолет — даже такой дорогой ценой — не удалось!..

Такое всегда наводит на горькие раздумья. Правда, в зрелые годы выводы из этих раздумий получаются несколько другие, чем в молодости, но не буду забегать вперед...

Примеров героической, но закончившейся трагически битвы экипажа за жизнь доверенной ему машины можно было бы перечислить немало. Расскажу об одном из них.

Огромный корабль с широко разнесенными стреловидными крыльями находился в воздухе далеко не в первый раз. Добрая дюжина полетов на нем уже осталась позади. И вряд ли мог экипаж самолета и его командир — летчик-испытатель Алексей Дмитриевич Перелет — ожидать в этом полете каких-нибудь неприятностей. Однако неприятности — и очень серьезные — возникли. Стрелки приборов, контролирующих работу одного из четырех мощных турбовинтовых двигателей, внезапно сошли со своих законных мест и поползли все ближе и ближе к тревожным красным меткам на циферблатах. Через несколько секунд двигатель затрясся, захлопал, из него повалил густой дым, и еще через мгновение наружу прорвалось пламя. Пожар!

Бортинженер Чернов сразу же привел в действие противопожарную систему. Горящий мотор со всех сторон обдало упругими струями огнегасящего вещества. Но пожар, приутихнув было на несколько секунд, бурно вспыхнул вновь, как только опустели баллоны с огнегасящим веществом. Перелет смело бросал тяжелую, неманевренную машину из одного глубокого скольжения в другое — может быть, косая обдувка встречным потоком воздуха собьет пламя? Все было напрасно! Пожар разгорался. Вот он уже перекинулся с мотора на крыло. Это прямая угроза жизни экипажа. И Перелет дает команду: «Всем покинуть машину». Всем — кроме бортинженера, без которого летчик на таком большом корабле как без рук, и, конечно, кроме него самого — командира корабля.

Штурманы, механики, экспериментаторы, выполняя команду Перелета, сбросили свои аварийные люки, открыли дверки аварийных выходов — и попрыгали за борт. Их раскрывшиеся парашюты белым пунктиром отметили путь, по которому прошел горящий корабль.

Второй летчик переспросил командира:

— Мне что, тоже прыгать?

И, услышав нетерпеливое:

— Давай, давай, не задерживайся! — покинул самолет вместе с остальными.

Кстати, вот еще моральная проблема: многие из наземной, да и летающей братии склонны были потом осудить второго летчика. Осудить, конечно, не административно, но, так сказать, с позиций этики. Не должен он, мол, был бросать своего командира в беде.

Не знаю. Может быть, и не должен. Но решительно утверждать это не берусь. Более того, не вижу оснований усомниться в том, что именно таково было желание Перелета — удалить с борта машины всех, без кого он мог обойтись. Предполагать здесь с его стороны какую-то показную деликатность не приходится. Ведь не велел командир корабля прыгать бортинженеру. Да и немыслимо представить себе в подобной ситуации какие-либо споры с командиром на тему о том, выполнять или не выполнять его приказание, в чем бы оно ни заключалось. На такую роскошь тратить драгоценные — идущие уже по штучному счету — секунды жалко!

Почти всегда, оставаясь в терпящей бедствие машине, первый летчик старается заблаговременно сплавить с борта второго. И никто никогда не упрекает второго за это. Не упрекает — при одном неременном условии: если его командир остается жив.

А Перелет и Чернов в живых не остались. Уже совсем недалеко от аэродрома горящий самолет вдруг энергично пошел в крен и так, задрвав одно крыло к небу, а второе опустив к земле, врезался в лес. Не буду отвлекаться в сторону анализа возможных причин этого зловещего накренения — скорее всего перегорели тяги управления элеронами. Так или иначе, попытка спасти машину не удалась. Риск не оправдался. Нет ни опытного самолета, ни двух наших товарищей, замечательных авиаторов, Героев Советского Союза А. Д. Перелета и А. Ф. Чернова.

Стоит ли такая игра свеч?

И все-таки, как это, может быть, ни жестоко, приходится снова и снова давать положительный ответ: да, безусловно стоит!

То есть, конечно, если можно было бы заранее знать, когда отчаянные попытки испытателей во что бы то ни стало спасти машину увенчаются успехом, а когда не увенчаются, следовало бы в последнем случае спокойно бросать самолет и спасаться самому. Но такой возможности — знать, где упадешь, и соломки подстелить — жизнь, как правило, не дает.

Поэтому и приходится в каких-то частных горьких случаях постфактум констатировать, что тут борьба за машину была безнадежной, а в целом, в массе, как общее правило — признавать такую борьбу нормой поведения испытателя.

Здесь логика — в чем-то сходная с логикой рассуждений при оценке целесообразности тарана в воздушном бою. На эту тему во время Великой Отечественной войны, да и долгое время после нее в нашей авиации не затухали горячие споры. Все без исключения — и авиаторы и неавиаторы — отдавали должное героизму пилота, идущего на таран. Сблизившись с противником, он врезался в него собственным самолетом — чаще всего винтом или крылом — и, сбив врага, как правило, оказывался вынужденным выбрасываться на парашюте. Причем это еще в лучшем случае: многие, очень многие наши летчики, врезавшись во врага, погибали при этом сами. Имена мастеров таранного удара по сей день окружены в советских военно-воздушных силах заслуженной славой.

Стоило, однако, подойти к оценке этого невиданного приема воздушного боя с позиций строго рационалистических, как выявлялась некоторая сомнительность достигаемых столь дорогой ценой реальных результатов. В самом деле, счет получался «баш на баш»: противник терял самолет с экипажем — и мы тоже. Хорошо еще, если дело шло о бомбардировщике врага, имеющем экипаж из нескольких человек. Но таранить одноместным истребителем одноместный же истребитель, казалось бы, не имело смысла. Особенно в начале войны, когда для нас потеря каждой машины представляла относительно гораздо более существенный урон, чем для противника. Если учесть последнее обстоятельство, то, пожалуй, и за бомбардировщик врага отдавать свой истребитель не стоило. Словом, арифметика была против тарана.

Но все дело в том, что подобные задачи средствами арифметики правильно не решить.

И, если учесть такое первостепенно важное в бою обстоятельство, как моральное состояние, боевой дух, решимость воина обязательно выполнить задание, — оценка тарана как одного из приемов воздушной войны существенно меняется. Фашистские летчики з н а л и, что наши, если заставят обстоятельства, а иногда (с точки зрения противника) и без этого идут на таран. И это знание накладывало неуловимый, но определенно выгодный для нас отпечаток на весь ход воздушных боев. Немецкие летчики явно не любили, когда наш истребитель выполнял какие-то не очень понятные маневры, выражающиеся в энергичном сближении с противником. Тут им бывало, как правило, уже не до выполнения задания! На фоне общего тяжелого положения нашей авиации (как, впрочем, и всей армии) в первый период войны это был козырь, пренебрегать которым в борьбе с сильным, хорошо обученным и отлично оснащенным технически противником не приходилось.

Интересно, что, по мере того как наша авиация становилась многочисленнее, набирала боевой опыт, получала более совершенные самолеты, а главное, более мощное пушечное вооружение, — случаи тарана становились все более редкими, пока не прекратились совсем. В них просто больше не было нужды.

Но, так или иначе, что-то общее между тараном в воздушном бою и борьбой испытателя за спасение опытной машины, невзирая на большой риск для себя, безусловно, есть. И не столько даже в существовании самих этих действий, сколько в подходе к оценке их целесообразности: в частном случае иногда может оказаться нецелесообразным, но в целом, как общая установка, как норма поведения, — глубоко правильно.

Спасти опытную машину! Спасти любой ценой!

Иногда это ввевшееся в плоть и в кровь каждого настоящего испытателя стремление приводит к результатам хотя и не таким трагическим, как, например, у Алексея Дмитриевича Перелета и Анатолия Федоровича Чернова, но все же, мягко говоря, далеко не запланированным.

И — независимо от добрых намерений летчика — не всегда реализация этого стремления удавалась последующего всеобщего одобрения. Особенно — если действия пилота оказывались безуспешными.

Один из таких случаев произошел у меня на глазах и запомнился надолго.

Дело происходило на нашем испытательном аэродроме в первые недели войны. Большая часть летчиков-испытателей аэродрома существовала в это время как бы в двух лицах: днем они выполняли текущую испытательную работу, а ночью несли боевую службу в специально



сформированной эскадрилье ночных истребителей, летавшей на новых скоростных самолетах, еще мало освоенных в обычных строевых частях. Спали «по способностям»: урывками, по два-три часа утром, вечером и даже между вылетами.

Словом, летчики торчали на аэродроме практически безвыходно, круглые сутки. И в один тихий, ясный вечер вдруг раздался сигнал воздушной тревоги. Это было действительно «вдруг»: соблюдая традиции прославленной немецкой аккуратности, фашистские бомбардировщики прилетали только ночью, почти всегда в одно и то же время. Сейчас им появляться не полагалось.

Что делать? Первая естественная реакция — бежать к истребителям своей боевой эскадрильи и взлететь навстречу противнику — проскочила холостым выстрелом: истребители не были готовы к бою — механики еще только осматривали их, заправляли горючим, заряжали оружие.

И тут же у всех сразу сверкнула вторая мысль, второе движение души — спасти опытные и экспериментальные машины. Спасать самым простым способом: поднять их в воздух, взлететь на них! Тем более что, по неведомо откуда пронесшимся слухам, самолеты противника шли «прямо на нас». (Мы еще не знали тогда известного правила, согласно которому на войне все самолеты врага идут обязательно на нас, не говоря уже о сброшенных бомбах, которые летят неизменно прямо в нас. Только рвутся в стороне...)

Сейчас, конечно, проще всего сказать, что во всем этом было что-то от паники. Наверное, без каких-то элементов этого малоприятного состояния в тот вечер действительно дело не обошлось. Но нельзя забывать, как девственно неопытны были мы тогда во всех военных делах! И второе: что тревога — пусть близкая к панической — охватила наши души, так сказать, не в плане забот о собственной безопасности (если бы это было так, вся бравая команда недолго думая просто рванула бы в укрытия), а при мысли о том, что будет в случае налета на аэродром, при свете дня отлично различимый с воздуха, со всей сосредоточенной на нем драгоценной новейшей техникой!

И летчики, как один, бросились к опытным машинам. Часть из этих машин не могла взлететь, так как не была к тому подготовлена. Другая часть осталась на земле потому, что севшие в их кабины летчики решили полностью изготавиться к взлету, но с его выполнением повременить: неизвестно ведь, далеко ли от нас противник; как бы не получилось, что к моменту его прихода как раз и придется садиться. Но несколько самолетов все-таки поднялось в воздух.

Среди них был опытный одноместный истребитель, на котором взлетел молодой испытатель лейтенант М. А. Самусев, незадолго до этого пришедший в наш коллектив из морской истребительной авиации.

Едва взлетев и убрав шасси, летчик почувствовал, что с машиной что-то не в порядке. Мотор энергично — как собака после купания — встряхивался, давал резкие перебои, из его выхлопных патрубков выбрасывало дым и пламя. Чем все это пахнет, Миша сразу оценить не мог: машина была «не его», ее испытания проводил другой летчик. Однако ненормальность поведения мотора — пусть сто раз опытного — была очевидна, и летчик решил на всякий случай подвернуть поближе к аэродрому. Но мотор не стал ждать завершения этого маневра: он выдал последний оглушающе громкий выхлоп — и умолк.

Самусеву оставалось одно: плавным разворотом со снижением заходить на аэродром. И тут быстро выяснилось, что до границы летного поля он чуть-чуть (всегда это «чуть-чуть»!) не дотягивает. Это было

очевидно всем, наблюдавшим с земли. Очевидно, конечно, и летчику. Но выбора у него не было.

Положение усложнялось тем, что за пределами летного поля на пути приближающейся к аэродрому машины не было площадки, мало-мальски пригодной для приземления хотя бы с убраннным шасси. Сразу за легкой проволочной оградой начинались ямы, рвы, канавы, какие-то кучи песка и гравия: здесь собирались что-то строить.

Как раз в эти кучи и ямы и снижался самолет. Летчик сделал все от него зависящее, чтобы ослабить удар: он плавно выровнял машину, выдержал ее над землей до минимальной скорости... Тут же все находившиеся поблизости, как по команде, бросились навстречу самолету. Это тоже одно из незыблемых правил поведения на аэродроме: мало ли как может обернуться аварийная посадка! Летчика может зажать в деформированной кабине, может вспыхнуть пожар — словом, первая помощь должна быть наготове.

На бегу мы видели, как машина, поднимая облака пыли, бьется о неровности грунта. Из песчаных клубов неожиданно, как какие-то совершенно самостоятельные, неизвестно почему летающие по воздуху предметы, выскакивали отломившиеся куски крыльев, шасси, оперения. Наконец самолет (вернее, то, что от него осталось) в последний раз подпрыгнул, оттолкнувшись, как с трамплина, от очередного бугра, ткнулся в землю носом и, перевернувшись на спину, упал вверх брюхом — скапотировал.

— Все под хвост! Взяли!

И вот фюзеляж (ох, какой он, оказывается, тяжелый!) приподнят, кто-то подныривает под него, с облегчением убеждается, что фонарь кабины летчика открыт, и начинает перерезать привязные ремни. Действовать приходится не мешкая. Из раскroившихся баков течет бензин, его парами пропитано все вокруг, а тут же рядом еще горячие выхлопные патрубки мотора, аккумулятор, разорванная, спутавшаяся, во многих местах замкнувшаяся накоротко электропроводка... Скорее!

Наконец Самусева вытащили. Он без сознания, но, кажется, жив. Вроде даже и повреждений особенных у него нет, если не считать ушибов и поверхностных рваных ранений. Впрочем, лицо летчика залито кровью, глаза закрыты, да и, главное, мы все — медики не сильные: судить сколько-нибудь надежно о состоянии раненого не можем.

К счастью, наше первое впечатление оказалось правильным. Уже через неделю, навестив Мишу в госпитале, мы застали его всего перевязанного, с лицом, густо измазанным зеленкой («Как у клоуна», — мрачно заявил нам сам больной), но явно находящегося на пути к выздоровлению.

Однако самое удивительное — ради чего я и вспомнил этот давний случай — началось потом.

Главный конструктор разбитого самолета воспринял известие о случившемся очень остро. В сущности, его реакцию легко понять, тем более что пресловутая воздушная тревога, с которой началась вся катавасия, оказалась ложной: никакие вражеские самолеты к нашему аэродрому не летели — в начале войны наличие тревоги, когда не нужно, равно как и ее отсутствие, когда нужно, было не в редкость. Получалось действительно обидно: безо всякой реальной причины разбита опытная машина, та самая драгоценная опытная машина, ради спасения которой от, увы, несуществовавшей опасности и поднял ее в воздух Самусев.

Повторяю, эмоции главного конструктора можно понять. Вполне естественно было и то, что он, вспылив и обладая к тому же в то время немалыми административными возможностями, приказал:

— Летчика с испытательной работы снять! Выгнать его немедленно!

Отдать такое приказание сгоряча было довольно простительно. Не следовало только, пожалуй, потом настаивать на его выполнении.

Кстати, летчик, который постоянно вел эту машину, с полной определенностью высказался в том смысле, что, случись с мотором то же самое в любом очередном испытательном полете, он сам — ведущий летчик — никак не взялся бы гарантировать, что сумел бы благополучно добраться домой. Правда, в последнем случае авария была бы списана на счет неизбежных издержек испытательной работы и, конечно, никак не вызвала бы столь громкого резонанса.

Поначалу грозный приказ о снятии Самусева с работы никого особенно не испугал: посердится, мол, начальство и забудет. Но, увы, расчет этот оказался несостоятельным. Через несколько дней последовал суровый запрос:

— Что, Самусев уже откомандирован?

Начальник летной части института — известный летчик А. Б. Юмашев — был в то время в длительной командировке за рубежами нашей страны. Его обязанности временно исполнял один из летчиков-испытателей. В ответ на упомянутый запрос он заявил руководителю института («временным» вообще легче независимо вести себя с начальством, в этом их немалое преимущество перед «постоянными!»):

— Если Самусев будет откомандирован, завтра подаю рапорт и ухожу из «вридов». Ищите другого!

Искать другого руководитель института — профессор А. В. Чесалов — в тот момент не захотел. А главное, сам он, конечно, чувствовал, насколько несправедливо по отношению к Самусеву и вредно для дела было бы так расстаться с человеком, на формирование которого как испытателя уже затрачено столько сил и средств.

Так или иначе, профессор, недовольно поморщившись, сказал:

— Ну, ладно. Посмотрим.

Смотреть в подобных случаях, как известно, можно неограниченно долго. Каждое следующее напоминание звучало уже не так категорически, как предыдущее. Дел и без того было много. А вскоре ход войны вообще заставил резко сократить объем испытательной работы и перенести ее центр тяжести на тыловые, находящиеся на востоке страны, аэродромы.

Большая часть испытателей — в том числе и М. А. Самусев — разъехалась по фронтам.

Но испытатели на войне — это уже другая история, которую, может быть, стоит рассказать отдельно.

Здесь же я вспомнил о досадной неудаче, постигшей нашего товарища — ныне Заслуженного летчика-испытателя СССР полковника Самусева — лишь для того, чтобы показать: иногда самые благородные стремления не получают достойной оценки, если злое невезение делает их результаты обратными задуманным.

Конечно, повторяю, если спасти гибнущую машину — и себя вместе с ней — никакими средствами не удается, испытатель должен постараться спасти себя самого.

Правда, в свое время Б. И. Россинский начал свою статью «Новый самолет и его испытание» драматической фразой: «Не приходится говорить о том, что каждый летчик несет за своей спиной неизменного пассажира — с м е р т ь». Но нельзя забывать, что сказано так было около сорока лет назад, когда авиация действительно была отчаянным, смертельно опасным видом спорта, пожалуй, не в меньшей степени, чем отраслью науки и техники. Да и тогда даже, я уверен, большинство

летчиков вряд ли подписалось бы под этой эффектной, но мрачноватой концепцией. Тем более никто не хочет считать себя заведомым смертником в авиации наших дней.

Пафос самопожертвования ради самопожертвования среди летчиков-испытателей не в ходу.

И мы знаем немало случаев, когда в самый последний момент, буквально за несколько секунд до взрыва или удара о землю, летчик успевал выброситься с парашютом. Некоторые из наших товарищей — Сергей Николаевич Анохин, Юрий Александрович Гарнаев и другие — имеют на своем счету даже не по одному, а по нескольку таких вынужденных прыжков. Естественно, подобной статистикой могут похвастаться прежде всего те испытатели, которые берутся за самые рискованные, самые сложные задания.

Но, кроме всего прочего, чтобы спастись в последний момент, надо суметь точно определить, когда этот «последний момент» наступает. Это тоже не так легко, как может показаться с земли. Отдавая все сто процентов своей воли, внимания, искусства, всех моральных и физических сил борьбе за машину, летчик должен каким-то краем сознания (сверх упомянутых ста процентов) непрерывно оценивать: «Успеваю... успеваю... успеваю...» И решительно покинуть машину за секунду до того, как это «успеваю» сменится бесповоротным: «Не успеваю!» Тут нужно не скажу спокойствие (так называемые железные люди встречались мне в литературе, театре, кино, но не в реальной жизни), но явно выраженная способность к тому, что я назвал бы «управляемым азартом». Те же, у кого элемент азарта в подобной ситуации заглушал элемент управляемости, увы, не успевали! Так мы потеряли немало друзей — благородных людей, которым не хватило нескольких секунд времени, нескольких десятков метров высоты, какой-то капли трезвого учета остающихся в их распоряжении резервов.

Что они думали в последние мгновения своей жизни? Этого мы никогда не узнаем.

Впрочем, нет, иногда можем узнать! Можем узнать, что думает настоящий летчик-испытатель пусть (к счастью!) не в последние мгновения своей жизни, но во всяком случае в мгновения, которые он считает последними.

Я уходил в воздух на реактивном истребителе. Дело было в первые годы существования реактивной авиации, и все ее приметы — от ранее непривычного на борту самолета запаха керосина до небывалых скоростей полета — воспринимались во всей остроте новизны. Взлетев и развернувшись на курс, обратный взлетному, я снова, в который уже раз, изумился — как далеко внизу уплывает под левое крыло аэродром, от которого я оторвался менее минуты назад.

Многокилометровая бетонная полоса взлетной дорожки была похожа на белую чертежную линейку, положенную на буро-зеленый ковер. На краю этой линейки поблескивала какая-то еле заметная букашка.

В наушниках моего шлемофона что-то шелкнуло — это включился радиопередатчик командного пункта, — и сразу же донеслось:

— Седьмой! Я — Земля. Взлет вам разрешаю.

Все стало ясно: «букашка», которую я заметил, на самом деле — новый опытный реактивный истребитель. Испытывает его Анохин. Вот прослушивается в эфире и его глуховатый, хорошо знакомый мне голос:

— Понял вас. Взлетаю.

Самого его взлета я уже не видел: моя машина тоже не стояла на месте. Пока суд да дело, аэродром и все на нем находящееся осталось у меня далеко за хвостом.

Минуты шли одна за другой. Я выполнял задание: менял режимы полета, включал и выключал самописцы, записывал наблюдения в планшет. Время от времени командный пункт запрашивал меня:

— Четвертый! Я — Земля. Как слышите? Прием.

Я дисциплинированно откликнулся:

— Земля! Я — четвертый. У меня все нормально. Слышу хорошо.

— Понял вас, четвертый. Я — Земля. Проверка связи...

Формально это именовалось проверкой связи, но в действительности дело было в другом: как всегда, Земля тревожилась о нас и таким деликатным способом пыталась поддерживать уверенность в полном благополучии трех или четырех своих подопечных, носившихся разными курсами и на разных высотах в нашей огромной, раскинувшейся на сотни километров, запретной для всех других самолетов испытательной зоне. Через одну-две минуты после разговора со мной командный пункт «проверял связь» с другой машиной, потом с третьей и так далее, пока очередь вновь не доходила до меня. Земля тревожилась о нас! Как бы гладко ни шло дело, она никогда не бывает до конца спокойна за испытателей, находящихся в воздухе.

И, как подтвердилось тут же, имеет для этого все основания.

Внезапно в наушники ворвался голос — громкий, звонкий, какой-то не скажу взволнованный, но такой, в котором ясно ощущалось сдерживаемое усилием воли волнение:

— У меня флаттер! Флаттер! Флаттер! Флаттер у меня...

Позывные — ни свои, ни адресата — названы не были, но я (да и не я один, конечно) сразу узнал этот голос. Передавал Анохин.

Флаттер! Самый страшный вид вибраций из многих (к сожалению, достаточно многих), известных в авиации.

Анохин замолчал... Наступила долгая-долгая пауза. Наконец ее прервал осторожный запрос командного пункта:

— Седьмой! Я — Земля. Ответьте.

Снова пауза... Повторный запрос... И наконец:

— Земля! Я — седьмой. Вибрации погасил. Но в управлении что-то неладно. Тяну к вам.

Голос Анохина снова был, как всегда, тихий и глуховатый. Звонкость из него исчезла. Но не исчезла смертельная опасность, нависшая над летчиком и машиной: хорошо, конечно, что она не развалилась от вибраций, но неизвестно, в каком состоянии самолет вышел из флаттера. Может быть, где-то на грани разрушения — «на последней нитке» — держатся жизненно важные части машины: узлы крепления крыла или оперения, тяги управления рулями. Как поведут они себя под действием болтанки — воздушных возмущений, всегда более сильных внизу, у земли? Не зря, конечно, сказал Анохин не «иду», а «тяну» к вам!

В голове у меня проскакивают воспоминания — далеко не самые очаровательные из всех возможных — о том, как я, немногим более года назад, тянул к аэродрому на опытном МиГ-9 с разрушившимся оперением. А еще несколькими годами раньше — на экспериментальном СБ с крыльями, деформированными от попадания в тот же зловерный флаттер. А еще однажды... Словом, воспоминаний хватает. Есть с чем сравнивать. Но сейчас не до сравнений. Хочется каждую секунду знать, что с Анохиным?

Судя по всему, гого же самого хочется и Земле. Она периодически, явно чаще, чем следовало бы, запрашивает:

— Седьмой! Где вы?

На что Анохин с обычной своей невозмутимостью коротко отвечает:

— Подхожу к вам.

Большого действительно не скажешь. Хороший симптом — уже сама по себе эта вернувшаяся к нашему товарищу невозмутимость.

В глубоком вираже над аэродромом я жадно всматриваюсь в зелено-пеструю — лесá вперемешку с полянами — полосу подходов. Один десяток секунд тянется за другим, а на полосе все пусто! Наконец — вот она! — появляется сверкающая дюралем серебристая мушка. Это самолет Анохина. Он медленно (или это только сейчас кажется, что медленно?) ползет по зеленому фону полосы подходов... пересекает желтую песчаную зону на границе аэродрома и... катится по бетонной посадочной полосе. Все! Сел!

В этот момент я пренебрегаю строгими правилами пользования радиосвязью и, нажав кнопку своего передатчика, выдаю прямо в эфир глубокий вздох облегчения и не предусмотренную никакими кодами фразу:

— Молодец, Сережа!

И никто не сделал мне потом замечания за столь явное, записанное всеми магнитофонами нарушение правил.

А вибрации, случившиеся у Анохина, оказались не флаттером. Техника преподнесла нам очередной сюрприз — еще один новый (будто не хватало имевшихся!) вид вибраций, очень схожий с флаттером по характеру и интенсивности, но все-таки новый. Его нарекли скоростным бафтингом, а за Анохиным закрепилась честь быть первооткрывателем нового явления.

Но это — уже область чистой техники. Нас же сейчас интересует другая, этическая сторона дела.

Итак, если, несмотря на все усилия, спасти машину нельзя, летчик должен думать о себе. Это мы уже установили.

Ну, а если выясняется, что нельзя спасти и себя? Что тогда?

Тогда настоящий испытатель возвращается всеми своими помыслами... снова к машине!

Не ко «всей своей жизни», которая, согласно проверенным литературным традициям, должна «промелькнуть за несколько секунд перед мысленным взором» погибающего, и не к его родственникам, и не к руководящим лицам любого ранга — к машине. К своей работе, к задаванию, к тому, чтобы оставить товарищам как можно меньше неясностей и как можно больше результатов своего последнего эксперимента!

Вот чего хотел Анохин: дать людям хоть какую-то ниточку, держась за которую они смогли бы распутать сложный клубок загадок, связанных с гибелью опытного истребителя. На это он, повинувшись безосибночному душевному порыву, и бросил секунды, которые считал последними в своей жизни.

Это уже не техника. Это — этика. Причем этика, как мне представляется, достаточно высокая.

При всем благоговении, которое я смолоду, можно сказать с самых первых дней пребывания в ЦАГИ, испытывал по отношению к опытным и экспериментальным самолетам, быстро выяснилось, что сами по себе они не летают. Летают на них люди. И, как в любом виде человеческой деятельности, при этом всплывает множество моральных, этических и прочих душевных проблем, причем проблем сугубо земных едва ли не чаще, чем небесных. Чтобы обнаружить это, не требовалось особой наблюдательности: яркие, бесспорные факты ежедневно сами бросались в глаза.

Интересно, что поначалу такие факты выглядели вполне законченными, аккуратно — как патроны в магазинную коробку — укладываемыми

шимися в какую-то стройную систему. И лишь постепенно, чаще всего — при столкновении с исключениями, в которых означенная система неожиданно теряла свою стройность, на свет божий выползали сомнения, колебания, противоречия, — появлялась проблема.

Взять хотя бы известное, уже не раз затронутое литераторами положение: как летчик-испытатель «берется» или «не берется»... Впрочем, нет — он всегда берется за любую предложенную ему очередную работу. Это на руководителе испытательного или конструкторского коллектива лежит нелегкая обязанность: прежде чем предлагать очередную работу летчику, взвесить все обстоятельства — начиная от формы, в которой он сейчас находится, его квалификации, возможностей, даже склонностей, и кончая самой целесообразностью проведения предполагаемого испытания. А летчик — он всегда «за». Скрытую борьбу за получение нового сложного, интересного, порой опасного задания я наблюдал среди своих коллег, без преувеличения, несчетное число раз. Тенденцию же уклониться от подобной чести — настолько редко, что каждый такой случай воспринимал как нечто противоестественное, как выпадающую точку, как исключение, вызывавшее прежде всего реакцию удивления, а в дни безапелляционной молодости — и безоговорочное осуждение.

Словом, на сей счет тоже существует традиция. И, надо сказать, традиция хорошая, правильная, явно идущая на пользу делу и в то же время как-то возвышающая нашу корпорацию. И, конечно, не случайно прошло немало лет, пока жизнь не заставила меня впервые задуматься над тем, всегда ли безоговорочно хорош этот традиционный образ действий летчика-испытателя? Не знает ли и это доброе правило своих исключений?

Алексей Иванович Никашин был одним из первых в нашей стране летчиков-испытателей с высшим инженерным образованием. Он летал умно, смело и чисто. Особенно широкую известность получили его полеты на разных модификациях самолетов, созданных в конструкторском бюро С. А. Лавочкина, начиная с ЛаГГ-первого. Можно без преувеличения утверждать, что и в знаменитом Ла-5, и в Ла-7, и в последующих машинах этого сильного коллектива продолжала жить немалая доля творческого труда Никашина. Провел он и много разных других работ и вот должен был начать испытания новой машины — первого детища молодого, едва образовавшегося коллектива. Я встретил его за несколько дней до начала этой работы и задал тот самый вопрос, который обязательно задает испытатель испытателю в подобных обстоятельствах:

— Как машина?

— Да так, знаешь...

Дело было добрых двадцать лет назад, но, как сейчас помню, ответ Никашина заставил меня насторожиться: не столько даже своим содержанием, сколько тоном, которым он был произнесен. Не было в нем того, что называется металлом в голосе.

Разумеется, я не стал настаивать на расшифровке туманной формулировки «да так»... (это, кстати, тоже традиция: не тянуть из летчика отзывов, которые не успели должным образом созреть и сформироваться).

Но Никашин развил свою мысль сам:

— Понимаешь, она какая-то нелетучая. Бежит, бежит по полю, должна бы уж вроде проситься в воздух, а она ни в какую: едет себе по земле, как влитая.

— А ты на пробегках ее до скорости отрыва доводил?

— Доводил. И отрывал. Но очень ненадолго. Больше не получается: аэродром маленький, не хватит потом места остановиться. А разгоняет-

ся она после отрыва плохо. Не тянет ее в воздух. Это ясно... Впрочем, расчет — вещь приблизительная, может быть, еще немного скорости — и полетит как миленькая. Бывает ведь и так...

Это было верно. Большинство самолетов дает знать о близости отрыва от земли: машина начинает «привспухать» и покачиваться, будто примеряясь к отрыву. Но действительно встречаются машины, у которых это предупреждение не ощущается: они плотно, жестко, устойчиво бегут по земле и вдруг, будто прищипоренные, выскакивают в воздух, а потом легко уходят вверх. Никашин был прав: бывает и так. Редко — но бывает.

В сущности, на этом разговор можно было считать законченным, но тут я с присущей мне нехорошей склонностью ставить точки над і брякнул:

— Что же, ты считаешь, она не полетит?

Прямого ответа на мой бестактный вопрос Никашин не дал. Он пожал плечами и спокойно сказал что-то в том смысле, что, мол, «должна полететь».

Все это начинало меня тревожить.

— Знаешь что,— сказал я с апломбом житейской неопытности,— знаешь что: если есть такие сомнения, надо кончать работу на вашем куцем аэродроме. Что-то за полоса — с гулькин нос! Перебирайтесь хотя бы на наш аэродром; полоса у нас длинная, спокойно все пробежки сделаешь и в настоящем полете машину попробуешь. Ну, а в крайнем случае, если совсем плохо полетит, у нас всегда есть куда приткнуться — кругом поля.

Правда, насчет «гулькина носа» я в порыве полемического азарта немного преувеличил: всего несколькими годами раньше аэродром, на котором предполагалось проводить эти испытания, считался едва ли не лучшим в Советском Союзе. И никто на него не жаловался — всем он был хорош.

Однако время не стоит на месте: новые самолеты потребовали новых, гораздо более длинных взлетно-посадочных полос и того, что было по всем статьям хорошо еще несколько лет назад, сейчас для испытаний новой техники явно не хватало. Вот и Никашин оказался перед необходимостью поднимать впервые в воздух опытную машину, не испробовав ее предварительно в полноценном, продолжающемся хотя бы несколько секунд полете над самой землей — так называемом полете. Установившаяся уже в то время методика летных испытаний решительно требовала этого, и мое предложение, казалось бы, напрашивалось само собой.

Но Никашин покачал отрицательно головой:

— Не получается. Для этого надо машину разобрать, перевезти, собрать снова, опять нивелировать, отлаживать все системы. А нас и так сроки подпирают... Нельзя.

— Черт с ними, со сроками! Какой-нибудь цирк на первом вылете отодвинет их еще больше! Нельзя же так, в самом деле!

Я был очень рассудителен тогда. Мы все на зависть умны и рассудительны, когдазираем со стороны на дело, за которое непосредственно не отвечаем. Жаль одного: эти примерные качества мгновенно куда-то испаряются, как только речь заходит о вещах, к которым мы имеем прямое касательство.

Все еще не сдаваясь, я продолжал:

— А в конце концов, если ты не уверен, что эта штука полетит, заяви прямо об этом. Скажи начальнику летной станции, инженерам, главному конструктору. Откажись наконец! Скажи, что лететь так нель-



зя. Потребуй разборки машины и перебазирования на более просторный аэродром. Ты об этом говорил с главным или не говорил?

Этот вопрос, конечно, задавать тоже не следовало. Во всяком случае отвечать на него Никашин не стал. Возникла долгая пауза. Потом Никашин невесело усмехнулся и, возвращаясь несколько назад, уточнил:

— Я не на все сто процентов уверен, что она не полетит. Понимаешь: не на сто! Представь себе, что я отказываюсь, а на мое место приглашают какого-нибудь зеленого птенца, который никаких сомнений не испытывает просто потому, что не знает еще, в чем тут можно сомневаться. И вот он, ничтоже сумняшеся, садится себе в самолет и — спокойно взлетает: могут же сработать остающиеся проценты! Как я себя буду после этого чувствовать?.. Или еще того хуже: убьется зеленый птенец. Ведь это будет означать, что я — лично я! — его попросту спихнул в могилу!.. Представляешь себе, каково это будет?!

Я представлял.

Я очень хорошо представлял!

Еще бы мне не представлять, как должен чувствовать себя летчик в подобной ситуации!

С тех пор, когда я на собственной шкуре впервые испытал это, до дня разговора с Никашиным прошло около двух лет, но, казалось, дело было вчера — так врезалось в память и в душу все, что я тогда переживал.

Дело было на фронте. Я получил новое назначение, прибыл в полк пикирующих бомбардировщиков и сразу же включился в его боевую работу.

Новая обстановка, новые задания, новая машина — обилие нового заполнило мое сознание. И все-таки — возможно, в этом было профессиональное испытательское — я не мог не заметить, что с правым мотором полученного мной (в армии очень точно и хорошо говорят: доверенного мне) самолета не все в полном ажуре: чем-то не нравился мне его «голос».

Прошли еще два-три боевых вылета, и особенности поведения правого мотора стали вылезать наружу: температура охлаждающей воды и масла на нем стала держаться на несколько градусов выше, чем на левом. Заметьте: это были именно особенности — называть их дефектом оснований пока не было, ведь температура оставалась в пределах нормы, да и то, открыв правые заслонки радиаторов несколько больше левых, температурные режимы обоих моторов можно было сравнить.

Но от полета к полету это различие росло. Относить свои наблюдения за счет одной лишь только дотошной испытательской вьедливости было больше невозможно. И я рассказал о них техникам.

Мотору устроили гонку на земле — гонку долгую, но совершенно безуспешную: на земле он работал, по единодушному заключению всех присутствовавших, не исключая и меня самого, «как часы». К сожалению, этого нельзя было утверждать о его работе в полете — в воздухе мотор грелся с каждым разом все сильнее и сильнее. Соответственно все более «громким голосом» говорил об этом после каждой посадки и я.

И тут-то мои упорные доклады вдруг возымели неожиданный и очень обидный для меня, прямо ошарашивающий эффект: командир эскадрильи усмотрел в них, что я, выражаясь деликатно, не в должной мере рвусь в бой.

Глядя на вещи с дистанции многих лет, я сейчас могу понять его. Обстановка в воздухе нелегкая: противник имеет явное превосходство в воздухе. Редкий вылет проходит без боя, и редкий бой заканчивается

без потерь. В часть приходит новый человек — пойдя поручись, что у него там делается в душе! А летать надо. Самолетов и так не хватает. Не ставить же машину, о которой техники докладывают как об исправной, на прикол только потому, что этому только что пришедшему в полк придири что-то в ней не нравится.

— Следующий вылет я сделаю на вашей машине сам, — сказал комэск, явно решив, что в данном случае надо не столько искать дефект в моторе, сколько «воспитывать» летчика.

Такого оборота дела я не ожидал. Все мысли в голове мгновенно перестроились на иной лад. Может быть, и в самом деле, думал я, здесь, на войне, надо отучаться от испытательского придиричливого отношения к машине? Самолетов и без того мало. Так надо по крайней мере исполнять те, что есть, не цепляясь к ним по ерунде. Не всякий принцип одинаково пригоден для любых условий. Вот уж действительно дернул меня черт за язык!..

Тяжко было у меня на душе, когда на нашем полевом аэродроме взвихрилось рычащее снежное облако, из его недр выплыла моя — или теперь она уже не моя? — машина и, убрав шасси, с набором высоты красиво развернулась в сторону линии фронта.

Что я скажу командиру, когда он через час вернется?..

Но он не вернулся. То есть, вообще говоря, к счастью, вернулся, но не через час, а на следующий день и... без самолета. Все-таки не зря вызывал у меня такие подозрения правый мотор. Над самой линией фронта он совсем отказал, и попытка летчика пристроиться вынужденно на передовой истребительный аэродром закончилась неудачно: противник без труда разобрался в происходящих прямо у него на глазах событиях и штурмовым ударом группы истребителей уже на земле добил охромевшую машину. Люди уцелели чудом.

Оказалось все-таки, что к технике надо относиться придиричливо. Даже когда ее не хватает. Вернее, особенно когда ее не хватает. Попытка отступить от этой позиции стоила нашему полку еще одной столь нужной в жестокую первую военную зиму боевой машины.

Моя репутация самолетного диагноста с тех пор сомнению не подвергалась; во всех неясных случаях подобного рода командир полка приказывал мне проверить ту или иную машину в воздухе — чаще всего «заодно» с выполнением боевого задания, — и заключение мое принималось, как окончательное и обжалованию не подлежащее. В этом тоже были свои сложности, но не о них сейчас речь.

Долгие годы не мог я забыть своего самочувствия, когда, отставленный от боевого вылета, стоял на аэродроме и ожидал возвращения улетевшей машины! Ведь в том, что мотор неисправен, я был уверен на те же девяносто — девяносто пять, но все же не на все сто процентов. И уж тем более трудно было ожидать, что неисправность, если даже она действительно существует, так решительно проявится именно в этом полете.

Тогда-то я впервые понял, что, сколь ни сложен, бессмысленно рискован, неразумен может быть полет, лететь при всех этих условиях порой бывает психологически легче, чем не лететь. Хотя, конечно, уходя по доброй воле при подобных обстоятельствах в воздух, летчик проявляет не силу, а слабость.

Впрочем, не со мной одним случались такие казусы.

Стоило вспомнить фронтовую историю со злополучным мотором, как тут же, по ассоциации, в памяти всплыл и другой случай, происшедший с моим товарищем Алексеем Николаевичем Гринчиком.

Незадолго до начала войны ему — еще сравнительно молодому тогда испытателю — было поручено вести новый истребитель. Конструктор машины С., полный, энергичный мужчина со сверкающей металлом

улыбкой, которую он почти никогда не снимал с лица, поражал собеседников какой-то странной комбинацией наивности и апломба. Последнее из этих свойств проявлялось всегда и неизменно, а первое — как только разговор касался тем авиационно-технических, и в частности испытательных.

— В нашем деле он — чистая деревня! — быстро определил Гринчик.

Но в конце концов не все ли нам было равно: «деревня» или «не деревня» он в нашем деле. Делал бы хорошо свое!

Увы, вскоре выяснилось, что результаты его деятельности, так сказать по прямому назначению, — тоже особого восхищения вызвать не могли.

Наступил день первого полета Гринчика на этой машине. Сначала все было как всегда: прекращение других полетов, многочисленные зрители-болельщики по краям летного поля, в окнах пристроек, на крышах ангаров, небольшая группа начальства у кромки бетонной взлетной полосы...

Чуть поодаль от других стоял начальник летной части Отдела летных испытаний ЦАГИ — наш первый учитель испытательского искусства Иван Фролович Козлов. Когда уходили на сложное задание его подчиненные или ученики — а Гринчик был и тем и другим, — Козлов всегда выходил на поле проводить их. На лице у Фролыча для всеобщего обозрения было выставлено приличествующее случаю бодро-уверенное выражение, не оставлявшее места для малейших сомнений в беспорном успехе предстоящего полета. Другое дело — было ли столь же безоблачно в тот момент у него и на душе: безоговорочно поручиться за это было бы, по-видимому, довольно неосторожно. Но, так или иначе, внешний декорум был соблюден полностью. И коль скоро разговор идет о летной этике, стоит заметить, что и это тоже имело к ней самое прямое отношение: решение принято, новых обстоятельств, которые дали бы повод к пересмотру этого решения, нет — значит, нечего осложнять работу непосредственных исполнителей своими выставленными напоказ переживаниями!

Впрочем, Гринчик в тот момент если что-нибудь и переживал, то одно лишь полное удовлетворение: наконец-то он дорвался до вылета на опытный самолет! Мы думали тогда не столько о том, как будем выпутываться, попав в сложное положение, сколько о том, как бы очутиться к этим романтическим и эффектным положениям поближе.

Выкрашенный в вызывающе красный цвет самолет стоял на взлетной полосе, как говорится, готовый к бою. Кстати, внешне он на первый взгляд был очень похож на всемирно знаменитый в те годы, отлично проявивший себя в боях над Испанией и Монголией истребитель И-16: тот же короткий обрубок фюзеляжа, те же низко расположенные овальные крылышки, такой же круглый лобастый капот мотора. Впрочем, давно замечено, что близкие по времени выпуска самолеты одинакового назначения внешне всегда похожи друг на друга — иначе и быть не может: законы развития техники действуют в разных фирмах (и даже в разных странах) более или менее одинаково.

Но, как показало дальнейшее, сходство самолета, о котором идет речь, со знаменитым «И-шестнадцатым» было действительно только внешнее.

Тогда-то я и обратил впервые внимание на то, как, в общем, легко — ценой, казалось бы, ничтожных «модификаций» — превратить хорошую машину в плохую. Впоследствии мне не раз приходилось удивляться этому феномену...

Но вот Гринчик надевает парашют, влезает в самолет, запускает и пробует мотор. Характерный жест кистями выставленных из кабины рук в стороны: «убрать колодки». Дежурный стартер отмахивает белым флажком вдоль взлетной полосы вперед (радио на одноместных самолетах тогда не было, и полеты так — флажками — и управлялись). Машина пошла на взлет!

Поначалу все шло нормально: хвост плавно поднят, густо гудит работающий на полном газе мотор, самолет бежит точно по оси бетонной дорожки.

Бежит... бежит... Что-то он очень уж долго бежит! Обычно о подобных случаях пишут: «Не успели мы об этом подумать, как...» Но мы успели подумать. Подумать, переглянуться, снова перебросить взгляд на бегущий уже далеко за серединой аэродрома самолет...

Где-то на самом краю летного поля машина наконец оторвалась от земли и медленно, метр за метром, потянулась вверх. Вот оно — преимущество большого, с многокилометровой полосой, аэродрома!

— Долго бежал. Очень долго, — задумчиво бросил Козлов.

— Верно, долго? Вот и мне тоже так показалось, — светским тоном подхватил стоявший неподалеку конструктор С. — Вы, пожалуйста, Иван Фролович, скажите ему, чтобы в следующий раз так долго не разбегался. Пусть отрывается раньше.

Ответ Фролыча — не будем воспроизводить его текстуально — заставил конструктора прочно закрыть рот. Но присутствующие по достоинству оценили и щедро откомментировали этот красочный диалог лишь впоследствии. А пока их внимание было безотрывно приковано к полету — дела там по-прежнему шли несколько странно: маленькая красная машина описывала широкий круг над окрестностями аэродрома на высоте ста двадцати, от силы — ста пятидесяти метров вместе обычных четырехсот — пятисот.

Долго тянулась четверть часа этого неприятного полета. Наконец, замкнув полный круг, Гринчик благополучно приземлился.

— Не лезет она, собака, вверх, — рассказывал он, выбравшись из кабины. — Скорость более или менее разгоняет, а вверх, что на взлете, что в полете, ни в какую! Я подобрал наивыгоднейшую скорость, на ней хоть полтораста метров наскреблось, а на других режимах так и сосет ее вниз, к земле. Вот уж действительно: аппарат тяжелее воздуха. Оно и чувствуется — значительно тяжелее!

В течение последующих двух недель Гринчик сделал на новом самолете еще несколько полетов (теперь я понимаю — вряд ли это было разумно). Однако ничего нового в них не выявилось: самолет по-прежнему проявлял решительное отвращение к удалению от матушки-земли.

Сейчас, в наши дни, причины столь недостойного поведения машины были бы быстро установлены: методы аэродинамических исследований, да и самой летно-испытательной диагностики усовершенствовались за прошедшие четверть века настолько, что сомнений в этом быть не может.

Но тогда дело обстояло иначе, и, как это часто бывает при отсутствии технических объяснений, подозрения конструктора перекинулись на летчика:

— Виноват Гринчик. Что-то у него не получается.

Ну, а если виноват летчик, практические мероприятия по устранению недостатков машины ясны — надо заменить летчика.

И энергичный С. недолго думая быстро договорился с летчиком-испытателем Л., работавшим на одном из авиазаводов.

Боюсь, что читатель усмотрит в этой главе моих записок некоторый переизбыток различных С., Л. и прочих таинственных буквенных обозна-

чений, за которыми — наподобие партизанских командиров в дни войны (хотя и по совсем другим причинам) — скрываются реальные люди. Ничего не поделаешь — каждое содержание требует определенной, соответствующей ему формы: глава-то, что ни говори, об этике...

Итак, все-таки С. договорился с Л. Ни руководство нашего института, ни командование летной части, конечно, никакого участия в этой сделке не принимали, но и противодействовать желанию конструктора не могли: недоверие к летчику было в то же время недоверием ко всей нашей фирме, и согласно неписаным велениям этики (опять она!) наше начальство обязано было соблюдать позицию демонстративного объективизма. Не уверен, что на сей раз веления этики были очень уж справедливы. Во всяком случае такому критерию оценки любой морально-этической категории, как соответствие общественным интересам, они не отвечали никак. Скорее сам конструктор машины должен был бы в данном случае сообразовывать свои действия с требованиями этики, не говоря уже о летчике, не устоявшем перед перспективой сорвать легкие лавры за счет своего товарища.

— Я вам сейчас такой пилотаж покажу, что ахнете! — скромно пообещал окружающим Л., садясь в машину.

Но пилотажа он не показал. Его полет заставил по-настоящему перепугаться не только нас, но и самих создателей этого удивительного аэроплана.

С трудом оторвавшись от земли, Л. еле-еле перетянул деревья, росшие за аэродромом, и так, на бреющем полете, скрылся из глаз. У него не было квалификации Гринчика, позволившей быстро нащупать тот единственный режим полета, на котором машина набирала хотя бы полторы сотни метров высоты. Время от времени Л. дергал самолет вверх, отчаянно пытаясь оторвать его от губительного соседства с землей, но, как и следовало ожидать, никакого эффекта эти конвульсивные рывки не давали: машина тут же вновь проседала вниз. Так, едва не задевая наземные препятствия, Л. наконец замкнул круг, отнюдь не ставший для него кругом почета, и вышел на аэродром. Приземлившись (благо для этого ему только и пришлось, что даже не убрать, а лишь чуть-чуть прибрать газ: земля и так была прямо под колесами), он поднял очки на вспотевший лоб, дрожащими пальцами расстегнул привязные ремни, вылез из кабины и, не говоря ни слова, уехал с аэродрома. На этом эпопея и закончилась...

Конструктора С. через несколько лет встречали в одной из центральных областей в качестве... инспектора мельниц. Известие об этом было, впрочем, встречено в нашей летной комнате без особого удивления.

А еще через много лет, узнав о подозрительно блестящих и, конечно, оказавшихся липовыми успехах этой области по производству мяса, молока и масла, мы снова (и, наверное, в последний раз) вспомнили С.:

— Наверное, и он к этой липе руку приложил. Знакомый почерк.

Своеобразная судьба постигла и самую злосчастную машину. Ее отдали... в Московский авиационный институт, где она и простояла много лет на виду у студентов и преподавателей. Злые языки утверждали, что так было сделано не без здравой мысли: пусть, мол, будущие авиационные инженеры поучатся — как не надо строить самолеты.

Но я вспомнил всю эту забавную (счастье, конечно, что она обернулась забавной) историю потому, что, разговаривая с Никашиным, вновь представил себе самочувствие Гринчика, когда Л. собирался на его машине в полет.

— Черт его знает! — говорил нам потом Леша. — Вроде никаких сомнений у меня не оставалось: не идет вверх машина. Все как будто

перепробовал. А вдруг, думаю, чего-то не додумал такого, что я не знаю, а Л. знает? Вот взлетит сейчас да действительно открутит над аэродромом весь пилотаж! Куда мне после этого податься: одна дорога — в петлю!

И Гринчик, вытянув шею и состроив страшные глаза, наглядно показал, как именно пришлось бы ему лезть в петлю, если бы не выяснилось, что никаких особенных секретов Л. не знает, а просто прихвастнул по безграмотности.

Никашин говорил почти те же слова, какие произнес в свое время Гринчик, да и внешне положение складывалось очень похожее: и тут и там машина, испытывающая преувеличенную привязанность к земле.

Сказать по существу вопроса мне было больше нечего, и я, пожав руку Никашину и пожелав ему удачи, отправился по своим делам. Как часто потом я горько сожалел об этом! Почему я не выяснил толком: делится Никашин с кем-нибудь, и прежде всего с конструктором самолета, своими сомнениями или нет? Почему не поднял тревогу, не шумел повсюду, где можно и где нельзя, что делать первый вылет этой машины на ограниченном аэродроме недопустимо, не требовал, чтобы Никашина выслушали?

Почему? Да прежде всего, наверное, потому, что и сам Никашин не говорил ничего сколько-нибудь определенного — так сказать, в полный голос. А сомнения, впечатления, подсознательные ощущения — товар, который на стол начальству не положишь. Тут тоже действует своя этика, вернее — обратная ее сторона...

Когда дело дошло до вылета, Никашин оторвал самолет от земли, перетянул через препятствия на границе аэродрома, но набрать заданную высоту уже не мог. С ревушим на полном газу мотором, в единственно возможном положении, при малейшем отклонении от которого — и в сторону разгона, и в сторону уменьшения скорости — машина снижалась, летел он над крышами домов, верхушками деревьев, проводами линий электропередач. Ясно было, что надо скорее возвращаться домой. Но для этого нужно развернуться, а как тут развернешься, если и на прямой-то еле-еле удастся держаться! И, я думаю, не случайно Никашин начал попытку развернуться не над домами, а над первой же подвернувшейся рощицей. По крайней мере тут под ним не было людей...

В эту рощу машина и рухнула.

С тех пор прошло более двадцати лет.

И все эти годы я не в силах освободиться от тяжелого ощущения.

Известно, что чаще всего летчик попадает в беду совершенно для себя неожиданно (напомню еще раз, что самое страшное в авиации — непредвиденное). Бывает, что неприятностям предшествуют какие-то опасения: осознанные или неосознанные; в последнем случае их принято именовать предчувствиями. Иногда же — правда, исключительно редко — летчик знает.

Так вот, не могу я отделаться от ощущения, что Никашин — знал.

Вернее, почти знал. И в этом «почти», пожалуй, и заключалась главная причина свершившейся беды...

Сейчас ничего подобного опять-таки случиться не может. Не может по ряду причин. Во-первых, потому, что современный уровень авиационной науки просто не дает возможности построить самолет, который вообще отказывался бы лететь. Он может летать лучше или хуже, может оправдать или не оправдать возложенные на него надежды, может наконец преподнести какие-то сюрпризы в области новых, ранее не

освоенных скоростей и высот полета. Но чтобы самолет не полетел — сейчас такое невозможно!

Во-вторых, в наши дни выпуску новой машины в воздух предшествует большой комплекс жестко узаконенных проверок и обсуждений. Среди них — обсуждение на Методическом совете по летным испытаниям, где опытейшие летчики-испытатели, ведущие инженеры, авиационные ученые нашей страны с предельной дотошностью взвешивают каждую мелочь, связанную с предстоящими полетами, и дают свое «добро», только когда на любое, пусть самое маловероятное «а вдруг» найдено и рекомендовано надежное противоядие. Тут не отбрасываются без обсуждения и такие невещественные категории, как малейшие сомнения, колебания, подсознательные ощущения летчика — и того, которому предстоит лететь на новой машине, и всех остальных, которые не раз побывали в его шкуре, а сегодня олицетворяют собирательную фигуру Летчика-испытателя вообще, и должны проявить всю мудрость, весь опыт, всю эрудицию, присущие этому, как было сказано, собирательному, но тем не менее, конечно же, реально существующему персонажу.

Нет, не может сейчас повториться такая катастрофа!

Но в принципе этическая проблема — должен или не должен летчик-испытатель безоговорочно принимать любое предложенное ему задание — не потеряла своей остроты. Следует ли ему соблюдать в этом деле столь подчеркнутый нейтралитет только потому, что он — лицо, наиболее заинтересованное? Уместна ли здесь испытанная солдатская формула: «Ни на что не напрашиваться, ни от чего не отказываться» (тем более что первую часть означенной формулы большинство испытателей соблюдает не очень-то исправно)?

Не берусь ответить на эти вопросы с полной, пригодной во всех случаях, определенностью. Этическая проблема — не арифметическая задача: не всегда в конце учебника найдешь на нее однозначный ответ. Тем более что и математические задачи имеют иногда два, четыре и больше равно правильных ответов. А тут, бывает, многие годы пройдут, пока разберешься — этично или не очень этично действовал в каком-то давным-давно прошедшем случае, прочно забытом всеми, кроме тебя самого.

И все-таки мне по-человечески нравится эта славная испытательская традиция — идти на любое дело, на какое позовут!

На ней выросло не одно поколение наших летчиков, на ней сформировалась вся советская испытательская школа. Без нее профессия летчика-испытателя потеряла бы что-то трудно формулируемое, но очень существенное во всем своем облике: стала бы менее рыцарской, что ли.

Если же подойти к вопросу с позиций менее романтических, но более деловых — с тех самых позиций общественной целесообразности, о которых уже упоминалось, — то, я уверен, быстро удастся установить, что потеря и убытков от соблюдения этой традиции куда меньше, чем прямого выигрыша, — и для летных испытаний, и для самих испытателей.

Надо только, чтобы окружающие знали о существовании такой традиции, понимали ограничения, которые она накладывает на поведение твердо следующего ей летчика, и ответственно заботились обо всем том, что сознательно исключает из поля своего зрения он сам. Если сказанное звучит несколько туманно, его можно было бы расшифровать, но это — уже область сугубо практическая, относящаяся прежде всего к организации и методике летных испытаний.

А традиция — пусть живет!

## Еще о летной этике

- Я слетал!
- Я испытал!
- Я довел машину!

Летчики-испытатели редко употребляют эти выражения. Да и когда употребляют, то, как правило, не вкладывают в них такой же смысл, какой вкладывает, скажем, художник, говоря: «Я написал картину».

Современный самолет испытывает большой коллектив, можно сказать: целый оркестр. И хотя летчик-испытатель исполняет в этом оркестре сольную партию и к малейшему его замечанию чутко прислушивается — ловит на лету — дирижер (конструктор машины), все-таки местоимение «я» тут не подходит.

Слов нет, положение «солиста» накладывает на труд летчика определенный отпечаток. Прежде всего он несет личную, персональную, ни с кем не разделенную ответственность за все, что сам решил и сам же осуществил в полете. Конечно, ответственность в тех — увы, нередких — случаях, когда, заслуженно или незаслуженно, приходится за что-то отвечать. И наоборот: если решения и действия летчика признаются удачными, весь поток общественного одобрения или во всяком случае львиная его доля фокусируется — опять-таки заслуженно или незаслуженно — на летчике.

Но летает он все-таки не как бог на душу положит, а пунктуально выполняя (особенно в испытательном полете) составленное на земле задание — свои «ноты». Есть у каждого летчика и своя школа, печать которой лежит на каждом его движении. Есть и множество (куда больше, чем у музыканта) «настройщиков», готовящих машину и оборудование к полету. Есть даже специальные люди, обеспечивающие на аэродроме и во всей зоне испытательных полетов должный порядок, безопасность и рабочую — чуть было не сказал творческую — обстановку (не знаю уж, с кем их сравнить: с администраторами, рабочими сцены, капельдинерами). А в полете на многоместном самолете налицо и «оркестр», причем опытные, хорошо сколоченные, с полуслова понимающие командира испытательские экипажи встречаются ненамного чаще и ценятся соответственно не ниже, чем самые что ни на есть заслуженные симфонические коллективы. Правда, летчику — командиру экипажа — приходится быть солистом и дирижером одновременно, но это уже подробность.

Так или иначе, факт остается фактом: на летчика, особенно летчика-испытателя, смотрят почти так же, как на солиста.

Но положение солиста, тем более солиста признанного (так сказать, «любимца публики»), таит в себе и определенные соблазны. При всей своей неистребимой привязанности к родной для меня испытательской корпорации, должен сознаться: не все наши молодые (да и не одни только молодые) коллеги одинаково успешно устояли перед лицом этих соблазнов.

И первый из них — пресловутое «я».

Впрочем, это «я» — категория, встречающаяся не только в летной среде. Вспомним хотя бы распространенное среди директоров: «Я выполнил план на столько-то процентов» или генеральское: «Я взял город».

Нетрудно найти примеры и в области, значительно более близкой: чего стоит хотя бы установившийся у нас порядок именованья типов летательных аппаратов по первым двум буквам фамилии главного конструктора! Здесь прямо в глаза бьет явное противоречие между общественным, коллективным характером труда по созданию новой машины и частным, индивидуальным характером не скажу присвоения, но во вся-



ком случае именованя продукта этого труда. Нет сомнения, что дни этого странного обычая (заимствованного, между прочим, в предвоенные годы у тогдашней Германии) — сочтены. Очень уж не гармонирует он с духом времени!

Кстати, есть уже в этой области и свои первые ласточки: некоторые вертолеты, созданные конструкторским коллективом, которым руководит Михаил Леонтьевич Миль, так и называются: В-2 и В-8 (вертолет второй, вертолет восьмой)...

Многие, очень многие смертные грешат тем, что заменяют слово «мы» словом «я». Грешат этим, повторяю, и иные летчики. Благо вся обстановка их работы очевидным образом тому способствует: сам, один, под собственную ответственность, без чьей-либо подсказки делает летчик свое дело.

И только если взглянуть на летные испытания как на процесс (и, позволю себе заметить, процесс творческий), начинающийся задолго до вылета и оканчивающийся не скоро после посадки,— только тогда делается в полной мере очевидной его коллективность.

В морском флоте издавна действуют так называемые правила совместного плавания. Легко представить себе, сколько столкновений, несостоявшихся рандеву и всяких других бед случилось бы на море, если бы этих правил не существовало.

Но старые моряки понимают под совместным плаванием не только движение группы судов. Об этом очень хорошо сказано в интересной книге ленинградского писателя-моряка Сергея Адамовича Колбасьева, погибшего в том же недоброй памяти тридцать седьмом году. Один из рассказов Колбасьева так и называется: «Правила совместного плавания». Действующий в этом рассказе персонаж — опытный флотский командир Плетнев — относит к числу правил совместного плавания и такие, как: «...язвительность в разговорах на корабле ни к чему» или «служить (то есть разговаривать на служебные темы.— М. Г.) за столом в кают-компаний не полагается».

Во всех существующих летных наставлениях тоже обязательно фигурирует специальный раздел: «Правила группового полета». Его содержание непосредственно, как говорят, перекликается с флотскими правилами совместного плавания. Но, если вдуматься, всякий полет — даже когда в воздухе один самолет, на борту которого нет никого, кроме пилота,— есть полет групповой. Групповой потому, что прочные, хотя и незримые нити связывают летчика с десятками людей, готовивших полет и обеспечивающих его с земли.

И уж тем более «групповая» — вся деятельность человека, посвятившего себя летным испытаниям. Тут налицо все приметы коллективного творческого труда, и в том числе едва ли не на первом месте — множество душевных, моральных, этических проблем, одна за другой неупорядоченно всплывающих перед летчиком, даже если он, по молодости лет, и возмнил было себя этаким гордо-одиноким рыцарем воздуха.

Без правил группового полета — в самом широком понимании этого выражения — тут не обойтись.

Коллективность труда в деле испытания и доводки современного летательного аппарата — своего рода знамение времени, прямое следствие бурного процесса непрерывного усложнения этого аппарата.

Наше поколение авиаторов помнит времена, когда коллектив испытателей нового самолета состоял всего из нескольких человек: ведущего инженера, ведущего летчика, двух-трех механиков и мотористов, техника по приборному оборудованию — вот, пожалуй, и все. И все же это был коллектив. Маленький — но коллектив.

Иначе обстояло дело разве что на самой заре развития авиации. Тогда конструктор машины был един не только «во трех», как господь-бог, а, можно сказать, во многих лицах: сам проектировал самолет, сам рассчитывал его аэродинамику и прочность, сам строил свою машину, сам и испытывал ее (с бóльшим или меньшим успехом — это уже другое дело) в полете.

Думаю, что в этом проявлялась не одна только кустарность, под знаком которой развивалось самолетостроение (да, наверное, и не одно лишь самолетостроение) на первых порах своего существования. Было тут и другое!

Мне кажется, конструктор стремился самолично испытывать свой аппарат в воздухе прежде всего для того, чтобы не отходить от творческого процесса создания новой машины на завершающем, едва ли не самом интересном этапе этого процесса. Но в наши дни он все-таки вынужден идти на это: чересчур многого требует от человека профессия конструктора, как, впрочем, и профессия летчика-испытателя. Полноценно в одном лице их не объединить.

Да, наша работа коллективна. Коллективна по самому своему существу.

А раз так, неизбежно всплывает очередная этическая проблема — проблема взаимоотношений летчика-испытателя с другими участниками испытаний, остающимися на земле.

Добиться полного взаимопонимания тут не так просто, как может показаться с первого взгляда. И не одной лишь известной пословицей, согласно которой пеший конному не товарищ, определяется эта сложность, хотя первопричина возможных взаимных недопониманий «пешего» и «конного» кроется скорее всего именно в этом. Всякое иное объяснение было бы, по-видимому, недостаточно материалистично.

Легче всего летчику добиться полного понимания с ведущим инженером. Ведущий инженер — летающий или не летающий, все равно — естественный единомышленник летчика. Он должен все понимать и по самому профилю своей специальности, и по интересам, и по устремлениям. Он тоже, как и летчик, стремится провести программу испытаний прежде всего надежно, безаварийно, получить при этом возможно более полные результаты и сделать все это в минимальные сроки. Заметим в скобках, что и конструктор хочет, в общем, того же самого. Но у него надежды на блистательность полученных результатов, на сроки их получения и на безаварийность этого процесса располагаются, как правило, несколько иначе по порядку. А тут налицо как раз тот случай, когда от перемены мест слагаемых сумма вопреки арифметике может измениться. Словом, общие интересы у всех одинаковые, а частные... Частные зависят от места, занимаемого человеком среди других людей.

С наиболее обнаженной очевидностью я наблюдал эту классическую закономерность у обработчиков — девушек и юношей, которые по заданиям на лентах самопишущих приборов строят экспериментальные кривые и определяют из них те характеристики машины, ради которых проводился очередной испытательный полет. Если спросить любого обработчика, так сказать, теоретически, как он смотрит на постепенность, последовательность и прочие принципы обеспечения безопасности летных испытаний, ответ будет, конечно, четко положительный. А на практике... на практике порой бывает и иначе.

— Молодец Коля! — заявил как-то один мой знакомый обработчик. — Такие дачи<sup>1</sup> сделал: с первого раза почти до полного отклонения рулей. Очень легко обрабатывать.

<sup>1</sup> Д а ч и (от слова давать) — резкие, четко дозированные отклонения рулей. По тому, как самолет реагирует на эти отклонения, судят о его управляемости.

— До полного?! — ужаснулся я. — Но ведь на машине еще не замерены шарнирные моменты. Разве можно давать такие отклонения, пока нет надежных данных тензометрии рулей? Ведь мы фактических нагрузок на них еще не знаем. Этак недолго и развалить корабль в воздухе — ни за что ни про что!

Мой собеседник пожал плечами. Хотя он в своем деле был не таким новичком, как Коля — молодой летчик-испытатель, впервые получивший в руки опытный самолет, — но видел в материалах каждого полета прежде всего свое: более или менее удобные для расшифровки записи приборов.

Любят наземники летчиков, которых называют «сговорчивыми»! И, в общем, правильно делают, что любят: конечно же, летчик обязан делать все от него зависящее, чтобы облегчить труд своих товарищей. Но здесь, как во всем в жизни, нужно обладать хорошо развитым чувством меры.

Кому-кому, а мне, чтобы убедиться в этом, нет нужды далеко ходить за примерами. Достаточно вспомнить хотя бы, как я, отправляясь в первый дальний полет на бомбардировщике ТУ-4, согласился взять на борт нового, не слетавшегося с нашим экипажем человека — оператора радиолокационной установки. Начальству эта идея пришла в голову в последний момент — накануне вылета. Я же, прекрасно зная, сколь опасны подобные экспромты, упирался, видимо, гораздо слабее, чем следовало. И возмездие за чрезмерную уступчивость не заставило себя ждать: в полете, вертясь на своем недостаточно обжитом рабочем месте, оператор нечаянно открыл фюзеляжные люки. Открыл в самый неподходящий момент — когда мы всеми силами боролись за каждый лишний метр высоты, чтобы переползти через гребень мощной фронтальной облачности. А тут как назло еще один лишний источник сопротивления: настень распахнутые створки огромных — с хорошую комнату величиной — бомбовых отсеков! Сколько лишних осложнений пришлось преодолеть из-за злосчастных люков не только мне (это было бы еще, так сказать, поделом), но и всему нашему экипажу!

Да — пожелания наземных участников работы надо, конечно, учитывать, но учитывать критически, с большой осторожностью и многократным приложением апробированной испытательской мерки «а если...». Ну, а проявление критичности, осторожности и приложение всяческих мерок если и не относятся полностью к области этики, то во всяком случае вплотную соседствуют с ней. От этого не уйдешь.

Давно замечено, что нередко в авиационных и особенно околоавиационных кругах наибольшей популярностью пользуются не те летчики, которые летают наиболее результативно, а те, которые летают особенно эффектно.

Однажды этот трудно объяснимый с позиций здравого смысла психологический сдвиг открылся мне в особенно явном виде.

Два тяжелых реактивных корабля уходили в сложный ночной испытательный полет.

Один за другим они медленно выползли на взлетную полосу, проулили в самое ее начало и только там развернулись носами по курсу взлета: разбег предстоял солидный и пренебрегать лишними десятками метров бетона перед собой не приходилось.

Взлетать с современного, полностью оборудованного всеми положенными светотехническими средствами аэродрома, кроме всего прочего, — очень красиво.

С обеих сторон полосу окаймляют ряды огней — низко, почти за подлицо с грунтом, установленных через строго равные промежутки,

веселых, ярко-красных светильников. Через километр полосы среди красных огоньков внезапно появляется один зеленый; через два километра — два, через три — три и так далее. Они во время разбега подсказывают летчику, какая часть полосы осталась у него за спиной и сколько, следовательно, лежит еще впереди. При взлете до отказа нагруженной машины этот вопрос интересует экипаж самолета больше, чем, пожалуй, любой другой.

Где-то далеко в ночной тьме двойная цепочка мерцающих огней сливается в одну. Нет, это не обман зрения: действительно, после того, как бетон обрывается, под взлетевшим самолетом продолжает мелькать лишь одна линия огней — она помогает точно выдержать направление взлета.

Вот поочередно опробованы турбины, ярко вспыхнули подкрыльные фары — и первый самолет пошел на взлет. Со стороны видно, как среди аэродромных огней все быстрее и быстрее бежит яркий белый эллипс — участок полосы, освещенный бортовыми фарами. С грохотом и ревом самолет пробегает мимо провожающих. Из выхлопных сопел его двигателей бьет пламя загадочного тускло-красного цвета — удивительно, как это такое здоровенное пламя совершенно невидимо в дневных полетах!

Проходит десять — пятнадцать секунд — и пламя выхлопов растворяется в ночи. Зато грохот двигателей, усиленный многократно пересекающимся эхо, становится даже громче: он направлен теперь почти прямо в сторону людей, оставшихся стоять у края полосы.

Бортовые аэронавигационные огни самолета — красный на левом крыле, зеленый на правом и белый на хвосте, — удаляясь, мелькают среди огней аэродрома.

Наконец где-то в самом конце полосы эти подвижные огоньки начинают медленно уползать вверх: самолет оторвался!

Все с облегчением вздыхают. Вроде и не было никаких сомнений в том, что машина взлетит, — это подтверждалось и расчетами, и целым рядом ранее выполненных взлетов с прогрессивно возрастающими весами, — а все-таки шевелилось в глубине души что-то неуютное. Что ни говори — вес небывалый! Случись где-то во второй половине разбега не отказ даже — об отказе тут вообще и речи быть не может! — а ничтожная заминка, перебой в работе хотя бы одного из двигателей — и деваться некуда: ни взлететь, ни прекратить взлет! Да еще к тому же ночью! Словом, наука наукой, техника техникой, но слава богу, что этот взлет уже позади.

Белая звездочка хвостового огня лезет по небу вверх.

А в начале полосы уже начинается взлет второй корабль...

Им предстояло пройти многие тысячи километров, выполнить в ночной тьме сложнейшие совместные маневры, а потом, разойдясь, разными маршрутами вернуться домой. Не каждый день выполняются такие задания даже на нашем выдавшем виды испытательном аэродроме! И оставшиеся на земле, разговаривая, читая, занимаясь многими своими наземными делами, каким-то уголком подсознания никак не могли оторваться от наших товарищей, делавших в черной стратосфере свою трудную работу.

Не буду описывать весь ход этого незаурядного вылета: я в нем не участвовал и знаю о дальнейшем со слов моих друзей — благо друзья у меня были в составе обеих экипажей.

Поначалу все шло как следует. Под машинами лежала спящая земля, над ними — бездонное чернильно-черное ночное небо. Температура воздуха за бортом ушла куда-то в самый низ шкалы термометра:

на земле можно целую жизнь прожить, так ни разу и не хлебнув такого морозца! Но люди всего этого почти не замечали — точнее, не отмечали в сознании, — так как, во-первых, привыкли к обстановке дальнего ночного высотного полета, а во-вторых, были по горло заняты каждый своим делом: когда работы много, не до красот природы!

Итак, начало полета прошло вполне благополучно. Но благополучие это длилось недолго. Первые признаки возможных осложнений появились уже через несколько минут после выхода на заданную высоту. Впереди по курсу среди ночной тьмы заиграли зарницы. Увидев их, летчики сразу вспомнили грозу, прокатившуюся над аэродромом незадолго до вылета. Неужели это она? Вроде не должна бы здесь быть: синоптики обещали, что грозы уйдут от намеченного маршрута полета в сторону.

Но — та самая или другая — гроза была уже совсем близко. Времени для особенно долгих раздумий не оставалось. Надо было решать: лететь ли прежним курсом дальше или отворачивать в сторону.

Нет, не следует чрезмерно упрощать сложившуюся ситуацию. Проще всего было бы назвать решение лететь вперед безграмотным или явно авантюристическим. Но тогда вообще и разговаривать было бы не о чем. А речь идет о вещах более тонких, чем, скажем, бездумное стремление летчика ни с того ни с сего влезть на тяжелой, перегруженной, неманевренной машине прямо в грозу.

Дело в том, что грозы прямо перед самолетом действительно не было. Впереди, над самым горизонтом, просматривались звезды. Однако оценить сколько-нибудь точно, насколько ниже летящих самолетов останется верхушка грозовых облаков, было невозможно: что ни говори — ночь есть ночь. И, конечно, благоразумие требовало отвернуть от этой опасной, так нечетко ограниченной зоны. Такое решение диктовалось всем многолетним, нелегко доставшимся, а потому особенно весомым авиационным опытом.

Внезапно впереди и ниже ведущего самолета загорелось сразу целое поле ярких зарниц.

— Это было похоже на черный мраморный стол весь в сверкающих золотистых разводах, — рассказывали мне потом участники этого на всю жизнь запомнившегося им полета.

И тут второй летчик ведущего корабля сдержанно спросил:

— Не притянет нас она? Может быть, лучше обойдем?

Настаивать он не мог. Не мог, несмотря на то, что прослужил в авиации значительно дольше, чем командир корабля, и образование имел посolidнее, да и повсему складу своего характера лучше умел, принимая какое-то решение, учесть все многообразие конкретных обстоятельств. Но он был вторым пилотом в тот день. И прекрасно понимал, что какие бы то ни было споры с командиром корабля, особенно в сложной обстановке, сами по себе таят порой не меньшие опасности, чем даже явно ошибочное решение командира.

А командир встретил замечание своего коллеги молча. Лишь через некоторое время он предпринял попытку, правда, не обойти зону гроз, но хотя бы оставить ее пониже под собой. Двигатели были выведены на режим полного газа, и тяжелый корабль натужно, метр за метром, полез вверх.

Но было уже поздно. События помчались в непрерывно ускоряющемся темпе: каждая секунда приносила новое и, увы, все более тревожное. Исчезли из виду звезды на небе. По фюзеляжу заскользили какие-то странные, светящиеся изнутри, розовые облачные клочья.

Еще мгновение — и могучий нисходящий поток рванул машину вниз.

Не успел экипаж опомниться, как оказался в самой толще грозовой тучи.

И вот тогда-то и началось!

Огромный корабль, которому, можно сказать, по штату было положено переходить из режима в режим медленно, плавно, с солидной неторопливостью, — этот самый корабль, будто лишившись поддерживающих его крыльев, падал — именно падал, а не снижался! — в глубь черной облачности.

Воздушные порывы швыряли его с борта на борт, гнули крылья, наваливались так, что трещали заклепки, на фюзеляж.

Машину несло вниз на сотни метров в секунду. Впрочем, назвать точную цифру вертикальной скорости было невозможно: стрелки приборов метались по своим циферблатам как угорелые, ни на мгновение не останавливаясь в каком-то более или менее определенном положении.

Кругом сверкали молнии. И вот, наэлектризованный до предела, засветился каким-то странным, неровным светом сам корабль, забегали огоньки по поверхности крыльев и фюзеляжа, полетели искры с концов консолей, а на штангу, торчащую из носа самолета, — перед самыми лицами полуослепленных летчиков — сел огромный кипящий огненный шар.

Ярким пламенем горели окружавшие со всех сторон машину облака. «Наверное, так выглядит изнутри работающая домна», — рассказывали потом обо всей этой переделке наши товарищи.

Один за другим самопроизвольно выключались двигатели — их входные устройства в таких потоках работать, конечно, не могли. Второй летчик упорно запускал их вновь, но угнаться за темпом событий было нелегко: не успевал запуститься один двигатель, как выходил из строя другой. Был момент, когда не работали три двигателя из четырех!

Надо отдать должное экипажу — он не растерялся.

Оба пилота — и командир корабля, и второй летчик — не опустили руки: тогда уж ни единого шанса на спасение не осталось бы наверняка! Работая, сколько хватало сил, штурвалами и педалями, они старались удержать самолет в каком-то более или менее приемлемом положении в пространстве, как говорится — лишь бы не вверх колесами. Сидевший у экрана бортового радиолокатора штурман отрывочно командовал: «Левее... правее... прямо...» — ему, единственному в экипаже, было в какой-то степени видно расположение зон особенно интенсивной грозовой деятельности.

Больше предпринять было нечего...

К счастью, все это мы впоследствии узнали по рассказам экипажа, а не по разрозненным остаткам, собранным аварийной комиссией, хотя, говоря откровенно, по всему ходу дела следовало скорее ожидать последнего.

...Когда гроза в конце концов выплюнула из своих недр многострадальную машину, выяснилось, что за несколько десятков секунд потеряно без малого пять километров высоты! В нормальной атмосфере самолет этого типа никаким способом — даже в пикировании — не мог бы снизиться так энергично.

Ни о каком дальнейшем выполнении задания, разумеется, не могло быть и речи. Стояла другая задача — как-нибудь потихоньку добраться домой.

Это удалось — дальше полет протекал без приключений, а последний тщательный — до последней гайки — осмотр на земле показал, что конструкция самолета выдержала выпавшую на ее долю встряску блестяще: существенных повреждений в машине не оказалось. Дотемна

обгорели капоты двигателей, местами деформировалась обшивка крыльев и фюзеляжа, но основные силовые узлы остались целы. Впрочем, последнее обстоятельство следует отнести прежде всего к чести тех, кто конструировал и рассчитывал самолет на прочность, а не тех, кто на нем летал. Ход испытаний в результате всего происшедшего, так или иначе, прервался на срок, гораздо больший, чем потребовался бы из-за обхода грозовой облачности стороной.

Не зря говорится, что наши недостатки — суть продолжение наших же достоинств, только в гипертрофированном их виде.

Так и тут: похвальное стремление точно, без отклонений выполнить задание во что бы то ни стало, проявленное в чрезмерной дозе, привело к явно нежелательным — хорошо еще, что не к трагическим — последствиям!..

А как второй корабль? Что случилось с ним?

Его экипаж во главе с командиром летчиком-испытателем Б. М. Степановым своевременно оценил возможные последствия неприятного соседства грозовой зоны и был, если можно так выразиться, заранее настроен на то, что ничего не поделаешь — надо отворачивать!

И как только потенциальная угроза «вляпаться» в грозу превратилась в почти свершившийся факт — когда заиграл своими разводами «мраморный стол» и на фоне его всполохов исчезли из вида огоньки ведущего корабля, — Степанов энергично отвернул машину в сторону.

Второй корабль в грозу не попал.

...Казалось бы, оценка действий обоих экипажей и прежде всего их командиров ясна?

Не тут-то было! Значительная часть общественного мнения (правда, по преимуществу мнения людей нелетающих), а вслед за ним и то, что называется официальным признанием, склонились в сторону шумного восхваления командира корабля, попавшего в грозу («Какой молодец! Ему все равно, гроза там или не гроза: ничего не боится!»), и сдержанно-нейтральной позиции по отношению к летчику, принявшему решение на рожон не лезть. И мало кому пришло в голову, что летчик этот не смог отличиться, блестяще выходя из сложного положения, прежде всего потому, что сумел в это сложное положение... не попасть.

Впрочем, в этом странном сдвиге общественного мнения я усматриваю традицию, берущую свое начало во тьме давно прошедших веков — еще со времен Дедала и Икара.

Помните эту красивую легенду? Дедал смастерил себе и своему сыну Икару крылья и перед вылетом предупредил Икара, чтобы тот в полете не поднимался чересчур близко к солнцу, так как его жаркие лучи могут растопить воск, которым скреплены крылья. Икар не выполнил этого указания, его крылья разрушились, и он погиб, упав на землю.

В сущности, если отвлечься от благородного переносного смысла легенды, а проанализировать ее содержание с позиций, так сказать, профессионально-летных, придется признать, что Икар — не кто иной, как первый в истории авиации аварийщик и родоначальник всех последующих (имя которым легион) аварийщиков. Причем, опять-таки в полном соответствии всему последующему авиационному опыту, причина происшествия выглядит весьма тривиально: невыполнение инструкции по пилотированию, нарушение полученного задания.

Так оно с тех пор в авиации и повелось...

А популярность Икара в памяти человечества несоизмеримо выше, чем популярность Дедала — хорошо овладевшего техникой скромного пилотаги, благополучно и без происшествий долетевшего до места назначения.

Увы — и по сей день современные Икары начисто затмевают своей

сенсационной известностью современных же Дедалов. Странно — но факт.

Что это — тоже проблема авиационной (или околоавиационной) этики?

Или, может быть, скорее эстетики? Не знаю.

Известный английский ученый-гидродинамик Фруд закончил свое исследование о качке корабля искренними словами: «Когда вновь построенный корабль выходит в море, то его строитель следит за его качествами на море с душевным беспокойством и неуверенностью, как будто это воспитанный и выращенный им зверь, а не им самим обдуманное и исполненное сооружение, которого качества должны быть ему вперед известны в силу самих основ, положенных в составление проекта».

Если подобное признание справедливо по отношению к морским судам, которые человек строит уже тысячи лет, то что же остается сказать о самолетах! Тут уж сюрпризам, что называется, сам бог велел быть.

Не знаю, как насчет других божьих повелений, но это выполняется на редкость исправно: недостатка в сюрпризах в ходе летных испытаний почти никогда не ощущается.

И сообщать о них создателям новой машины вынужден не кто иной, как летчик-испытатель.

Если сюрприз приятный, сказать об этом, конечно, одно удовольствие. Но почему-то гораздо чаще выплывают сюрпризы огорчительные. И докладывать о них — едва ли не самый неприятный пункт длинного перечня профессиональных обязанностей летчика-испытателя.

«Резать правду-матку» иногда страшно не хочется — как из благородного человеколюбия (кому нравится огорчать окружающих?), так и потому, что означенное действие редко приводит к улучшению взаимоотношений между летчиком и создателями машины.

В праведном стремлении поддержать эти взаимоотношения на достаточно высоком уровне недолго поддаться соблазну и пойти по линии наименьшего сопротивления...

Самолет, который впервые заставил меня задуматься об этом, появился во время войны. Мне не довелось принимать участия в его испытаниях, и как-то получилось, что я познакомился с ним в воздухе, только когда машина уже строилась серийно.

К этому времени в моем послужном списке числилось уже добрых четыре десятка самолетов разных типов. Давно уже и речи не было ни о какой вывозке — ознакомившись с конструкцией и расчетными данными новой для себя машины на земле, я, как всякий профессиональный испытатель, садился в самолет, взлетал, а там — в воздухе — он сам раскрывал мне все свои манеры и повадки.

Так же вылетел я и на этой машине, тем более что не имел оснований считать ее особенно серьезной: легкий штабной самолет на пять пассажиров, с двумя маломощными моторами, классической схемы моноплан с низко расположенным крылом — чего там могло быть необыкновенного!

Но отступления от обыкновенного начались сразу после отрыва.

Прежде всего я не почувствовал на штурвале и педалях живого, упругого сопротивления воздушной среды, того самого сопротивления, которое помогает летчику соразмерять отклонения органов управления, а когда надобность в очередном отклонении миновала, точно возвращать их в исходное положение — словом, дает возможность «чувствовать машину».

Казалось, можно поставить штурвал и педали в любое произвольное положение, бросить их, — и так они в этом положении и останутся, таща



самолет все дальше от исходного режима. Впрочем, это не только казалось: трение в системе управления, чрезмерно большое для таких «легких» рулей, действительно фиксировало их едва ли не в любом, сколь угодно далеко от нейтрального, положении.

В довершение всего самолет был крайне негармоничен: недостаточно устойчив в продольном и чрезмерно устойчив в поперечном отношении.

Конечно, опасности для меня и моих спутников все это не представляло: я работал испытателем, повторяю, все-таки уже не первый год, дело происходило в хорошую, спокойную погоду, так что разобраться в особенностях очередного самолета и на ходу приспособиться к нему удалось достаточно скоро.

Но считать в таком виде машину доведенной явно не приходилось. А ее ведь уже выпускали серийно! Как же это могло получиться?

Едва самолет, успокоенный несколькими энергичными, затухающими по амплитуде движениями рулей, замер в режиме набора высоты, я обернул свою несколько растерянную физиономию к соседу — ведущему инженеру конструкторского бюро.

— Чего вы так смотрите? — забеспокоился он.

— Как вы считаете: пилотажные свойства у нее доведены? Ничего лечить не надо? — дипломатично спросил я, сделав при слове «нее» неопределенное движение головой в сторону штурвала, приборной доски и носа машины.

Мой сосед удовлетворенно хмыкнул:

— Все в порядке. Ее облетывал... — Тут он назвал фамилию одного из моих товарищей, уже в то время прочно стоявшую в списке первой пятерки лучших испытателей страны. — Он сказал после полета, что все отлично, машина превосходная.

По-видимому, выражение удивления на моем лице усилилось, ибо ведущий инженер счел нужным повторить:

— Так и сказал.

— И написал в летной оценке?

— И написал в летной оценке.

Мы полетели дальше. Самолет, требующий неусыпного внимания на взлете, не стал смиреннее ни на крейсерских режимах полета, ни на виражах, ни на посадке. Для массового летчика он был, бесспорно, сложноват.

На земле я спросил у коллег:

— Как могло получиться, что такой старый зубр умудрился не разобраться в столь очевидном деле?

И получил неожиданный ответ:

— А мы его уже спрашивали. Он сказал: «Захотелось сработать на фирму...»

Сработать на фирму — иными словами, помочь конструктору самолета, не теряя времени на всякие исследования, искания, доводки, переделки, быстренько воткнуть машину в серию. Это всегда приятно, и, конечно же, заключение летчика, открывающее ворота к подобной возможности, явно способствовало установлению самых радужных взаимоотношений между ним, летчиком и главным конструктором, кстати сказать, в то время чрезвычайно влиятельным.

Излишне говорить, что на самом деле в подобной ситуации происходит «срабатывание» не на фирму, а против фирмы: пилотажные недостатки самолета рано или поздно (счастье еще, если рано!) неизбежно выявятся в жестоком опыте широкой эксплуатации, и все, не доделанное на опытном экземпляре, придется с несравненно большим трудом делать на серийных машинах. Мороки при этом достанется всем, и в первую очередь самому конструкторскому бюро. Правда, остается надежда

(сложны извивы человеческой психики!), что раздражение конструктора по поводу означенной мороки выльется не на покривившего душой летчика, а на тех будущих критиков, которые «выдумали какие-то недостатки в прекрасной машине». Если одни люди говорят нам приятное, а другие — неприятное, всегда хочется считать, что правы первые.

Эксплуатировать эту человеческую слабость — соблазнительно. Иногда — например, ухаживая за интересной дамой и зная всю силу действия самых, казалось бы, неправдоподобных комплиментов, — простительно подобному соблазну и поддаться. Во всяком случае существенного урона интересам общества от этого проистечь не может.

Но создатели новой авиационной техники — не светские дамы. Разговаривать с ними надо без комплиментов, в открытую. Тем более что получить объективную информацию из какого-либо другого источника, кроме летчика-испытателя, они могут далеко не всегда.

А это, как говорится, — налагает...

Если вдуматься, «фирмачество» — такую кличку получила тенденция к необъективно преувеличенному рекламированию изделий «своего» КБ — тоже, подобно многим другим порокам, представляет собой не что иное, как гипертрофию неких достоинств, а именно: горячего, патриотического отношения к творчеству своего коллектива. Другое дело, что порой эта гипертрофия подогревается соображениями далеко не коллективистского свойства.

Иногда чрезмерная приверженность к интересам своей фирмы проявляется в формах невинных, никому вреда не приносящих и даже в какой-то мере симпатичных.

Помню, вскоре после окончания войны над нашим аэродромом появилась размашистая двухмоторная машина. Конечно, мы сразу узнали ее: это был новый опытный бомбардировщик хорошо знакомого нам конструкторского бюро. Летал на нем известный советский испытатель Владимир Константинович Коккинаки со вторым пилотом — собственным братом Константином Константиновичем.

Но почему они прилетели к нам?

Ведь испытания этой машины проводятся на другом аэродроме. Да и никакой заявки на этот неожиданный визит в нашу диспетчерскую не поступало. В чем дело?

Но раздумывать на эту тему уже не было времени: самолет заходил на посадку.

Заходил он как-то не по-обычному — низко, издалека, на работающих моторах, по очень пологой траектории. Подойдя к земле, самолет не перешел, как испокон веков положено, на большие углы атаки, а, почти не задрав носа, в том же положении, в котором летел, на большой скорости коснулся бетона колесами — и побежал по полосе, держа, как выражаются на аэродромах, «хвост дудкой».

После такой посадки машина, как и следовало ожидать, прокатилась очень далеко — в самый конец летного поля — и прирулила оттуда на стоянку только минут через десять.

Мы уже ждали ее и сразу же набросились на весело улыбавшихся летчиков с вопросами:

— Чем обязаны?

Братья Коккинаки отшутились:

— А вы что, не рады?

— Рады, рады. Всегда вам рады. А чего это она у вас так интересно садится?

— Вот потому так и садится, чтобы вам было интересно. Она и так может, и этак...

Прошло немало дней, пока мы узнали что к чему. Оказалось, что, взлетев на новой машине, испытатели обнаружили не более и не менее, как... невозможность сесть обратно на землю! При малейшей попытке убрать газ самолет так энергично опускал нос, что еле хватало полного отклонения штурвалов для его удержания от пикирования. Какая уж тут посадка! Взлететь-то взлетели, а вот — «как отсюда слезть»?

Дело оборачивалось так, что необходимость покинуть самолет с парашютами приобретала черты вполне реальной перспективы. Приготовиться к этому во всяком случае следовало.

И тут новый сюрприз: оказалось, что прозрачный фонарь, закрывающий кабину пилотов сверху и являющийся единственным выходом из нее, не сдвигается и не сбрасывается аварийно. Заел — и все тут!

Тогда-то летчики и решили податься на ближайший аэродром с открытыми, без высоких препятствий подходами и длинной, многокилометровой посадочной полосой. И сразу же выработали тактику подхода: на среднем газу — наименьшем, при котором машина не «клевалала», и приземлением с поднятым хвостом на основные колеса, поскольку вытянуть ее на три точки так или иначе оказалось невозможно.

План этот был безукоризненно выполнен — опытная машина посажена без малейших повреждений.

Но патриоты своей фирмы братья Коккинаки, едва оказавшись на земле, решительно не захотели, чтобы о затруднениях, встретившихся при доводке их нового подопечного, раньше времени пошел звон по всей авиации. Вот окончатся испытания, будут устранены все недостатки и неполадки — тогда постфактум можно будет и рассказать обо всем. А пока — ни-ни! Потому-то они и стали темнить, отделяясь шутками от всех расспросов дотошных коллег и не думая даже, что, поступая подобным образом, в сущности, скрывают от людей совершенный ими подвиг.

Конечно, в таком виде «фирмачество» никакой особой вредности в себе не содержит.

Но бывают — и нередко — такие ситуации, в которых оно, без преувеличения, было бы смерти подобно.

Когда испытывались первые советские реактивные истребители, вторжение в область больших (по тому времени, конечно) околосвуковых скоростей шло практически параллельно на самолетах, созданных в конструкторских бюро А. И. Микояна и М. И. Гуревича, А. С. Яковлева, С. А. Лавочкина. Опасные явления подстерегали первенцев нашего реактивного самолетостроения на этом пути: и затягивание в пикирование, и сваливание в крен, и разного рода вибрации. И тут без взаимной связи и оперативной информации было не обойтись!

Иначе представьте себе: сегодня вам посчастливилось благополучно выбраться из сложного положения, а завтра от той же причины погибает ваш товарищ, своевременно не предупрежденный вами о стоящей на его пути опасности и способах ее преодоления. Как вы будете после этого жить дальше?

Нет уж, соревнование соревнованием, фирменный патриотизм фирменным патриотизмом, но тут они отступают перед вещами более вескими.

И действительно, при испытании наших первых реактивных самолетов, а через несколько лет при испытании первых стреловидных машин — словом, всегда при коллективном преодолении очередного барьера — «фирмачеством» и не пахло.

Но в ряде других случаев, к сожалению, бывало и иначе.

И если не само «фирмачество», то во всяком случае слухи об этом явлении получили широкое распространение. Подозревать в привержен-

ности к нему стали порой людей, ни малейшего отношения, как говорится, ни сном, ни духом к этому греху не имевших.

Был в моей летной биографии период, когда силой обстоятельств мне пришлось заниматься испытаниями не самих самолетов, а специальных видов их оборудования — бортовой радиолокационной аппаратуры.

Некоторые из таких испытаний были, в сущности, чрезвычайно интересны, и только непроходящее ощущение своего опального положения мешало мне в полной мере оценить это.

Одно из числа подобных испытаний заключалось в том, что я взлетал на двухместном реактивном МиГе, выходил в зону воздушных стрельб, там закрывался темной, непрозрачной шторкой и, видя одни лишь приборы, выходил в атаку на мишень, буксируемую на длинном тросе другим самолетом. Прицеливание, ведение огня боевыми снарядами, выход из атаки (столкнуться с мишенью нам было ни к чему!) — все это выполнялось из закрытой кабины.

Быстро выработалась привычка: крутящаяся, мерцающая зеленая отметка на экране индикатора стала выглядеть убедительной, надежной, не намного менее наглядной, чем непосредственное наблюдение «собственными глазами».

Даже необходимость пилотировать вслепую — определять пространственное положение машины по косвенным показаниям приборов, да еще не в спокойном, прямолинейном полете, а на энергичном, с глубокими кренами маневре — перестала казаться особенно сложной.

Через короткое время я, окончательно обнаглев, стал совершенно спокойно относиться и к тому, что во второй кабине нашего истребителя сидел не профессионал-летчик, а ведущий инженер Ростислав Александрович Разумов, не только не умевший управлять самолетом, но решительно неспособный применить это умение, даже если бы оно у него и было, в полете. Дело в том, что мой друг Разумов был (и остается по сей день) завзятым, неисправимым, закоренелым радиолокационщиком. Этим — все сказано. На фоне дорогой его сердцу радиолокационной аппаратуры таких мелочей, как возможность перевернуться вверх колесами, сорваться в штопор или воткнуться в мишень, просто не существовало. Он блестяще делал свое дело — сложная опытная электронная аппаратура в его руках отлично работала в воздухе и неуклонно совершенствовалась от полета к полету, — но рассчитывать на него как на контролера и страховщика моих действий не приходилось.

Не мудрено поэтому, что я ощутил прилив некоей дополнительной порции уверенности, когда дело дошло до приглашения на борт самолета представителя «заказчика» и этим представителем оказался летчик. Все-таки как-то спокойнее.

Николай Павлович Захаров, как я быстро убедился, владел самолетом уверенно. Он действительно был хорошим летчиком и к тому же грамотным, эрудированным в своей области инженером, но — это, правда, выяснилось не сразу — болезненно подозрительным человеком. А может быть, эта подозрительность была даже не чертой его характера, а просто результатом всего того, что он успел наслушаться про пресловутое «фирмачество».

В первом же совместном полете, в котором я продемонстрировал ему весь уже отработанный нами «цирк», он, когда мы спокойно снижались к дому, покачал головой и с одобрением в голосе сказал по переговорному устройству:

— Здорово это у вас получается!

Одобрение со стороны товарища по профессии всегда приятно, и я воспринял его надувшись, подобно индюку, а свое полное по сему слу-

чаю удовлетворение выразил таким самодовольным хмыканьем: еще бы, мол, знай наших!

Но, увы, недолго длился разгул моего сомнения. Едва ли не на следующий день кто-то из членов комиссии по приемке нашей аппаратуры спросил Захарова:

— А вы уверены, что Галлай прицеливается действительно по индикатору прибора? Не подсматривает он в щелку из-за шторки?

Вопрос этот, оставляя даже в стороне моральную сторону дела, был попросту не очень грамотен: сколько-нибудь успешно прицелиться, так сказать, на глаз, да еще подсматривая в щелку, на современном истребителе просто невозможно. Тут самый несовершенный прицел даст лучшие результаты, чем полное его отсутствие.

Каково же было изумление окружающих, когда мой напарник ответил на этот наивный вопрос весьма неопределенно:

— Не знаю... поручиться не могу.

Назревал крупный скандал. Дабы по возможности пресечь его развитие, председатель комиссии — видный советский авиационный военачальник, сам первоклассный летчик, дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант (ныне Маршал авиации) Е. Я. Савицкий решил слетать со мной сам.

И вот мы в воздухе. Несколько минут полета — и на экране индикатора появляется дрожащий флуоресцирующий крестик. Это — наша цель. Энергично доворачиваю машину на нее, краем глаза поглядывая на приборы слепого полета: как со скоростью? Не великоват ли крен? Нет, ничего, все в приемлемых пределах... Загоняю метку цели в нужное положение... Теперь нужно не упустить ее: машина круто, с нарастающей перегрузкой вписывается в глубокий вираж... Палец на гашетку... От короткой пушечной очереди самолет ритмично дрожит, будто кто-то быстро бьет по его днищу молотком... В нос ударяет острый пороховой запах... Но до мишени, судя по прибору, остается едва несколько секунд полета... Резким рывком бросаю самолет в сторону — метка цели, мелькнув, исчезает с экрана: теперь столкнуться с мишенью невозможно...

Все — боевой заход сделан. Плавным виражом с горкой выходим в исходную позицию для следующего захода.

Наконец кончаются снаряды. Да и по остатку горючего вроде пора домой.

По дороге Евгений Яковлевич молчит. И я ни о чем его не спрашиваю: у начальства спрашивать не положено, да и положение, в которое я попал, достаточно щекотливо — что ни говори, а, называя вещи своими именами, меня заподозрили в жульничестве. Или, если хотите, в «фирмачестве», что, в общем, почти одно и то же.

На земле Савицкий, едва выбравшись из кабины, громко сказал:

— Работает честно! — И добавил, усмехнувшись: — А интересная, в общем, штука!

Таким образом, все обошлось благополучно. Более того: не без некоторой пользы для репутации нашей аппаратуры.

В сутолоке текущей работы я даже как-то не успел осознать происшедшего. Лишь значительно позже пришло в голову, как, в общем, легко угодить в положение ответчика за чужие грехи!

Хотя, впрочем, не такие уж они чужие — грехи наших товарищей по профессии. Принадлежит к какой-то корпорации, надо уметь отвечать за нее.

Мои коллеги могут возразить мне, что проявления «фирмачества» в наши дни — редкость, исключение. И они будут правы: конечно же, исключение! Потому, наверное, так и запоминается каждый раз, когда

мы с ним сталкиваемся. Во всяком случае веления летной этики на сей счет ни малейших сомнений не вызывают. Она — против!

Не довольно ли примеров?

Наверно, читателю давно уже ясно то, что я понял, лишь поработав некоторое время летчиком-испытателем: шагу нельзя ступить в нашем деле без того, чтобы не столкнуться с очередной морально-этической проблемой!

Со всех сторон, как деревья в густом лесу, окружают летчика эти проблемы, причем — в отличие от деревьев — они не стоят смирно, а перемещаются, расширяются, сжимаются, то выходят на передний план, то скрываются за соседями, цепляются друг за друга, толкают человека то в одну, то в другую сторону, вмешиваются активно в его взгляды, привычки, принципы, во всю его жизнь!

Иногда правильное решение подобной проблемы видно, что называется, невооруженным глазом, иногда же, наоборот, так хитро замаскировано, что шансов найти его сразу почти нет.

И не успеешь толком разобраться в одном морально-этическом вопросе, как жизнь не мешкая подсовывает тебе вместо него несколько других.

Берешься ли ты за новое, еще в деталях не известное тебе задание, входишь ли в состав нового экипажа, решаешь ли извечный, едва ли не в каждом полете всплывающий испытательский вопрос — когда продвигаться дальше, а когда остановиться, чтобы осмотреться и немного подумать, составляешь ли летную оценку — всюду тебя окружает не одна только техника, но и многообразные человеческие проблемы.

Мне понадобилось, как было сказано, несколько лет, чтобы сформировать представление о летной этике как совокупности каких-то моральных норм, связанных с конкретными профессиональными обстоятельствами нашей работы. Не меньше времени потребовалось и для того, чтобы, вновь вернувшись от частного к общему, понять общечеловеческий характер так называемой (теперь говорю: так называемой) летной этики.

Впрочем, дело не в темпах формирования отвлеченных понятий в сознании автора этих записок. Интересно другое.

В печати часто мелькают выражения: рабочая честь, честь ученого, честь хлебороба, офицерская, спортивная, даже пионерская честь.

А существуют ли все эти разные «честь» в таком четко разграниченном, по разным полочкам разложенном виде? Можно ли представить себе поступок, полностью согласующийся с велениями, скажем, чести ученого, но противоречащий, например, офицерской чести (если, конечно, это действительно честь, а не кастовый предрассудок)?

Можно, конечно, говорить о разных формах проявления отдельных «видов» чести, но основа во всех них одна. Именно она и определяет правильное или неправильное решение человеком этических проблем, выдвигаемых перед ним жизнью.

Является ли в этом смысле летная этика исключением?

Наверное, все-таки — нет.

## Рекорды и рекордсмены

Авиационные рекорды...

За последние годы мы уже привыкли к тому, что время от времени в газетах появляется лаконичное сообщение: летчик такой-то (или экипаж в таком-то составе) установил рекорд. Далее следует дата полета,

наименование типа летательного аппарата и, конечно, цифры, характеризующие само достижение: скорость, высота, дистанция и тому подобное. Иногда рядом с текстом помещают фотографию новонспеченных рекордсменов. Реже — восторженную (хотя далеко не всегда безукоризненно точную по существу) заметку «собственного корреспондента с N-ского аэродрома».

Читатель, не связанный с авиацией, пробегает все это, периферией сознания констатирует что-нибудь вроде: «Молодцы ребята!» — и переключает свое внимание на другие, более интересные для него сообщения.

Да и действительно: стоят ли авиационные рекорды того, чтобы специально говорить о них? Особенно рядом с такими проблемами, как мораль и этика летноиспытательского труда.

И все-таки поговорить о них стоит. Стоит хотя бы по одному тому, что никакая другая сторона деятельности летчика, работающего на современных самолетах (то есть прежде всего летчика-испытателя), не доводится до всеобщего сведения так широковещательно и оперативно. Отсюда, наверное, и своеобразный сдвиг понятий, который мне не раз довелось наблюдать: наивная уверенность, будто установление рекордов и есть если не единственное, то во всяком случае основное содержание работы летчика-испытателя и главный вид общественной отдачи этого труда.

Досадно бывает слышать, как о летчике, который испытал многие типы новых летательных аппаратов, дотащил не один из них до серийного производства, неоднократно выходил из самых, казалось бы, безвыходных положений — словом, прожил трудную и славную жизнь испытателя, говорят:

— А! Я знаю... Это тот самый, который перелетел через полюс в Америку или какой-то рекорд установил — не то высоты, не то скорости... В общем, что-то в этом роде...

Точно такую же досаду я ощутил, когда о большом поэте, авторе многих замечательных, за душу берущих произведений в стихах и прозе вдруг заговорили только как об авторе одной популярной (пусть заслуженно популярной) песни. Будто он ничего, кроме нее, не написал!..

Нет, конечно, авиационный рекорд — далеко не самое главное в деятельности людей, которые проектируют, строят, испытывают летательные аппараты. Скорее можно назвать его чем-то вроде побочного продукта этой деятельности. Но и в таком качестве он далеко небезынтересен.

Итак, что же такое авиационный рекорд? Вопрос этот, оказывается, далеко не праздный уже по одному тому, что само понятие — авиационный рекорд — не всем представляется одинаково бесспорным.

Когда рвет финишную ленточку бегун, или касается рукой мокрых изразцов стенки бассейна пловец, или поднимает над головой гнущуюся от собственного веса штангу тяжелоатлет — никаких сомнений ни у кого не возникает. В самом деле: сам пробежал, сам проплыл, сам поднял — какие тут могут быть сомнения?

Правда, история спорта знает исключения и из этого правила. Когда наш легкоатлет Юрий Степанов превзошел американского прыгуна Чарльза Дюмаса — дело было за несколько лет до выхода Брумеля, Шавлакадзе и их товарищей на первую линию в этом виде спорта, — некоторые зарубежные обозреватели выразили сомнение в достоверности столь сенсационного события. Была даже высказана гипотеза, согласно которой секрет успеха Степанова заключался в его... туфлях: будто бы у них была какая-то хитрая, особо упругая подошва, подбрасывающая прыгуна вверх, как с трамплина. Забавны обстоятельства, при которых эта, скажем прямо, не очень спортивная гипотеза была

наглядно опровергнута: на очередном соревновании — на сей раз в очном поединке — Степанов снова выиграл у Дюмаса, после чего тут же, на стадионе, подарил ему свои магические туфли. Однако, как и следовало ожидать, прыгать в них выше Дюмас не стал. Дело оказалось не в туфлях.

Но этот эпизод — не более как курьезное исключение. Обычно же в подобных видах спорта личное «авторство» спортсмена признается безоговорочно.

Несколько сложнее обстоит дело у конников. Мнения о том, кто здесь «главнее» — всадник или лошадь, — часто расходятся. В свое время один из моих начальников спросил, как я отношусь к конному спорту. А я, в сущности, никак к нему не относился: дело было в первые годы моей работы в авиации и ни для каких других средств передвижения места в моем сердце не оставалось. Поэтому я без лишних раздумий брякнул в ответ первое, что пришло в голову:

— Конный спорт? А разве это спорт для всадника? Я думал: только для лошади.

Впоследствии я понял, что высказывать эту мысль даже в шутку не следовало: начальник увлекался верховой ездой всерьез. Но не о том сейчас речь.

К сожалению, то, что говорится о всаднике и лошади в шутку, приобретает нередко вполне серьезный характер, как только разговор касается рекорда, установленного в небе:

— А что там, собственно, сделал летчик? Взлетел, дал полный газ, самолет и разогнался, на сколько ему положено. Сидел бы за штурвалом другой летчик, все равно результат получился бы одинаковый... Какой же это спорт?

И все-таки — утверждаю это с чистой совестью — авиационный рекорд — это почти всегда достижение не только техническое, но и спортивное в полном смысле слова.

Кстати замечу, что мое мнение в данном случае абсолютно беспристрастно: сам я рекордсменом — ни мировым, ни всесоюзным, ни хотя бы областным или районным — никогда не был. Так сказать, лавров не удостоился.

Впрочем, в подобном же положении оказались, пожалуй, почти все летчики нашего поколения, сформировавшиеся к началу войны, а к шестидесятым годам начавшие постепенно уступать места в кабинах самолетов своим более молодым коллегам.

Конечно, за это время — период бурного количественного и качественного роста нашей авиации — фактически было установлено немало достижений, в том числе и превышающих мировые. Но по ряду причин — иногда с очевидностью вытекающих из государственных интересов, а иногда и не очень понятных — рекорды эти оставались, как правило, необнародованными. И уж во всяком случае — не зарегистрированными официально в соответствии с жесткими, развернутыми во множестве строгих пунктов, все предусматривающими правилами Международной авиационной федерации — ФАИ.

Такая участь постигла фактически рекордное значение числа Маха<sup>1</sup>, достигнутое в свое время мною на первом отечественном реактивном истребителе МиГ-9; так же мало кому известными остались и многие другие, гораздо более значительные результаты, полученные не одним десятком советских летчиков-испытателей на отечественных летательных аппаратах.

<sup>1</sup> Число Маха (число М) — основное мерило скорости реактивных самолетов — представляет собой отношение скорости полета к скорости распространения звука.



Думаю, что история нашей авиации еще вернется к изучению этих полузабытых, многократно с тех пор перекрытых рекордов — ступенек, без каждой из которых не было бы и всей лестницы, ведущей к современному уровню авиационной техники.

Но я несколько отвлекся в сторону.

А как же обстоит все-таки дело с чисто спортивной стороной авиационного рекорда? Спорт это в конце концов или не спорт?

Давайте попробуем разобраться на каком-нибудь примере.

Наибольшая высота, которую способен набрать современный скоростной самолет, самостоятельно (это тоже существенная подробность) стартовав с земли, составляет около тридцати пяти километров.

Это, правда, в десять с лишним раз меньше высоты полета космических летательных аппаратов (как известно, корабль «Восход» достиг в апогее более чем четырехсот километров), но в четыре раза выше высочайшей горы земного шара — Джомолунгмы (Эвереста) и в сто семьдесят раз выше здания Московского университета. Так что с чем ни сравнивай — высота солидная!

Но не следует думать, что самолет способен на такой высоте спокойно лететь по прямой, как в каком-нибудь рейсовом полете. К сожалению, это он может лишь на добрый десяток километров ниже.

А на рекордную высоту «динамического» потолка (называемого так в отличие от обычного, статического) машина выскакивает крутой горкой — как камень, закинутый вверх пращей. Выскакивает, а потом, через считанные секунды, как только иссякнет инерция движения вверх, неудержимо — опять-таки как брошенный камень — падает обратно, вниз, в более плотные слои атмосферы, где есть на что опереться крыльям.

Казалось бы, все очень просто. Так сказать — чистая механика.

И действительно, без точных инженерных расчетов максимального динамического потолка не достигнешь. Расчеты, предварительные эксперименты, результаты анализа выполненных заблаговременно прикидок — все это дает очень многое. Очень многое — но не все! Что-то (и весьма солидное «что-то!») остается на долю летчика, его таланта, интуиции, его шестого, седьмого — не знаю, сколько их там еще, — чувства.

Вот летчик набрал заданную высоту, на которой должен разогнаться для броска вверх. Эта исходная высота ему задана заранее — пока все идет «от расчета». Машина выведена на горизонталь, включен форсаж двигателя, спинка сидения давит пилоту на лопатки — так энергично растет скорость!.. Показания приборов? В норме!.. Разгон продолжается. Вот уже удвоенная скорость звука осталась позади.

Пора!

Ручка на себя — и страшная тяжесть наваливается на каждую клеточку тела пилота. Она — эта клеточка, — подчиняясь извечному закону инерции, жаждет лететь по-прежнему равномерно и прямолинейно вперед, а крылья вздыбившегося самолета тащат его (и все в нем находящееся — живое и неживое) вверх. Но фокус не в том, чтобы просто пассивно перенести перегрузку. Надо мелкими движениями ручки управления так точно дозировать ее, чтобы несущаяся с огромной скоростью машина перешла от горизонтального полета к крутому, почти вертикальному подъему наилучшим, как говорят, оптимальным образом. Чуть плавнее или, наоборот, чуть энергичнее, чем надо, — и какая-то часть живой силы разгона потеряется непроизводительно. А такая потеря — сотни и тысячи недобранных метров динамического потолка.

Но вот описана в небе размашистая дуга, и самолет мчится, как бы стоя на хвосте, носом вверх. Резко спадает перегрузка. Перед летчи-

ком — черное небо стратосферы. Землю — вернее, мгlistую серую дымку, за которой скрывается земля, — он видит только краем глаз, боковым зрением. Однако хорошо видна земля или плохо, ни малейшего крена допустить нельзя. Это тоже обернется недобранной высотой.

Да и вообще, хоть перегрузка и отпустила тело летчика, отдохнуть рано. Через несколько секунд прямолинейного полета свечой вверх уже пора снова понемногу опускать нос — уменьшать крутизну набора, чтобы не так быстро (а как именно — пусть подскажет интуиция) падала скорость. Только что летчик весил в несколько раз больше своего обычного веса; теперь — на обратном перегибе траектории полета — он весит все меньше и меньше. Больше минуты длится полная невесомость. Да, да — та самая «космическая» невесомость! Оказывается, ее можно ощутить не только в космосе, но и в атмосфере (чуть было не написал — на земле). Впрочем, пространство, в котором несется, вот уже добирая последние километры высоты, самолет, действительно больше похоже на космос, чем на привычную околоземную атмосферу: недаром почти девяносто девять процентов всей массы окружающего нашу планету воздуха осталось внизу. Черное небо кажется каким-то странно разросшимся: оно не только над головой, но и спереди, сзади, чуть ли не со всех сторон... Но летчику не до наблюдений за небом.

Сейчас надо, чутко регулируя угол набора, выбрать скорость до конца — довести ее до того минимума, ниже которого самолет потеряет управляемость и, не дойдя до потолка, сорвется в неуправляемое падение.

Но вот, кажется, все! Замерев на секунду в самой верхушке траектории, — действительно, как брошенный вверх камень, — машина неудержимо устремляется вниз. Задержаться здесь она не может, как не может прыгун замереть над планкой.

Вниз, вниз, вниз! Теперь — другие заботы, начиная хотя бы с того, что горючего осталось на самом дне топливных баков. Надо построить снижение так, чтобы прямо попасть на аэродром. Времена, когда самолеты могли в случае необходимости приземлиться на любой лужайке, увы, давно прошли: не те посадочные скорости, не те дистанции пробега — словом, не те машины! Впрочем, «те» машины не могли подниматься в такую высь. Ничто на свете не дается бесплатно.

Хорошо хоть, что все трудности возвращения на землю по крайней мере не влияют на уже достигнутый результат.

А само достижение результата — теперь, я надеюсь, это ясно — требует тех именно качеств, которые отличают рекордсмена в любом виде спорта: воли, интуиции, тренированности и многого другого, о чем я уже говорил.

Первым советским летчиком, вписавшим свое имя в таблицу официальных мировых рекордов динамического потолка, был В. С. Ильюшин. Летом 1959 года на самолете Т-431 он достиг высоты 28 852 метра, перекрыв достижение американского пилота Г. Джонсона более чем на тысячу метров. Через некоторое время американец Джо Джордан вернул рекорд своей стране, набрав более 31 километра высоты. Но весной 1961 года — памятной космической весной! — летчик-испытатель Г. К. Мосолов на самолете Е-66 вырывается на 34 714 метров от земли!

Издавна известно: рекорды рождаются в соревновании. Причем рекорды мировые — в соревновании мастеров мирового класса!

— Ну, хорошо, — могут возразить мне, — пусть рекорд динамического потолка действительно достижение не только техническое, но и спортивное. А всякие другие рекорды — на тяжелых самолетах, напри-

мер? Какой там может быть особенный маневр? Какая интуиция? Зачем там всплеск энергии, воли, всех качеств, без которых рекордсмен — не рекордсмен?

Хорошо. Вспомним обстоятельства установления какого-нибудь рекорда на самой что ни на есть тяжелой машине.

В октябре того же 1959 года, в котором отличился В. С. Ильюшин, экипаж летчика-испытателя А. С. Липко на тяжелом корабле 103-М установил в одном полете сразу семь мировых рекордов! Кстати, два из них не превзойдены и по сей день: факт в истории быстро развивающейся авиации исключительно редкий.

Как можно установить семь рекордов в одном полете?

Очень просто: в сетке ФАИ предусмотрена отдельная фиксация наивысших мировых достижений для летательных аппаратов без груза и с контрольным грузом различного веса — пятьсот килограммов, одна, две, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять тонн на борту. Естественно, что получить большую скорость или высоту более тяжело нагруженному самолету труднее, да и по существу практическая ценность такого достижения как-то по-человечески очевиднее: самолет, как и всякая машина транспортного назначения, должен прежде всего что-то перевозить. Так вот самолет 103-М имел на борту более двадцати пяти тонн контрольного груза — тщательно взвешенных и пересчитанных спортивными комиссарами чугунных чушек, — а скорость показал большую, нежели все летавшие ранее на такую дистанцию самолеты с грузом не только двадцать пять, но и двадцать, пятнадцать, десять, пять, три и две тонны! Вот вам и семь рекордов сразу.

Легко возразить, что такое блестящее сочетание грузоподъемности и скоростных качеств машины никак нельзя отнести за счет талантов ее экипажа.

Давайте к вопросу о том, что из качеств самолета зависит, а что не зависит от экипажа, вернемся немного позже.

А пока посмотрим — как протекал сам рекордный полет.

Многое из приведенной выше элементарной схемы действий — «взлетел, дал полный газ, а дальше самолет сам...» — требовало здесь определенных коррективов.

Прежде всего насчет «дал полный газ». Когда-то максимальная скорость полета винтомоторного самолета действительно определялась мощностью его силовой установки. Иное дело сейчас: многие типы современных реактивных самолетов используют пресловутый «полный газ» только при взлете и частично при наборе высоты. В горизонтальном же полете тягу двигателей приходится сознательно ограничивать — иначе самолет разовьет недопустимую скорость. Недопустимую иногда для его прочности, а чаще для устойчивости и управляемости. Во время летных испытаний самолет обязательно доводят до скоростей, при которых эти опасные явления уже начинают проявлять себя, а для нормальной эксплуатации предельно допустимые скорости, конечно, ограничиваются величинами, значительно меньшими, чем достигнутые в ходе испытаний, — так сказать, с обеспечением некоторого запаса.

Но, оставаясь в пределах этих узаконенных ограничений, рекордного результата не получишь. Тут неожиданно обретают самый прямой, далекий от каких-либо иносказаний смысл прекрасные строки Маршака:

...Ни один из нас бы не взлетел,  
Покидая землю, в поднебесье,  
Если б отказаться не хотел  
От запасов лишних равновесья.

И Липко гнал огромную машину по всей тысячекилометровой дистанции на скорости действительно — без малейшего запаса — предельной.

Штурвалы в руках летчиков, приборные доски, ажурное остекление кабины штурмана, размашистые стрелы крыльев, хвостовое оперение — словом, весь корабль дрожал и дергался, как в лихорадке, под действием множества беспорядочно срывающихся вихрей: воздушный поток при такой скорости категорически отказывался обтекать машину плавно.

Заметно снизилась устойчивость. Любое, самое ничтожное отклонение от прямолинейной траектории полета, возникнув под действием случайного дуновения ветра, не восстанавливалось, как оно положено на уважающем себя, приличном летательном аппарате, самостоятельно, а, напротив, норовило разрастись, вспыхнуть, подхватить самолет и с опасной перегрузкой потащить его в резкое кабрирование или в углубляющееся с каждой секундой пикирование.

Ни о каких «запасах лишних равновесия» не было и речи!

Впрочем, парировать ежесекундно возникающие тенденции к броскам вверх и вниз приходилось не только для того, чтобы не позволить им принять опасные размеры, но и в интересах наиточнейшего поддержания заданной высоты полета. Не зря ведь столько потрудился на земле ведущий инженер — сейчас сидящий в кабине за спиной командира, — чтобы найти эту единственную высоту, только на которой и лежала дорога к рекорду. А самолет буквально рвался у пилотов из рук. Как говорится, глаз да глаз нужен был за ним, чтобы удержать в повиновении.

Летчики, крепко держа дрожащие в руках штурвалы, балансировали ими с точностью и четкостью хороших жонглеров. На испытаниях такой острый режим приходится только попробовать: забраться в него, записать в течение каких-то десятков секунд самописцами, прочувствовать поведение самолета качественно и — все. Можно прибирать газ и возвращаться в область нормальных человеческих скоростей, на которых самолет ведет себя чинно и мирно. А тут, в рекордном полете, время балансирования на острие ножа измерялось не десятками секунд, а десятками минут, почти целым часом!

И все же самый сложный момент, к которому загодя готовились летчики, был, конечно, разворот.

Дойдя до поворотного пункта маршрута — города Орши, — самолет должен был развернуться на сто восемьдесят градусов, чтобы обратным курсом пройти вторую половину пути — к Москве. Развернуться надо было как можно быстрее: каждая секунда промедления съедала заметную долю с такими трудами выдержанной средней скорости полета. Но сверхтяжелые самолеты к лихим, как на истребителе, виражам не приспособлены. Их тонкие, гибкие крылья попросту не выдержат такой перегрузки. Липко задолго до дня рекордного полета начал тренироваться в выполнении разворотов предельной крутизны. Он заваливал машину в крен, по крайней мере вдвое превышающий официально разрешенный в нормальной эксплуатации. Казалось, еще хотя бы один градус — и корабль не выдержит. Но этого-то последнего градуса летчик и не допускал! Он держался на том самом пределе, выше которого — авария, а ниже — потеря времени на развороте, проволочка, избежать которой можно, только пилотируя с точностью буквально ювелирной.

В довершение всего разворачиваться приходилось не в горизонтальной плоскости — на постоянной высоте, — а описывая в воздухе некую сложную кривую и по вертикали. Первую половину разворота надо было выполнять с одновременным крутым подъемом — чтобы как можно быстрее погасить скорость. Дело в том, что лишняя скорость — та самая скорость, за которую так боролся экипаж на прямой, — во время разво-

рота превращается из блага в немалое зло: чем больше скорость, тем больше радиус, а значит, и продолжительность разворота; убедиться в этом нетрудно, не поднимаясь в воздух, — на автомобиле или даже на велосипеде. Можно было бы, конечно, погасить скорость и без горки, в горизонтальном полете, самым простым способом — убрав газ, но тогда пришлось бы, закончив разворот, вновь разгонять машину по прямой, а тяжелый корабль делает это очень медленно — опять дело свелось бы к большим потерям.

Чтобы ускорить восстановление прежней скорости, после разворота лучше всего разогнаться на крутом снижении — почти пикировании — с полным газом. Так и было задумано: вторую половину разворота делать со снижением.

Получалась сложная пилотажная кривая: сначала боевой разворот с предельным (точнее, запредельным!) креном и энергичным набором высоты, а затем крутое снижение с тем же максимальным креном и разгоном исходной, тоже выходящей за все обычно действующие пределы, скорости.

Все — предельное, наибольшее, максимальное, не укладывающееся в привычные нормы!

Фигуры пилотажа на сверхтяжелом корабле! Казалось бы, трудно придумать что-нибудь более сложное.

Но — воистину неисчерпаема изобретательность судьбы, когда она хочет досадить слабым смертным! Более сложное оказалось, увы, возможным и вскоре же возникло перед нашими друзьями во вполне конкретном обличье мощной фронтальной облачности, не предусмотренной метеосводкой, но тем не менее нахально разлегшейся впереди точно по курсу полета.

Что делать?

Считать попытку установления рекорда несостоявшейся, махнуть рукой и возвращаться несолоно хлебавши домой? Эта мысль, как удалось установить последующим придиричивым опросом, участникам полета решительно не понравилась. Прежде чем возвращаться к ней, хотелось перебрать все другие возможности. Но какие?

Забраться выше и продолжать полет над облаками?

Но это означало бы уйти с той самой единственной высоты, на которой достигалась наивысшая скорость.

Оставалось одно: «не обращать внимания» — продолжать путь в облаках, благо никаких признаков близости гроз не ощущалось и ожидать чего-либо опасного для прочности самолета от полета в облачности не приходилось. Правда, зато неизбежно приходилось ожидать другого — пилотирования вслепую, по косвенным, часто запаздывающим показаниям стрелок многочисленных приборов. Управлять вслепую там, где и при ясном-то небе и четком горизонте требовались предельная четкость и безотрывно напряженное внимание. Если вернуться к той же аналогии с жонглером, то теперь, в облаках, приходилось уже не просто жонглировать, а, так сказать, жонглировать с завязанными глазами. И так выполнить не только прямолинейный полет на сверхдопустимом режиме, но и совсем уж акробатический фигурный разворот!

Сейчас, по расчету времени, пора будет в него вписываться. Каждая сотня метров, на которую самолет проскочит за контрольный пункт Оршу, окажется вдвойне вредоносной: ведь ее же придется проходить и обратно; следовательно, паразитический, не учитываемый при подсчете средней скорости, участок пути увеличится вдвое. Нет, прозевать команду на разворот ни в коем случае нельзя. Теперь в оба должен глядеть (вернее, слушать) бортрадист: за связь с внешним миром отвечает он.

— ...Вас вижу. Проход фиксирую,— сообщает наконец радиолокационная станция с земли.

И в ту же секунду Липко энергично тянет колонку управления на себя и крутит штурвал влево.

Я представляю себе, как метался взгляд летчика от прибора к прибору во время этого разворота: крен, перегрузка, скорость, подъем, курс, снова крен, снова скорость... Инерция прижимает тело к креслу... Дрожит от напряжения корабль... За покрытыми испариной стеклами кабины — сплошная молочная мгла, но летчик отработанным за годы полетов внутренним взором видит, какую хитрую, лежащую на самой грани возможного кривую описывает его машина...

Обратный путь показался экипажу короче. Это, можно сказать, всеобщая закономерность: знакомая, привычная дорога представляется более близкой. Едешь куда-нибудь в новое для себя место — кажется вроде далековато. А возвращаешься назад — как будто быстрее. Если же проделываешь тот же маршрут еще раз — только удивляешься: с чего это он показался поначалу таким далеким!

Впрочем, экипажу 103-М дорога к Москве не только казалась, но и действительно была короче: стремительные ветры стратосферы дуют преимущественно с запада на восток. Поэтому путевая скорость самолета относительно земли на обратном пути возросла еще больше.

После того, как корабль, промчавшись над конечным контрольным пунктом маршрута — Московским астрономическим институтом имени Штернберга, — развернулся на свой аэродром, благополучно произвел посадку и экипаж рассказал о всех перипетиях только что закончившегося полета, кто-то из встречающих, покачав головой, протянул:

— Да, ничего не скажешь: отчаянно слетали ребята!

Вот с этим согласиться я не могу. Слетали смело, искусно, напористо — но не отчаянно! Никаких элементов пресловутого «авось» в решениях и действиях Липко обнаружить невозможно. Он достоверно знал, чем, так сказать, пахнет каждое очередное, предусмотренное или не предусмотренное заранее осложнение — от поведения машины на околозвуковых скоростях до степени интенсивности воздушных потоков, возможных во встретившейся им облачности определенного вида. Знал — и принимал решения (причем, как показало дальнейшее, решения совершенно правильные), соотнося эти осложнения с возможностями самолета и людей. Ну а то, что точный расчет был эмоционально окрашен страстным желанием летчиков и всего экипажа выполнить намеченное — уже другое дело. Без этого ни рекорды ставить, ни вообще работать испытателем так же невозможно, как и без упомянутого точного расчета...

Когда были обработаны все материалы, спортивные комиссары установили: экипаж в составе летчиков А. С. Липко и Ю. И. Юмашева, штурмана В. И. Милютина, бортрадиста Л. Н. Гусева, ведущего инженера И. М. Каргина, помощников ведущего инженера А. А. Монины и В. В. Колосова, бортмеханика В. Н. Глушкова пролетел на реактивном самолете 103-М с коммерческим грузом 27 тонн дистанцию в тысячу километров со средней скоростью 1028 километров в час.

Принято считать, будто цифры говорят сами за себя.

Иногда это действительно так. Но в данном случае одних цифр — даже таких внушительных, как 1028 километров в час с двадцатью семью тоннами на борту, — недостаточно. Чтобы по достоинству оценить их, надо еще знать, как эти цифры были получены...

Хочу напомнить: сейчас я только привел примеры. Замечательные, блестящие, выдающиеся — но лишь примеры. Можно было бы рассказать о многих других рекордных полетах, ничуть не уступающих тем,

о которых шла речь. И о многих летчиках-рекордсменах, проявивших такое же искусство, владение техникой, волю к победе, какими блеснули наши друзья летчики-испытатели инженеры Ильюшин, Мосолов и Липко.

А теперь вернемся к вопросу о том, имеет ли отношение летчик-рекордсмен и весь его экипаж (кстати, не только летающий, но не в меньшей степени и наземный!) к техническим возможностям машины, к тому, какие летные данные она способна показать, пусть в самых искусных руках.

Оказывается — имеет. И самое прямое.

Дело в том, что устанавливают-то авиационные рекорды, как правило, не кто иной, как летчики-испытатели — те самые люди, которые «учат самолет летать», в десятках и сотнях полетов выявляют и устраняют все, препятствующее этому, изыскивают самые эффективные приемы пилотирования новой машины, определяют и проверяют пределы того, что можно от нее потребовать. Словом, люди, без творческого труда которых летательный аппарат не был бы таким, какой требуется для установления рекорда.

Поэтому, говоря о наших авиационных рекордсменах — от Коккинаки, Капрэляна, Сухомлина, поседевших за штурвалами десятков разных летательных аппаратов, до едва ли не вдвое более молодых Федотова, Остапенко, Алферова, — я высоко ценю их спортивные подвиги, но еще выше ставлю всю их самоотверженную испытательскую деятельность, без которой ни о каких рекордных полетах не могло бы быть и речи. Можно с уверенностью сказать, что все испытатели, ставшие рекордсменами, стали рекордсменами не случайно.

Правда, обратной силы эта формула не имеет: есть все основания утверждать, что испытатели — не рекордсмены остались не рекордсменами случайно. Они вполне могли бы быть ими! Ведь все компоненты, совокупность которых необходима для установления рекорда, — и умение быстро освоиться в новом, и тренированная воля, и высокий уровень техники пилотирования, и точное ощущение пределов возможностей машины, и наконец сама эта новая машина, естественно, имеющая более высокие данные, чем ее предшественницы, — все это находится в руках летчика-испытателя больше (или во всяком случае хронологически раньше), чем у кого-либо другого.

В начале этой главы было сказано, что рекордный полет — побочный, боковой выход «делового» процесса испытательной работы. Это, конечно, так. Но жизнь подчиняется законам диалектики: подготовка к рекорду порой приводит к находкам, исключительно важным и плодотворным для развития всей авиационной техники, иногда — на многие годы. История авиации знает немало тому примеров.

Сейчас мы так привыкли к тому, что поверхность самолета — и особенно его крыла — гладкая, что даже не представляем, как же может быть иначе.

Но тридцать лет назад, когда коллективом инженеров ЦАГИ под руководством А. Н. Туполева был создан дальний самолет РД (АНТ-25), обшивка длинных узких крыльев этой машины была поначалу выполнена из гофрированного дюрала. В свое время такое конструктивное решение было весьма прогрессивным: гофр позволял получить нужную прочность и жесткость при сравнительно малом весе.

Самолет залетал. Залетал вполне благополучно в том смысле, что дело пошло без аварий или иных происшествий, но не очень благополучно по получаемым результатам: расчетной дальности машина недодавала.

Тогда один из участников работы — представитель славной группы ученых, заложивших основы летных испытаний как самостоятельной отрасли авиационной науки, Макс Аркадьевич Тайц — выступил с предложением спрятать гофр: натянуть поверх него гладкую обшивку.

Нельзя сказать, чтобы аэродинамические преимущества гладкой обшивки были до того неизвестны. Тем не менее в самолетостроительной практике она еще не привилась: конструкторы редко идут на какие-либо существенные новшества, так сказать, из платонической любви к прогрессу. Но в данном случае места для платонического не оставалось — дальности самолету не хватало.

— А на сколько возрастет дальность, если сделать гладкую обшивку? Наверное, на какую-нибудь ерунду! — сомневались скептики.

— Более чем на тысячу километров. Это гарантировано. А может быть, и больше, — уверенно отвечал Тайц (он и по сей день любит, когда подтверждается какой-нибудь, на первый взгляд, не очень очевидный расчет, сказать немного удивленным тоном человека, будто только что пришедшего к новому, несколько даже неожиданному для себя выводу: «Оказывается, в науку можно все-таки верить»).

Но тогда среди его собеседников «верили в науку» далеко не все. Однако — в соответствии с известным принципом «так плохо и этак плохо» — все-таки решили попробовать.

И обещанное увеличение дальности, как по волшебству, получилось!

Не буду рассказывать о многих славных рекордных полетах, выполненных на этом самолете известными советскими авиаторами В. П. Чкаловым, М. М. Громовым, А. И. Филиным, Г. Ф. Байдуковым, А. Б. Юмашевым, И. Т. Спириным, А. В. Беляковым, С. А. Данилиным. Тут был и мировой рекорд дальности по замкнутому маршруту, и беспосадочный перелет на Дальний Восток, и перелеты через Северный полюс в Америку.

Думаю, что, при всей зыбкости памяти человеческой, полеты эти еще не забыты.

Но интересно другое: как только результаты полетов опытного РД с новой обшивкой легли экспериментальными точками на листы миллиметровки, немедленно гладкая обшивка была натянута на крылья всех не только вновь запроектированных, но уже изготовленных и даже летающих новых самолетов. С открытым гофром было покончено.

Рекорд отблагодарил за внимание к себе.

А теперь я могу сознаться, что немного схитрил, изобразив встречное влияние авиационного рекорда на породившее его развитие науки и техники как явление, что ли, вторичное.

Когда проходят годы, рассеивается внешний эффект самого что ни на есть блестящего рекорда, тускнеет слава установивших его пилотов (как, увы, всякая слава на земле!), тогда-то обычно и выясняется: что же, в сущности, осталось от всего этого некогда столь шумного дела? А осталось, оказывается, прежде всего то, что дал рекорд технике, науке, методике летного дела. Что удалось закрепить, взять на вооружение (иногда не только в переносном смысле слова), перенести с уникального рекордного самолета в авиацию вообще. В чем стали участники установления рекорда — а за ними и все их рядовые и нерядовые коллеги — умнее, опытнее, искуснее.

Потому, что в этом — самое главное, ради чего поднимаются в воздух испытатели — с начала существования авиации до наших дней.





---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

## ЧИЛИЙСКОЕ ЛЕТО

Невеста Маяковского

**В** сказках, которые сопутствуют нам с малых лет, у каждого человека, наверно, есть свой любимый герой. Моим был — третий сын, тот самый третий сын, славный и добрый малый, которому отец, умирая, ничего не оставил в наследство. Третий сын надевал котомку, прощался с братьями и уходил куда глаза глядят... Куда глаза глядят! Боже мой, как заманчиво это звучало и как я с детства завидовала этому парню. Той легкости, с которой он отправлялся в путь. Его легкому, веселому сердцу.

Выйти на привокзальную площадь чужого города, в ее гомон и суматоху, поставить наземь свой нетяжелый чемодан и постоять минутку, решительно не представляя, что делать, куда идти... Наверно, это удивительное ощущение, и я бы дорого за него дала.

Что говорить, приятно и удобно, когда тебя встречают, устраивают, принимают и опекают, но этот сладкий и тревожный холодок, который подступает к сердцу путника, когда все впереди неизвестно, — не в нем ли главная прелесть путешествия, не эти ли минуты всего острее запоминаются?

Мы летели из Монтевидео в Сант-Яго де Чили на самолете скандинавской компании «SAS» с посадкой в Буэнос-Айресе, и перелет был очень недолог. В разрывах облаков ненадолго показались Кордильеры, и прежде чем ленивое воображение успело увидеть их по-своему, расторопная память тотчас подсказала: «Кавказ был весь, как на ладони, и весь, как смятая постель».

И вот уже снова под нами обыкновенная земля, обжитая и возделанная. Самолет идет на снижение в Сант-Яго. Что-то ждет нас там?

На этот раз обижаться не приходится: в нашем путешествии сколько угодно неизвестных величин, и первая из них — земля, которой вот уже коснулись колеса самолета. Что мы знаем о республике Чили, расположенной на самой кромке, на самой окраине другого полушария? Знаем, что это самая длинная и самая узкая страна в мире, север которой находится в тропическом поясе, а юг — в Антарктике. Что у нее есть медь и селитра. Что у нее были Габриела Мистраль и Висенте Уидобро и есть Пабло Неруда. И что у нас с этой страной довольно давно уже нет дипломатических отношений.

Когда мы, изрядно навьюченные ручной кладью, шли по залитому солнцем летному полю от самолета к зданию аэровокзала, нам навстречу кинулся какой-то малый с фотоаппаратом. Пока он, забегаая с разных сторон, опускаясь на колени и чуть что не ложась на спину, фотографировал, мы успели спросить, встречают ли нас.

— Да! О да! Депутаты, сенаторы, писатели.

Нас встречали очень многолюдно, оживленно и дружелюбно. Все весело хлопотали вокруг, и один наш друг, чилийский сенатор, так активно занялся получением нашего багажа, что вступил даже в короткую перепалку по поводу чемодана с каким-то высоким духовным лицом, утверждавшим, что этот чемодан принадлежит одному епископу — их несколько человек прилетели только что с конклава из Рима. На этот раз католическая церковь оказалась права.

Нас окружает радушная привегливость, оттесняя все сомнения и неизвестность. Все ясно: мы приехали к людям, которые пригласили нас, ждали нас, рады нам. Это безусловно и определено. А дальше — поглядим!

Город начинается небогато и провинциально, так же, как и Монтевидео, напоминая сперва наши южные города: глиняными домами, заборами, чисто побеленными известкой, акациями и тополями. Тянется он очень долго; мы бесконечно едем по этому южному большому городу и как-то совершенно незаметно оказываемся в другом, очень оживленном, многолюдном и многомашинном городе, среди огромных домов и множества магазинов, в снующей толпе — в центре Сант-Яго. Нас привозят в большой отель «Крийон». Следом за нами туда приезжают едва ли не все встречающие. Вся аэродромная толпа врывается в холл нашего отеля, кругом стесит страшный шум, и, когда мы наконец получаем ключи от номеров, я вижу, что это множество народу сопровождает нас и дальше. Все хотят взглянуть, как нас устроили, все тревожатся, довольны ли мы, и, лишь убедившись в этом, исчезают. У меня в номере остаются только двое: красивая женщина и прелестная девушка. Словно бы не обращая на меня внимания, они деловито принимаются разбирать и ставить в вазы поднесенные мне при встрече цветы, лишь изредка торопливо и заинтересованно взглядывая на меня. Они рады мне и я им любопытна.

Мы предупреждены, что в нашем распоряжении час времени, через час за нами придут и куда-то нас поведут. Час — это немного, но вполне достаточно для того, чтобы привести себя в порядок и опаматоваться. Но тут оказалось, что из гостиничных кранов не идет вода; это часто бывает в Сант-Яго летом. На миг от этого стало даже уютнее — не в такой уж другой мир мы попали, — и наши новые знакомые тотчас же зовут мыться к себе домой, как сделали бы и мы на их месте. Но тут вода вдруг пошла, и все пошло на лад, так что к назначенному часу мы были в полном порядке.

Я буду часто пользоваться местоимением «мы» — это естественно, ибо нас было трое. В нашей маленькой группе: известный украинский писатель Михаил Стельмах, переводчица Елена Колчина и я. Проведя с ними вместе два месяца, я много могла бы рассказать о каждом, но сейчас я этого делать не стану — уж очень много мне надо рассказать о стране и людях, к которым мы приехали втроем. Они — это мы. Мы много работали, многое увидели и пережили вместе.

Выходим на улицу в пять часов дня. Это самый центр города и часы пик жаркого летнего дня. Слепящее солнце и тяжелая городская жара, насыщенная пылью, бензином, асфальтовыми испарениями, людскими дыханиями, всеми благоуханиями огромного города. Плотная и тугая толпа медленно, с трудом движется в уличном громе, грохоте, лязге, шарканье. В этом обычном интернациональном уличном шуме присутствует еще множество дополнительных звуций: разнообразная нехитрая музыка; помимо той, что льется из радиорупоров, играют какие-то дудочки, свистульки, барабанчики. И на все голоса кричат уличные торговцы. Ведь этот жаркий летний день — 19 декабря 1962 года — это

канун рождества, святки, веселая предпраздничная суматоха большого города. Это довольно забавно выглядит — современный большой город и старомодные аксессуары праздничного убранства.

Представьте себе торговый и деловой центр столицы маленького капиталистического государства, огромные здания банков, отелей, всевозможных концернов и акционерных обществ, азиатских компаний, несчетных магазинов с несчетными витринами. Ультрасовременная архитектура, ее каменные кубы и цилиндры и легкие многоэтажные и многооконные здания, похожие больше всего на стеллажи... Поток машин всех на свете марок и фирм. Толпа служащих, идущих в этот час с работы, — чилийцы в Сант-Яго одеваются строго, мужчины, как правило, в пиджаках и при галстуках. И вдруг надо всем этим парят на тропе огромные старомодные и традиционные ангелы, такие издавна знакомые, словно бы в мире не произошло решительно никаких изменений и потрясений. Ангелы в длинных одеждах, с длинными кудрями, у иных из них медные трубы — они приветствуют рождение Христа. Грустная богоматерь с младенцем присутствует тут, разумеется в разных вариантах. На домах укреплены подсвечники с огромными свечами. Ноэли — международные деды-морозы — представлены очень широко и в разных видах. В одном случае это просто реклама обуви, воспарившая над одним из самых людных перекрестков: огромный румяный красноносый Ноэль огромной иглой шьет огромный башмак. Какие-то белые птицы — надо полагать, голуби мира — парят вместе с ангелами. И заливаются, кричат продавцы веселых рождественских товаров, которые весело дарить и весело получать в подарок. В толпе, между людьми, то тут, то там вспыхивают, искрясь, маленькие пузырьки. Что это? Неужели мыльные пузыри? Ну да, их пускают в качестве рекламы продавцы специальной игрушки для пускания мыльных пузырей. Мыльные пузыри умиляют меня окончательно. В состоянии полной благоустности я замечаю в витрине книжного магазина большую и яркую книгу, в заглавии которой фигурирует Советский Союз. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это броское и пухлое американское издание, озаглавленное «Советский шпионаж в действии». Эта мимолетная встреча несколько нарушает идилличность окружающей нас обстановки, словно бы вспыхнула сигнальная лампочка: «Не забывай, где ты!»

Наш путь недалек, мы идем в парламент. Нас пригласили туда наши друзья-депутаты. Они любезно встречают нас, водят по зданию парламента, знакомят с разными людьми, депутатами, сенаторами. Нас принимает новый председатель палаты депутатов, только вчера избранный, депутат от христианско-демократической партии — сейчас, пожалуй, наиболее сильной в Чили. Потом нас ведут пить традиционный парламентский чай. Накрыты большие круглые столы — бутерброды, пирожные, фрукты и черешни, крупные, черные, как в Болгарии. И все вокруг очень веселы и никак и ничем не скованы в этом официальном присутственном здании. И вот тут-то и выяснилось одно забавное обстоятельство, которое придало всему происходящему неожиданную окраску и было, пожалуй, очень характерно для всего, что происходило с нами, вокруг нас и по поводу нас в первые дни нашего пребывания в этой святочной столице.

Нам рассказали, что одна из газет, сообщая о нашем предстоящем приезде, написала, что я известная советская поэтесса с очень трагической судьбой: я была в свое время невестой Маяковского, и любовь моя к нему была так безгранична, что она не оборвалась с его трагической гибелью; я никого больше не полюбила, ни за кого не вышла замуж и до сих пор сохраняю верность своему знаменитому жениху.

Все это было подано очень трогательно и прочувствованно и произ-

вело на публику сильное впечатление, очень заинтересовав ее и расположив в нашу пользу. Еще бы! Такие ситуации в наши дни не часты и такие красивые чувства в двадцатом веке на улице не валяются.

Мы хохотали до слез! Но эта версия и меня очень растрогала и увлекла. Я даже невольно стала к ней привыкать и за последующие сутки привыкла настолько, что, когда мне пришлось на следующий вечер давать интервью газетчикам, я честно призналась им, что мне уже трудно и жаль во имя истины расставаться с судьбой, которую они мне придумали.

Итак, мы покинули здание парламента, напившись чаю и очень развеселившись, и снова очутились в предпраздничной сутолоке, среди ангельских парений и мыльных пузырей, в симфонии голосов уличных торговцев, очень, надо сказать, изобретательных и остроумных. Один малый, продающий яркую оберточную бумагу, на этот раз коричневую, по которой несутся огненно-рыжие, весьма условные кони, отчаянно и упоенно вопит:

— Последний шедевр Пикассо! Последний шедевр Пикассо!

Вместе с нами от души хохочет один из наших спутников — депутат парламента Сесар Годой. Это пожилой человек удивительно легкого нрава, очень любящий посмеяться и легко находящий поводы для смеха...

К вечеру предпраздничное оживление стало еще неистовой: базары на улицах и площадях, играет музыка, звенят колокольчики, кружатся карусели, трудно протолкаться сквозь густо клубящуюся толпу.

Людской поток вынес нас на Пласа де Армас — площадь Оружия, центральную площадь города. Она окружена аркадами, под которыми идет оживленная торговля, а в центре площади сквер — любимое место отдыха и прогулок жителей города. Сейчас, на закате жаркого летнего дня, площадь запружена народом, и наши друзья с трудом находят для нас местечко на одной из длинных скамеек.

Один мой товарищ, с которым мне случалось путешествовать, учил меня, что, попав в чужой город хотя бы на один день или даже на одну ночь, недостаточно исходить его вдоль и поперек; надо непременно посидеть часок-другой где-нибудь на людном месте, на скамейке, там, где сидят еще и другие люди. Я была рада такой возможности в первый же вечер в городе Сант-Яго.

Перевожу дыхание и пробую собрать воедино впечатления этих нескольких первых часов. Множество теплых рук, приветливых глаз, добрых слов и славных лиц. Да, нас пригласили сюда друзья, они хотят показать нам свою жизнь и свою страну, которую они любят, которой они желают счастья, за счастье которой они борются, как могут. Дай-ка я поверю этим друзьям, поверю их любви, их судьбе и пойду за ними, не сопротивляясь, улыбаясь ангелам и мыльным пузырям, хваля пирожные и черешни, смеясь над уловками бедняги, которому надо распродать свою грошовую раскрашенную дребедень. Дай-ка я проживу малый срок, отпущенный мне в этой стране, жизнью этих людей, доверюсь их желанию показать мне свою родину. Кто знает страну, ее радости и беды, ее гордость и ее позор больше тех, кто ее любит? Нет, я не буду ни в чем им сопротивляться, ни с чем зря спорить, ничего не буду бояться рядом с людьми, и тогда никакая ерунда не закроет от меня главного, не закроет от меня правды. Скажу, забегая вперед: да, я глядела на Чили глазами друзей. Они хотели, чтобы я полюбила их родину. И это им удалось.

Поздним вечером за нами заехала в гостиницу поэтесса Делия Домингес, чтобы везти нас на ужин в Союз писателей. Мне она уже знако-

ма, эта молодая женщина, коротко остриженная, с мальчишескими ухватками, — она везла меня с аэродрома в своем «фольксвагене».

Мы ехали долго, и Делия, отважно лавирующая в потоке других машин и даже ухитряющаяся почти не сбавлять скорость, успела нам рассказать кое-что о себе. Она не горожанка и живет в Сант-Яго только год, после того как землетрясение разрушило дом, где она родилась и выросла, на юге Чили, в Осорно. Она не любит городской жизни, не любит светской жизни, ей по душе книги, стихи, несколько близких друзей, одиночество. Там, на юге, осталась земля, собаки, лошади, которых она любит больше всего на свете, и она туда скоро поедет на каникулы. Это красивейшие места в Чили и не поедем ли мы туда?

Ну вот, город Сант-Яго начинает населяться живыми людьми, со своей судьбой, своими обстоятельствами. Юг Чили, родные места, край детства и становления души — сфера поэзии Делии Домингес. Ее книга «Монолог искреннего человека» заняла заметное место в чилийской поэзии последних лет. Она написана так горячо и вдохновенно, поэт в ней так общечеловечен, что товарищи упорно говорят о близости Делии Домингес к великой Габриэле Мистраль. Это высокая оценка в устах чилийцев.

Тем временем мы приезжаем на улицу Симпсон, 7, в Союз писателей, приятный особняк в стороне от суматохи центра. Этот дом писатели получили недавно от правительства и очень гордятся им. Нас встретил уже знакомый нам председатель Союза писателей Рубен Асокор.

Рубен Асокор — человек лет шестидесяти, родом он с крайнего юга, чуть что не от Магелланова пролива. Там и сейчас живет его сын. Он невысок ростом, плотный, квадратный, с квадратной головой, поросшей седеющим ежиком жестких волос. Он словно вырезан из цельного куска промороженного временем дуба и похож на деревянные скульптуры острова Пасхи. Остров Пасхи — это ведь тоже Чили. Интересный писатель своей земли, сейчас он отличный хозяин, радушно встречающий нас на пороге своего дома.

Позднее за столом писатель Тейтельбойм чудесно рассказывал о своем пребывании на Кубе вместе с Рубеном Асокором, о том, как Рубен подобрал бездомного щенка, притащил его в гостиницу, в свой номер, возился с ним несколько дней и долго убивался, когда щенок исчез; о том, как однажды за ужином в дружеском доме Рубен Асокор пожелал прочитать какую-то поэму, которую он читает обычно в матросском костюме с красным цветком в руках. Цветок в доме нашелся, матросский костюм тоже, но он был карнавальный, бумажный, с короткими штанами, что, однако, не смутило героя рассказа. Он немедленно облачился в этот костюм и, являя собой, вероятно, достаточно странное зрелище, в коротких бумажных штанах, с красным цветком в руках, начал с чувством декламировать. В самый разгар декламации в дверь постучали и вошел друг дома, свой человек — Фидель Кастро. Положение Рубена было довольно дурацким, но у него хватило выдержки и чувства собственного достоинства — он не прервал чтения и дочитал поэму до конца, что, пожалуй, было единственным выходом из положения.

Сочетание органической детскости и глубокого чувства собственного достоинства очень характерно для этого человека.

Поднимаются бесчисленные тосты, и Володя Тейтельбойм находит для каждого из нас добрые слова. Володя Тейтельбойм — известный чилийский писатель, депутат парламента, родился и вырос в Чили, но предки его — выходцы из России. Отсюда имя, которое никто не воспринимает как сокращенное и все произносят на испанский манер: Володиа. Коммунист и друг нашей страны, он бывал у нас и знает нашу жизнь,

наших людей, нашу литературу, а этим в Чили немногие могут похвастаться, — достаточно вспомнить эпизод с невестой Маяковского.

За ужином мы едим фаршированные авокадо. Плоды авокадо — овощи или фрукты? — растут на вечнозеленых огромных деревьях с толстыми листьями, светлыми сверху и темно-зелеными снизу. Очень сытные плоды имеют специфический вкус, никакой сладости; жирная мякоть часто используется как масло. Величиной они с небольшую дыньку с большой и тяжелой косточкой внутри. Это вкусно, особенно если запивать отличным чилийским сухим вином.

Поет под гитару молодая женщина, известная певица, гостья писателей. Потом гитара переходит из рук в руки, и все рады возможности попеть. Потом... Неужели это все еще тянется один день и только утром мы вылетели из Монтевидео? Я так устала, что, кажется, не помню, когда и кто и как отвез нас в гостиницу. И как я заснула — тоже не помню. Бедная невеста Маяковского!

Так началась наша жизнь в столице этой страны, самой узкой страны на свете, длина которой в сорок раз больше ее ширины. Так начались мои усилия проникнуть в эту жизнь, понять ее своеобразие, ее различие и сходство с жизнью других стран, других людей на земном шаре.

\* \* \*

Что значит побывать в чужой стране, почувствовать ее? Посмотреть ее природу, ее культуру, архитектуру ее городов, ее музеи, театры, университеты, ее публичные и общественные учреждения? Ну, разумеется. Все это само собой разумеется. Но, однако, обозревая все перечисленные выше стороны существования страны, можно тем не менее остаться вне ее, отдельно от нее, не почувствовать ее, не вникнуть в ее жизнь. Истинное проникновение в жизнь страны определяется для меня ощущениями неуловимыми и трудно определяемыми.

Выйти из гостиницы одной, ранним утром, будничным днем, и пусть бы даже накрапывал дождик, пойти по тихим, совсем не главным, ничем не примечательным улочкам, затесаться в толпу людей, идущих на работу, постараться понять незначительные слова, которыми они на ходу перекидываются, попробовать догадаться, о чем они думают, что их заботит... Или пойти вслед за женщиной с кошелкой, которая вышла из подворотни старого дома, и зайти следом за ней на рынок, и ходить рядом с нею по лавочкам, следя за тем, что она выбирает, как приценивается, как рассчитывает и прикидывает свои возможности. Это мне удалось в Хельсинки, и я в то утро почувствовала, что жила в Финляндии.

Когда в Люксембургском саду пони сбросил мальчугана и перепуганная мать, кинувшаяся было к ребенку, обрадовавшись, что все обошлось и ничего страшного не случилось, вдруг обратилась ко мне — я оказалась рядом — и стала мне торопливо и взволнованно рассказывать, как все это было, как она увидела, как она испугалась, как она побежала, что она перечувствовала, — я была благодарна ее порыву, ее доверию — они на минуту сделали меня жительницей Парижа. Я почувствовала себя в Ирландии, когда, зайдя в какую-то лавочку и увидев, что молоденькая продавщица плачет, прислушалась к вопросам и утешениям ее подруг и почти догадалась, в чем дело. Соприкоснуться с судьбой тех, кто тут дома, кому отсюда никуда не уезжать, у кого здесь жизнь со всеми ее сладкими и горькими подробностями — вот что значит для меня побывать в чужой стране, прожить там кусочек жизни.

В Чили, пожалуй, больше, чем где бы то ни было, жили и судьбы людей раскрывались перед нами. Все этому способствовало, и прежде всего огромный человеческий интерес к нам. Так мало советских людей

побывало в Сант-Яго! Вторым условием была врожденная чилийская гостеприимность, помноженная на живой, непосредственный, общительный характер людей, в гости к которым мы приехали.

С первого же дня рядом с нами оказались несколько человек, чья жизнь стала нам скоро близка и знакома. С каждым днем таких людей становилось больше, а наши знакомства подробнее и глубже. Но вот несколько первых имен.

Я уже упоминала имя Сесара Годой. Собственно, его зовут Сесар Годой-Уррутиа. Это две самые распространенные чилийские фамилии, я во всяком случае сталкивалась с ними очень часто. По-русски это что-нибудь вроде Иванова — Смирнова.

Депутат парламента от коммунистической партии, он партийный работник, человек пожилой, но на редкость живой и подвижный, балагур и шутник. Я его запомнила смеющимся — в таком состоянии он находится почти всегда. Если же он не смеется, то выглядит так, словно с трудом удерживается от смеха.

Впрочем, мое впечатление нельзя считать окончательным и исчерпывающим. Надо полагать, что в политических схватках со своими противниками Сесар Годой бывает другим, иначе бы его судьба к шестидесяти годам сложилась совсем по-иному. Но с нами он так радостно взволнован, так полон глубокой и горячей дружеской заинтересованности в том, чтобы все было как можно лучше, интереснее, приятнее для нас, чтобы нам было как можно веселее, вкуснее, удобнее.

И так же ведет себя в отношении нас его супруга Мария Годой, школьная учительница, высокая, статная, полная женщина с мягким и спокойным лицом.

За отношением этой супружеской пары к людям, приехавшим из Советской России, стоят некоторые личные обстоятельства. Двенадцать лет тому назад Сесар Годой приехал в Советский Союз с какой-то делегацией. Во время этого пребывания он худо себя почувствовал, попал в больницу, где ему была сделана чрезвычайно серьезная операция. Положение было столь угрожающим, что отложить ее не было никакой возможности. Сесар провел в Москве несколько месяцев: сперва в больнице — послеоперационный период был долгим и тревожным, — потом в санатории, и уехал на родину поправившимся и окрепшим. С той поры, как я уже сказала, прошло двенадцать лет; Сесар Годой много работает, живет полноценной жизнью и чувствует себя бодрым и здоровым человеком. Он и его семья считают, что жизнь ему вернули советские люди, советские врачи, и все, что связано с Советским Союзом, для них свято.

Очень взволнованно встречала нас одна молодая поэтесса и журналистка. Хрупкая, тоненькая, с болезненным смуглым личиком, с пушистыми темными волосами, распушенными по плечам, с ожерельем из ракушек с острова Пасхи на худенькой шейке — эта девушка тянулась к нам, как к какому-то дорогому воспоминанию. Она была в Москве на фестивале молодежи. Союз писателей дал ей возможность задержаться еще на некоторое время, но и этого ей оказалось мало, потому что в Москве в судьбе ее случилась встреча, которая была для нее, очевидно, очень волнующей и дорогой. Она всячески старалась оттянуть неизбежную разлуку, скрывалась, убегала от тех, кто приносил ей билеты на самолет, не желая считаться ни с какими условностями и правилами поведения. Наверно, она была бы счастлива возможности остаться совсем в нашей стране и сейчас была бесконечно рада нам, приехавшим отсюда.

Мы побывали в доме ее родителей — это большая, хорошая, трудовая семья. Мать — еще молодая и очень красивая женщина — сама ведет огромное хозяйство. Отец — воспитатель в младших классах школы,

славный человек, обремененный множеством забот, которые, однако, не убивают в нем живого интереса к общественной жизни страны, о которой он нам живо и увлеченно рассказывал. Он живет жизнью детей, принимает в ней горячее участие: когда его дочь находилась в Москве, он всей душой сочувствовал ей и даже писал письма в разные высокие учреждения о том, что жестоко разлучать два любящих сердца.

Ну что ж, что было, то прошло! Сейчас пылкое сердечко нашей московской знакомой охвачено новым чувством. Она любит и любима, и мне бы хотелось рассказать об этой нелегкой и настоящей любви, но не знаю, вправе ли я? Жаль, но ничего не поделаешь! Спасибо на том, что мы повидали эту любовь, что она сопутствовала нам в Чили и, может быть, мы даже чем-то немного смогли ей помочь... Людям надо помогать любить друг друга.

Хуана Флорес Аэдо — поэтесса и общественная деятельница, я видела ее брошюру в защиту мира, обращенную к матерям. Хуана разошлась с мужем — по ее словам, богатым человеком, который придерживался других взглядов и не давал ей писать и заниматься общественной работой...

Хуана Флорес и ее дети — это еще одно милое впечатление первых дней. Это она с дочкой в первый час после нашего приезда разбирали в моем номере цветы. Шестнадцатилетняя Эугения — старшая из четверых. На другой день она явилась к нам со своей одиннадцатилетней сестрой Пиляр в жажде быть полезными нам. Потом мы узнали их брата, четырнадцатилетнего Нельсона; его прислали к нам с какими-то бумагами. Очень тщательный, приглаженный, причесанный, Нельсон сразу же постарался привлечь наше внимание к тому, что он умеет двигать ушами, и это с ходу установило между нами короткие, приятельские отношения, шуточные и лукавые. У ребят были каникулы, мать задержала отъезд куда-то в горы из-за нас, и они все время вертелись вокруг, пользуясь любой возможностью провести время с нами. Они без конца дарили нам какие-то безделки, свои детские чилийские сокровища: камешки с породой, сухие косточки неведомых нам плодов, колечко, брошку, сплетенную из конского волоса, который в Чили красят во все цвета и очень разнообразно используют.

Жизнь наша с каждым днем становилась наполненнее и напряженнее. В гостинице в короткие промежутки между деловыми встречами, когда мы надеялись отдохнуть или поработать, на нас наваливались незапланированные, непредвиденные посещения. Все время звонил телефон, и, радостно обнаружив, что мы дома, в одиночку и группами приходили мужчины и женщины, с глазами, источающими восхищение и благожелательность. Приходили, садились, приносили какие-то крошечные сверточки в яркой бумаге — *regalos* — рождественские подарки, смотрели на нас с обожанием и в конце концов, видимо, не зная, что с нами делать, начинали оживленно и громко беседовать между собой, по-моему, уже абсолютно забыв о нашем присутствии. Помню один вечер, когда их собралось очень уж много, и они говорили наперебой, и мы от души обрадовались, когда явился газетчик из газеты «*La Ultima Oga*» брать интервью. Мы вышли к нему, устроились в холле в надежде, что визитеры за это время рассосутся. Но не тут-то было! Они ждали нас в другом холле, и за те двадцать — тридцать минут, что мы были заняты, их стало вдвое больше. Все вроде бы куда-то собиравшись, обсуждали, как будет лучше, готовились куда-то идти... кажется, на вечер Неруды, где то ли он сам, то ли актеры будут читать его новые стихи... Собирались, сидели, шумели, ждали кого-то или чего-то... Наконец пришли двое старших детей Хуаны Флорес, и это, очевидно, явилось знаком к выступлению. Выступать, судя по всему, должна была



целая колонна, но, когда мы вышли на улицу, с нами остались только Рубен Асокор, Хуана и двое ее детей. Шли медленно, пытаясь поймать такси, но это ничем не удавалось. А ехать надо было далеко, и время уже было позднее... Кончилось все тем, что дошли до площади Оружия, посидели на лавочке, болтая и наблюдая за праздничным гуляньем, за стариком Ноэлем, который, одетый по всей форме, прогуливался среди толпы и весело общался с детворой. Посидели-посидели, потом пошли назад и где-то недалеко от гостиницы по-семейному поужинали. И все-таки вернулись в час ночи.

Нет, это не потеря времени, ни в какой степени. В каждом таком общении с людьми наблюдаешь множество жизненных подробностей и особенностей, которые не увидишь ни в музее, ни в большом официальном собрании, и поэтому они драгоценны.

Наша деловая программа носит весьма условный характер, часто не выполняется, на ходу изменяется. Многие нашим друзьям не удается осуществить из-за того, что у них нет ни опыта, ни организации. Их Союз писателей — это нечто совсем другое, нежели наш, и возможности его более чем ограничены. Машину всякий раз приходится добывать у частных лиц, это не всегда удается, поэтому некоторые мероприятия срываются из-за дальности расстояния и мы вместо дела оказываемся в гостях у новых знакомых.

Даже это в конечном счете тоже нам на руку. Таким образом мы попадаем в обыкновенные дома в будние дни и видим жизнь людей почти без всяких прикрас. Все это люди небогатые, нелегко живущая трудовая интеллигенция.

В Чили, как и в других странах Латинской Америки, люди творческого труда — писатели, художники, музыканты — для того чтобы иметь возможность заниматься этим творческим трудом, вынуждены где-нибудь служить. Иные из них преподают, иные — чиновники, если у них нет специальности врача, адвоката, инженера. Исключение составляют буквально несколько всемирно знаменитых писателей: Пабло Неруда, Жоржи Амаду, Николас Гильен. Известный уругвайский художник Анельо Эрнандес, который, будучи лауреатом Национальной премии, тем не менее вынужден преподавать рисование в средней школе, в ответ на мои вопросы и недоумения ответил мне очень определенно:

— Маргарита, у нас никто не может зарабатывать на жизнь своим талантом. Поэтому мы никогда не пишем картин, или книг, или музыки для заработка. Только для того, чтобы что-нибудь сказать людям. Только тогда, когда есть что сказать людям.

Итак, мы попадаем внезапно в разные частные дома, встречаем разных людей, слушаем разные разговоры. Разумеется, это всегда любопытно.

Вот дом адвоката, говорят, талантливый и преуспевающий. За столом оживленный разговор: о материализме и идеализме, о Достоевском и индивидуализме.

Хозяин дома — человек, очень уверенный в себе, — имеет весьма своеобразное представление о нашей осведомленности в вопросах литературы: когда в разговоре упоминается имя Бальзака, он снисходительно поясняет:

— Бальзак — это известный французский писатель.

Впрочем, он не в меньшей степени надменен и категоричен и в отношении к своему народу и к своей земле:

— Все страны Латинской Америки напоминают завязанные мешки, наполненные дерущимися котами. Все, кроме Чили. А Чили — огромное скопище сверчков, которые попросту отчаянно трещат.

Очевидно, он имеет в виду то же самое, что со сдержанной гордостью называет всеобщей, всенародной политической активностью Пабло Неруда.

— После Октябрьской революции мы совершили роковую ошибку — перевели на свой язык чуть ли не всю русскую классику, и с тех пор она оказывает непобедимое влияние на чилийскую литературу.

Он очень безапелляционен и уверен в себе.

— В Чили не всегда жарко. Мы — чилийцы — часто страдаем от холода.

Тут уж явный политический подтекст...

В другом доме молодая женщина-хозяйка оказывается родом из Югославии и даже, смущаясь, пытается произносить какие-то русские слова. Она очень взволнована нашим приездом, очень хлопочет вокруг нас, очень озабочена и замотана — у нее требовательный муж, годовалая дочка и хлопот полон рот. Однако после обеда она все-таки играет нам на старинном и расстроенном пианино Прокофьева, и это мило и трогательно, и есть в этой молодой женщине, которую зовут Таня, какая-то истинно славянская артистичность и что-то очень нездешнее, очень смятенное. Вдруг она приносит мне откуда-то из недр дома томик стихов, выпущенный еще до войны Гослитиздатом: «Русские поэты XVIII и XIX веков». Это как неожиданная, невероятная встреча с другом. Какими ветрами занесло сюда эту книжку и эту Таню? Еще одна судьба, еще одна заметка в памяти.

Обеды тянутся обычно очень долго, собственно почти до ужина. Нам никогда не удается отдохнуть в самое жаркое время дня, как это здесь принято. А вечером очередные встречи. А в гостинице неизбежно ждут неожиданные посетители, и невозможно отказать им.

Я не случайно описываю всю эту сумятицу так подробно — это тоже Чили, и в то же время в этом есть нечто знакомое и близкое нам. Так мы провели всего-то дня два-три, но нам казалось, что прошло гораздо больше времени, а его было мало, им следовало дорожить. Всю эту вакханалию гостеприимства и ее возрастающую угрозу, очевидно, почувствовал достаточно знающий своих соотечественников чилиец Пабло Неруда. Почувствовал и решительно разрушил. Через три дня мы уехали к нему в Исла-Негра и провели там два дня, а на третий отправились в Кордильеры — об этом я напишу дальше. Поздним вечером этого третьего дня мы вернулись в Сант-Яго, но уже в другую гостиницу. Гостиница была хуже, дешевле и спокойнее. Дальше наша жизнь пошла куда более деловито и организовано. Но я с удовольствием вспоминаю и о милой, бестолковой, душевной, истинно чилийской суматохе и невнятице первых дней в Сант-Яго.

### Дон Пабло у себя дома

Мне приходилось видеть Пабло Неруду в Москве, в огромных многолюдных залах съездов писателей, в президиумах, всегда среди других людей, всегда издали. Это было величественно и декоративно и не отделялось от других впечатлений, от других имен. А лицом к лицу и в более камерной обстановке мне с ним до сих пор встречаться не случалось, и теперь я рада этому. Этого человека надо повидать у него дома, в той атмосфере, в которой он рожден, в которой он существует, которой он принадлежит. Пабло Неруда у себя дома, начиная с улиц Сант-Яго, по которым он ходит, как по своим обжитым комнатам, и где в любое время и в любой толпе его неизменно замечают и узнают, — это зрелище волнующее и неповторимое.

На следующее утро по приезде в Сант-Яго нам позвонила Матильда, жена Неруды, — они приехали в город и хотят сегодня же видеть нас; если мы ничем не заняты, они заедут за нами в час дня, чтобы пообедать вместе.

Около часу у меня в номере раздался телефонный звонок:

— Это говорит ваш друг Пабло Неруда...

Он ждал нас внизу, о чем-то оживленно болтая с Сесаром Годой, и встретил нас так просто и славно, как будто решительно ничего особенного не было в том, что мы вдруг очутились в Сант-Яго, с той спокойной приветливостью, лишенной всякой нарочитости и преувеличенности, которая и вас ни к чему не обязывает и с первой минуты общения с ним дает вам чудесную возможность чувствовать себя совершенно свободно и естественно.

Неруда источает из себя и вокруг себя чудесное чувство человека, живущего твердо, уверенно и удобно у себя в Чили, у себя на земле, у себя на белом свете, и умеет передать это окружающим. И рядом с ним вы тоже сразу же чувствуете себя органически слитым с жизнью, свободным от какой бы то ни было неловкости, располагаетесь в этой жизни столь же удобно, столь же определенно и независимо, как Пабло Неруда.

Эти человеческие качества тем более драгоценны, что, постепенно узнавая лучше этого человека, вы начинаете понимать, что в жизни его вовсе не все так просто и удобно, что в ней, как и во всякой настоящей человеческой жизни, сколько угодно сложностей, противоречий и острых углов. Уже не говоря о тех общественных условиях, достаточно сложных и противоречивых, в которых Неруда существует очень активно и полноценно — как коммунист и гражданин своей страны, — есть немало и прочих житейских подробностей, которые изо всех сил стараются помешать ему жить. Болит нога, иногда на несколько дней выводя из строя. Это лишает возможности полноценно работать, что может уже само по себе отравить существование человека. Всякого человека, но только не Пабло. И в этом заключается его человеческий талант, который в итоге сильнее всех препятствий, на каждом шагу создаваемых жизнью, — он не только не сдается им, но подчиняет их себе, своей воле к счастью, своей любви к жизни.

Мы вышли на площадь, и Пабло повел нас к большому зданию из желтого камня. Это Ла-Монеда — президентский дворец. Однако нынешний президент<sup>1</sup> там не живет, он предпочитает частную квартиру на верхнем этаже огромного дома в центре. Во дворце помещается министерство внутренних дел. По пути Пабло задержался у одного из обыкновенных жилых домов, выходящих на площадь, и в обычной своей вроде бы бесстрастной манере рассказал следующее:

— Однажды летом — это было давно, лет двадцать назад, — в подворотне этого дома организация чилийских молодых фашистов устроила засаду. Семьдесят пять молодых людей, вооруженных пулеметами, начали обстрел президентского дворца с расчетом, уничтожив или слугнув охрану, занять здание и соответственно захватить власть в стране. Они действовали очень решительно, предполагая, очевидно, что эта решительность в сочетании с внезапностью дадут им серьезное преимущество, и никак не рассчитывая на то, что они могут столкнуться с такою же решительностью. Тогдашний президент — первый Алессандро, отец нынешнего, — отдал приказ открыть огонь по этой засаде и не выпустить из подворотни ни одного человека живым. Здесь все было залито кровью, — кивая на мостовую, заканчивает Пабло. — Река крови текла из-

<sup>1</sup> Речь идет о Хорхе Алессандро. С сентября 1964 года президент Чили — Эдуардо Фрей.

под ворот на улицу и по улице. С тех пор в Чили нет ни одного фашиста, который бы осмелился официально так себя именовать.

Это заключение было достаточно казуистическим, для того чтобы не показаться чересчур уж безбрежным и наивным. Сделав его, Пабло замолкает и словно замыкает тему и что-то в самом себе и даже в своем лице. Он не дает никаких оценок и не высказывает никаких суждений. Судите сами о политической фигуре решительного президента, о методе, который он применил. Относитесь к ним, как хотите. Что же до Пабло Неруды, то ясно только одно: отношение Пабло Неруды — определенное и безусловное отношение его — к фашизму.

Ла-Монета — одно из самых старых зданий Сант-Яго — построено по типу Эскуриала и наиболее близко воспроизводит старую испанскую архитектуру. Солдат, стоящий у ворот на посту, не останавливает нас — это не входит в его обязанности, — и через двор, выложенный каменными плитами, с фонтаном посередине мы выходим на другую сторону площади.

Пабло обращает наше внимание на роскошный отель «Каррера-Хилтон», по сравнению с которым наш вполне респектабельный «Крийон» выглядит весьма жалким и старомодным.

— Здесь всегда останавливаются американцы, — говорит Пабло, очевидно желая этим сказать, что такие отели не для нас. Не для нас, советских граждан, и не для нас, чилийцев.

И почему-то он заводит нас в огромный вестибюль отеля. Тут и впрямь роскошно — цветы и деревья в кадках, скульптуры мраморные и деревянные, вделанные в стены аквариумы с рыбами, птицы в клетках, множество всевозможных «торговых точек», в которых можно, вероятно, купить все, чем может похвастаться Республика Чили. Все, но недешево.

Пабло подводит нас к прилавку, за которым продают книги — всевозможные роскошно изданные монографии, путеводители, все, что обычно продают в вестибюлях отелей всего мира. Хорошенькая продавщица читает какую-то небольшую, изящно переплетенную книжку.

— Спросите у нее по-английски, есть ли что-нибудь из моих книг, — тихо говорит мне Пабло.

Ну что ж, я спрашиваю. Нет, к сожалению, ничего нет, сокрушается продавщица. Пабло удовлетворен:

— Ничего нет в продаже. Все мои книги раскупаются мгновенно.

Понятное чувство! И ладно уж, не буду говорить ему, что сегодня утром, гуляя, я видела в витринах некоторых магазинов его книги. Впрочем, может быть, хозяин приберег их для украшения витрины.

Огромный жилой дом ультрасовременной архитектуры и оборудования. Скоростной лифт поднимает нас в квартиру друга Пабло, адвоката Карлоса Вассальо Рохаса. Здесь Неруды останавливаются, приезжая в Сант-Яго — своего дома у них теперь тут нет, — здесь мы и будем обедать.

Большая двухэтажная квартира, много книг, картины, скульптуры. К одной из картин Пабло подводит нас вплотную. Это огромный портрет Матильды, написанный Диего Ривера. Художник изобразил жену и музу поэта двуликой: одновременно в фас и в профиль, в венце из огненно-рыжих змеящихся прядей.

— Сколько лиц изображено на этом портрете? — обращается к нам Пабло, словно бы загадывая загадку.

Чувствуя, что за этим кроется какой-то подвох, я все-таки просто-душно отвечаю, что два. Хитрый Стельмах заявляет, что одно, — и вправду, ведь это одно лицо, но в двух разных ракурсах Пабло доволен: никто не угадал, здесь три лица. И с торжеством показывает свой кро-

щечный профиль, который художнику удалось вписать в один из изгибов, образованных волосами.

История любви Пабло и Матильды довольно необычна. Они недавно вместе, всего несколько лет, и эта большая любовь, вспыхнувшая, победившая и утвердившаяся уже во второй половине жизни ее героев, породила «Сто сонетов о любви» и много другой любовной лирики. Право, не знаю, красавица ли Матильда Уррутиа, женщина из города Чильяна, да это и не имеет решительно никакого значения. Мы знаем Матильду нерудовской поэзии, мы глядим на нее глазами любви и глазами стихов, написанных этой любовью, и видим, как своеобразно и вдохновенно хороша эта женщина. Это та негасимая прелесть, которая больше красоты, сильнее красоты, вспыхивающая, словно в ответ, слово в благодарность за восхищенный взгляд, который она все время чувствует на себе; это беззаветное стремление быть такой, какой ее все время, день за днем, час за часом, пишет любовь.

Обедаем вшестером. Шестой — хозяин дома, приветливый пожилой господин, очевидно, беззаветно преданный Пабло и получающий удовольствие от его присутствия. Таких людей я встречала в Чили немало.

Во время обеда приходит запоздавший седьмой гость, молодой человек, художник с юга Чили, из города Концепсион.

— Не абстракционист ли? — шутя спрашиваю я.

— Нет, реалист, но хороший, — в лад мне отвечает Пабло.

Это был Хулио Эскамес, один из лучших чилийских современных художников.

Весь разговор за обедом ведет Пабло. Он много и увлеченно рассказывает о Чили, о политической обстановке, об общественной жизни.

— У нас нет старых построек и памятников старины, у нас нет даже развалин и нет традиций в таком объеме и смысле, как это понимают в Европе. Но у нас есть драгоценные традиции — традиции нашего рабочего класса, который уже более шестидесяти лет выступает единым фронтом против реакции. Хуже обстоит дело с сельскохозяйственными рабочими. Они целиком зависят от тех, кому принадлежит земля, они сейчас почти так же неграмотны, как сто лет назад, они все дальше отстают от промышленного пролетариата, и это очень тормозит прогресс в Чили. Но в нашем народе очень сильно стремление к независимости. Во всех слоях населения, во всех поколениях, даже в детях. Мы верим в свое будущее, и умеем ждать, и умеем сохранять спокойствие...

Он очень озабочен сроками нашего пребывания. Десять дней — это не срок для такой разнообразной и своеобразной страны. За этот срок мы попросту ничего не увидим. А мы непременно должны увидеть как можно больше, непременно должны поехать по стране, побывать на юге. Для начала он приглашает нас в воскресенье 23 декабря к себе в Исла-Негра.

Нам непременно нужно познакомиться с чилийской интеллигенцией, и не только с левой, но и с интеллигенцией правого толка. Мы должны как можно лучше узнать чилийских писателей, чилийских поэтов. В их среде много интересных явлений.

Откуда-то я помню: где-то Неруда говорил, что стоит ему год не быть в Чили, как он, вернувшись, встречает десяток новых поэтов. Да, это именно так. И надо, чтобы и они узнали нас. Он сокрушается о том, что в Латинской Америке не знают советской поэзии, и размышляет, как бы этому помочь. Переводы в испанском издании журнала «Советская литература» этой задачи не решают; они сделаны устаревшим, мертвым языком. Люди, выполняющие эти переводы, — хорошие, честные люди, но они, к сожалению, уже несколько десятков лет оторваны от испанского языка, живого, сильного, развивающегося и обогащающегося.

Следует найти другие пути: надо бы посылать в Советский Союз молодых латиноамериканских поэтов для изучения русского языка и русской поэзии. От них можно будет ждать хороших переводов русских стихов на языки Латинской Америки.

В заключение обеда Неруда со всей свойственной ему категоричностью и определенностью ставит вопрос о том, что мы непременно должны задержаться, раз уж мы так далеко добрались. Надо дать телеграмму в Союз писателей, сослаться на его мнение. Надо взглядеться в Чили как следует. С этим трудно не согласиться.

Неруды пробудут в Сант-Яго до конца недели — сегодня четверг, — у Пабло какое-то выступление и много дел, а в воскресенье утром, захватив нас с собой, уедут в Исла-Негра. С тем мы и распрощались.

Двадцать третьего декабря утром Неруды приехали за нами в условленное время, с аккуратностью, от которой мы в Сант-Яго уже начали было отвыкать. Оказалось, что с нами едет много народу: в машине с Нерудами я и еще двое пассажиров — Рубен Асокор и поэтесса Праксис Уррутиа, а мои спутники едут во второй машине, с Делией Домингес и ее подругой Адрианой. Пабло усаживает меня вперед. Я отказываюсь — у него болит нога, и ему будет удобнее впереди, — но он непреклонен:

— Вы должны смотреть Чили!

Ну что ж, буду смотреть Чили.

Долго тянется город, вот и аэродром, на который мы прилетели, а дальше — страна Чили, поля, пастбища, фермы, изредка асиенды — иные из них очень старые, колониальных времен. Тополя и акации великолепно уживаются с эвкалиптами и пальмами и какими-то уж вовсе тропическими, ярко цветущими деревьями. А то вдруг по обеим сторонам дороги тянутся виноградники, то тут, то там вспыхивают подсолнухи. Кактусы, цветущие красными цветами, растут иногда и на полях ровными рядами, словно их посадили. Или и в самом деле посадили? И вдоль всего пути в пейзаже активно участвуют рекламы.

Пабло все время на что-то обращает мое внимание — то на старую асиенду, то на какое-нибудь редкое дерево. Очевидно, у него очень болит нога, судя по тому, что он ни разу не выходит на стоянках. Но он ни на что не жалуется, как всегда приветливо оживлен и всем доволен, болтает, шутит, иногда они с Рубеном Асокором чудесно поют чудесные чилийские песни.

Мы останавливаемся в пути на большой автомобильной заправочной станции в городке Мелипилья, что значит по-араукански «четыре черта». На нас накидывается туча продавцов, торгующих бутербродами и разными сладостями. Тут мы встречаемся с пассажирами второй машины, заходим вместе выпить кофе. Делия везет их с отчаянной скоростью и лихостью и при этом все время успокаивает, что в случае чего, так ведь Адриана — хирург.

И вот уже впереди засветился океан. Сан-Антонио — портовый город в долине, с железнодорожной станцией у самой воды. Рыбный рынок, где от восторга заходится сердце, — масса даров океана. Какие-то чудища, морские ежи, устрицы, крабы, огромные рыбины... Догадавшись, что я спрашиваю их название, какой-то скучающий продавец — покупателей-то мало, — услышав, как меня называют мои спутники, охотно кричит мне:

— Маргарита! Корвина!

Обнаруживаю рыбную лавку по имени «Спутник» и охотно отдаю ее владельцу остатки своих московских значков. Вернее, дарю ему сперва один, со спутником, но он приходит в такой восторг, что просит еще для своего сына и для своих друзей.

Город Картахена — очень старый город с крутыми улочками. Все тут — и особенно имена Сан-Антонио, Картахена — напоминает о плавании Магеллана, о названиях судов, об именах капитанов.

И наконец — я гляжу вперед, туда, куда указывает Пабло, — Исла-Негра, что означает «черный остров». А на деле и не черный и не остров.

Пабло построил свой дом больше двадцати лет тому назад, первый дом на этом диком берегу. Метр земли стоил тогда одно песо. А сейчас вокруг вырос курортный поселок, и квадратный метр земли стоит шесть тысяч песо. Но поселок не изменил характера места, полюбившегося поэту, — берег здесь по-прежнему пустынный, потому что Тихий океан совсем не всюду разрешает людям лезть в свои волны, выделяя для этого занятия весьма не частые пляжные местечки.

Машина въезжает во двор, к большому каменному дому. Задыхаясь от счастья, навстречу бегут два рыжие чао-чао — китайские лайки — и, не дав хозяевам выйти, вскакивают в машину. Коротконогая служанка и какой-то деревенского вида парень приветствуют нас и волокут из машины вещи и продукты. Выхожу, и на меня сразу же обрушивается грохот океана, который присутствует во всем и стоит вокруг, как воздух.

Дом из дикого камня, очень толстые стены, крыльцо выложено камнем, в него вмурованы раковины. Тут же у дома, во дворе, накрыт длинный стол, за который может усестся множество народу. Стол сделан из одного распиленного вдоль огромного ствола, положенного на чурбаки, вкопанные в землю. По тому же принципу сделаны и стулья. К дому сейчас что-то пристраивается, но сегодня работ нет: воскресенье и завтра сочельник. Наверное, на этом месте тоже был когда-то океан и отступил недалеко, изрыв и исковеркав берег своими волнами и даже оставив на нем свои, лично ему принадлежащие предметы: камни, ракушки, охапки травы, которая могла бы расти и под волнами, какие-то обломки, похожие на останки разбитых кораблей. Огромный ржавый якорь брошен весьма живописно на один из уступов берега. На скале, выступающей над обрывом, словно задержалась большая деревянная статуя женщины в тунике, со слепыми, как у сибиллы, глазами — носовая фигура старого корабля. Под ней выложенная из камня скамья.

Все эти детали — и якорь и скульптура — выглядят так естественно, будто их в самом деле забыло или выбросило море. Потом я узнала, что это не так: это хозяин дома — поэт его и художник — нашел их на белом свете и принес к себе домой. А потом еще сделал их стихами, написав «Оду якорю» и рассказав в одном из сонетов о деревянной девушке.

После обеда Пабло, извинившись, уходит отдыхать. Мы спускаемся вниз, на берег, расстилаем на чистом песке шерстяные индейские пончо — это нечто среднее между одеялом и плащом, а точнее и то и другое, — предусмотрительно захваченные Делией. У нее все индейское — она и нам дарит шерстяные расшитые индейские сумки. Она ведь выросла на юге, где живут индейцы. Мы увидим эти места, они очень красивы и своеобразны — озера, горы, вулканы...

Была дерзкая мысль искупаться, но от нее очень быстро пришлось отказаться — вода холодная, и огромные волны со страшной силой бьются о скалы и далеко заливают берег. Матильда говорит, что тут всегда волны и никогда нельзя купаться. Но мы лежим на ветру в купальных костюмах, бродим по мокрому песку, залезаем на скалы, и нас нет-нет да и обдаёт морской пылью и брызгами. И это чудесное ощущение освежает и снимает городскую усталость.

Ночевать мы будем в гостинице «Санта Елена», там нам уже готовы комнаты. Это рядом, в нескольких десятках метров от дома Неруды, и тоже на берегу океана. Наши комнаты, куда нас проводят из внутреннего дворика, тоже наполнены океанским громом и ревом и соленым

его дыханием. Наверное, тут будет чудесно спать после душных и шумных номеров в «Крийоне».

Вечером, вернувшись к Нерудам, я разглядываю дом изнутри. Стоящий лицом к океану, он задуман, как корабль. Мы сидим в большой комнате, обставленной, как кают-компания: здесь тоже присутствуют старые фигуры, украшавшие корабли, модели кораблей, старая подзорная труба, морские карты, морские приборы, редкости, сокровища и эмблемы. На стене — огромная старинная гравюра какой-то морской баталии. На другой стене среди прочих украшений висит белая капитанская фуражка. За стеной грохочет океан. Огромные волны разбиваются о скалы, и дом всякий раз сотрясается от их могучих ударов. Но в доме надежно и уютно, горит огонь в камине, сложенном из больших круглых камней, отшлифованных морем.

Пабло просит нас подняться к нему; он лежит: очень болит нога, решил не вставать к ужину, чтобы завтра быть в форме. По крутой лесенке с поручнями, похожей на трап, мы поднимаемся в башню, как на капитанский мостик. Там одна комната, в которой размещаются маленький кабинетик и спальня. Здесь тоже очень интересно, множество картин, редких изданий, всевозможных словарей, индейских кустарных вещей, предметов старины, свезенных со всего света. Как получается такой удивительный дом? Его нельзя устроить, он должен сложиться сам собой, как жизнь человека.

Пабло в голубой рубашке лежит в огромной постели. У него болит нога, но это чувствует только он, а вам он этого не показывает. Вы видите только, как ему удобно и приятно лежать в этой огромной постели, вы почти видите, как он получает от этого удовольствие. Он просит нас сесть, ему нужно с нами поговорить. Есть вопросы, свою точку зрения на которые он хочет нам изложить, для того чтобы мы, вернувшись домой, в свою очередь рассказали об этом в Москве, в Союзе писателей.

Пабло считает необходимым, чтобы какому-нибудь советскому писателю была предоставлена возможность приехать в Чили на несколько месяцев с задачей написать книгу об этой стране, может быть, о каком-нибудь одном ее интересном и характерном районе. Пожалуй, лучше всего о юге: он очень колоритен и богат интересным материалом.

Не менее целесообразно было бы приглашение в СССР чилийского писателя с той же задачей — написать книгу о нашей стране для чилийцев. И снова тот же сюжет, о котором была речь за обедом в Сант-Яго: о том, чтобы найти возможность посылать в Советский Союз молодых латиноамериканских поэтов — отбор может производиться каждой страной по конкурсу — для изучения русского языка, для подготовки серьезных переводчиков советской поэзии на языки Латинской Америки.

Мы ужинаем с Матильдой при свечах в столовой за большим круглым столом. Топится камин, и горят свечи, и нам славно, просто и вкусно в этом доме, наполненном океаном. В разгар ужина со страшным грохотом врывается коротконогая Мария, очень встревоженная тем, что звонили из гостиницы, что дверь запирают в одиннадцать... Ее успокоили. Мы ушли после двенадцати и, найдя ключ в условленном месте, под половичком у двери — как похоже живут люди! — благополучно попали в свои комнаты и с удовольствием заснули в удобных постелях, оглушенные грохотом океана.

Пабло встретил нас на другое утро на ногах. В черном свитере, туго облегающем его могучую грудь, в вязаной шапочке, он органично вписан в океанский пейзаж — такой старый и бывалый мореход: кормчий или китобой. Мы поехали по побережью в машине дальше, за Исла-Негра, и Пабло, как хозяин, показывал нам свой край.



А на обратном пути заглянули в две церкви, чтобы узнать, где можно будет послушать рождественскую службу, так называемую петушиную мессу, но в одной сразу сказали, что мессы не будет, а в другой, маленькой старой церковке, какая-то старушка, подметавшая паперть, грустно посетовала на то, что какая уж теперь «*misa de gallo*». Все всё забыли, никто даже не пришел помочь священнику построить вертеп, пещеру с яслями и со всеми подробностями — иногда даже в ясли кладут живого младенца. Рубен Асокор вспоминает, что и его в грудном возрасте использовали на этой работе.

Не помню, как зашел разговор о живописи и об абстракционизме. Пабло говорит о том, что абстракционизм возник не случайно, что он — следствие целого ряда новых явлений в нашей жизни, в науке. Новейшие сверхсилыные микроскопы открывают глазу зрелища глубоко абстрактные. Земля с космических высот, наверное, тоже выглядит абстрактно. И не следует возводить абстракционизм в степень страшной угрозы, — никакой угрозы он не представляет, все равно искусство неизбежно вернется к реализму. Не вернется, а снова дойдет до него, дорастет до него и заговорит снова понятным людям, простым и великим языком о том, что для людей важнее всего и дороже всего. Он лично не любит и не принимает душой абстрактное искусство, допуская возможность его существования только с декоративной целью, но относится к нему спокойно и терпимо, понимая неизбежность этого явления.

Перед обедом Пабло угощает нас чудесным старым хересом в большой гостиной — кают-компани. Он опять очень оживленно и интересно рассказывает о политической жизни в Чили. Сейчас сильнее всех христианско-демократическая партия, верно угадавшая главную нужду народа — землю. Христианские демократы обещают народу земельную реформу и в виде аванса даже разделили между самыми безземельными несколько больших поместий, принадлежащих церкви. Для завоевания популярности этой партии подчас приходится быть левей, чем ей хотелось бы...

Пабло не раз уже, говоря о чилийском стремлении к независимости, о всеобщей политической активности, повторял, что это распространяется даже на детей. Сейчас, за обедом, продолжая речь о разных партиях, о их значении, давая им всем меткие и точные политические характеристики, вдруг оборвав себя, он обращается к двум ребятам, сидящим с нами за столом, с вопросом, за какую из существующих партий они бы отдали свои голоса. Мальчики — пятнадцатилетний Хуан, племянник Матильды, и одиннадцатилетний Энрике, сын вдовы-рыбачки, живущей по соседству, и большой приятель Пабло, — оказались лукавцами.

— Ах, дон Пабло, я еще, может быть, раньше умру, что же мне сейчас об этом задумываться? — ускользнул Энрике.

А Хуан очень высокомерно заметил, что, может быть, до той поры, когда он должен будет выбирать, возможностей выбора станет больше и появятся какие-нибудь новые партии, и, может быть, они будут куда лучше.

Столь уклончивые и даже оппортунистические ответы явно не устроили дона Пабло. Его лицо на мгновение приняло то самовыключающееся характерное выражение, которое означает, что вопрос исчерпан, обсуждению и разжевыванию не подлежит.

Он интересно рассказывает о компартиях других стран Латинской Америки, о ярких политических фигурах, о характере жизни и деятельности коммунистов южноамериканского континента. Он глубоко знает истинное положение дел, характеризует людей, руководителей, анализирует настроения. Многим он гордится, многое его тревожит. Он глубоко обеспокоен положением вещей в Бразилии. Увы, он оказался

прав в иных своих опасениях; некоторые предвиденья, которыми поделился с нами Пабло в декабрьский полдень 1962 года, к сожалению, скоро стали фактами.

Пабло очень активен как коммунист, и при своей популярности и авторитете он бесконечно много значит для партии и для народа. Огромный успех имела его брошюра «С католиками за мир!», написанная в ответ на благостную, весьма решительную и глубоко антикоммунистическую пастораль, с которой обратился к верующим епископ Сант-Яго.

Антикоммунистическая пастораль! — довольно неожиданное словосочетание. Бывают, между прочим, и прокоммунистические пасторали, и это тоже, по моему, довольно противно.

Итак, в этом обращении епископ очень проникновенно и вдохновенно поддерживает верующих во всех их самых решительных и прогрессивных требованиях, но убеждает, что в борьбе за эти законные требования их никто больше не поддержит, никакая партия, и коммунисты в том числе, — никто, кроме церкви, которая во всем и всегда с ними и за них.

Пабло Неруда очень просто и серьезно напоминает людям о тех крушениях, которыми кончались самые замечательные общественные начинания, когда люди в борьбе за их осуществление отрекались от своей классовой принадлежности и доверялись церкви, неизменно предававшей их. Твердость и уверенность тона, серьезность и глубина постановки вопроса, дорогое чилийцам имя их собеседника — все это произвело сильное впечатление и создало брошюре большой успех. Пабло много работает и всегда помогает партии.

Мы простились ненадолго, до вечера. Вечером на праздничный ужин к Неруде придет из Вальпараисо Ивенс, тот самый Йорис Ивенс, — он снимает сейчас фильм о Вальпараисо.

После чудесного купания я крепко заснула и проснулась оттого, что где-то снаружи, за дверь, во внутреннем дворике послышались шаркающие шаги и какой-то бесцветный голос меланхолично позвал:

— Пенелопе, Пенелопе!

Я улыбнулась и имени и голосу — где еще на белом свете можно вдруг так буднично и меланхолично звать кого-то забытым античным именем Пенелопе, и кого это так зовут, и что это за Пенелопе? Шаги пошаркали-пошаркали, голос позвал-позвал, ответа не было — и во дворике снова наступила тишина, словно бы все это только приснилось. Я начала понемногу освобождаться от сладкого оцепенения и возвращаться к реальной жизни.

Когда через полчаса мы зашли выпить чаю в пустой в этот час ресторан гостиницы, я вдруг услышала тот же меланхолический голос, так же уныло зовущий Пенелопе. С этим зовом в ресторан вошел какой-то старик, и на его голос неожиданно, сразу и очень бойко откликнулся молодой и дюжий официант мужского пола. Вот тебе и Пенелопе!

Мы замешкались, и Матильда прислала за нами Хуана. Ивенс невысокого роста, седой, все время улыбающийся чуть смущенной милой улыбкой. Я думала, он больше, массивнее, а главное, старше. И, странное дело, когда я увидела его в Москве через полгода, следующим летом, на кинофестивале, он и в самом деле оказался старше, даже можно сказать — старше.

Эва Фишер, его жена, польская поэтесса, молодая хорошенькая женщина, говорит по-русски, и у нас, разумеется, нашлись общие знакомые и в Москве и в Варшаве, и это было приятно. Топился камин, на столе горели свечи. Матильда вручала всем рождественские подарки. Мой был от Пабло: роскошное издание «Ста сонетов о любви».

После ужина Матильда все-таки повезла нас троих к рождествен-

ской петушиной мессе в церковь Картахены. Церковь была полна народу, и мы слушали проповедь, стоя сзади в толпе. Но когда проповедь закончилась и народ стал расходиться, Матильда повела нас поглядеть сооруженную пещеру с младенцем в яслях, животными, волхвами, святым семейством и прочими подробностями. Старая, добрая игра человечества! Старые, милые его игрушки! «Все яблоки, все золотые шары...»

На пути назад Матильда набила в свою машину много народу, пригласила каких-то пожилых женщин — очевидно, мать и бабушку Энрике, которые встретились нам в церкви. Ребята ехали почти в багажнике.

Я прощалась с Ивенсами и с Пабло, зная, что мы еще увидимся — Пабло пригласил нас к себе в Вальпараисо встречать Новый год. И мы побывали там на этой неповторимой встрече Нового года — я еще напишу о ней, — и он был снова хорош и ограничен во всем — и когда с плоской крыши своего дома отдавал в рупор шуточные приказания стоящим в порту кораблям, и когда, презрев боль в ноге, от души плясал с плясуньей-паскуанкой ее странный и диковатый полинезийский танец. Но все-таки в мою душу он вошел навеки тем Пабло Нерудой — хозяином дома в Исла-Негра, дома, стоящего перед лицом океана, дома, наполненного океаном, его ревом, его грохотом, его солью и свежестью, его несравненным величием и огромностью.

Я только теперь поняла поэзию Неруды, ее странные ритмы. Это ритмы океана, ритмы, в которых живет Пабло, ритмы, которые живут в Пабло, которые слышит только он. Их трудно перевести, не знаю даже, возможно ли, да и нужно ли? Может быть, эта поэзия и не нуждается в переводе? Слушая ее в подлиннике, каждая чуткая душа поймет ее огромность и могучую наполненность, как понимают без перевода великую музыку, как понимают по-своему шум ветра, грохот океана.

## Вулкан

После рождественского ужина и поездки в церковь Картахены я засыпала в блаженной уверенности, что нам не грозит ранний подъем, о котором мы на ходу условились с Рубеном Асокором. Он, кстати, еще оставался у Неруды, когда мы ушли спать. Тем невероятнее было то, что он разбудил нас в условленное время, когда нам еще так сладко спалось под шум океана. Он был очень деловит и поторапливал нас, заявив, что пора ехать для того, чтобы успеть осуществить свой план — поездку в Кордильеры. Эта поездка к какому-то вулкану была давно назначена на этот день.

Все было в это раннее утро сухо и деловито. Никаких машич в нашем распоряжении уже не было, и Рубен распорядился снести наши вещи на остановку автобуса. Вот и автобус показался из-за поворота, большой, дребезжащий, совсем не комфортабельный и не переполненный в этот ранний час праздничного дня. Первый день рождества! Кому в этот день и так рано ехать куда-то автобусом?

На ходу выяснилось, что все сложнее, чем предполагалось. Этот автобус в Сант-Яго не идет, он довезет нас только до Сан-Антонио, оттуда придется еще как-нибудь добираться. Можно бы, разумеется, на такси, но, вероятно, это будет дорого стоить. Все быстро образовалось: мы приобрели билеты на автобус, очень удобный, без остановок. Пришлось ждать его минут сорок, но сидели мы у океана, у самой воды, и это было приятно и прохладно, — несмотря на раннее утро, уже чувствовалось, что день будет жаркий.

Без всяких происшествий в пути, знакомой уже дорогой, где-то около двенадцати прибыли мы на конечную станцию автобуса на окраине

Сант-Яго. Рубен повел нас через мощенную булыжником площадь прямо в какое-то закусочное заведение, объяснив, что хозяин его друг, что тут мы закусим и отдохнем и отсюда поедем дальше. Нас приветливо встретили, усадили за столик и угостили едой типа солянки, в горшочке. Рубен объяснил, что это народная еда, почти деревенская, и был очень рад, что нам она показалась вкусной. Хозяин подсел к нашему столику и выпил с нами, — он хотел назвать свою закусочную «Спутник», но муниципалитет не разрешил этого, и теперь она называется «Сателлит».

Народа вокруг было много — простой люд рабочей окраины, пришедший отдохнуть в праздничный день. Некоторые просто беседовали, попивая пиво или сухое вино, другие увлеченно играли в какую-то местную карточную игру. Шли жаркие споры явно о политике, чилийцы это любят, но все было мирно и дружелюбно. Однако время идет, и как же будет с Кордильерами? Рубен ходил куда-то, звонил кому-то по телефону. Все было по обыкновению смутно. Наконец появилась Праксис Уррутиа — в час дня за нами сюда придет ее брат на машине, и они-то и повезут нас в Кордильеры. Рубен прощается — он с нами не поедет и целиком передает нас на попечение Праксис. Вместо брата приехала сестра и повезла нас к ним домой, где тоже пришлось из вежливости задержаться. И наконец, уже в разгар дня и жары, мы выехали впятером: нас трое, Праксис и Оскар, ее брат, — за рулем машины. Я смутно представляла себе, куда мы едем: в Кордильеры, к какому-то вулкану, который то ли действующий, то ли потух... Наш водитель сразу же заявил, что по пути мы должны непременно заехать на Писсину. Мы уже знали, что Писсина — это бассейн. Стоит ли тратить на это время? Нет, непременно, тем более что это по пути. Он твердил это с каким-то азартом, и хотя было уже много времени, а ехать нам было далеко, точно никто не мог сказать сколько, и хотя было нестерпимо жарко, стало ясно, что все возражения напрасны и что надо подчиниться течению событий.

Это было действительно по пути — сооруженный довольно высоко в горах искусственный водоем, бассейн, который после вчерашнего океанского пляжа показался нам убогим. Я почти заставила себя искупаться в этой большой, общей, переполненной народом ванне, но все-таки это освежило и оживило меня. Оказалось, что искупалась только я одна; мои спутники, по разным обстоятельствам, купаться не стали. Даже бедный Оскар, который так рвался сюда, — он, оказывается, просто забыл дома свои купальные трусы. Они с сестрой в первый раз в жизни сюда приехали, до сих пор им это никогда не удавалось. Много работы, наверное, да и кто его знает, разрешает ли отец пользоваться машиной для забавы. Ну что ж, поехали дальше! В Кордильеры, на вулкан, бог весть куда!

День уже клонился к закату, когда мы добрались до городка Сан-Хосе на Майпо. Майпо — горная быстрая река, и мы несколько раз переезжали через нее, а потом долго ехали по ее берегу. Сан-Хосе на Майпо — маленький городок в горах, чем-то напоминающий наш Нальчик, только много меньше. Мы прошли по площади, на которой разбит сквер, поет радиорупор и детишки играют в кегли, посидели на скамье перед лавчонкой-баром, у дверей которой стояла убранная елка, уже несколько пожелтевшая от жары; перевели дыхание и поехали дальше. Дорога все хуже, все разбитее, все круче, цель путешествия все туманнее и дальше, солнце все ниже, Оскар все мрачнее и молчаливее. Еще бы! Какое будет ему возвращаться назад ночью, в темноте, по этой крутой и разбитой горной дороге. «Не вернуться ли?» — взываю я к Стельмаху. «Поехали дальше!» — неумолим он. О, упрямство человеческое! Думала ли я тогда, что очень скоро буду благодарна этому упрямству. Не будь его, мы, разумеется, давно бы повернули назад и так бы и

не узнали, что это была за цель, до которой мы так бы и не добрались. Махнув на все рукой — будь что будет! — я перестала воображать себе ужасы обратного пути и отдалась своему любимому занятию — растворению в дороге, в полной отрешенности от всех и всяческих забот, в своих думах, разных и подчас очень далеких отсюда, — то, что я люблю в путешествии больше всего на свете.

Вдруг Оскар съехал с дороги и поставил машину на тормоз. Так съезжают обычно при поломке. Только этого еще не хватало! Мы сидели растерянные.

— Вулкан! — сказал Оскар, выходя из машины и кивая в сторону.

В стороне, чуть поодаль от дороги стояло несколько ветхих строений, а перед нами на шесте, вкопанном в землю, была укреплена дощечка с лаконичной надписью, сделанной на двух языках:

«Volcano. Vulcan».

Мы вылезли из машины и, сойдя с дороги, пошли к поселку, лежащему перед нами. У дороги стояли трое мужчин, выжидающе следящих за нашим движением. Пока Оскар разворачивал и ставил машину, мы подошли к ним и заговорили.

Да, это поселок Вулкан, здесь живут рабочие медного рудника, расположенного на горе. Они кивают вверх, в ту сторону, куда тянется трос канатной дороги, который мы заметили уже давно. Вот туда на гору они и ходят каждый день на работу; канатная дорога — это для породы, а люди ходят пешком. Сейчас, летом, это не страшно, а зимой приходится добираться по колено в снегу. А ведь это несколько километров. Прежде у них были дома получше и ближе к руднику, но их разрушило землетрясение — это было несколько лет назад, — и правительство помогло им построить эти лачуги. Теперь он, считается, потух, этот вулкан, но кто его знает, — наши собеседники кивают головой в сторону одной из вершин, ничем не отличающейся от других. Мы глядим в ту сторону автоматически, уже без всякого интереса, — гора как гора, а вот люди... Условия работы очень тяжелые, оплата низкая: простой рабочий, к примеру, один из наших собеседников, вот этот сухонький, неопределенного возраста, почти в лохмотьях, может заработать в день в лучшем случае полторы тысячи песо. А у него жена и трое ребятишек. Вот этот, помоложе, крепче и поприбранней, он мастер, он зарабатывает две с половиной тысячи песо в день, да и семьи у него нет. Конечно, ему легче...

Пока мы разговаривали с мужчинами, Оскар куда-то сходил и, вернувшись, сообщил нам, что тут можно поесть — одна женщина печет пирожки — эмпанадос — на продажу, и он уже с ней договорился. Это весьма существенно, мы с утра ничего не ели, а сейчас уже около восьми.

Глинобитная лачуга из одной комнаты, без окна, только с дверью, выходящей на какое-то подобие крытого крылечка. Старуха — черная, иссушенная, словно обожженная — у нас на глазах месит и раскачивает тесто, печет пироги. Пока это все делается, она глухим голосом, каким-то тусклым и безнадежным, отвечает на наши расспросы. В этой лачуге живут они со стариком и дочь с мужем и детьми. Старик болен силикозом — он всю жизнь проработал на медном руднике, теперь, на старости лет, получает пенсию тридцать три тысячи песо, то есть примерно двенадцать — пятнадцать долларов в месяц. Дочь с мужем тоже работают на руднике; заработок тоже невелик, а детей пять человек. Они взятыся вокруг, как котят. Подходит дочь — ей двадцать шесть лет, — она вся какая-то заскорузлая, даже не понять, хороша она или нет. Нет, не так: сейчас-то она, разумеется, не хороша, но это вовсе не значит, что она не могла быть хороша. Просто этот свет, этот огонек, вспыхивающий непременно в каждом живом существе, едва занявшись, был очень

бойко и решительно затоптан жизнью, и она уже сейчас, в свои двадцать шесть лет, похожа на обугленный пенек. При взгляде на нее сердце щемит от жалости, так безрадостно ее существование в поселке Вулкан.

Эмпанадос оказались похожими на наши чебуреки, очень вкусные с пылу, с жару и довольно большие. Утолив голод, мы бродим по поселку, встречаем веселую компанию: молодую женщину с детишками мал мала меньше. Все они босиком, и мама и дети, но все очень веселы и довольны жизнью, и это доставляет радость, смешанную с горечью. От мамы мы узнаем, что у них есть школа, а вот доктора нет и добираться до него трудно и далеко, а болеет очень много народу, особенно дети. Они весело прощаются с нами и так же весело уходят, кажется, куда-то в лавку за покупками, даже что-то распевая по дороге.

Мы доходим до околицы. Она, собственно, рядом; там ребята постарше играют в мяч. Жизнь все-таки идет своим чередом. Я думаю о том, как живут старик и старуха — та, пекущая пирожки, — на тридцать три эскудо в месяц. Пытаюсь прикинуть, сколько они могут заработать пирожками — старуха говорила, что она печет их на продажу, многие в поселке их у нее покупают. Пирожок стоит сто восемьдесят песо (а в Сант-Яго, по свидетельству Праксис и Оскара, они стоят двести восемьдесят — триста песо за штуку). Нужна ведь и одежка какая-то, и обувь, и топливо. Зима здесь, высоко в горах, наверное, холодная. А когда мы возвращаемся назад и, проходя мимо дома старухи, киваем ей, она вдруг окликает нас, идет к нам и говорит своим тусклым, беззвучным голосом, что вот она хочет нам сказать, — пусть мы не думаем, они эти пирожки пекут и продают не для наживы, как торговцы какие-нибудь. Нет, весь доход, который они получают, идет в фонд партии, на ее нужды.

— Вот газета на эти деньги печатается, — простодушно объясняет она. — Мы отнимаем у детей, потому что хотим, чтобы было лучше... Мы знаем, какие вы люди, нам сказали, откуда вы приехали, поэтому мне захотелось вам это сказать, — объясняет она свой внезапный порыв.

Уже совсем смеркается, и Оскар поторапливает нас. Путь далек и нелегок. Мы прощаемся и уезжаем с острым ощущением того, что соприкоснулись с чем-то огромным, бесконечно важным и дорогим. В горле сухо, разговаривать не хочется. Хочется подумать и пережить все только что встреченное, и езда в машине в быстро густеющих горных сумерках по вечернеющей дороге очень помогает этому. Вот тебе и экскурсия в Кордильеры! Вот тебе и потухший вулкан! Мы часто слышали в Сант-Яго от наших друзей, когда шел разговор о положении народа: «Мы умеем ждать и умеем сохранять спокойствие». Это разумно, даже мудро, но каково поселку Вулкан?

### Визит к сенатору

Двадцать шестого декабря мы были приглашены в сенат к традиционному сенаторскому чаю. Нас принимал известный писатель и общественный деятель сенатор Балтасар Кастро. Это человек средних лет, для сенатора даже, можно сказать, молодой, очевидно, очень жизнедеятельный и активный, — в витринах книжных магазинов выставлена его книга: публицистика, статьи и речи — с портретом автора в позе оратора на обложке. Балтасар Кастро — большой друг нашей страны, к нам он чрезвычайно расположен, заметно хочет быть как можно внимательнее и предупредительнее. Он водит нас по сенату, приводит даже в зал заседаний, и, сидя на втором этаже в ложе для гостей, мы некоторое время слушаем речь одного из сенаторов, горячо выступающего за повышение

заработной платы. Потом мы, разумеется, пьем чай — уже не парламентский, а сенаторский, знакомимся и беседуем.

Я запомнила сенатора Хайме Барраса — это один из четырех сенаторов-коммунистов. Пожилой человек, он очень хорош собой, высокий, стройный, седой, и у него удивительно благородное, доброе лицо. Он сенатор от Вальпараисо, по профессии врач-педиатр, и это удивительно органично — так и видишь его в белом халате у детской постельки. Дети должны его любить и не бояться. Аристократ по происхождению, он, пожалуй, самый популярный сенатор в Чили, неизбежно набирающий самое большое число голосов. Через несколько дней мы слышали его речь на многолюдном и пышном собрании писателей. Удивительно мягко, свободно и в то же время скромно говорил он о литературе и ее величии. Без всяких оговорок, как хорошо знакомые и любимые, называл имена Толстого, Чехова, Достоевского.

— Кто помнит о том, кто правил Испанией во времена Сервантеса или Францией во времена Флобера?

Балтасар Кастро надеется видеть нас в своем поместье в провинции О'Хигинс. Это будет нам во всех отношениях интересно — мы еще немного проедем по стране, по очень характерной дороге, увидим истинно чилийское большое сельскохозяйственное поместье, познакомимся с тем, как ведется хозяйство и как живут рабочие. Он постарается, чтобы мы увидели много интересного и типичного для Чили — особенно сейчас, в дни рождественских праздников.

После долгого обсуждения — Балтасар Кастро очень внимателен ко всем нашим обстоятельствам, к нашей мудреной и жесткой программе: каждый день и вечер чем-то занят — принимается общее решение сделать это завтра. Завтрашний день и вечер определенно свободны.

— Это ваше последнее слово? — деловито осведомляется сенатор и, словно бы закрыв на этом прения, уславливается о дальнейшем.

Он сам уедет к себе сегодня с вечера и будет ждать нас. Завтра в девять часов утра за нами заедет на машине его секретарь и повезет нас в поместье. На том порешив, мы отправляемся в Институт чилийско-советской дружбы.

Нас встречает приветливый крепыш, президент института — доктор Миранда. Тут много наших друзей — писателей и журналистов. Пришла познакомиться с нами художница Делия дель Корриль. Мы знакомы — она несколько раз была в Москве. Легкая, прямая, с огромными глазами, она с гордостью и радостью вспоминает о своей прошлогодней выставке в Москве.

Пришел наш торгпред и единственный официальный представитель в Чили — Лев Николаевич Наумов с супругой. Они привели с собой Владимира Алексеевича Соболева, ответственного представителя Внешторга, который приехал в Латинскую Америку после пребывания в Соединенных Штатах и намеревается произвести здесь кое-какие закупки, заключить кое-какие контракты.

Меня знакомят с огромным, могучим и лучезарным человеком. Это — профессор Зверев, Митрофан Степанович, возглавляющий группу советских астрономов, приехавших в Чили на научную работу. Он в свою очередь представляет мне одного из участников этой группы Владимира Сидоровича Бедина. Очень интересно, радостно и как-то по-особенному волнующе встретить их.

Астрономы зовут в гости к себе в обсерваторию Серра-Калан, под Сант-Яго, и в то время, как я подробно записываю такие мудреные для меня названия улиц и их сложное чередование, рядом со мной появляется смущенный и неуверенный человек, который очень взволнованно и как-то жалко-настойчиво просит меня только сказать, когда я хочу

поехать, и он доставит меня на машине. Но разве я могу сказать заранее — с нашей-то программой? Как удастся, как вырвется минута, но я непременно поеду, мне это очень интересно и очень хочется. Что же насчет машины... Кто этот человек и чья это машина? Этого никто толком не знает. Вернее всего, какой-нибудь таксист, русский по происхождению, «перемещенное лицо», один из активистов Института дружбы, которого тянет сюда возможность услышать русскую речь, увидеть русских людей, негаснущая в сердце тоска по родине. Бедное перемещенное лицо! Далеко же его переместило!

Тут же, в этой шумной, дружеской суматохе выясняется вдруг, что наш дорогой Рубен Асокор на завтрашний вечер организовал встречу в Союзе писателей — очень важную: будут представители всех писательских организаций Сант-Яго, самые известные писатели, так что ни отметить, ни перенести ее невозможно. Стало быть, не может быть и речи о том, чтобы ехать завтра к Балтасару Кастро: это далеко и мы нипочем не успеем вернуться. Надо немедленно предупредить Кастро, его секретаря, их обоих! Мы так твердо условились, и он будет ждать. Да, да, разумеется, это будет сделано, это уже сделано, можете не беспокоиться — сенатор, разумеется, будет предупрежден.

Из института все едут ужинать к Хуане Флорес — нас уже ждет множество машин. Кроме личных машин некоторых наших друзей, тут же несколько такси с теми самыми русскими шоферами, которым так хочется быть с нами и быть полезными, принять посильное участие во всем этом оживлении. Они набивают свои такси народом и везут всех желающих в предместье, где живет Хуана Флорес с детьми, и рады, что оказались нужны. Только не догадалась я в этой суматохе обратить внимание на то, набрались ли они храбрости тоже проникнуть в дом и гулять вместе с нами. Там было столько народу, столько народу заполнило дворик, где были накрыты столы, столько народу ело и пило, что разобраться во всем этом было не просто. Но думается мне, что и таксисты были в числе гостей, и очень мне хочется теперь уже — тогда было не до того, — чтобы это было так.

Ужин у Хуаны Флорес во дворе — как это принято в Чили в жаркое время в тех домах, где есть эти милые, увитые виноградом дворники, — затянулся сильно за полночь. В гостиницу приехали глубокой ночью, усталые. Ничего, завтра можно отдохнуть попозже; утро у нас, очевидно, свободное, мы ведь не едем к Балтасару Кастро. Вот только не вышло бы неловкости. Точно ли, что он предупрежден?

На другой день мы обедаем у Сесара Годой-Уррутиа. Крошечная квартирка — всего две комнатки в огромном жилом доме на очень людной улице. Обычная квартирка партийных интеллигентов — много книг, знакомые портреты... Я бывала в таких квартирках в Париже, в Монтевидео и в Харькове. Жилища интеллигенции так же интернациональны, как и жилища художников.

У наших друзей для нас есть важная новость: университет Сант-Яго предлагает нам актовый зал для конференции о советской литературе. Это очень знаменательно, потому что вообще-то для того, чтобы получить эту аудиторию, придется по несколько месяцев, а то и по году ждать этой возможности, а тут нам подносят ее на блюде на третье января. На третье января будущего, через несколько дней наступающего 1963 года.

Третье января? Но у нас на второе назначен выезд на юг, ради которого продлено наше пребывание в Чили. Стельмах мрачнеет. Еще бы! Хочется уехать из города, позидать юг, индейцев. Неужели снова ломать программу? Что ж поделаешь, не отказываться же.



Вечером в особняке Союза писателей собирается действительно много народу: крупные писатели, лауреаты всевозможных премий; здесь даже знаменитый Бенхамин Суберкассо, автор известной и по-своему блестящей книги «Чили — сумасшедшая география». Нам о нем говорил Неруда: Суберкассо был заядлым антикоммунистом, но в последние годы, под впечатлением наших «спутников», изменил позицию, заявив, что раньше он не знал правды о Советском Союзе. Это еще никак не означает, что он стал нашим другом — он очень напряжен и недоверчив, — это чувствуется даже при недолгом и отдаленном общении, но во всяком случае заинтересован нами. Это породистый старик, ироничный и саркастический до мозга костей. Занимая место за столом где-то против меня, он не может удержаться от замечания, что подобные разговоры обычно ничего не дают. Не очень-то подбадривающее начало для разговора, но что поделаешь!

Это было то, что в последние годы называют встречей за круглым столом. Характер вопросов и круг интересов определены и ограничены полным незнанием нашей литературы, и я не стану излагать их советским читателям. Я имею в виду советскую литературу — русскую классику, в первую очередь Достоевского и Чехова, чилийцы знают. Но полное отсутствие представлений и знаний не мешает им, однако, остро и раздраженно реагировать на всякую вульгаризацию, выдающую себя за популяризацию. Почти с обидой говорят о примитивности иных предисловий к нашим изданиям, переведенным на испанский язык. А ведь, надо думать, автор предисловия и редактор книги полагали, что для заграницы необходимо все объяснять и разжевывать. Нет, однако! И тут не проходит.

Отшучиваюсь, говорю о том, что я тоже с детства не люблю предисловий, но их ведь можно и не читать. Говорю о том, как огорчительно и затруднительно для общения недоверие к культуре собеседника, с которым и нам приходится сталкиваться. Но ведь, если говорить серьезно, всякое предисловие очень важно для наших читателей за рубежом как еще один источник информации и знания, и они остро чувствуют их неполноценность и не согласны мириться с суррогатами.

Много рассказываем о культуре перевода в нашей стране, о том высоком уровне, на который поднято это дело у нас, о переводах современной мировой литературы.

Рубен Асокор приглашает всех желающих ехать на гору Сан-Кристобаль ужинать с нами. Нет уж, туда я не поеду, у меня на этот раз свои планы. Я уговорила Делию Домингес поехать со мной к нашим астрономам, мы вчера почти условились с ними об этом.

Делия села за руль, захватив с собой свою подругу Адриану, работающую на телевидении. С нами еще поехал Леонардо Койн, чилец, владеющий русским языком и даже преподающий его — он переводил меня за круглым столом. Леонардо два года жил в Москве, изучая русский язык на специальных курсах для латиноамериканцев. Хорошо, что он поехал с нами, без него мы вряд ли нашли бы дорогу ночью, а он ее знал и провез нас без запинки в обсерваторию Серра-Калан.

Нас встретил Владимир Сидорович Бедин. Зверев и двое других астрономов вынуждены были, к сожалению, уехать на какой-то прием; они надеялись, что он начнется раньше и соответственно раньше закончится, но его, как на грех, отодвинули на более поздний час. Владимир Сидорович принимал нас очень трогательно и душевно, поил грузинским чаем, водил по территории — это чудесное место: чистый воздух, полный цветочных ароматов, по контрасту с Сант-Яго почти опьяняет. Наши ученые прибыли в Чили на несколько лет, в соответствии с программой совместных научных работ советских и чилийских исследователей по

уточнению положения более тысячи ярких звезд в небе Южного полушария. Ведь здесь над головой горят звезды, которых у нас и не увидишь или увидишь едва-едва, где-то у самого горизонта: Орион, Южный Крест, Три Марии... Оборудование в здешней обсерватории здорово устаревшее, и пулковцы ждут свою аппаратуру, современные, новейшие сильные приборы, которые плывут в Чили морем. Пока суд да дело, Владимир Сидорович приобрел в Сант-Яго большой, очень мощный бинокль. В него мы и глядели на знаменитые созвездия и туманности этой половины неба.

А у наших ног, у подножья Серра-Калан, лежало, словно второе, опрокинутое, небо в бесчисленных звездах и созвездиях, с множеством весьма туманных туманностей — ночной Сант-Яго. Это наше небо, наши созвездия и туманности, их всю жизнь изучаем и исследуем мы.

Следующее утро началось довольно грозно. В девять часов позвонил секретарь Балтасара Кастро и заявил, что сенатор очень обижен тем, что мы не приехали вчера, как это было твердо условлено. Сообщение о том, что мы не можем приехать, он получил очень поздно, готовился к приему, ждал нас и тревожился, почему мы не едем. Принять нас, как о том просили наши радетели, вместо вчерашнего дня в субботу, 29 числа, сенатор не может.

Очень неприятно и жаль. Случилась бестактная неловкость, в которой мы-то, в сущности, нисколько не повинны.

Наши друзья были очень озабочены случившимся. Нам сказали, что Сесар Годой сидит в сенате, ждет Кастро, только с одной задачей: постараться лично уладить это недоразумение. Он скоро позвонил нам и удрученно сообщил, что Кастро в ужасном гневе и даже разговаривать с ним не стал, повторяя только одну фразу: «Как вы могли так поступить?!»

Как рассказал Сесару секретарь, сенатор с женой с шести часов утра занимались приготовлениями к приему. Был подготовлен праздник с музыкантами и разворот невероятный, и только в три часа дня пришло наконец сообщение о том, что все было сделано зря: гости не приедут. Черт знает как неловко! Да и обидно чертовски. Балтасар Кастро обещал нам показать свое поместье, показать, как ведется сельское хозяйство. Другой возможности увидеть чилийскую деревню у нас уже не будет.

Нет, будет, успокаивают нас друзья, все уже обдумано и устроено: завтра утром мы едем в деревню.

Нас везут Сесар Годой и другой депутат-коммунист — Хуан Асеведа; мы едем в его избирательный округ, недалеко, в ближайший сельскохозяйственный район.

В Чили есть огромные землевладения; некоторые простираются от Анд до моря, но основная масса народа, трудящегося на земле, задыхается от безземелья и нужды. Нам хотели все показать организованно, но какого-то представителя местной власти — старосты, что ли, — не оказалось дома, и мы поехали искать его в поле. Когда мы свернули с дороги по пыльному проселку, нам очень скоро встретились крестьяне, идущие с поля обедать, и мы остановились и поговорили с ними без всякой организации и предварительной подготовки. Это — инкелино, издолщики, которые арендуют землю у помещика, обрабатывают ее своими силами и отдают хозяину половину снятого урожая. Старший в группе, встреченной нами, охотно отвечал на вопросы, но никак нельзя было разобратся в том, сколько ему лет: он явно не знал этого твердо и вообще был не в ладу с цифрами: его возраст никак не совпадал с возрастом его сыновей — подростков и юношей, работающих вместе с ним. Это просто тяжелая, глубокая, извечная безграмотность, с которой ничего не по-

делаешь. Люди эти почти в лохмотьях, в сандалиях на толстой деревянной подошве.

Так как было очень жарко, мы вели разговор, свернув с дороги в маленький дворик крестьянской хижины, стоявшей рядом. Дворик затянут виноградом, как у нас в Абхазии, и вся жизнь семьи протекает здесь. Страшная нищета и грязь, множество старух, детей, тощих собак и шелудивых котят. Заскорузлые, хотя, вероятно, молодые женщины мрачно командуют этим оборванным гарнизоном, а мужчин не видно, они в поле, в чужом поле — такие же издолщичики. А все-таки у этих людей есть свой дом — пристанище на старости лет. Этому уже могут позавидовать чилийские сельскохозяйственные рабочие другой, еще более низкой ступени благосостояния — батраки. В Чили существует два вида батраков: одни работают временно, переходя с места на место, имея возможность то тут, то там что-нибудь приработать, если случится; другие же нанимаются на несколько лет, их могут занять работой в любое время дня и ночи, то есть по сути дела на некоторый срок они продаются в крепостные. Иногда такое добровольное закрепощение длится всю жизнь. деваться-то некуда, а собственного хозяйства на этой работе не наживешь.

Мы заходим в длинный полутемный барак, где за дощатыми столами кормят обедом таких бездомных батраков. Они едят из своих котелков суп, налитый им из общего котла. Мы сидим с ними и беседуем некоторое время, и я не могу отвести взгляда от старика, который сидит несколько в стороне, один, тщательно поглощая содержимое своего котелка. Рядом с ним на дощатом столе лежит большая кость с куском мяса, буквально облепленная черными гудящими мухами. Он даже не пытается их согнать, это бессмысленно. Старик безучастен ко всему на свете: к нашему появлению, к разговору, который мы ведем с его товарищами; он занят только одним: своим котелком, своим супом, чтобы ни капли его не пропало. Съев все, он обтирает котелок хлебом, съедает этот хлеб, а котелок прячет в мешок, который лежит на полу у его ног, и кладет в этот котелок ту самую кость с куском мяса, которую он, очевидно, вытащил из супа и теперь прячет на ужин или, может быть, для кого-нибудь еще более голодного, считая, наверное, что ему здорово повезло на этот раз.

Я видела в жизни всякое, помню и Украину тридцатого года, и московские вокзалы времен раскулачивания, и эшелоны эвакуированных; я бывала и в глухих сибирских деревнях, и в отдаленных уголках нашей центральной полосы в трудные неурожайные послевоенные годы, но нигде и никогда я не видела такой вьезшейся в землю и в кожу нужды, как в том домике у дороги, такой извечной и безнадежной нищеты, как у того старого батрака.

Потом в маленьком городе, этаким подобии нашего районного центра, где живет депутат Хуан Асеведа, в его доме, небогатом, но, однако, вполне благополучном и достаточном, за вкусным, сытным и чистым обедом, которым нас радушно потчевала хозяйка, мне нет-нет да и виделась та облепленная мухами кость на дощатом столе.

У депутата — дочь-школьница и сын, который нынче должен поступать на медицинский факультет. Очень трудные экзамены — тревожится мать — как бы не провалился; он хоть и способный и готовится серьезно, но ведь экзамены — это всегда случай. И толпы желающих. А если провалится, что тогда? Сесар Годой обещает помочь: он знает человека, от которого многое зависит. Лицо матери принимает умоляющее выражение, — ах, если бы это было возможно! На мужа у нее надежды нет, он ведь для семьи никогда ничего не делает, только для других людей. Все для других людей. Она говорит это без осуждения, покоряясь неизбежной судьбе. Депутата и вправду вызывают во время обеда из-за стола, он

выходит и долго не возвращается. Вот так всегда, вздыхает жена. Что ж поделаешь, иначе нельзя: люди приходят издалека со своими бедами и горестями, всех надо выслушать, всем надо помочь, вот для близких сил и не остается. Так что если бы Сесар Годой, если бы только это было возможно... Сесар обещает, он постарается. Боже, как похоже живет человечество!

После обеда наша поездка продолжается. Мы долго едем полями, садами, проселками, пока не добираемся до деревни Павильоне. Она чем-то похожа на наши степные украинские села: широкая пыльная улица, обмазанные глиной стены и невысокие заборы из камней. Еще одна крестьянская семья. Свой домик, клочок земли, на котором работают только женщины — старуха с невесткой. Сын старухи — муж молодой женщины — батрачит в ближайшем большом поместье. Старуха еще очень крепка и бодра, такая же пропеченная, как другие крестьяне, с очень явной индейской кровью. Она — глава семьи, все держится на ней и всем заправляет она. У нее семеро внуков — шесть мальчишек и одна девочка, — куда ни глянь, отовсюду глядят ребячьи черные глаза, ребячьи прелестные, хотя и замурзанные, мордочки. Мать старается на ходу придать им более пристойный вид: одному утирает нос, другому приглаживает вихры, третьего — очевидно, любимого — я вижу, как она торопливо умывает. Он и правда чудесный, этот умытый.

Во дворе течет нечто вроде арыка с мутной водой на дне. Да, отсюда берут воду для поливки огорода. Теперь — только для поливки, а до недавнего времени эту воду и пили тоже. Но теперь благодаря господу-богу и Хуанито — так ласково и фамильярно называет старуха своего депутата — им провели воду.

Нас ведут к водопроводной колонке на улице через дорогу. На цоколе ее выбита надпись: «Благодаря стараниям депутата Хуана Асеведа из этого крана 12 августа 1962 года хлынула вода». Это настоящий памятник. Хуан Асеведа скромно улыбается, стараясь скрыть переполняющие его чувства. Можно бы и не скрывать: его счастливая гордость абсолютно законна, ему есть чем гордиться, он молодец. Он вообще очень популярен: всюду написано его имя, снабженное всяческими восторженными восклицаниями, даже на быках одного моста, которым мы проезжаем. Он ни разу не обращает на это нашего внимания, но мы и сами все замечаем.

На обратном пути наши хозяева решают завезти нас в гончарную мастерскую. Таких мастерских много в этой местности, в деревнях, которые мы проезжаем, и у дороги, к краю которой они выставляют для демонстрации свои изделия. Но нас везут в какую-то знаменитую, с давними традициями. Нас встречает пожилая женщина с добрым лицом, таким любящим, таким женственным и материнским. Как странно, что она с таким лицом осталась одинокой и всю жизнь прожила с матерью, не имея своей семьи. Почему? Мать ее, глубокая старуха, прикована к креслу. Это кресло стоит в саду, большом и запущенном, с прудиком, в котором плавают утки. Большой старомодный деревенский дом со старомодной мебелью. На каждом шагу мы натываемся на признаки гончарной мастерской, но хозяйство явно запущено и идет к упадку. В помещении, где на полках расставлены гончарные керамические изделия, нам предлагают выбрать что-либо на память. Соблазнов много, но мы выбираем несколько мелких вещиц — каково везти чудесные огромные сосуды, фигуры зверей, очень изобретательные и своеобразные. Нас просят написать несколько слов в книгу отзывов — мы делаем это с охотой и рады встретить в этой книге русские слова, написанные побывавшим здесь Константином Симоновым. И тут обрадовались депутату, и мать и дочь очень привечают

его. Эти женщины, очевидно, тоже душевно и скромными своими материальными возможностями поддерживают прогрессивные силы страны.

Мы приезжаем в Сант-Яго поздним вечером, но я, оказывается, вовсе не устала и выхожу еще побродить одна.

Так по вине обстоятельств в этот длинный летний день, один из последних дней долгого и горького для меня 1962 года, я повидала обыкновенную чилийскую деревню. А с Балтасаром Кастро и его красивой женой мы встретились через несколько месяцев в Москве, и я снова потужила о том, что не попала к ним в поместье, не побывала на деревенском празднике с музыкантами.

### Feliz año nuevo!

Едем в Вальпараисо с одним из наших друзей, депутатом парламента от этого города.

Вальпараисо — один из интереснейших портовых городов мира, с бурным прошлым. Его звезда несколько померкла после того, как прорыли Панамский канал. Сейчас Вальпараисо фактически слился с городом Винья-дель-Мар, расположенным рядом. Они соединены мостом и, в сущности, являются одним большим городом с двумя частями и центрами, очень разными по своему характеру. Вальпараисо — портовый и торговый, трудовой и рабочий город, а Винья-дель-Мар — город курортного типа, без промышленности и суеты, с великолепным купаньем. Пабло Неруда предпочитает Вальпараисо с его характерностью и выразительностью — курорта ему и в Исла-Негра хватает. После того, как несколько лет назад изменились его семейные обстоятельства, он, живя постоянно в Исла-Негра, сделал своей городской резиденцией Вальпараисо. Там мы и будем завтра ночью встречать Новый год. А сейчас мы едем в Винья-дель-Мар, в дом одного из здешних друзей.

Мы едем через Кордильеры де ла Коста, то есть Береговые Кордильеры, проезжаем перевал, откуда открывается великолепный вид далеко и широко кругом. Чудесная горная дорога с живописными долинами, похожая, впрочем, на другие живописные горные дороги. Только вдруг ни с того ни с сего торчит какая-то пальма или огромный кактус, и кажется, что это нарочно, что это не в самом деле.

Дорога раздваивается на два рукава. Слева остается Вальпараисо — мы видим издали гористый рельеф, напоминающий наш Владивосток, его дома и дымы судов, стоящих в порту, — а мы едем вправо — в Винья-дель-Мар, проезжаем какой-то канал, фонтаны и каскады и попадаем в зеленый, чистенький, добропорядочный городок. Это — Винья-дель-Мар.

Дом, где мы остановились, — один из многочисленных двухэтажных коттеджей с крошечным двориком-садиком и гаражом при доме. Хозяина нет, он на пляже, жена его — активистка в Обществе чилийско-кубинской дружбы — уехала на месяц на Кубу. Этому не помешало то немаловажное обстоятельство, что она мать четырех дочек, из которых старшей тринадцать лет, а младшей полтора года. В доме без хозяйки мало порядка, это чувствуется сразу, но это никого не смущает. Хозяин дома даже не стал дожидаться гостей и отправился на пляж, не нарушая своего обычного распорядка. Мне это нравится — это и нас ни к чему не обязывает, и дает и гостям право чувствовать себя много независимее, чем когда вам изо всех сил дают понять, что ради вас и из-за вас разбиваются в лепешку и ломают весь привычный ход жизни и порядок дня в доме.

Нас увозит к себе президент здешнего Института чилийско-советской дружбы профессор-хирург Хосе Гарсиа Той, очень уважаемый и

любезный господин. У профессора эlegantный дом с изумительным садом, полным редчайших деревьев и цветов; почтенная хозяйка дома, сын — студент, занимающийся океанографией, биологией моря. К обеду пришла еще одна пара: генеральный секретарь Института доктор Саморано с женой. Саморано тоже хирург, специалист-легочник, удивительно приветливый и красивый человек. Сегодня до обеда он выполнял общественную нагрузку, обязательную для каждого коммуниста: продавал на улице «Эль Сигло» — партийную газету.

Доктор Саморано рассказывает о работе института, об изучении русского языка. Преподаватель у них родом из России, из Новгорода, — из семьи, которая в годы первой мировой войны уехала из России. Трудно быть уверенным в абсолютной чистоте его русского языка, но важно и дорого, что девяносто человек в Вальпараисо хотят учить русский язык.

Саморано показывает газету, где помещена фотография: североамериканские матросы, прибывшие в Вальпараисо, столпились у окна и заглядывают туда через головы друг друга. Это окно Института чилийско-советской дружбы, где демонстрируют советский фильм.

— Видите, какой интерес!

Жаль только, что фильмы они получают редко и добываются их с трудом. Будь это проще и доступнее, институт собрал бы вокруг себя гораздо больше народу. Очень нужен телевизор, это тоже привлекало бы людей вечерами и способствовало бы их сближению. Но телевизора нет, и средств на приобретение его тоже нет.

Как обидно мы теряем драгоценные возможности пропаганды, горячий человеческий интерес к нам. Между прочим, Саморано рассказывает нам о том, какую деятельность здесь у них развивает Западная Германия. У немцев здесь несколько школ с великолепно поставленным обучением, с очень сильным преподавательским составом, который, надо полагать, даром времени не теряет. Мы отлично понимаем ход его мыслей, и он, разумеется, прав. Позднее я видала в Бразилии, в Рио, на самом бойком месте, на пути с пляжа Копакабана, рядом с нашим огромным отелем «Калифорния» скромно и гостеприимно расположившуюся Североамериканскую библиотеку-читальню. Это культурный центр, где можно поглядеть всю текущую периодику, все литературные новинки Штатов, а заодно можно послушать лекцию, поглядеть телевизионную передачу. Бразильцы, особенно молодежь, которой часто некуда деваться, охотно туда заходят, и американцы, надо думать, умеют это использовать. Я уверена, что и мы могли бы подумать о своих культурных центрах. А уж в громадном интересе к нам сомневаться не приходится.

Нас везут на побережье, но до этого мы долго кружим, поднимаемся высоко в гору, откуда открывается чудесная панорама. Но не для этого нас сюда привезли. Главное — это рабочий поселок, один из многочисленных поселков, которые растут, как грибы, и в Сант-Яго и в Вальпараисо и поэтому называются «грибными».

Лос-Кайампас — «грибные поселки» — это уже ставшая системой форма захвата земли теми, у кого нет ни своей земли, ни крыши над головой, ни средств для приобретения того и другого. Те, кто годами ютятся где придется, ночуют целыми семьями, с детишками и стариками, под открытым небом где-нибудь под мостом в Сант-Яго или в портовых закоулках Вальпараисо, доведенные до отчаяния, которое придает решимости, собираются большой группой и вступают в единоборство с существующим порядком вещей. Они присматривают какой-нибудь пустырь, какой-нибудь брошенный участок — таких много там, где земля застраивается чаще всего бесплано и беспорядочно, — и однажды ночью являются туда и захватывают эту землю. Захват заключается в том, чтобы в течение ночи выстроить на пустующей земле любое подобие жилья и все-

литься в него до рассвета, чтобы утром в новом поселении уже шла жизнь: топились очаги, варилась еда, сушилось белье, чтобы в пыли уже играли детишки и на солнышке грелись старики,— о, бедные приметы человеческого существования! Для того, чтобы это осуществить, решающей ночью на пустырь приходит целая армия. Сотням тех, кто намерен здесь поселиться, приходят на помощь тысячи друзей, тысячи рабочих рук для того, чтобы успеть подвезти «стройматериалы» — это выражение весьма условно, дома строят из чего попало: из обрезков железа, из фанеры, из деревянных ящиков, а иногда даже из картона — успеть до зари осуществить строительство, а в случае непредвиденного столкновения с полицией — для отпора. Впрочем, последнее почти исключено: полиция смотрит на это дело сквозь пальцы — в конце концов это не ее земля — и уж никак не заинтересована в схватке с силами, численно во много превосходящими ее.

Конфликт начинается утром, когда обнаруживается новый поселок. Тут уже полиция выполняет как ритуал все, что ей положено. Но действия ее, к общему удовольствию, ограничены рамками давно принятого закона: нельзя выбросить из этих почти бутафорских лачуг живых людей, детей и стариков, и спор неизбежно переходит в высшие сферы, в судебные инстанции. Полиция умывает руки: пусть уж теперь беспокоятся сами владельцы за свои пустыри, пусть нанимают дорогих адвокатов, пусть дают взятки — одним словом, раскошеляются; посмотрим, что у них из этого получится.

У них ничего не получится, сколько бы они ни старались. Ничего не получится, ибо, помимо судебных инстанций, адвокатов и прокуроров, денег и связей, есть на их пути еще один противник, обладающий поистине огромной силой, противник, которого нельзя подкупить и нельзя обойти, который с каждым днем становится все сильнее и сильнее.

Дальше события развиваются по следующему сценарию: одновременно с возмущенными владельцами, которые кидаются в суды и во все прочие инстанции с требованием согнать с их пустыря наглых захватчиков, эти несчастные, получившие наконец какое-то жилье, входят в правительство с просьбой утвердить за ними права на захваченную землю. Можете быть спокойны, они делают это достаточно квалифицированно, убедительно и красноречиво,— в рядах тех, кто всемерно поддерживает их, немало превосходных адвокатов, и обращения составлены строго по форме. И вот тут-то, когда эти просьбы поступают в правительство и оно должно принять решение, вот тут-то и вступает в игру тот великий фактор — могучий противник и могучий союзник, о котором говорилось выше. Имя ему — общественное мнение.

Надо отдать должное прогрессивным силам Чили — общественное мнение страны формируется и организуется ими; оно их великий соратник в каждом большом деле, в повседневной борьбе за улучшение жизни народа. Начинается активная кампания в прогрессивной печати, широкие выступления в разных формах и с разных трибун. Вокруг обсуждаемого вопроса создается такая напряженная, даже накаленная атмосфера, что правительству становится ясно: тут не обойтись ни полумерами, ни компромиссами, любое неполноценное решение неизбежно обернется против него. А правительство — это ведь тоже люди, большинство из них вовсе не заинтересовано в том, чтобы перестать быть правительством. Они достаточно опытные, чтобы знать: ничто на земле не вечно, впереди — не за горами! — новые выборы, и иные из них надеются остаться депутатами, а другие из депутатов — стать сенаторами... А общественное мнение — ведь это прежде всего тысячи избирателей, тысячи голосов. Вот и поди попробуй его игнорировать. И захват узаконивается, и застроенный за ночь пустырь становится собствен-

ностью тех, кто его застроил, а они уже к тому времени, пока вопрос рассматривался, успели, насколько это было в их силах, благоустроиться. Теперь им не так страшна наступающая зима.

Мы поглядели несколько «грибных поселков» разного типа, а в одном месте видели даже просто небольшой сруб, вот так выстроенный на чужой земле, правда, в довольно трудном для жизни месте — на крутой горе. Тяжба еще идет, но хозяйство уже существует, бродят куры и утки, собаки и кошки.

Дорога по берегу океана тянется очень далеко, собственно, идет она вдоль всей страны, и мы долго ехали по ней мимо поселков, деревушек и городков главным образом курортного типа. Ах, какое это побережье! Своеобразие дикое, неповторимое, нигде и ничем не испорченное цивилизацией. Оно скалистое, и это не просто скалы — время, и ветры, и волны превратили их в свои скрижали, исписали их своей клинописью, исчертили своей мудреной графикой, хитрой живописью. Это какой-то естественный кубизм, супрематизм, какой-то самопроизвольный и невольный формализм. Кое-где рельеф местности с толком и со вкусом используется — в скалы органично встроены дома из такого же темного дикого камня. Это красиво. Кое-где плоские скалы превращены в пьедесталы для скульптуры. На одной такой скале лицом к океану поставлено каменное изваяние Христа, очень впечатляющее в этом поразительном пейзаже.

На дороге нам часто встречались торговцы со странным товаром — огромными мотками каких-то темно-коричневых ремней. Что это? Сыр? Колбаса? Какое-то растение? Да, это морские водоросли, которые используются в пищу. Алисия Саморано покупает моток. Дети неохотно это едят, но мать настаивает — эти водоросли очень полезны.

Я не была в Скандинавии дальше Финляндии, но мне кажется, что чилийское побережье по своей конфигурации ближе всего к норвежским шхерам. Во всяком случае никакого специфически южного колорита в нем нет. Кое-где дорога шла над пляжами, заполненными купальщиками; кое-где пляжи возвышались над дорогой — высокие, иногда почти отвесные песчаные косогоры, на которых живописно располагались купальщики. Их было много в этот воскресный день, жаркий день чилийского лета в канун Нового года.

Если ехать вдоль побережья дальше, к югу от Вальпараисо, пейзаж, очевидно, будет становиться все грандиознее и значительнее. Магелланов пролив... Огненная Земля... Какая это захватывающая дух история — плавание Магеллана в поисках пролива! История железной воли, железного духа, который в конце концов словно бы рассек материк этим мрачным проливом, мечтой Магеллана. Победа железной решимости победить, любой ценой победить, несравненная победа! И после всех испытаний, всех ужасов странствия — нелепая гибель от отравленной стрелы дикаря, уже на обратном пути домой, в Испанию... Бедный Магеллан! Но человечество и история все узнают, узнают истину, потому что один корабль из армады в конце концов дойдет до родных берегов и на этом единственном корабле вернется в Испанию белокурый матрос, генуэзец по имени Пигафетта, никому не ведомый летописец Магелланова плавания. Кто мог думать, что в темном трюме в духоте тропических ночей и в полярную стужу он все и всегда, день за днем, неуклонно записывает? Он пишет о твоём мужестве, о тех, кто героически погиб, и о тех, кто предал в трудном пути. О, белокурые юноши, безвестные летописцы своего времени, его величия и поражений, его славы и позора, какое счастье, что вы существуете на свете!

Доехать бы до Огненной Земли или хотя бы до Пунта-Аренас — портового города на северном берегу Магелланова пролива.



В первые же дни в Сант-Яго мы познакомились с высоким и могучим человеком, с лицом огромного ребенка, несмотря на обрамляющую это лицо типично морскую бороду. Это Франциско Колоане — писатель этих трудных краев. Уроженец острова Чилоэ, он вырос в Пунта-Аренас и с детства начал плавать, — его часто брал с собой в плаванья отец, капитан. А с семнадцати лет он — пастух на Огненной Земле, матрос на китобойных судах, охотник за тюленями — узнает лицом к лицу жизнь этих суровых мест, судьбы и характеры ее отважных людей. Они становятся героями его книг, его простых и скупых рассказов, за которые его нередко называют «чилийским Джеком Лондоном». Людям ведь проще отыскивать аналогии, чем привыкнуть к новому явлению. Имя Франциско Колоане имеет полное право на то, чтобы звучать независимо от других имен: его талант столь же неповторим и своеобразен, сколь своеобразен колорит тех мест, о которых он пишет.

Через год я встречу его в Москве и он подарит мне книгу, только что вышедшую на русском языке. Она так просто и называется «Огненная Земля». Книга такая достоверная, что мне покажется, будто я все-таки побывала на Огненной Земле и на мысе Горн, и такая увлекательная, что мне еще больше захочется в самом деле там побывать.

Под вечер нас наконец повезли в Вальпараисо. Мы выехали в сумерки, в городе зажгались огни; их было больше, чем обычно, и они были разнообразнее — ведь был канун Нового года. Улицы, площади, скверы были иллюминированы к празднику, на площадях горели огромные елки в гирляндах из разноцветных лампочек. Это делало еще живописнее этот волшебный город, таинственный город, город из старого, полувесковой давности, журнала «Мир приключений», портовый город, где на узких крутых улочках немало драк, убийств и других драматических событий. По внешнему рисунку, как я уже говорила, он похож на Владивосток: так же лепится жизнь по отвесным склонам. Вальпараисо расположен на холмах, их что-то около сорока, и каждый имеет свое название — иногда серьезное, иногда шутовское: Пирамида, Петушок, Забавы...

Мы поднялись на один из таких холмов на фуникулере — это здесь едва ли не важнейший вид городского транспорта — и глядели сверху на панораму города и порта. Грандиозное зрелище для людей, подъехавших на машине и поднявшихся на фуникулере на несколько минут, а каково тут жить всегда? Трудно тут жить всегда, отвечали мне мои спутники: врач, достаточно близко знающий эту страшную жизнь, и писатель, политический деятель, партийный работник — депутат парламента от Вальпараисо. Но гораздо более взволнованный ответ я получила спустя несколько месяцев дома, в Москве. На кинофестивале минувшего лета я глядела фильм «Вальпараисо», снятый Йорисом Ивенсом в то же время, как мы там находились. Это произведение искусства, полное настоящего драматизма, отвечающее на тот же вопрос, — думаю, что на самый главный вопрос любого искусства: как тут живут люди? И это произведение — еще одно подтверждение бесспорной истины о том, что человечность — свойство не жанра, а художника. Для того, чтобы быть глубоко человеческим, совсем не обязательно писать мелодраму и брать объектом своего писания какой-нибудь безумно трогательный материал. Можно на материале хроники, на документально-видовом материале создать произведение поразительной человечности. Таков «Вальпараисо» Ивенса.

Оказывается, на холмы не проведен водопровод, и тут проблема — каждая капля воды. И художник, режиссер, постановщик заставляют вас до глубины души почувствовать это, понять, как трудно живут эти люди, как трудно им дается каждая чисто вымытая ребячья мордочка,

каждая чисто выстиранная девичья блузка. Какая огромная победа человеческого духа — эти сияющие радостью жизни глаза, сверкающие в улыбках зубы...

Хочется пожить в этом городе, походить по нему пешком хотя бы день, хотя бы несколько часов. Мы упросили наших добрых хозяев разрешить нам переехать завтра из Винья-дель-Мар в Вальпараисо, в гостиницу.

На другое утро, гуляя по городу Винья-дель-Мар, заходим на вокзал, пытаемся купить билеты на поезд в Сант-Яго на завтра, но никаких билетов нет. Очень много народу приехало встречать Новый год к океану, и завтра все должны вернуться. Они чем-то приятны, такие маленькие житейские трудности, — как похоже живут люди.

С нами гуляет Алисия, жена Саморано, она провела тревожную ночь — захворала девятилетняя дочка, Ла Химена, что-то, видимо, съела, животик болел, рвота, температура... Сегодня, слава богу, ей с утра лучше.

Все эти милые человеческие подробности и мелочи создают вокруг атмосферу будничности и обыкновенности, словно амортизируя, притормаживая силу чуда, которое с нами происходит: этот яркий день — 31 декабря — на берегу Тихого океана, где-то близ вод, в которых плавал Магеллан. И мы, со свойственной людям способностью осваиваться со всем самым невероятным, охотно идем на это — так легче и проще. Но чудо все-таки оказывается сильнее. После рынка, вокзала и подробностей о желудочке Ла Химены мы узнаем, что именно здесь, в Тихом океане, если плыть по прямой, то неподалеку от Вальпараисо находится остров Робинзона Крузо. Тот самый остров того самого Робинзона Крузо... У меня перехватывает дыхание каким-то сладко тревожным, словно из детства прихлынувшим ветром, и я долго не могу опомниться и спросить все, что хочется спросить.

Это один из островов архипелага Хуан-Фернандес. Архипелаг был открыт в 1574 году. До той поры мореплавателям было известно странное явление: путь из Вальпараисо в Перу занимал один месяц, в то время как путь из Перу в Вальпараисо продолжался три месяца. Дело было в том, что обратно приходилось идти против течения Гумбольдта. Но в те поры это было еще неизвестно и считалось колдовством и волей злого духа. Капитан по имени Хуан Фернандес решил попытаться вырваться из-под власти злых духов. Возвращаясь из Перу в Вальпараисо, он спустился южнее и пришел через месяц, открыв по пути этот архипелаг. Инквизиция возбудила против него дело, считая, что он продал душу дьяволу, за что тот ему и помог. Капитану удалось доказать истину — иногда ее удавалось доказать даже инквизиции — благодаря этому открытому им по пути архипелагу, состоящему из трех островов. С тех пор он называется его именем. Вот на один из этих трех островов и был высажен с корабля капитаном не угодивший ему матрос-англичанин Александр Селькирк. Никто не предполагал, что его пребывание на острове затянется. Это был остров, лежащий на пути многих кораблей. Однако волею судеб он только через четыре года был замечен, снят с острова и возвращен на родину. Там и разыскал его Даниель Дефо, заинтересовавшийся его судьбой, о которой сообщали газеты. Он нашел его в портовом лондонском кабаке где-то в районе доков — кабачок этот до сих пор показывают туристам — и провел с ним целую ночь, а может быть, и не одну. В течение этой беседы Александр Селькирк — будущий Робинзон Крузо, очень растерявшийся, опустившийся и спившийся — Англия встретила его довольно равнодушно, — неоднократно восклицал в приступе тоски:

— О мой остров!

Я долго не могу опомниться и вернуться в свои чилийские будни. О мой остров!

Отель «Прат» в самом центре города, на шумной торговой улице: огромный мрачный дом, номера выходят в какие-то каменные колодцы, и в них, очевидно, никогда не проникает полноценный дневной свет. Но я не засиживаюсь в своем номере и тотчас ухожу на улицу и брожу. Хожу, смешиваясь с толпой, стараясь побыть в этом городе, раствориться в его суете, оживлении, жизни. Гаснет день. Смеркается. Зажигает свои огни вечер, предпраздничный вечер, новогодний вечер...

В половине одиннадцатого мы поехали к Неруде. Улица шла круто в гору, и, когда мы вышли из такси, нам пришлось еще подниматься вверх: к дому машина подъехать не может, он стоит совсем высоко, над каким-то театром, совсем вальпараисский дом, лепящийся по крутому склону. Открыв дверь, мы очутились на узкой, крутой лесенке в полном мраке. Прежде всего мы наткнулись на каких-то мрачных мужчин, которые при свете свечи возились, что-то починяя. Оказываются, они меняли пробки, которые вдруг так не ко времени перегорели, погрузив дом в полный мрак. Карабкаемся вверх почти ощупью. Через несколько витков лестницы натываемся на знакомых рыжих собак — Ю-Фу и Панду, которые нас добродушно приветствуют. Собаки этой породы чрезвычайно терпимы к людям, но могут разорвать в клочья другую собаку. Бывают и люди подобной породы во взаимоотношениях с собаками и людьми.

Еще несколько мгновений карабкаемся во мраке, и новая приятная встреча — коротконогая Мария с множеством приветственных слов, — как же, мы старые знакомые; кроме того, мы забыли на Исла-Негра свои «трахес де баньо», то есть купальные костюмы, и добрая Мария их нам привезла. Спасибо, Мария! «Трахес де баньо» здесь очень дороги, особенно в купальный сезон. Еще один крутой подъем — и нас встречает Матильда, рыжая, в красном платье, очень красивая, с горящей свечой в руке. Она хватает нас за руки и тащит еще куда-то вверх по лестнице, и наконец мы на крыше. Крыша сегодня — главный приемный зал в этом узком высоком доме. По-моему, в нем не меньше четырех этажей и на каждом этаже не более одной комнаты. Еще один нерудовский дом. Я еще не могла в нем разглядеть ничего, кроме конфигурации, но и она уже достаточно выразительна и характерна. Итак, мы на крыше!

Здесь уже много народу; нас с обычным радостным оживлением встречает Пабло. Обняв за плечи, ведет к разным людям знакомиться, показывает все вокруг, весь новогодний Вальпараисо, с гордостью, словно свое хозяйство. Наша крыша словно надо всем городом, над океаном, над портом, в котором стоят ярко иллюминированные корабли, готовые к новогоднему салюту. И весь город пылает огнями, вспыхивает гирляндами, ракетами, бенгальскими огнями. Мы тоже запускаем бумажный фонарь с зажженной свечой и следим за ним и радуемся тому, что он взлетает высоко и свеча не гаснет, а горит, словно новая звезда, только что вспыхнувшая в этом глубоком черном небе. На склоне горы, высоко над нами и городом, взвиваются костры — это кто-то по-своему отмечает приближение новогодней полночи. Город словно охвачен пламенем, и кто-то говорит о том, что новогодней ночью тут неизбежно бывают пожары. Только теперь, после фильма Ивенса, я в полной мере представляю, как это страшно на крутых склонах, где нет воды и куда не подъехать пожарным машинам.

Народ на крыше все прибывает; люди ведут себя, как обычно на здешних сборищах, крайне независимо и непринужденно. Их никто не организует, не собирает, не занимает и не угощает. Тут же на крыше стоит стол с напитками, каждый может пить, что ему угодно и сколько

угодно. Среди гостей много наших знакомцев: Рубен Асокор приехал на такси из Сант-Яго — его все забыли и бросили, и он мчался вдогонку.

Эва Фишер, жена Ивенса, — одна. Ивенс снимает в порту и придет позднее, после съемки. Она в свою очередь знакомит меня с разными молодыми женщинами — все они, разумеется, «поэтиссы» — это по-испански значит поэтесса. Поэтиссы в Чили очень много — что ни женщина, то поэтисса, — или меня только с ними и знакомят? Одна из них, совсем молодая, рассказывает о том, как она год прожила со своим отцом, врачом, на острове Пасхи. Остров Пасхи — полинезийцы, древние скульптуры, Аку-Аку — это тоже Чили. Попасть туда трудно, пароход ходит раз в год. Американцы пробовали создать там военную базу, но это оказалось невозможным из-за характера острова, трудного для авиации. Об острове Пасхи вспомнили потому, что среди гостей есть трое островитян: женщина — она плясунья, ее зовут «королева острова Пасхи» — и двое юношей с гитарой. Они все время пляшут под гитару свои полинезийские языческие пляски, впрочем, мало чем отличающиеся от рок-н-ролла и твиста.

Боже мой, как все невероятно и как я помню прошлый Новый год и все вокруг него и ни на миг ничего не забываю, не могу забыть, не хочу забывать.

У Пабло в руках картонный рупор. Он время от времени отдает в него разные веселые приказы. За несколько минут до двенадцати он приказывает кораблям дать залп в честь советских друзей.

Ровно в полночь корабли в порту вспыхивают новыми огнями и дают оглушительный новогодний залп. Под этот залп все обнимаются и целуются, и мы тоже, и с нами тоже. Никакого общего стола, никаких тостов и чоканий. Это плохо или хорошо? Пусть будет не так, как всегда. Пусть будет иначе. Пусть будет по-другому. Все помню и всех помню, и думаю о близких, и хочу, чтобы для всех этот год, так невероятно начавшийся для меня, был новым и добрым. Если это возможно. С Новым годом!

На крыше становится прохладно, почти холодно, и, как ни жаль уходить, приходится спуститься вниз в комнаты. В первой же на верхнем этаже накрыт стол, все пьют и едят сколько угодно, но никто никого не рассаживает и не угощает, и поэтому хозяйка не устает, не напрягается, отдыхая и веселясь вместе с гостями.

Гости у Пабло очень разные: наряду с дипломатами, политическими деятелями, писателями — владелец лавочки, что напротив, с женой и детьми. Пабло представляет его как своего друга. Они, однако, уже уходят, прощаются, извиняясь, объясняя, что им придется рано открывать лавочку. Какой-то красивый поэт из Уругвая. Скоро после двенадцати приходит Ивенс; его шумно приветствуют, и он, пробираясь сквозь толпу, со всеми целуется.

Бразильский культисташе, поэт Тиго де Мола в странном сооружении на голове — в центре сооружения дамская туфелька на высоком тонком каблуке — организует нечто вроде самодеятельного концерта, дирижирует, заставляет всех петь; потом запекает соло Матильда — она когда-то была певицей; потом Рубен Асокор с пестрым платком на шее, с красной гвоздикой в руке долго декламирует какую-то поэму — видимо, это тот же номер, который он исполнял в присутствии Фиделя Кастро. Декламирует он с чувством, и мне нравится слушать испанские стихи, нравятся их твердые, отчетливые ритмы. Как из них, однако, ухитрился произрасти нынешний свободный стих с его полным распадом формы?

И непрерывно поют и пляшут полинезийцы. Юноши совсем молоды; они двоюродные братья. На материк они попали в связи с военной

службой, сейчас оба рабочие. Рикардо очень хорош собой. Он играет на гитаре самозабвенно и упоенно. Рафаэль старше; он очень похож на деревянные скульптуры — такие же грубо вырубленные, своеобразно выразительные черты лица. Он удивительно пляшет, весь пляшет, каждой частью тела, каждой клеткой. «Королева острова Пасхи» — их тетка. Она немолода и, вероятно, талантлива и несчастлива. Еще на крыше в полночь она горько зарыдала, и бразилец все спрашивал у нее:

— О чем плачешь, глупая королева?

Пляски Рафаэля так зажигательны, что невольно увлекают за собой и других; его партнерши сменяют друг дружку. Вслед за поэтиссой, жившей на его родине, в круг входит Эва Фишер, полька, и пляшет совсем на свой, особенный лад, с какой-то славянской то ли усталостью, то ли ленцой. И когда Рафаэль иступленно пляшет со своей теткой, его вдруг, неожиданно для всех, отстраняет хозяин дома. Пабло Неруда выходит плясать, грузный, немолодой, с больной ногой, и пляшет так, словно бы ничего этого нет и не было, — грузное, большое древнее божество, еще одно чудо этой полной чудес страны. И все его большое тело и большое загадочное лицо отдается во власть этим родным ему многозвучным океанским ритмам свободной дикарской пляски. И все от души рукоплещут ему в его доме. Сейчас, когда горит свет, я могу даже в хаосе этой ночи разглядеть еще один его удивительный дом, еще один дом жизни этого человека, снова полный чудес, сокровищ и редкостей, снова свободный, артистичный, словно не созданный, а созданный сам собой. Какие-то деревянные скульптуры, огромная лошадь в странном аллюре... Не так давно мне рассказывали, что Пабло однажды увез из Парижа деревянную лошадь с карусели, и я вспомнила, что видела ее, — она продолжала скакать той новогодней ночью.

Я не помню, прощались ли мы уходя — это было под утро, — но если прощались, то не думая о том, что уже до отъезда своего не увидим больше Пабло. Это не приходило на ум, — мы были еще здесь, в его стране, с ним. Нам еще не хотелось прощаться надолго или навсегда. И мы не простились с вами, слышите, друг?

Выйдя из дома и спустившись на улицу, по которой надо было еще долго и круто спускаться к центру города, мы словно сошли с волшебной горы на обыкновенную землю. Редкие группки людей возвращались домой с праздника. «Feliz año nuevo!» — «Счастливого нового года!» — слышалось тут и там. И вдруг нас с грохотом догнал и остановился обыкновенный городской автобус, пыхтелка и дребезжалка, и мы радостно вскочили в него и очутились среди усталых и довольных людей. Они тоже встречали Новый год где-нибудь у друзей или у родных где-то там, наверху, на холмах, и вот возвращаются домой. А может быть, кто-нибудь из них ехал уже с работы или на работу? Бывают еще во всем мире работы, не прекращающиеся даже новогодней ночью. Им-то, этим людям, пассажирам автобуса, мне с особенным чувством хотелось сказать: «Feliz año nuevo, мои дорогие!»

*(Окончание следует)*



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЛЕОНИД ИВАНОВ

★

## СНОВА О РОДНЫХ МЕСТАХ

**С**нова родные места...

Опять воспоминания, встречи с людьми, с природой...

Я уже писал о своих родных местах в Калининской области. Но с того времени прошло почти два года. И мне особенно отраднo отметить, что за этот не такой уж большой срок здесь многое изменилось к лучшему. И, конечно же, нельзя не рассказать об этом. Но есть и такое, что нуждается в улучшении. Умолчать об этом тоже грешно.

После опубликования моего очерка «В родных местах» («Новый мир», № 3, 1963) я получил много писем от земляков и бывших соучеников. Почти все выражали согласие с моей мыслью о том, что край этот несколько забыт и значительно поотстал от других районов страны.

Узнал я и другое: некоторые местные руководители обиделись: зачем автор обнажил недостатки? У нас здесь, мол, и хорошего много. Возражать тут нечего. Я писал и о хорошем, которое увидел. Но я писал и о том, что вызывал протест. Я, конечно, понимаю: любому руководителю приятно, если «его» край хвалят. Однако давайте держаться правды, какова она есть на самом деле. Правда не нуждается ни в приукрашивании, ни в умалении. Потому-то и этот очерк будет тоже документальным, и автор в ответе за каждый факт, за каждое слово.

### В КОЛХОЗЕ «МОЛДИНО»

До сих пор я бродил больше по западной части родных мест. Теперь же решил податься на восток, точнее — на юго-восток. Мне многие говорили, что в той стороне богатых колхозов больше. А когда называли лучшие, то этот перечень начинали с колхоза «Молдино». Значит, он — правoffланговый! Туда и лежал мой путь.

О колхозе «Молдино» я упоминал и раньше. Вообще-то это хозяйство я знал еще на заре колхозного строительства. Но в то время коммуна «Молдино» объединяла всего десятка полтора крестьянских и батрацких семей. И первым своим председателем коммунары избрали комсомольца-избача Женю Петрова. В местных газетах я читал, что 25 января 1964 года колхозники артели «Молдино» отметили тридцатипятилетие своего колхоза. Многие ветераны были награждены почетными грамотами Верховного Совета РСФСР. В числе ветеранов значился и Евгений Александрович Петров — он тридцать пять лет возглавляет колхоз. Не очень типичный случай в нашей жизни. Тем он интересней!

Я много ждал от этого похода в «Молдино». И не ошибся. От Удомли отправился автобусом. И был приятно удивлен: десятка два километров автобус катился по весьма хорошей дороге. Булыжник на дороге подправили, местами дорогу приподняли и хорошо прикатали. А когда наш автобус, шедший курсом

на Вышний Волочок, домчал до шоссе Волочок — Бежецк, я сошел. Моя дорога совсем в другую сторону от Волочка...

Впереди показалось Овсище — когда-то здесь был волостной центр, а теперь небольшой рабочий поселок. Широко раскинулся больничный городок — несколько корпусов в густом сосновом бору. Удачное выбрали место для больницы.

А дорога, выложенная булыжником, то взбегает на пригорок, то спускается в низинку, то опять поднимается вверх. С пригорочков хорошо видны окружающие деревни. Они тоже на возвышенных местах.

Миновав мостик через небольшую речку, поднялся еще на один пригорок и увидел Богатково. Всмотриваюсь в постройки животноводческой фермы, раскинувшейся на высоком берегу озера: изменилось ли что там? Да, изменилось. Добавилось несколько скотных дворов. Значит, верен себе Егор Филиппович Семенов — здешний председатель: строит и строит! И с левой стороны от дороги заметны перемены. Появился высоченный сарай. Вспомнилось, как Егор Филиппович мечтал о помещении для машин, чтобы и комбайны, и все до единой машины хранить под крышей. Вот и осуществил свою мечту.

Тут меня нагнал грузовик. Я «проголосовал». Мигом домчали мы до Лугинина — здесь тоже когда-то был центр волости, а теперь одна из бригад колхоза «Молдино». От Лугинина до «Молдина» всего четыре километра...

Сразу за деревней начинался густой сосновый бор. Когда я вышел из бора и поднялся на небольшой пригорок, мне показалось, что здесь все как-то светлее, просторнее. Впереди и по сторонам раскинулись довольно широкие, а главное, сравнительно ровные поля.

Весна нынче явно запаздывала: скоро май, а на лугах никакой зелени, на лиственных деревьях почки чуть наклюнулись. Не слышно и тракторов. Однако всюду в полях жизнь шла своим чередом. Вот четверо мужчин вышагивают по полю, каждый размеренно размахивает правой рукой. Сеют. Но не зерно, а вроде бы белую муку... Они разбрасывают минеральные удобрения. А дальше видна уже большая бригада — и мужчины и женщины. Они двигаются цепью, то и дело склоняясь к земле. Что бы это значило? Ведь убирать-то еще нечего... Вскоре стало ясно: и эти люди, а их десятка два, тоже ведут борьбу за урожай — они собирают камни...

Многим может показаться странным: что это за затея — собирать камни? Скажем, на полях Сибири и маленького-то камешка не найдешь. Не увидишь его на Кубани и во многих других районах нашей страны. А для этих мест камни — просто бедствие. На полях — и мелкий булыжник, и огромные валуны. Кое-где валуны и булыжник сложены в кучи, но много их еще и на полях. А ведь каждый камень на полосе занимает определенную «жилплощадь», из-за них посевы будут изрежены, урожаем снижен. И другое, не менее важное: где много камней, там на поле не выведешь сеялку и жатку. А если и выведешь, то горяхватишь: частые поломки, большие затраты на ремонт, низкая производительность. Из-за камней хлеба и травы приходится косить на высоком срезе, а это опять недобор продукции...

Километрах в двух от этой бригады я увидел еще одну. Она тоже собирала камни, снося их на окрайки чуть зеленевшего поля. Это клеверный массив.

Доброе дело вершат молдинцы! Для хороших хозяев и запоздалая весна не помеха. Вот соберут с полей камни, а это прибавит хлеба колхозу. И все же нельзя не упрекнуть нашу промышленность. Да и руководителей «Сельхозтехники». Почему они не закажут такие машины, которые могли бы убирать с полей булыжник? Ведь в камнях поля почти всей нечерноземной полосы, Прибалтики, Белоруссии... Много нужно машин, и им надолго хватило бы работы. Думается, и машина-то нужна не очень сложная, вроде картофелекопателя: прошлась бы на глубине пахотного горизонта, собрала все камни, как собирает картофель, и все. А какая огромная помощь была бы оказана колхозам и совхозам этих мест.

Впереди показалось селенье. Ого! Да это совсем не та деревня, какую я знал в двадцатые годы. Тут теперь не три десятка домов...

Быстрее зашагал на пригорок. Вот видна уже и вторая улица, а за ней, пожалуй, и третья. Пытаюсь примерно прикинуть по числу высоких крыш, но где там! Больше сотни насчитал, да одну улицу прикрыли высокие деревья, очевидно, тополя или липы. А вот хорошо видна водонапорная башня из красного кирпича. Такое в этих местах не часто увидишь. Показалось и двухэтажное здание с колоннами. Конечно же, Дом культуры.

В здешних местах большинство деревень насчитывает пятнадцать—двадцать дворов, а то и меньше. А тут... И ведь железная дорога отсюда далеко, не то что станция Удомля, куда люди тянулись из самых «дальних углов». От Молдина до города километров шестьдесят, близко нет никаких промышленных предприятий, только колхозное производство. Что же влекло сюда людей?

А селенье вырисовывается все четче. Дома добротные, и возле каждого палисадник, сады.

Вдруг впереди что-то блеснуло. Да ведь это озеро. А я и забыл о нем. Озеро Молдино. Отсюда и колхоз получил свое название. А в озеро впадает небольшая речка Молдинка. Теперь уже хорошо видно, что селенье раскинулось по обоим берегам Молдинки и, дотянувшись до самого озера, начало обхватывать его берега.

И вспомнилось мне, что отсюда в музей попала картина крепостного художника Григория Сороки. Она названа так: «Вид озера Молдино». Григорий Сорока жил здесь.

А как изменилась речушка Молдинка! Стала шире, полноводнее. Что же с ней случилось? А вот что — ее перекрыли плотиной. Видна небольшая гидростанция... Вот и еще одна плотина, и опять электростанция. А ниже еще одна! Сумели же мудрые хозяева заставить работать и маленькую речушку! Три гидростанции! И все близко друг от друга.

Ближе к устью Молдинки виден животноводческий городок. А чуть правее селения — высокие сооружения. Это машинные сараи, склады. Оттуда доносится шум двигателя. Что же? Трех станций уже не хватает?

Из селенья навстречу мне мчалась на велосипедах стайка подростков. Поздоровались, покатали в сторону Лугинина. А вот и пешеходы — три девушки. Тоже поздоровались. В руках у девушек портфельчики. Я подумал, что здесь восьмилетка и это школьницы из Лугинина. Решил проверить.

— А мы из десятого класса, — с улыбкой заявила одна из девушек.

Значит, в колхозе своя средняя школа!

Школьницы сказали мне, что контора колхоза на том берегу Молдинки, у самого устья, в бывшем барском доме.

Спешу. Рабочий день к концу, а мне очень хотелось застать Евгения Александровича Петрова.

Пока я знал о нем вот что.

Говорили мне, что в годы культа личности Петрову пришлось хлебнуть тюремной баланды. Затем всю войну он провоевал, трижды был ранен, вернулся с четырьмя орденами и множеством медалей на груди. Из газет я знал, что Евгений Александрович избирался членом Калининского обкома партии, был членом бюро райкома, парткома. А в прошлом году его избрали депутатом Верховного Совета РСФСР.

Вот и центр поселка — у моста через Молдинку. За мостом начинается улица, затем вторая. На второй-то и расположена колхозная контора. Просторный деревянный дом, под окнами — сад; тут и яблони и сирень. Сиреневые почки сильно набухли, вот-вот лопнут...

Кабинет председателя оказался проходной комнатой — из него вход в комнату, где сидят специалисты.

Евгения Александровича я застал еще в конторе, но он уже в пальто, на голове — зимняя шапка. Он рослый, плечистый, лицо худощавое. Мало что осталось от того Жени Петрова, которого я знал, но все же есть и сходство. Те же умные карие глаза, прямой длинный нос.



Чтобы добраться до Дома культуры, куда направлялся Петров, надо миновать большую часть поселка. А мне это кстати.

Как все же много здесь садов — у каждого перед домом или позади его яблони и другие фруктовые деревья. Много сирени, повсюду видны следы прошлогодних цветочных клумб. Летом тут, должно быть, красиво.

— Очень красиво,— подтвердил мою догадку Евгений Александрович.— Недаром же к нам дачников много наезжает.— Улыбнулся.— Мы на них немножко даже зарабатываем — ягоды и фрукты они раскупают, а у нас в колхозе фруктовый сад на одиннадцати гектарах.

Председатель вводил меня в курс дела, что называется, на ходу. На перекрестке улиц две женщины наполняли ведра из водоразборной колонки. Евгений Александрович поспешил заметить:

— У нас на каждой улице по несколько колонок. И в бригадах сооружаем водопроводы. На животноводческих фермах само собой...

Конечно, жителям больших поселков и станиц водоразборная колонка не в диковинку. Но в этих местах ни в одной еще деревне водоразборных колонок я не примечал. Тем отраднее их видеть здесь. Это же завтрашний день и других колхозов Калининщины.

Евгений Александрович напомнил и про каскад электростанций на Молдинке. Сказал, что тепловая станция у них как бы в резерве. И что во всех десяти поселках колхоза есть электрический свет.

Когда миновали бывший барский парк, где сохранились могучие дубы, липы и лиственницы, то оказались возле деревянного, очень просторного здания. Рядом строилось еще одно.

— Школа? — спросил я.

— Средняя школа,— уточнил Евгений Александрович.— Но тесновата стала, приходится еще три комнаты пристраивать. Ребятишек стало много... Расширяем за счет колхозных средств. И школа на наши деньги строилась, и вообще все, что здесь построено, все принадлежит артели. А то, что ребятишек много, это хорошо!

Еще бы — резервы подрастают.

Евгений Александрович остановился.

— Вон там — за школой, видите, домик стоит? Это флигель Василия Васильевича Андреева.

— Композитора и создателя первого оркестра русских народных инструментов?

— Да-да... Дом Андреева стоял на берегу Молдинки, но дом сгорел, а флигель уцелел. В нем Василий Васильевич любил работать, потому мы его и сохранили. Только на другое место перенесли...

Здесь чтят память заслуженных людей. Спросил про Григория Сороку.

— А Сорока жил в деревне Покровское,— охотно отозвался Евгений Александрович.— Теперь там бригада колхоза. В нашем колхозе работают внук и правнуки Сороки.— Сделав несколько шагов, добавил:— Между прочим, учителем Григория Сороки был Венецианов, он жил тогда неподалеку от наших мест. Венецианов очень ценил Сороку как художника, добивался, чтобы высвободить его из крепостных, но не смог...

Сорока был крепостным помещика Милюкова. В те годы А. Г. Венецианов так писал о своем ученике: «...А Григорий — силища русская. самобытная». И еще: «Разгорается новая звезда... и засверкает скоро всеми красками. Ах, если бы он не был крепостным!»

Помещик издевался над талантливым художником, разлучил его с любимой девушкой, сам определил ему жену.

По просьбе своих односельчан Григорий Сорока написал жалобу на имя царя, в ней говорилось о нелегкой жизни крестьян. Эту бумагу вернули в Тверь, о ней прослышал Милюков и решил наказать строптивого художника. Григория

Сороку вызвали в волость, объявили приговор: «За сделанные грубости и ложные слухи в волости подвергнуть трехдневному аресту и телесному наказанию».

Григорий Сорока не вынес оскорбления и покончил жизнь самоубийством — повесился в обжигальной избе на окраине Покровского...

Так в разговорах о прошлом этих мест мы подошли к детскому саду, и Евгений Александрович сказал, что в артели давно уже все дети колхозников воспитываются в детских учреждениях — сначала в яслях, затем в саду. И все это бесплатно, за счет общественных фондов.

Как бы между прочим Евгений Александрович заметил, что более ста шестидесяти престарелых колхозников получают колхозные пенсии. А трудоспособные члены артели пользуются оплаченными отпусками, получают пособия по болезни, а женщины — по беременности.

Вот и Дом культуры. Стоит он на возвышенном месте. Такого большого в здешних колхозах я еще не видал. Да и не в каждом райцентре встретишь.

На первом этаже просторное фойе, зрительный зал на пятьсот мест. На втором этаже несколько комнат для занятий различных кружков, есть комната, где заседает правление, проводятся комсомольские и партийные собрания. В двух комнатах — картинная галерея. Десятки полотен калининских и московских художников, репродукции картин А. Г. Венецианова и многих других знаменитых художников, творивших в этих местах. На ряде полотен изображены события колхозной жизни, есть портреты лучших людей колхоза «Молдино», его ветеранов.

Здесь мы застали заведующую клубом Инну Паперную. Любопытна судьба этой чернявой девушки. Будучи студенткой, она из Москвы уехала строить Дивногорск. А вернувшись оттуда, поехала на село. Продолжает учиться в университете заочно.

Позднее Евгений Александрович показал мне животноводческие фермы, ремонтную мастерскую. Не без гордости сказал:

— Тракторы и машины ремонтируем своими силами. Это и дешевле и надежнее.

Тут сооружены сараи для техники, гаражи для тракторов и автомашин. Вообще настроено здесь очень много. Надо думать, что денежные доходы колхоза высоки. Это несомненно. Но все же: как велики?

— Приближаемся к шестистам тысячам. На Дворец культуры пришлось затратить порядочно. Но строили его своими силами.

Конечно, у нас много колхозов и с более высокими доходами. Но для здешних мест доход в шестьсот тысяч — это великолепно!

Чтобы внести больше ясности, заметим, что в колхозе «Молдино» пахотной земли всего две тысячи шестьсот гектаров. А высокий доход в расчете на гектар пашни — показатель должного порядка на земле.

## НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ

Я рассчитывал, что вечером мне удастся поподробнее побеседовать с Евгением Александровичем о делах артели.

Но вечер у Петрова был уже занят: назначена встреча с избирателями на станции Еремково. Это километрах в тридцати от колхоза. Он пригласил меня в попутчики. Я охотно согласился. Интересно же понаблюдать Евгения Александровича в роли депутата.

По пути в Еремково Петров завез меня на свои поля. Остановив машину, мы зашагали по кромке вспаханного с осени поля. Со всех сторон большой массив пашни обступал сплошной бурелом — березы, осины, ели, ольха, — все это в живописном беспорядке как бы опрокинуто с поля к лесу и прижато к высоким деревьям. Словно баррикады возведены.

Евгений Александрович поясняет:

— Нынче эти завалы разберем, а осенью проведем наступление на кустарник.

Именно — наступление! Колхозные механизаторы на тракторах и скреперах вламываются в обступающие поле заросли, вырывают их с корнями и сдвигают всю массу к лесу. Местами такое разовое наступление прибавляет по пятнадцати — двадцати, местами тридцати — сорока метров пашни. Это со всех сторон поля!

Петров говорит, что таким приемом они пользуются уже не первый год.

— А сколько же в результате прибавляется пахотной земли?

— Вообще-то не очень много, — отвечает Евгений Александрович. — Но каждый год гектаров пятнадцать — двадцать добавляется.

Все же добавляется! Мне приходилось уже писать, что в этой зоне за последние годы площадь пашни сократилась: заросла кустарником, выбыла из фонда сельхозгодий, перестала служить человеку. А здесь упорно отвоевывают каждый гектар новой пашни. Не дешева она, видимо, но окупит себя, в этом можно не сомневаться.

Вот теперь понятно, почему здешние поля показались мне более просторными. Их расширяют. Этим открывается простор для техники.

Петров заехал еще на одно такое поле с буреломом по краям.

— Разберем и эти завалы, — кивнул Евгений Александрович на поверженный лес, — дров много заготовим. Между прочим, разбор завалов колхозу обходится недорого, потому что отдаем их разбирать тем, кто нуждается в дровах. А в дровах, — улыбнулся он, — все нуждаются. Так что получается хорошо и дешево.

Да, это действительно хорошо. Вот бы всем так! Хоть и медленное, но верное ежегодное добавление пятнадцати гектаров пашни на колхоз — это же по району больше тысячи гектаров! Но пока-то получается наоборот: площадь пашни не прибавляется, а убывает...

А вот и Еремково. Кое о чем напомнило и оно. В тридцатом году мы, ученики девятого класса, были мобилизованы помогать коллективизации. Нас спешно обучили обмерять поля, вычерчивать простейшие карты землепользования. Каждого вооружили стальной десятиметровой лентой и десятью железными колышками. Наша обязанность — делить землю между колхозниками и единоличниками, но так как число колхозников и единоличников менялось почти каждый день, наша работа прошла почти впустую. Еремково было моей зоной...

Клуб здесь небольшой. И хотя Петров приехал раньше назначенного часа, зрительный зал был заполнен до отказа. Много пожилых, но есть и молодежь. Приход Петрова вызвал оживление, на лицах многих я увидел приветливые улыбки.

Приступили к делу. Евгений Александрович сказал, что сначала он отчитается о своей поездке в Германскую Демократическую Республику, где он недавно побывал в составе советской делегации председателей колхозов, а затем поговорит «о житейских делах».

Просто и очень доходчиво говорил он о том интересном, что увидел в ГДР, — он многое записал в свою книжечку. Он рассказывал, как в ГДР организовано кормление животных, приготовление удобрений, подготовка семян к посеву и многое другое. Сразу делал и вывод: можно ли это применить у нас?

В подробном рассказе Петрова чувствовалась большая заинтересованность в правильном ведении хозяйства. А ведь он выступал не в своем колхозе, в чужом. Но он депутат — слуга народа. Не скрыл, что именно колхоз «Молдино» переймет из опыта ГДР. В первую очередь, конечно, то, что касается выращивания картофеля, приготовления удобрений, семян, а также подкормки скота.

Вопросов было много. Уточнялись детали, многие интересовались жизнью людей в немецкой деревне.

Затем он как бы отчитывался о своей депутатской деятельности. Рассказывал, что предпринято по жалобам и письмам еремковских избирателей.

Много же, оказывается, у него дел! Произошло новое разделение районов, привычные связи нарушались: то в райцентр ездили поездом, а теперь до Вышне-го Волочка лучше автобусом. Но автобус пока не ходит; чтобы до Волочка попасть поездом, нужно делать пересадку в Бологом. Или еще: где теперь будут склады удобрений, запасных частей? И много других житейских вопросов. Все они были подняты раньше, и сейчас Петров докладывал, что ему удалось пока сделать.

А в фойе опять завязывается оживленная беседа уже по самым «текущим вопросам»: как вести дело в связи с поздней весной? Когда лучше сеять лен? И многое другое.

Уже в своем «козлике», когда ехали обратно, Евгений Александрович признался, что доволен встречей.

### НЕМНОГО ОБ ЭКОНОМИКЕ

Утром я пришел в контору довольно рано, но Евгения Александровича уже не застал — он отдал нужные распоряжения и уехал во вторую бригаду, к полям. Вскоре пришел бухгалтер, я попросил годовые отчеты колхоза за несколько лет.

Цифры, увиденные в «Молдине», вызывали у меня глубокое уважение к молдинцам, к их труду. Урожай зерновых у них в среднем стопудовые, а в лучшие годы превышают сто двадцать пудов с гектара! Это в два-три раза выше среднерайонных. И урожай льна здесь тоже в два раза выше, чем в хозяйствах обоих производственных управлений. Или вот урожайность клевера: за последние три года с гектара сняли в среднем более сорока центнеров клеверного сена. А клеверной зеленой массы на силос получили более двухсот центнеров с гектара. Следует заметить, что и в клеверном сене, и в силосе из клевера кормовая единица самая дешевая. К тому же и самая питательная — потому что в клевере много белка. Не потому ли показатели животноводства, особенно молочного, здесь опять-таки много выше среднерайонных?

Вдумываешься в эти цифры, сопоставляешь их с цифрами по другим хозяйствам этой зоны и невольно возникает вопрос: почему же опыт ведения полевого хозяйства «Молдина» все еще не стал достоянием большинства других хозяйств? Даже совхозов! В совхозах урожай тоже ниже. Ведь ни один колхоз, ни один совхоз по своим производственным показателям не приблизился к «Молдину». Есть колхозы, где с гектара снимают по восьми, по шести и даже по четыре центнера зерна с гектара. Есть хозяйства, которые клеверного сена берут только по десяти центнеров, а льноволокна — менее двух центнеров.

Неужто в «Молдине» действительно знают какие-то особенные секреты, дающие им большое превосходство над соседями?

Продолжаю листать бухгалтерские отчеты. Дошел до таблиц, где показаны доходы артели. Тоже очень любопытно. Общий доход хорош — пятьсот восемьдесят тысяч рублей. В общем и целом все показатели положительные. Однако некоторые из них начали принимать вдруг несколько иную окраску. В самом деле: свиноводство, овцеводство и птицеводство ежегодно приносят хозяйству большие убытки... Не будь этих убытков, прибыльность хозяйства в целом заметно бы возросла, повысилась бы оплата труда колхозников, появились бы дополнительные средства для культурного строительства и для расширения наиболее доходных отраслей и в конечном счете к более быстрому подъему всего хозяйства.

Как тут не задать вопрос: оправдано ли наличие в хозяйстве всех решительных отраслей животноводства? Ведь есть животные, которые как бы конкурируют друг с другом, так как содержатся на одинаковых кормах. Вот хотя бы птица и свиньи. Тем и другим корма нужны примерно одинаковые, в основном концентраты. Зачем же тогда хозяйству держать тех и других? Не лучше ли иметь одну отрасль, но более крупную?

Или, может быть, в колхозе много фуражного зерна и его хватает для свиней и для птицы? Ничего подобного. Несмотря на перевыполнение планов урожайности, колхоз вынужден ежегодно тратить крупные суммы средств на покупку концентрированных кормов.

И никуда не уйти от вопроса: почему же в этом хорошо налаженном хозяйстве мирятся с убыточными отраслями животноводства?

В соседней комнате послышались торопливые шаги, открылась дверь, и вошел Евгений Александрович. Он вернулся от полевых работ очень кстати!

Поздоровался, присел к столу. По всему чувствуется: доволен.

— Хозрасчет заставляет подтягиваться, — говорит Петров. — Бригада к нам влилась недавно, за нашими передовыми пока угнаться не может, и заработок ниже...

— И потому обиды?

— Нет, обиды нет. Они же получают теперь намного больше, чем до объединения. Но очень хочется им поскорее догнать передовые бригады. Конечно, оплата не последняя статья в нашем деле, но и моральная сторона теперь — (он особо подчеркнул это слово — «теперь»!) — не на последнем счету. Понимаете?.. В газетах часто пишут про бригаду Захарова, и на совещаниях тоже о ней вспоминают добрым словом, о других же... — И он красноречиво развел руками.

Я и раньше читал, что в колхозе «Молдино» все бригады переведены на хозрасчет. Кое-где, правда в других местах, я видел хозрасчет и в действии. Но вообще-то хозяйственный расчет внедряется у нас медленно.

Я думал, что Евгений Александрович достанет бумаги из стола и начнет выкладывать цифры и факты в защиту хозрасчета. Но ошибся. Все цифры и факты хранились у председателя в голове.

— Внутрихозяйственный расчет — это очень сильное средство для подъема колхоза, — сказал Евгений Александрович. — И, честное слово, не могу понять своих собратьев-председателей: почему они не ухватятся за хозяйственный расчет? Не могу понять! — Он присел к столу, заговорил более оживленно: — Вот и сегодня на собрании бригады... На одном поле мы наметили посеять ячмень, бригада сначала согласилась, а вот теперь, когда весна оказалась затяжной, ставят вопрос о пересмотре плана и вместо ячменя хотят сеять пшеницу. Они увидели, что в бригаде Захарова пшеница всегда дает больше двадцати центнеров с гектара.

— И вы разрешили заменить?

— В данном случае — разрешил. Они правы. Приятно то, что у них интерес к делу проявился, как таких не поддержать? Наши бригады в прошлом году получили оплату по труду. У нас такой порядок установлен: перевыполнил план урожайности, скажем, на десять процентов, так эти десять процентов сверхпланового урожая остаются бригаде на дополнительную оплату. То же и по общим доходам: перевыполнил план на двадцать процентов — получай для бригады двадцать процентов добавки.

— А в два раза перевыполнил — в два раза выше оплата?

— Нет, не так, — возразил Петров. — Колхозники постановили ограничить дополнительную оплату двадцатью пятью процентами сверхпланового урожая. То же и по денежным доходам. И снижение оплаты за невыполнение планов тоже ограничено двадцатью пятью процентами. Дело в том, что не всегда низкие урожаи объясняются только плохой работой бригады.

Евгений Александрович привел несколько примеров. Вот первая бригада, которой руководит Илья Васильевич Захаров. Ей присвоено звание бригады коммунистического труда. В прошлом году она собрала с каждого гектара по двадцати одному центнеру зерновых и по семи с половиной центнерам льна-волокна. А третья бригада Ивана Васильевича Муравьева сняла зерновых лишь по девяти центнерам, а льноволокна по три. Как же это отразилось на оплате трудодня? А вот как: членам бригады Захарова на трудодень выплачено по 1 рублю 24 ко-

пейки деньгами и по 2,22 килограмма зерна. А бригаде Муравьева соответственно 81 копейка и 1,44 килограмма.

Разница чувствительная. Но принцип-то социалистический! По труду и оплате.

— Между прочим,— продолжает вводить меня в курс дел Петров,— у нас для каждой бригады дифференцированные планы урожаев и доходов, с учетом достигнутого уже и с учетом качества земель. И против этого никто не возражает, потому что справедливо.

И вот теперь, когда передо мной открылась еще одна страница из жизни колхоза «Молдино» — хозрасчет, я начал выкладывать Евгению Александровичу свои соображения насчет специализации и убыточности отдельных ферм.

Евгений Александрович слушал внимательно. Вообще надо сказать, что он умеет слушать собеседника, никогда не прервет его, даст высказаться до конца. Слушает он и меня, но по его губам то и дело проскальзывает едва заметная улыбка. Конечно же, он сам задумывался над этими вопросами много раз, и ничего нового для него я не мог сказать. Но заговорил он серьезно:

— В наших условиях надо заниматься прежде всего молочным скотом и льносеяннем. Эти две отрасли тесно связаны друг с другом, как бы переплетаются своими интересами. А связывает их выгодная в наших условиях культура — клевер. Да-да, клевер. Вы знаете, какие урожаи он дает у нас?

Я знал и цифры эти уже приводил.

— Но тут надо учесть, что под клевер мы пока не вносили минеральных удобрений. А в скором времени сможем и клевера удобрять, тогда ведь урожай-то его удвоится. Это бесспорно. Значит, для крупного рогатого скота кормовая база будет обеспечена. А теперь другое — по клеверищу хорошо растет лен-долгунец. Наши колхозники давно заметили: если урожай клевера был высок, то и лен родится лучше. Впрочем, это понятно: чем больше корневищ клевера, тем больше удобрений остается в почве. Одним словом, будем добиваться, чтобы у нас эти две отрасли стали главными. Самыми главными! А мелкие фермы — и птицу, и овец, да, может быть, и свиней у нас надо упразднить. А то эти фермы назад тянут, в слабых же колхозах мелкие фермы просто разорительны.

Евгений Александрович привел любопытнейшие факты: в колхозе под льном ежегодно занято около трехсот гектаров земли — чуть побольше одиннадцати процентов пашни. А денежные доходы от льна составляют обычно шестьдесят процентов всех доходов артели. За лен колхоз выручает в два раза больше, чем за всю продукцию животноводческих ферм. Но это в смысле валового денежного дохода. Если же посмотреть с точки зрения рентабельности, то только лен и дает накопления, или, иначе говоря, прибыль. Этой прибылью-то и перекрываются убытки от свиноводства, птицеводства и овцеводства.

— Но, допустим, уже доказано, что мелкие фермы колхозов этой зоны надо упразднить. А правильно ли будет заняться их ликвидацией, пока не созданы специализированные фермы и хозяйства? — допытываюсь я.

Евгений Александрович задумывается, трет свой высокий выпуклый лоб.

— В один год их не упразднить,— поясняет он.— Но смотреть в этих делах нужно далеко. Есть же у нас хозяйства, где выпасы расположены на высоких местах. Там можно разводить овец. Но чтобы ферма была не на четыреста овец, как у нас и у многих других, а на три-четыре тысячи. Тогда можно говорить о рентабельности овцеводства. В некоторых хозяйствах можно заняться откормом свиней. Там, где хорошо родит картофель.

Я напомнил Петрову о внутрихозяйственной специализации. А он решительно возразил: надо же учитывать особенности каждой зоны, даже каждого хозяйства в отдельности. А местные условия хорошо известны: зерна здесь производится мало, потому что маловато пахотных угодий. А птицу и свиней без зерна не вырастишь.

Слушаю я Петрова, а перед глазами Сосновский совхоз в Омской области. В этом хозяйстве около трех тысяч коров, десять тысяч свиней, десятки тысяч

птицы. Вот в таком хозяйстве можно вести разговор о внутрихозяйственной специализации. Или взять колхозы Кубани, Ставрополя, Сибири. У них на фермах многие тысячи голов скота. Там можно специализироваться и в пределах одного хозяйства. Хотя если говорить о более углубленной специализации, то в любом хозяйстве более двух видов животных содержать нет никакой необходимости. Но ведь о внутрихозяйственной специализации совершенно всерьез говорят и в Калининской области, в Бологовском и Вышневолоцком районах, где, как уже говорилось, на колхоз в среднем приходится триста кур и полторы-две сотни свиней.

И вот какие мысли лезут в голову: не допускаем ли мы тут серьезной ошибки? Не продолжение ли это шаблонного руководства без учета конкретных особенностей? Не слишком ли слепо копируем мы то, что разумно в условиях Сибири или Кубани, и совсем неприемлемо в Калининской области, в Вышневолоцком районе?

— Мы много раз у себя тут советовались, раздумывали, — выслушав мои рассуждения, сказал Евгений Александрович. — О какой внутрихозяйственной специализации надо вести разговор? А вот о такой! В наших условиях внутрихозяйственная специализация — это разумное распределение по бригадам крупного рогатого скота: в двух или трех бригадах сконцентрировать дойных коров. Их у нас шестьсот голов, а если будем специализироваться на молочном стаде, то будет в два раза больше. В двух других разместить молодняк — телочек и бычков на племя. И, может быть, еще в двух-трех бригадах — откормочное поголовье. У нас о такой именно специализации и надо говорить. Исходя из этих именно позиций, надо в самом спешном порядке начинать поход за очистку от кустарников лугов и пастбищ. Вы же знаете — кое-где выпасные угодья полностью выведены из строя. Надо уничтожать кустарники, подсеять на выпасах и лугах травы, тогда наш край будет получать много молока и говядины — при этом самой дешевой! Что значит организовать культурные пастбища и сенокосы? Мы вот делали анализ. — Он достал из стола два листа бумаги. — Посмотрите... За последние два года центнер клеверного сена нам обходится в среднем рубль пятнадцать копеек, а центнер естественного — три шестьдесят. Но ведь и качество естественного в два раза хуже. А если бы окультурить луга и пастбища? Это же такое выгодное дело!

Думается, возражать тут нечего.

А Евгений Александрович продолжает:

— Знаете, что тогда получилось бы? Тогда бы мы все повели наступление на «Сельхозтехнику», потребовали бы кусторезы и другие машины для улучшения лугов и пастбищ. И, конечно, такие машины нашлись бы, нужда заставила бы наделать их нужное количество. А то ведь в нашей зоне ни единого кустореза нет...

Все это, конечно, очень резонно. Но мне хочется выяснить у Петрова еще один вопрос: в этих местах очень мелкие населенные пункты. Вот и в «Молдине» только центральный поселок разросся уже за полторы сотни домов, а девять других — по двадцати — сорока дворов. В колхозе «Серп и молот» сорок семь населенных пунктов, хотя пахотной земли немногим более четырех тысяч гектаров. Десятки колхозов имеют земли еще меньше, но и у них по двадцати пяти — тридцати поселков. Как все это сочетать с проблемой узкой специализации сельскохозяйственного производства?

Евгений Александрович оживился:

— А тут смотреть надо глубже! Никуда ведь нам не уйти от такой проблемы, как сселение мелких деревень! Никуда не уйти! Мы вот за последние годы сселили жителей трех деревень. Думаем продолжать это делать и дальше, хотя поселили у нас и сейчас крупнее, чем у других. Сселение деревень нужно ведь не только ради производства, но и ради роста культуры. Необходимо продумывать разумное размещение производства и обязательно с учетом укрупнения поселков.

И опять нечего возразить. Конечно, не в один год придет в эти края узкая специализация, не в один год произойдет сселение деревень. Но очень прав, ду-

мается, Евгений Александрович: сейчас уже надо иметь прикидку — что и где выгоднее и удобнее производить? Где будут жить колхозники через десять — пятнадцать лет? И прикидка должна быть продуманная, обоснованная экономически! Нельзя забывать, что помещения для скота и другие капитальные постройки сооружаются не на год-два, а на десятки лет.

## ДЕЛА УРОЖАЙНЫЕ

Солнце светит ярко, но с озера дует холодный, пронизывающий ветер.

Когда мы вышли из поселка в поле, агроном колхоза Алексей Александрович Ипполитов все поеживался от холода. Но когда прошагали с километр вдоль вспаханного поля, агроном даже расстегнул верхнюю пуговицу пальто. И заговорил оживленнее. Здесь, на солнечном пригорке, защищенном от озера густым лесом, мы быстро отогрелись.

— Вот вы спрашиваете, почему у нас урожаи выше? — говорил Ипполитов. — Да, у нас заметно выше. Но, честно говоря, у нас нет никаких секретов. — Он усмехнулся чему-то. — Сами-то мы пока что расцениваем свою агротехнику как примитивную... У нас как-то странно получается. Вырастили мы урожай по-выше — на всех совещаниях от нас требуют: выкладывайте секреты! Приезжают к нам разные представители, работники печати, и тоже: в чем секрет? Оно, пожалуй, для кой-кого секрет и то, что пахать землю надо вовремя, удобрять ее... Потому что некоторые товарищи хотят природу обмануть — ничего не дать земле, а взять по плану, а тс и побольше... А природа-то работает на нас по принципу материальной заинтересованности!..

Но ведь и я хотел задать тот же вопрос! Повременив, я спросил не о «секретах», а о наиболее верных агротехнических приемах для этих мест. И сразу почувствовал, что рассердил агронома.

— О приемах так о приемах... Самый верный прием — это правильный севооборот! — сделал он ударение на последнем слове.

— Севооборот не прием, а система...

— В этом и суть. Не отдельные приемы брать на вооружение — нет таких гарантированных приемов! Есть гарантированная система земледелия, всего урожайного дела. Я вам прямо скажу: пока не можем мы, агрономы, убедить в этом руководителей управления. И в нас ведь засел этот шаблон: ранняя выровненная зябь! Как будто одно дополнительное боронование зяби может решить судьбу урожая! Глупости! Нет таких единовременных приемов, обеспечивающих высокий урожай, нет! Вот пример: в соседний колхоз имени Калинина пришел председательствовать товарищ Филиппов. Он агроном, был в районных начальниках, вообще думающий человек. Так вот он, когда приехал сюда, спрашивал у нас не об отдельных приемах, а о системе. А теперь он и нас начал поджимать с урожаями. Правда, и его частенько сбивают, но времена, к счастью, сейчас другие... Словом, в колхозе Калинина урожай будет все выше и выше. Это ясно. А в большинстве других что-то прогресса не видно, не растут урожаи. Вы только подумайте: в нашем районе есть колхозы, которые снимают всего по пяти центнеров зерна с гектара...

Я мог бы дополнить Ипполитова: в Вышневолоцком управлении есть колхоз «Заветы Ленина», который за последние три года собрал с гектара в среднем по два с половиной центнера зерна.

— А где не растут хлеба, — продолжал Ипполитов, — там не будет расти ни лен, ни клевер, ни кукуруза. Это-то уж точно!

Но как тут не спросить: почему же у вас-то растет? Почти каждый год превышает сто пудов с гектара?

— А вы знаете о наших урожаях по отдельным бригадам? — спрашивает Ипполитов. — Возьмите прошлый год. Бригада Захарова сняла с каждого гектара больше двадцати трех центнеров зерна, а третья только девять. Почему так? Ведь



колхоз-то один... Но бригада Захарова на своих полях завершает уже третий цикл правильного севооборота, а третья только начала освоение севооборота. Она к нам присоединилась недавно. Но и девять центнеров, по мнению бригады, — достижение, потому что до объединения тот колхоз больше пяти-шести центнеров не получал.

— Значит, пока не минуют трех циклов, не видать третьей бригаде двадцатцентнеровых урожаев?

— При обычных условиях только так! — решительно заявил Ипполитов. — Но теперь это произойдет быстрее. Химия поможет... Но на одну химию положиться тоже нельзя. Вноси хоть тонну удобрений на гектар засоренных земель — все равно урожая не будет. Только при правильных севооборотах химия будет работать на полную мощь. Да вот вам и пример, — оживился вдруг Ипполитов. — В нашей зоне самые лучшие земли считаются в Мануйлове. До войны, да и в первые годы после войны мануйловцы всегда снимали самые высокие урожан. И это считалось закономерным. А потом свои поля мануйловцы позапустили и к нам присоединились уже с пятицентнеровыми урожаями.

— А теперь?

— И теперь небогато — около тонны с гектара. Но и там тоже начали осваивать правильный севооборот. Однако мануйловцы имеют больше всех перспектив догнать захаровскую бригаду. Но за год-два этого не достигнешь. Я в этих местах много лет был участковым агрономом МТС, — смущенно улыбувшись, продолжал Ипполитов. — Все это на моих глазах проходило... А как агроном нашел себя только здесь, в «Молдине». Евгений Александрович всю полноту власти над землей отдал агроному. Я, конечно, всегда советуюсь с ним о своих намерениях, но распоряжения по агротехнике отдаю только я, хотя наш председатель в агротехнике разбирается получше агронома. И самое главное... Самое главное — наш председатель буквально спас правильные севообороты. Любителей всяких временных новшества было много. То травы распахивай, то то, то се... А Евгения Александровича с правильного пути никому не удалось сбить. Почему только здесь я почувствовал себя агрономом? Если я наметил что-то сделать на определенном поле, никакой уполномоченный меня не собьет — Петров не даст! А при такой поддержке смелее действуешь, мысль как-то лучше работает...

Мы зашагали дальше — под гору, ближе к реке. Я расспросил Алексея Александровича о его жизни, работе. Оказывается, он ленинградец, там родился. В двадцатых годах его отец приехал в эти места, да тут и остался. Сам он получил агрономическое образование, работал в райзо, в МТС, а с 1951 года — в колхозе «Молдино». В общем, осел на земле.

Шагая по полю, Ипполитов то и дело наклонялся, набирал в горсть землю, рассматривал ее, перебирал на ладони. Я молча наблюдал за колдовскими действиями агронома.

— Дня три еще придется ждать, — заключил он. — Запаздывает весна. И не очень чтобы влажная, как бы лето не было засушливым.

Я было возразил: здесь не бывает засух. Но Алексей Александрович отрицательно покачал головой:

— Бывают. Не так часто, но бывают. На моей памяти их уже несколько. Вот в засуху-то особенно заметна разница в урожаях у добрых и у нерадивых хозяев. Засуха-то как раз и проверяет: у кого правильный севооборот, у кого неправильный или вовсе никакого нет. Она поставит точную отметку за прилежание...

От леса отделилась цепочка людей. Я насчитал более двадцати человек. Знакомые со вчерашнего дня движения. Люди собирали камни с клеверного поля.

— Это захаровцы. — сказал Ипполитов.

Бригадир объявил отдых. И люди расселись на только что сложенных кучках камней. Заговорили об использовании собранного булыжника. Оказывается, у добрых хозяев все к делу. В «Молдине» собранный булыжник идет на строи-

тельство — при закладке фундаментов, при кладке столбов и стен. За собранными камнями придут машины (когда поле подсохнет), увезут на стройку.

Когда мы зашагали дальше, Ипполитов сказал, что весной булыжник собирают с клеверищ, а позднее — после посевной — начнут собирать и с паровых полей. Но там одновременно убирают и большие камни-валуны, уже с помощью тракторов. Одним словом, в этом колхозе проблему камней на полях решают. Хотя и дороговато это обходится хозяйству, но все равно, по мнению агронома, затраты окупаются дополнительным урожаем и экономией за счет более производительного использования техники.

— Нам лен помог и хозрасчет, — заметил Ипполитов. — На льняные трудодни оплата повыше, вот люди и рвались собирать камни с тех полей, где лен возделывали.

За лесочком открылось просторное поле. По его краям стояло несколько буртов навоза и торфа. Агроном сказал, что колхоз сам заготавливает торф на болотах и ежегодно вносит в почву до десяти — двенадцати тысяч тонн. Используются и весь навоз. Зимой его вывозят из дворов к полям, укладывают в бурты до трехсот тонн в каждом, а весной разбрасывают и запахивают. На каждый гектар приходится до тридцати пяти тонн перегноя.

Я заметил: навоз и торф — это же передовые приемы.

— Это элементарно, — отмахнулся обеими руками Ипполитов. — Беда в том, что многие вывозят навоз к полю, но в землю его не вносят.

Что правда, то правда. За эти годы я во многих местах наблюдал это. Не вносят. И часто не потому, что не хотят или не понимают пользу удобрения, а потому, что сил не хватает. Машины могли бы выручить. Но навозоразбрасывателей нет даже и в колхозе «Молдино».

А Ипполитов между тем забрался на навозный бурт, порылся в нем палкой. Соскочив на землю, сказал:

— Навоз — это не опыт. А вот приготовление его — другое дело. Мы делаем по примеру передовых хозяйств страны: когда буртуем, то добавляем к нему минеральные удобрения — фосфорную муку или суперфосфат — килограммов по десяти — пятнадцати на тонну навоза, рассыпаем послойно... И еще, если уж о передовом... Надо хорошо знать, где какие удобрения вносить, да и сколько вносить.

— А вы знаете?

— Мы теперь знаем точно. Евгений Александрович несколько лет добивался перед Москвой, добился! В шестидесятом году у нас работала бригада Казанского университета. Нам составили самую подробнейшую почвенную карту, и теперь мы как бы поумнее стали...

— Так, может, вы и удобрений вносите больше других?

Ипполитов в ответ усмехнулся:

— Навозу вносим больше, а минеральных... Мы даже жалобу писали. Наше хозяйство считается опытно-показательным, а удобрений нам выделяют в расчете на гектар куда меньше, чем многим другим. Но нам почвенная карта помогает более разумно вносить удобрения.

Теперь мы шли по узенькой полевой тропке. Я шагал вслед за начавшим спешить агрономом и думал: «Вот вам и «ничего особенного», вот вам и элементарно... Правильные севообороты, почвенная карта, правильное приготовление удобрений, разумное внесение их. Наверняка и семенное дело здесь на высоте. Так это же и есть то, что принято у нас называть научно обоснованным ведением хозяйства. Да плюс еще хозрасчет». О нем как раз и заговорил Ипполитов:

— Хозрасчет стал большим подспорьем агроному... Теперь ко мне за советом бригадиры обращаются чаще...

Алексей Александрович привел меня на поле, где осенью поработали скреперы лугомелиоративной станции. Как и на полях, показанных мне Петровым,

здесь тракторы раздвинули границы поля во все стороны, потеснили лес и кустарники метров на двадцать.

— Завтра здесь начнем разборку завалов, а осенью еще раз надвинемся на леса, — не без восхищения произнес Ипполитов.

Он и здесь рылся в земле в нескольких местах — и поближе к лесу, и на середине поля. Рылся и на соседнем поле. А когда повернули к дому, сказал, что вот-вот надо включать тракторы... И сразу заговорил о другом:

— Пашни у нас каждый год прибавляется, а вот луга и сенокосы зарастают, и нам нечем бороться — ни кусторезов, ни химикатов, чтобы кустарники уничтожать... Есть у нас, правда, одна мыслишка... Вот видите те заросли? Это бедствие... Есть у нас думка — взять бы некоторые сильно заросшие кустарником участки и закрепить их за группой семей колхозников. Все равно ведь мы отводим им сенокосные участки или сено выдаем для своего скота. А так отдали бы по договору определенный участок, с условием, что колхозник очистит его от кустарников и, скажем, пять лет будет заготавливать сено для своей коровы. Как вы на это?

— А колхозники согласятся?

— Многие — хоть сейчас! Ведь если оставить все как есть, то эти участки не принесут пользы никому, еще больше зарастут. Заикнулся было я в производственном управлении — там на смех подняли...

А мысль ведь вообще-то говоря не пустая! В самом деле: а почему бы и не пойти по этому пути? Надо же наступать на кустарники всеми возможными средствами! И в этой войне, думается, все средства хороши.

Когда мы вышли на шоссе, навстречу нам катились на велосипедах одна за другой группы ребят. Школьники.

— Видите, все на машинах, — заметил Ипполитов. — Вообще материально наши колхозники живут хорошо. На моих глазах многое изменилось к лучшему. Каждый год мы вроде бы богаче. Все-таки оплата трудодня у нас высокая. В прошлом году многие семьи только хлеба получили по четыре-пять тонн. И деньгами порядочно. У нас была установлена гарантированная оплата трудодня — по восемьдесят копеек. Это минимум. А на этот год колхозники приняли решение довести этот минимум уже до одного рубля. Не максимум, а минимум! Не менее рубля!

На окраине селения из высокой трубы густо валил дым.

— Это наша колхозная баня. Сегодня у нас банный день, — сказал Ипполитов.

На одной из улиц я увидел какие-то странные дома: длинные-длинные, словно по несколько обычных изб были приставлены друг к другу.

— Так начинали наши коммунары, — пояснил Ипполитов. — По пяти и по шести изб ставили вплотную. И дома как бы в коммуны входили, объединялись...

## ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ

В «банный день» на улицах колхозного поселка оживленно. Колхозники семьями направляются в баню. Им навстречу идут не спеша розоволицые, поселевшие люди. А вот и с полей вернулась бригада. Работа в банный день заканчивается раньше обычного.

По дороге к клубу раздумываю: что нового, отличного от многих других хозяйств этой зоны увидел я в «Молдине»? Конечно, не ново, что здесь есть детский сад и детские ясли, но в здешних местах детских учреждений не богато. А в «Молдине» они есть во всех бригадах! И что особенно важно — везде бесплатно! И хотя здесь платят колхозникам строго по вложенному труду, артельные доходы позволяют сделать исключение для молодого поколения: сколько бы ни было детей в семье колхозника, все они содержатся за счет общих, артельных средств. Все! Это же и есть черты коммунистического будущего.

Вот и баня тоже. Она бесплатная, независимо от количества членов семьи колхозника. На общие средства содержится. И библиотека колхозная — в ней более восьми тысяч книг, семьсот читателей.

Вот и Дом культуры — тоже на колхозные средства. Решительно все производственные и культурно-бытовые постройки в Молдине возведены только на артельные деньги. Недаром же так гордятся ими колхозники, так обиходят их.

Сегодня хотя и банный день, но у клуба многолюдно — и молодежь и пожилые. Комсомольская организация колхоза объявила субботник: очищают территорию возле клуба, роют ямы для посадки деревьев, готовят площадку, где будет установлен памятник В. И. Ленину. Это как раз напротив входных дверей в Дом культуры. Памятник уже заказан, и сейчас молодежь разбивает цветочные клумбы, готовит оградку.

В клубе тихо. Зашел в главный зал. Бросаются в глаза большие стенды с множеством фотографий. Стендов три. Над одним крупными печатными буквами: «Так начиналось». Это о первых шагах коммунуны «Молдино», о первых годах ее жизни. Над вторым: «Трудные годы». Это годы войны, первые послевоенные... Над третьим надпись: «На подъеме!» Это о годах, начавшихся после XX съезда партии.

Хорошо придумано. История хозяйства в цифрах, фактах и фотографиях. Заглянувшая на минутку Инна Паперная сказала, что готовит и четвертый стенд — о недалеком будущем артели, или, как выразилась Инна, — «Шагаем в коммунизм!»

Сохранились фотографии первых коммунаров — зачинателей большого дела. Есть бородатые, есть безусые. И среди них совсем юный паренек Женя Петров. Но самому юному и доверили руководство первой коммуной.

А вот снимок, запечатлевший прибытие первого трактора — «фордзона». Теперь в артели десятки мощных тракторов. Но тот первый был особенно дорог: он помогал делать революцию в сельском хозяйстве.

Много раздумий у всякого вызовет эта история в фотографиях и цифрах. Но многое из истории коммуны сохранилось только в памяти первых коммунаров.

Вечером Евгений Александрович припоминал первые месяцы жизни коммунаров. Коммуну создали, а семян для посева не хватает. Весна на дворе, а в коммуне всего семь лошадей. Но и тут государство помогло — выделило кредит на покупку лошадей.

— До Удомли, помню, шагал пешком, — рассказывает Петров. — А как осмотрительно возвращался обратно: денег в кармане три тысячи рублей! На шесть лошадей хватало... Но вот чего не забыть, — улыбнулся Петров, — на имя председателя подавались некоторые заявления. И вот на одном из них я наложил первую в жизни резолюцию... Коммунар Алексей Орлов просил выделить ему четыре холщовых мешка, чтобы сшить штаны...

Многое припомнил Евгений Александрович. Он, наверное, и сам напишет об этом, потому что ведет дневник... Но еще об одном я все же сообщу.

Когда коммунары стали выбирать председателя, то называлась кандидатура Яковлева. Это был энергичный человек, повидавший свет за годы войны и революции, грамотный. Но тут всплыл такой факт: когда коммунары обобществляли имущество, то Яковлев укрыл поросенка, продал его и купил себе хромовые сапоги. Сообщение об этом вызвало возмущение коммунаров. И сам Яковлев слезно просил прощения, сапоги свои обещал сдать в коммуну. Простить ему простили, но его кандидатура на пост председателя сразу отпала: сознанием не созрел, как было тогда сказано. В председатели, по общему мнению, нужен человек без единого позорного пятнышка. А у восемнадцатилетнего избача-комсомольца Жени Петрова пятнышек не было...

И еще об одном событии. Даже не события, а житейском факте. Среди первых коммунаров был Илья Огнев, который почему-то возненавидел Петрова, всячески подсиживал его. Затем Огнев оказался в числе небольшой группы, требовавшей роспуска коммуны. Всех их, по настоянию Петрова, исключили из комму-

ны. Позднее Огнев все же добился своего — среди прочих были на Петрова доносы и от Огнева. В 1937 году Петрова арестовали.

— А в прошлом году сын Ильи Огнева женился на моей дочери...

Вот вам и проблема отцов и детей. И не в 1929 ли году были посеяны семена новых взглядов на жизнь, не в тот ли день, когда подписывался первый устав коммуны? Не тогда ли начал закладываться фундамент, на котором потом созрело понятие: «Человек человеку — друг и товарищ».

Воспоминания о прошлом перемежались с текущими делами, пока наконец совсем не перешли к вопросам проблемным. А их и в передовом хозяйстве оказалось предостаточно.

За председательским столом сидят Петров, Ипполитов и парторг колхоза Иван Михайлович Соколов.

— В первую очередь надо говорить о льне, — начал Ипполитов. — Это не только в нашем колхозе, а во всей зоне, а может, и во всей области. Подсказок сверху о том, как поднять отстающие колхозы, много, но почему-то редко кто упоминает, что лен может сыграть самую главную роль в подтягивании отстающих.

— Это верно, — поддержал Петров. — Что значит в наших условиях подтянуть отстающее хозяйство? Это же прежде всего укрепить его экономику. Без денег сейчас смешно и говорить о каком-то подъеме. Нет денег — нет новых машин, нечем ремонтировать старые, а без машин нечего думать о подъеме. Такое сейчас время.

Более шестисот рублей чистой прибыли с гектара посева дает молдинцам лен! Почему же тогда не увеличить посевы этой чрезвычайно доходной культуры? Евгений Александрович только улыбнулся. А Ипполитов ответил так:

— Если бы побольше техники льноводческой, тогда можно бы прибавить и посевы.

— А предшественники? — вопросительно глянул на агронома Петров.

— Да, и предшественники, — согласился Ипполитов. — В наших условиях лен хорошо родит на клеверницах. Однако есть и другие «но»...

Вот об этих «но» следует поговорить поподробней и не только в масштабах молдинского колхоза.

Калининская область — самая крупная по поставкам льноволокна. Она производит чуть ли не треть всей льнопродукции страны. В последние годы мне приходилось не раз беседовать об этом «северном шелке» и в производственном управлении, и в области, и в Министерстве производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов. И вот какая картина представилась мне.

Калининская область под посевы льна отводит ежегодно одиннадцать процентов пашни. Доходы же от льноводства составляют около половины всех денежных доходов колхозов. Около половины! Вот потому-то некоторые областные работники рекомендуют: «Чтобы поднять экономику колхоза — сейте лен!»

Рекомендация правильная. Ведь и Псковская область засеивает льном десять процентов пашни, а доходы от льна составляют около половины всех денежных доходов колхозов. И Смоленская при восьми процентах пашни подо льном получает от него около половины всех денежных доходов. Значит, можно смело утверждать, что лен — это ключ к подъему экономики не только калининских колхозов.

Наша страна располагает основной частью мировых посевов льна, а запросы мирового рынка на льноволокно и льнополотно очень велики. И приходится только удивляться: почему-то за последние годы развитие льноводства затормозилось. Урожай льна снизился, ухудшилось и качество волокна. В чем дело?

На это должно бы дать ответ Министерство производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР. Но кто там ответит, если в министерстве нет даже управления или хотя бы маленького отдела, занимающегося льноводством? В его территориальном управлении, ведающем основными льносеющими районами нечерноземной зоны, нет ни единого специалиста по льну. Вот поэтому-то нет ясности, по какой перспективной технологии должно развиваться у нас

льноводство, нет и четких заданий конструкторам на разработку более совершенных машин для льноводов. А старые машины поистрепались, да и производительность их чрезвычайно низка.

Всесоюзный научно-исследовательский институт льна считает, что у нас ежегодно за счет затяжки сроков уборки и обработки льнопродукции теряется тридцать — сорок процентов выращенного урожая. А это приносит убыток до трехсот миллионов рублей.

Все это мне было известно из газет. Но сейчас в колхозе я узнал еще кой о чем, что тормозит развитие льноводства.

— Льну надо дать все права гражданства, — говорит Петров. — А ведь сейчас продукция льноводства в показатели работы колхоза фактически не засчитывается.

А это, оказывается, вот что: при анализе деятельности колхоза или совхоза вся произведенная продукция рассчитывается на сотню гектаров земли: и молоко, и мясо, и зерно. Но продукция льноводства в расчет почему-то не принимается.

Это, так сказать, моральная сторона проблемы. Есть и другая. Известно, что теребление льна — сравнительно небольшая часть дела. Главные работы остаются впереди. Наиболее трудоемкие — расстил соломки, подъем ее после лежки. Все это — ручные работы. К тому же для расстила льна нужно занять земельную площадь, и очень большую, — его расстилают на лугах, на клеверищах. Но ведь это означает, что на определенное время — месяц и больше — луга и пастбища, на которых разостлали лен, выбывают из строя, на них нельзя пасти скот. Однако это обстоятельство при составлении производственных заданий никак не учитывается.

Все это — тоже тормозы на пути льноводов.

— Без хороших предшественников хорошего льна не вырастишь, — замечает Ипполитов. — У нас приличные урожаи, потому что мы сеем лен только по клеверищам. А у многих нет такой возможности, потому что клевера пораспахали, и в результате лен перестал быть доходной культурой.

Это тоже правда. И на это особенно напирал Евгений Александрович. Он приводит любопытные наблюдения: если клевер дал урожай сена не менее сорока центнеров с гектара, то на таком клеверище и волокна соберут не менее семи-восьми центнеров и семян минимум пять центнеров. Если же урожай клевера в два раза ниже, то и сбор льнопродукции на таком клеверище будет примерно в два раза ниже. Петров делает вывод: надо побольше удобрений выделять для клеверов. Они в этом случае дважды оправдаются: и урожай сена увеличат, и повысят последующий сбор льносемян и волокна.

Вообще-то в колхозе «Молдино» так и делают. Но Евгений Александрович говорит с заглядом вперед.

Он замечает, между прочим, что не только в интересах животноводства надо быстрее очищать заросшие луга и пастбища, но и ради льна. Тогда будет, где разостлать соломку, легче будет маневрировать выпасными угодьями.

И еще об одном важном деле напомнил Евгений Александрович. В свое время было решено: в обмен на сданную льнопродукцию продавать колхозам жмыхи. Однако это решение совершенно не выполняется. И колхоз «Молдино» ни разу не смог получить жмыхов. А ведь это тоже помеха...

Да, все тут взаимосвязано.

Затем за столом председателя колхоза возник такой вопрос: если расширить посевы льна, то какие культуры сокращать?

— Потесним зерновые, — решительно заявил Ипполитов. Заметив мой недоуменный взгляд, добавил: — В животноводстве узкая специализация намечается, это очень хорошо. Но надо же и полевое хозяйство вести так, чтобы возделывать наиболее доходные в наших условиях культуры.

Молчавший до этого парторг негромко произнес:

— Это резонно.

И Петров одобрительно кивнул головой.

Ипполитов говорит, что они охотно занимаются севом озимой ржи, потому что она дает наиболее высокие урожаи. Теперь во всей нечерноземной зоне взято направление на расширение озимого клина. Вот и в колхозе «Молдино» по принятым севооборотам под озимые положено одно поле, но фактически засеивается полтора. Потеснены яровые культуры. Урожай озимых всегда приличные — по восемнадцати — двадцати центнеров с гектара. Правда, в других хозяйствах этой зоны урожаи значительно ниже, но сейчас разговор о колхозе «Молдино». И разговор возник не случайно.

— Показатель урожая хороший, — говорит агроном, — но бухгалтеры ругают нас, потому что от продажи ржи хозяйство несет убытки...

Вот, оказывается, в чем дело-то...

Заговорил Евгений Александрович:

— Теперь нас заставляют глубже вникать в экономику, потому возник вопрос и насчет зерновых. И тут факт остается фактом: от сдачи зерна государству мы несем убытки. Все годы.

— Значит, производство зерна в здешних условиях вообще убыточно? — спрашиваю я.

— Нет. Не убыточно. Но не убыточно при известном условии. А условие такое: если мы свой урожай расходует на корм скоту, то убытка нет... Подождите-подождите, — остановил он меня. — Дослушайте до конца. Почему нет убытка? Сейчас поясню. Мы ежегодно вынуждены некоторое количество зерна или комбикормов покупать у государства. А комбикорм дороже, чем свое зерно, да и расходы по его доставке порядочные. Так что в сравнении с покупным наше собственное зерно дешевле. Вот отсюда и надо начинать...

Мысли его сводились к следующему: если цены на рожь будут оставлены на теперешнем уровне, то расширение посевов в этой зоне может привести к росту убытков для колхозов. Рассчитывать же на энтузиазм при производстве убыточной продукции трудно. Отсюда вытекает такой вопрос: так ли уж нужна государству рожь из этих мест? Надо учесть, что и государство не получает больших прибылей при покупке калининской ржи. Поясним это примером. За центнер пшеницы, купленной, скажем, на Кубани, государство платит в два с лишним раза дешевле, чем за центнер ржи в Калининской области. Сибирская пшеница тоже в полтора раза дешевле, чем калининская рожь. Но и в Сибири, и на Кубани пшеница приносит колхозам и совхозам большие прибыли, а калининская рожь и колхозам (совхозам тоже) не дает прибыли. И если калининская рожь очень нужна государству, то надо что-то делать с закупочной ценой на нее, чтобы не ставить колхозы в трудное положение.

Каков же выход?

— А я бы так сделал, если бы на мою власть, — улыбнулся Петров. — В принципе государству надо отказаться от покупки нашей ржи. Но выращивать ее мы будем, имея в виду интересы животноводства.

— Рожь — скоту? — удивился я.

— Может быть, и скоту, — невозмутимо ответил Петров. — Что же тут удивительного? Можно, конечно, и иначе. Принимать нашу рожь в обмен на комбикорма по соответствующему эквиваленту. Это в нормальные годы, когда в стране хороший урожай. Ну, а если неурожай, тогда и нашу рожь... Хотя и тогда ее можно брать в обмен на комбикорма. Это было бы хорошо и для государства, и безубыточно и для колхоза.

В этих рассуждениях, думается, есть рациональное зерно.

— Это понятно, — согласился Ипполитов. — Тем скорее надо искать источники снижения себестоимости.

Парторг Иван Михайлович Соколов замечает, что в целом-то полеводство дает колхозу большую прибыль.

— Прибыльной должна быть любая возделываемая культура, — возражает

ему Петров. — Иначе нечего и огород городить. Вообще-то нам надо больше внимания уделить семеноводству клевера — очень выгодное дело.

Ипполитов улыбается:

— Когда расчистим кустарники на лугах и пастбищах, тогда можно побольше клеверов оставлять на семенники.

— С клеверами тоже проблем немало, — вздыхает Евгений Александрович.

Тут снова вступает Ипполитов. Он сетует на то, что в последние годы совсем заброшена селекционная работа с клеверами, поэтому негде заменить свои несортные семена. И еще: не дико ли — до сих пор клевер высевается только вручную.

Надо заметить, что в этих местах посев клеверов производится ранней весной, когда на озимых появляются первые проталины. Обычными сеялками тут ничего не сделаешь. Но я вспомнил: крестьяне-единоличники нашей деревни рассеивали клевер при помощи сеялки ранцевого типа: навесив ее на грудь, человек шагает по полю, крутит ручку, и все.

— Теперь таких сеялок нигде нет, — замечает Ипполитов. — И взамен ничего не придумано. А ведь руками хорошо не посеешь: где густо, где пусто.

— И туковых сеялок у нас нет, — добавляет Петров. — А удобрений будет все больше и больше.

Да, много проблем накопилось даже в этом передовом хозяйстве. Воспроизводить их только потому, что многие из них, на мой взгляд, заслуживают очень серьезного внимания руководящих организаций.

### ОБЩЕЕ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

На следующий день рано утром, подходя к конторе, я увидел колхозного парторга Ивана Михайловича Соколова и пожилую женщину. Она выговаривала грубоватым голосом:

— Иду это я, а там на озимке-то две лошади. Разве это дело? Озимка-то там уж такая хорошая... Я уж и сама, Иван Михайлович, попробовала выгонять, да где мне. — Женщина неожиданно рассмеялась и продолжала совсем миролюбиво: — Так ты поторопи, Иван Михайлович...

— Сейчас, сейчас... Вот-вот подойдет машина, — ответил смущенный Иван Михайлович.

Машина действительно подошла. Соколов попросил шофера «сбежать» на поле, выгнать лошадей с озими.

— Вот и спасибо тебе, — чуть приклонила голову женщина. — А то я к Евгению Александровичу зашла, а он уже где-то по делам бегают...

И неторопливо зашагала от конторы.

— Я ведь и сам до недавнего времени был председателем колхоза, — как-то смущенно заговорил парторг. — Колхоз, конечно, не такой передовой, но и не отстающий... И здесь меня просто поражает такая заинтересованность в сохранности общего добра. Понимаете?.. Все люди за общее болеют... У нас там такого порядка не удалось пока добиться... А здесь часто вот такие, как и эта старушка... Я, к своему стыду, и не знаю ее... Я тут сравнительно недавно. Знаю, что она пенсионерка, от колхоза пенсию получает. И вот слышали? Увидала двух лошадей в озими — и сразу в контору... Вроде бы ей-то какое дело — отдыхай себе. Так нет же...

Он присел на скамеечку, приглашая и меня последовать его примеру, сказал, что собрался в бригады.

Иван Михайлович Соколов по виду очень скромный человек. И говорит он негромко, и в движениях несколько медлителен. А ведь несколько лет руководил колхозом! Мне вчера еще казалось, что Иван Михайлович чувствует себя здесь не совсем уверенно. Руководил он колхозом, который значительно уступал этому хозяйству. Давать «указания» в хорошо налаженном хозяйстве? Это и председатель сделает, да и бригадиры здесь опытные. Вмешиваться в хозяйственную дея-



тельность Ивану Михайловичу в этих условиях неудобно. Он, видимо, хорошо это понимает и все свое время отдает работе с людьми, старается поближе сойтись с каждым, поддержать передовые устремления, зачатки нового, интересного. Вот и сейчас, когда мы уселись на скамеечку, он продолжил начатый разговор:

— Здесь, знаете, этот самый коммунарский дух сильно внедрился в сознание людей... Да и хозрасчет очень влияет на сознательное отношение к делу. Мы у себя там, — махнул он рукой в сторону, — не смогли так крепко наладить хозрасчет. А здесь это помогает разжечь соревнование... Вчера вы рассказывали, как удивило вас, что люди собирают камни. А ведь прямой директивы не было, чтобы камни собирать. Тем более что у нас действует такой принцип: если бригада выполнила план производства и сэкономила трудовни, то половину этой экономии отдаем бригаде обратно, то есть доначисляем. А на сбор камней трудовой запланировано совсем немного. Но Захаров прикинул так: затратим дни на сбор камней, зато потом машины будут работать более производительнее, ручная уборка отпадет. Доказал своим, что выгоднее собирать камни. Вот вся бригада и вышла. А на них глядя и другие бригады тоже. Все же знают: в бригаде Захарова просто так ничего не делается, все с расчетом.

Переждав немного, заговорил о людях:

— Здесь костяк сильный! И в партийной организации, и в колхозе. От коммунаров идет эта сила. Есть у нас тут коммунистка Анна Никифоровна Григорьева. Она первая коммунарка, ей сейчас шестьдесят один год, но работы не прекращает, возглавила льноводческое звено, и результаты всегда отличные. И в семье у нее хорошо. Без мужа воспитала троих детей, все они остались в родном колхозе. Или вот такой пример... Прасковья Михайловна Беляева тоже член партии, работала и пастухом и дояркой. И дочь свою Галю пристрастила к животноводческим делам. Окончила Галя школу и пошла на ферму дояркой. Вообще у нас много молодежи на животноводческих фермах, — заключил довольный Иван Михайлович.

А затем снова заговорил о людях, которыми вправе гордиться колхоз. Но по тону разговора, по всему облику Соколова видно, что это он, партийный вожак колхоза, прежде всего гордится этими людьми — это же и его опора. Он по памяти называет много имен. Тут и пожилой механизатор Ульян Осипович Ипполитов, и молодой Петр Яковлевич, и лучший пастух, участник ВСХВ Федор Алексеевич Ежов, и лучший тракторист Павел Иванович Громов, и многие другие.

— Недавно мы завели «Книгу почета», но неожиданно затруднения получились, — продолжает, улыбаясь, Иван Михайлович. — Затруднение в том, что очень много у нас в колхозе замечательных людей!

Иван Михайлович досадует: почему же к ним в колхоз редко приезжают работники производственного управления? Начальник управления за год не был ни разу, главный агроном так и не повидал колхозных полей, секретарь парткома приезжал, но по сугубо хозяйственным вопросам, у него не нашлось времени для разговора с партгором колхоза.

— А сказать короче, — вздыхает Соколов, — роли производственного управления мы не понимаем, вернее, совсем не чувствуем. А ведь наш колхоз и опыт Евгения Александровича — это же хорошая школа для любого руководящего работника управления. Да и не только производственного.

Вернулась с полей машина. Иван Михайлович подошел к шоферу и спросил про лошадей.

— Там уже их до меня кто-то выгнал с озими, — весело ответил шофер.

## РАЗДУМЬЯ В ДОРОГЕ

Евгений Александрович Петров крепко жмет руку на прощанье.

— Вы летом приезжайте к нам... Летом у нас очень красиво. В самом деле, приезжайте летом, — повторил Евгений Александрович.

Председательский «газик» помчал по улице, перескочил мост через Молдинку, стал взбираться на пригорок, спустился под гору, опять полез на пригорок — тот, с которого я, шагая в Молдино, впервые обозревал поселок. Я попросил водителя остановить машину. Тот недоуменно посмотрел на меня, однако остановился.

Я вышел из машины. Отсюда лучше всего виден весь большой поселок. Он словно бы повеселел за эти дни, особенно после вчерашнего дождичка. Деревья в садах и на улицах уже не серые, а слегка зеленеющие, а по берегам реки на пригорочках пробилась ярко-зеленая травка. Оживает природа!

В полях уже рокочут тракторы. В бой введены главные рода войск. В бой за новый урожай. И можно ли сомневаться, что и в этом году он будет высоким? Во всяком случае немного выше, чем у соседей. Это же несомненно!

До свидания, Молдино!

В машине уже восстанавливал я в памяти события дней, проведенных в колхозе «Молдино». Вспоминались встречи, беседы. Пока все это не улеглось по порядку, но многое сильно врезалось в память.

Наговорились мы с Евгением Александровичем о различных делах. И о литературе, и об агротехнике, не обошли и международных событий. Он во всем «в курсе дела»... Говорили мы много, а вот определенного мнения о Петрове у меня все еще не сложилось. А ведь я собирался писать о нем. Какой-то он не совсем обычный для нашего брата-журналиста человек. Не такой, каким мы привыкли видеть героя в романах, в кино, в очерках. Да ведь и в жизни я встречал десятки Героев Труда, живых, настоящих. А Петров заметно отличался и от тех...

Человек он доступный? Да, доступный. К нему запросто заходят люди. И в контору и домой. Запросто подходят на улице, в поле. В беседе с одним пожилым колхозником я «пытал» его насчет председателя. Он сказал так:

— Евгений Александрович всегда был для людей хорошим человеком... Завсегда! Потому все мы и любим его. Сильно любим! Но он как-то еще общительнее стал, когда мы депутатом его избрали... А потом еще одно дело... Да, еще одно, — продолжал он. — Переживает Евгений Александрович... Сильно переживает. Да как и не переживать такое... За сына своего старшего переживает... Слышали, поди?... Вот-вот... Другой бы от расстройства к людям изменился, а он нет... Вроде бы еще душевнее стал. Душевнее... Чистой души человек! Вот он какой, наш Евгений Александрович!

Мне говорили, что в прошлом году сын Петрова, работавший электромонтером в колхозе, погиб на глазах отца. Его убило током. Кто-то допустил оплошность...

Евгений Александрович очень скромн. Это я и раньше слышал от многих, побывавших здесь. Вот и вчера... Евгений Александрович попросил меня рассказать колхозникам о поездке в Болгарию, о Сибири, о целинниках. Людей собралось много. И среди них Петров совсем как-то незаметен: уселся в уголке...

Он аккуратно следит за новинками в области сельскохозяйственной науки и производства. Много нового узнал я от него. Досадовал он: в Чехословакии есть прекрасная льноуборочная машина — сама теребит лен, сама вяжет в снопы. А другая невязаный рядок может подбирать, околачивать головки, а затем готовыми снопами выбрасывать околоченную соломку. А вот наша машина не вяжет, и это обидно.

Да, он ревниво следит за новинками.

Но вот возьмите такой факт: богатые, да и многие менее богатые колхозы перешли на денежную оплату труда колхозников. А Петров держится трудовня. Мне в районе еще говорили об этом, но говорили как о «чуждачествах» Петрова, о некоторой его консервативности. А сам Петров рассказал мне все это совсем иначе. Это колхозники доказали ему, что к трудовню они привыкли, что трудовдень вошел в сознание каждого. К тому же при трудовдне более разумная оплата за вложенный труд — весь колхоз заинтересован, чтобы лучше и больше произвести. От этого зависит заработок, весомость грудодня. Словом, колхозники на-

стояли, и Петров согласился с ними. Правда, есть и новшество: ежемесячное авансирование, например. И гарантированный минимум оплаты, о чем уже говорилось.

Нет, не противник нового Петров! Ошибаются руководящие товарищи из района. Пожалуй, именно Петров обо всем новом знает лучше многих работников управления. О практически приемлемых прогрессивных новинках от него я слышал больше, чем от некоторых из них.

Но говорят: Петров частенько держится за старое.

Во-первых, это неверно, что Петров держится за старое. В его хозяйстве порядки лучше, чем где-либо, и прогрессивные приемы земледелия здесь в почете. Свидетельством тому — высокие урожаи всех культур. Во-вторых, Петров очень осторожен. И это легко объяснимо. Ведь новинка, оправдавшая себя в одних конкретных условиях, может не дать ничего путного в других. За много лет работы на земле Петров достаточно убедился в этом. Сам Евгений Александрович высказался на этот счет так:

— К новому надо подходить с известной осторожностью. Не в смысле — пугаться всего нового, а в смысле — не отпугнуть людей от этого нового. За новинку надо браться, когда есть уверенность в удаче. Если уверенности еще нет — изучи! Сам убедись, но вводи в широких масштабах тогда, когда достаточно убедился в пользе. А иначе только осрамишь новое, подорвешь веру у людей в новое.

Можно привести и примеры, которые подтвердят правильность этих мыслей Петрова. Ну, хотя бы несколько.

В свое время была подвергнута критике травопольная система земледелия. И вот кое-кто, не разобравшись что к чему, ринулся на многолетние травы. Не имея даже представления о том, что даст взамен паропропашная система, уничтожили поля многолетних трав, а теперь горько плачут: не стало у них ни сена хорошего, ни силоса доброго, ни высокодоходного льна. А Петров присматривался, проверял, искал: есть ли чем заменить многолетние травы? Гарантированной замены пока не найдено, поэтому он сохранил клевера в пределах освоенных севооборотов. И выиграл.

Или вот кукуруза. Было время, когда и в Калининской области заставили колхозы отвести большие площади лучшей пашни под эту культуру. Площади отвели, но большую часть посевов кукурузы даже не убрали — не успевали обработать, она зарастала сорняками, не давала урожая. И теперь с остервенением все от нее отвернулись. Колхозы Бологовского производственного управления на 1964 год планировали посев кукурузы на силос всего шестьдесят гектаров, хотя раньше занимали этой культурой до восьми тысяч га. Да и вся Калининская область в этом году засеяла кукурузой лишь четыре тысячи двести гектаров.

Петров поступил иначе. Прочитав о передовом опыте возделывания кукурузы, он начал сеять ее на небольших площадях (за что ему попадало), зато вовремя успевал посеять, обработать, убрать. И именно в колхозе «Молдино» собирали наиболее высокие урожаи кукурузы. На отдельных участках — до пятисот центнеров массы с гектара. И сейчас, когда почти все соседи отказались от посевов кукурузы, Петров наметил посеять ее на тридцати гектарах. Нужно же разнообразить кормовой рацион животных.

И так во всяком деле: работа наверняка! Вот же в «Молдине» сохранили правильные севообороты. А где еще они есть в их районе? Не так легко ответить на этот вопрос. И еще: каждый год из области, из управления идут приказы — расширить площади под пашню! Приказы, понятно, правильные. Но планы доводятся такие, что они явно не по силам и потому в большинстве случаев не реализуются совершенно. А в «Молдине» отодвигают да отодвигают леса и кустарники в сторону от пашни.

И все же я пытался «раскусить» Петрова, сказал ему об обвинениях в консервативности. Он даже не усмехнулся, хотя должен бы. Сказал просто:

— Считать же надо... Не забывать мудрой поговорки: семь раз отмерь, а потом уже режь. Мне почему-то не нравится, когда к каждому, даже агротехни-

ческому, приему применяют только коренную ломку. Почему коренная? Что же выходит — до этого момента мы все перепутали, запустили, потому и понадобилась коренная? Если луга или пашни заросли лесом, нужны коренные меры. Это ясно. Но мы в земледелии, скажем, ничего чересчур не запустили, а с нас требуют коренной... И еще. Не верю я в сладкие надежды некоторых товарищей на какой-то один прием или на одну культуру... Помните, шумели: выровненная зябь все решает! Или: только кукуруза решает проблему кормовой базы! Но в жизни-то так не бывает. Не может быть какого-то одного приема в земледелии или в животноводстве, который спасет от всех бед, обеспечит устойчивый урожай. В нашем деле все нужно решать в комплексе. И я часто думаю: а не лучше ли будет, если кропотливо искать пути улучшения уже проверенного, испытанного?

Да, осторожность и подсчет! Таков девиз Евгения Александровича Петрова. И нет тут никакого консерватизма, есть здравый, трезвый подход к серьезному делу. Ведь руководить сельскохозяйственным производством — едва ли не самое сложное дело.

От председателя эта трезвость перешла к бригадирам, специалистам. Это я заметил в беседе со многими помощниками Петрова. Что ж школа хорошая!

Говорили мы с Петровым и о причинах слабого внедрения передового опыта.

— Работники управления привыкли к низким урожаям, вот это тормозит и внедрение передового опыта, — говорит Петров. — А нам хотелось бы иметь дело с высококвалифицированными специалистами, чтобы всегда можно было получить нужную консультацию. А сейчас людей в управлении много, а толку что? В нашей зоне инспектором бывший военком, человек он хороший, но сельскохозяйственный специалист он никакой. О чем с ним посоветуешься?

И еще одну любопытную мысль высказал Евгений Александрович. О роли совхозов. Он считает, что совхозы области надо бы сделать центрами семеноводства и племенного скота.

Конечно, мысль не очень оригинальна, но в условиях Калининской области она имеет свое особенное значение. Дело в том, что в Калининской области сравнительно мало совхозов, зато восемьсот семьдесят три колхоза! Больше, чем в любой другой области страны. И колхозы сравнительно мелкие, самим им трудно наладить семеноводство. Поэтому до сих пор значительная часть площадей засеивается здесь несортными семенами.

Предложение Петрова заслуживает внимания.

И тут в памяти встало прошлое.

Ведь было же и такое время, когда в Петрове заподозрили «врага народа»... В чем же он обвинялся? В том, что излишне много заботился о быте колхозников. Нашлись тогда и такие деятели, которые увидели в этой заботе о колхозниках «заигрывание с трудящимися». И довод придумали: Петров — сын царского генерала, вот и «замаливает» свои грехи...

Евгений Петров действительно сын генерала. Но его отец с первых дней революции перешел на сторону народа, стал служить советской власти.

Однако стойким оказался коммунар Евгений Петров. Никакими силами не могли заставить его подписать «признание» в антисоветской деятельности. Не заставили и при освобождении написать доносы на тех, кто «его топил». Все перенес он: невзгоды, наговоры, сохранив честь и совесть советского человека, честь и совесть коммуниста. Вскоре это он доказал в боях за родину. Четыре боевых ордена и множество медалей — красноречивое тому свидетельство.

Доказал он это и на фронте мирного строительства. Пришел с войны, колхозники попросили стать председателем правления, и Петров с радостью пошел к своему любимому мирному делу.

Везде почти, где мне довелось бывать, руководители колхозов жалуются: молодежь не задерживается в колхозе, стремится в города. А вот Петров не жалуется! Много молодежи в колхозе. Механизаторов больше нормы, хватает и животноводов. И отслужившие в армии чаще всего спешат к себе на родину, в «Молдино». Почему бы это?

А пожилые как любят свой колхоз! И опять невозможно обойтись без цифр. Ибо словами красноречивее не сказать. А цифры такие: мужчин и женщин пенсионного возраста в колхозе насчитывается двести семьдесят три человека. В прошлом году каждый из них в среднем отработал в колхозе по триста семнадцать дней — почти столько, сколько и трудоспособные члены артели. Да еще как работали! Триста семнадцать — это число выходов на работу. А трудодней каждый из пожилых выработал по триста тридцать. Это в среднем! Ну, а на счету трудоспособного колхозника в среднем четыреста двенадцать трудодней.

Не будем говорить, сколько дней «отработал» сам председатель. Колхозники, с которыми я беседовал, говорили так: больше четырех часов в сутки наш председатель не отдыхает.

Конечно, могут сказать: руководителю надо уметь за семь часов все наладить. Золотые слова! Но в применении к сельской действительности это слова пустые. Нет, ни один хороший председатель не работает семь часов. Это просто невысказано...

— Да разве те часы, что я езжу по полям, любуюсь урожаем или работой на полях, — разве это рабочий день? — удивляется Евгений Александрович. — Это же мой отдых. Особенно когда хлеба хороши да когда дела на полях и фермах радуют.

И тут нет рисовки. Такие слова я слышал от многих сельских Героев Труда в других местах — в Сибири, на Алтае, на Кубани.

К слову, о героях... После всего увиденного в «Молдине» как-то невольно удивляешься: почему же Евгений Петров не Герой Труда? Думается, есть необходимость что-то узаконить в смысле морального поощрения героев, подобных Петрову, которые совершают не разовые подвиги, а творят их изо дня в день десятки лет.

А ведь чего греха таить: Петрову шли пока награды совсем иного порядка. Особенно доставалось ему за то, что он «кое-что по-своему делает».

Однажды слышал я такую реплику в адрес председателя колхоза:

— Живет рядом с Петровым, вот и нахватался у него особых мнений.

Сказано сильно и верно. Сосед «нахватался» у Петрова самостоятельности в своих действиях, круто поднимает хозяйство в гору. Но, видно, кое-кому не нравится самостоятельность руководителей колхозов...

Теперь мой путь лежит в родной колхоз «Великий Октябрь», а он, к моему глубокому сожалению, далеко не передовой. А уж если точнее — то отстающий.

## В РОДНОМ КОЛХОЗЕ

Иду к себе, в село Верескуново, и отмечаю перемены за минувший год. Прежде всего это высокие деревянные столбы, шагнувшие по полям в сторону нашей деревни. Высоковольтная линия... Долго ждали в этих местах электричества. И вот дождалось! Первая новость, которую моя мать сообщила при встрече:

— У нас ведь теперь электричество!

Середина весеннего дня, ярко светит солнце, но мать подошла к стенке, щелкнула выключателем:

— Смотри, горит-то как ярко! — И сразу обобщение: — Теперь чего... Теперь у нас тут, как в городе.

Может, конечно, и не совсем, как в городе, но ведь я хорошо знаю, как живо откликаются люди села на любое, даже малое, проявление заботы о их быте и житье. А тут электричество!

— Теперь какие-то телевизоры покупают, — сообщает мать. — Сосед наш Вася купил, Василий Тимофеевич привез! А в других-то деревнях прямо-таки иззавидовались! Да и как не позавидовать.

А когда сели за стол, мать стала выкладывать новости второго, так сказать, плана

— Председатель-то теперь новый, пожилой, но, видать, заботливый, все по делу ходит и ходит. А уж пьяниц как прижал! Ну, никакого житья им не дает, хочет выгнать некоторых...

О председателе, да и других новостях, скопившихся за зиму, мать сообщала и в письмах, но так уж заведено: теперь, при встрече, передавала их еще и усно. Но были и новинки. Оказывается, колхозу, как отстающему, отсрочили платежи по ссудам, и поэтому теперь деньги колхозникам платят аккуратно, каждый месяц. И опять вывод матери:

— Теперь колхозники совсем хорошо заживут.

Это не могло не радовать. Однако те долги, которые отсрочили, все равно надо будет выплачивать. А для этого нужно, как говорится, задел создавать — искать дополнительные источники накоплений, ликвидировать безубыточность.

После обеда я отправился по полям.

Слышен гул тракторов. На пригорках видны и сами тракторы — пахут, боронуют...

Поля тут явно не молдинские. Кое-где густо понатыканы огромные валуны. А где успели пробороновать землю, там заметны подсохшие на солнце булыжники. Их здесь не собирают: сил не хватает. И против кустарников борьбу не ведут. Тоже сил маловато. А кустарники наступают повсюду.

Вспомнилось уже позабытое... Здесь, на берегу озера, стоял прекрасный двухэтажный дом. Жил в нем Владимир Александрович Кракау. Крестьяне звали его просто «барин» или еще «олешневский барин». Потому что местечко это называлось Олешнево, очевидно, из-за обилия тут олешника. У барина был замечательный сад. Мы, бывало, бегали сюда полюбоваться на огромные краснобокие яблоки, на невиданные в наших местах земляничины. Смотрели на все это сквозь забор, тем и довольны были. Теперь-то сады здесь не в диковинку. И клубнику выращивают на своих огородах многие. А тогда все это было редкостью.

Олешневский барин запомнился мне больше по рассказам отца. Он иногда навещался к Кракау, вернувшись домой, рассказывал об увиденном. Но интересовался отец больше урожаем. А у барина было много новинок. Первым в этой округе начал он сеять яровую пшеницу. Здесь и озимую-то сеяли только на глинистых местах, а о яровой и не слышали. А Кракау сеял, и у него она росла хорошо. Вот тут как раз, на берегу озера, и было пшеничное поле, куда приходили мужики из нашей деревни.

Дивились мужики, глядя на пшеницу. А осенью некоторые выменяли у Кракау семян для посева. Помнится, Кракау первым стал сеять здесь вику. И от него эта культура пошла широко. Вику мужики полюбили. Делился Кракау новыми сортами клевера, тимофеевки.

Но теперь многие полоски земли, которые обрабатывал Кракау, совсем заброшены, заросли ольхой. А от сада не осталось и следов — все заросло олешником.

Как-то зимой мы с отцом ездили к Кракау. У него были хорошие сортировки — триер и другие машины. За какую-то плату он разрешил крестьянам подрабатывать свои семена на его машинах. Вот и мы привозили свои семена для сортировки. К слову сказать, именно Кракау и имел тогда ручную клеверосеялку. Ею пользовались многие мужики.

Хороши были здесь и еловые леса. Мы иногда приходили сюда за белыми грибами и очень дивились чудачеству барина, когда находили в лесу много корней белых грибов — шляпка срезана, а корень торчит. Обычно мы выковыривали их из земли, забирали домой, как добычу, потому что не знали, что корнями поддерживается грибное богатство в лесу.

Крупным ученым, как я потом выяснил, был В. А. Кракау — наш олешневский барин. В двадцатые годы, проживая в Олешневе, он вел образцовое культурное хозяйство на сравнительно небольшом участке земли. Несмотря на преклонный возраст, он сам обрабатывал землю и только пасти свой скот нанимал пастуха.

Возвращаясь из Олешнева, я встретился с колхозником Исаем Яковлевичем Смирновым. Ему уже за восемьдесят, но он все еще трудится в колхозе. Исай Яковлевич и на вид бравый: то и дело поправляет свои совсем белые, но все еще пышные усы.

— Как живем? — повторяет он мой вопрос. — А я вот так бы сказал, — он глянул на меня, поправил правый ус, усмехнулся. — Живут колхозники в большинстве хорошо! Куда лучше, чем мы, бывало, в единоличниках. Не сравнишь! Но вот беда: работаем вроде как неважно... Земля худо родит, покосов мало осталось, выгона совсем заросли. Прямо если сказать — худо работаем.

«Худо работаем» — это, конечно, неудовольствие достигнутым. Сам-то Исай Яковлевич работник примерный, все так говорят. В колхозе много хороших работников. Но пожилому человеку, много сил отдавшему своему родному колхозу, конечно, обидно за многие упущения, за низкие урожаи.

Исай Яковлевич продолжал говорить о жизни колхоза. Голос у него зычный, только чуть с хрипотцой:

— Что теперь не жить-то? Зарботок аккуратно платят, а теперь пенсии колхозникам обещаны. Теперь просто... На огородах у всех почти сады развели, как у олешневского барина, бывало... Теперь жить можно!

В этот день мне довелось побеседовать еще с некоторыми ветеранами колхоза, и все они говорили примерно то, что и Исай Яковлевич: жить стало лучше, но отдача мала...

Приводили такие примеры: в первые послевоенные годы, когда колхозы были еще мелкими, каждая деревня продавала государству по тридцати—сорока тонн зерна. А теперь укрупненный колхоз, в котором земли одиннадцати деревень, продает семьдесят тонн. И все равно скоту зерна мало остается. Вспоминали отдельные поля, где снимали с гектара по полтораста пудов ржи, по триста пудов клевера.

У всех, с кем довелось говорить, боль за плохое использование земли. Благодарят за помощь со стороны государства, но тут же тревога:

— Только опять не нахомутать бы долгов...

На следующий день я познакомился с новым председателем.

Ефим Васильевич Езовитов — полный, с седым ежиком на голове, на вид очень спокойный. До этого руководил колхозом в другом районе. Начал с жалоб:

— Плохо помогают. О шефах говорю. Обязательства берут, а помощи не дожدهшься...

Случилось так, что в это время открылась дверь и в контору зашел сам шеф — директор завода из Удомли, уставший, в грязных сапогах. Но на Езовитова это не произвело впечатления.

— Вот и шеф, — как-то нехотя признался он. — Мы ждем от него машин с людьми, а он и сам-то никак пешком пришел.

— Пешком, — доложил шеф. — На машине-то к вам не проехать.

— Да, дороги у нас никудашные, — вынужден констатировать Езовитов. — Молоко приходится на тракторе возить...

У председателя завязался разговор с шефом. Начался бурно, но скоро стих, принял деловой тон. А я увидел на столе председателя сводку. Очень любопытную. Эта небольшая бумажка сразу как-то приоткрыла истоки некоторых бед колхоза. На ней показано наличие скота по отдельным бригадам.

Оказывается, овец в колхозе меньше трех сотен. Свиной полторы сотни, а птицы... девяносто девять несушек и два петуха. Но тоже: ферма!

И еще: коров в колхозе триста двенадцать, но вот как они распределились по фермам: самая большая в деревне Карякино — девяносто три коровы. А в Верляйском — тридцать пять, в Михайлове — шестьдесят девять, в Павлове — всего семь.

Можно не заглядывать в бухгалтерские отчеты. И так ясно: все отрасли животноводства убыточны. При таких мелких фермах говорить о какой-то механизации бесполезно. А ведь мать, помнится, писала, что колхоз строит «елочку»...

Я спросил про «елочку». Езовитов рукой изобразил безнадежный жест.

— Двенадцать тысяч заставили всадить, а она не работает, — сказал он. — Никто не жалеет колхозных денег. Заставили, и все тут...

«Великий Октябрь» вроде бы стремится к прогрессу. Тут и денежная оплата введена, и «елочку» строят. А у Петрова нет денежной оплаты, нет и «елочки», хотя коров доят машинами. Но зато у Петрова трудодень весомый. А здесь доходы низкие. В прошлом году планировали двести тысяч рублей, а получили почти в два раза меньше...

Теперь о «елочке». Вспомнилась поездка по хозяйствам Кубани. Это ведь там в свое время зародилась идея «елочки». Но нынче на Кубани «елочки» я не встретил. Даже в таком передовом совхозе, как «Кубань». Отменена там «елочка», как выразился один из руководителей. Так что же выходит: у инициаторов уже отменена, а у отстающих, вроде «Великого Октября», только еще строится? Ведь если с «елочками» не везде вышло, то почему это замалчивается? Шутка сказать: колхоз, имея денежных доходов за год немногим более сотни тысяч рублей, вкладывает в «елочку» двенадцать тысяч... И никто не несет ответа за такую рекомендацию. Впрочем, слово «рекомендация» слишком мягко для данного случая. Не рекомендация, а сильный нажим.

А если разобраться по существу? Допустить даже, что «елочка» все еще на высоте. Так и в этом случае — нужна ли она колхозу, где на самой крупной ферме нет даже сотни коров? Сколько человек она заменит? И сколько десятилетний нужно, чтобы окупить двенадцать тысяч, вложенных в «елочку»? Между прочим, в управлении мне говорили, что и в других хозяйствах почти все построенные «елочки» бездействуют. В соответствующих отчетах наверняка говорится, что такому-то отстающему хозяйству оказана помощь в постройке «елочки»... А фактически-то не помогли, а наказали.

Теперь о другом. Зачем колхозу держать такие мелкие фермы всех видов скота и птицы? Ответ председателя оказался неожиданным:

— А раньше мужик держал и овец, и птицу, и свинью, и корову. Он не считал это убыточным — значит, и колхозу выгодно.

Вот те раз... Не отсюда ли многие беды? Равнение на единоличника! Да ведь крестьянин держал все виды скота по нужде, потому что вел натуральное хозяйство. Нужны валенки, полушубок — держит овец, нужно куда-то девать выросший картофель — заводит свинью.

Надо сказать, что крестьяне этих мест хотя и держали по нужде все виды животных, но предпочтение оказывали крупному рогатому скоту. Недаром же в районе было много маслодельных и даже сыроваренных заводов. А в период развития кооперации здесь было организовано много молочных товариществ.

Езовитов обмолвился, что овцы прибыльны.

Заглянули в годовой отчет колхоза. И что же? На каждый рубль, вложенный в овцеводческую ферму, вышло два рубля убытка... Еще более убыточно птицеводство. И даже свиноводство. Себестоимость привеса свинины просто фантастична: более четырехсот рублей за центнер.

Конечно, многое можно объяснить бесхозяйственностью. Но факт остается фактом: ни один год из последних пяти ни свиноводство, ни птицеводство, ни овцеводство не приносили колхозу прибыли. Только убытки. И весьма значительные.

Возникает вопрос: почему же никто не заинтересовался этими цифрами? Ведь руководители просто обязаны подсказать, как устранить убытки, или сделать определенные выводы. Иначе разговоры о подтягивании отстающих хозяйств — пустые, никчемные.

На Ефима Васильевича Езовитова цифры убытков произвели впечатление. Он почесал у себя в затылке, посмотрел на молодого зоотехника Кудрявцева:

— Как же так?

— Нужна специализация! — задорно ответил Кудрявцев. — Нам это давно ясно, да вот сверху планы дают...



— Теперь же мы сами поголовье планируем, — возразил председатель.

И получил на это резонное возражение зоотехника: поголовье-то сами планируем, но сдачу продукции устанавливает управление. А оно установило задание по сдаче и свинины, и яиц, и шерсти. Так что хочешь не хочешь, а все мелкие фермы держи.

— Да ведь в этом деле наш колхоз не самый последний, — вроде бы успокоил зоотехник.

Заглянул я в материалы, взятые в производственном управлении. Да, зоотехник прав. Вот и в целом по управлению центнер свинины обошелся в двести тридцать восемь рублей, десяток яиц — в полтора рубля. А себестоимость шерсти в три раза дороже заготовительных цен. Но что примечательно: центнер говядины в три раза дешевле, чем центнер свинины. И молоко прибыльно.

Ефим Васильевич проявил завидную оперативность: он тут же поручил своим специалистам заняться разработкой перспективного плана колхоза. При этом заявил весьма решительно:

— Птицу и овец — долой. Насчет свиней надо посмотреть и подсчитать.

Конечно, все надо подсчитывать. Без точного подсчета нельзя правильно вести хозяйство. И очень хорошо было бы, чтоб товарищи, руководящие хозяйством этой зоны, сделали прикидку с учетом таких вот исходных цифр: в 1963 году колхозы Бологовского производственного управления израсходовали на каждый центнер молока всего лишь... один килограмм концентратов. Нетрудно себе представить, как поднялись бы удои коров, если бы в их годовой рацион добавить хотя бы два центнера зернофуража. Тогда и себестоимость молока значительно снизилась бы — значит, и доходность молочных ферм возросла бы. Но пока нет такой возможности: весь зернофураж, остающийся в хозяйстве, расходуется на свиней и птицу. На корм же коровам остается лишь солома, болотное сено и некоторое количество силоса, в основном из дикорастущих трав. И получается — все фуражное зерно и покупные концентраты расходуются на создание убыточной продукции, а развитию прибыльной не помогают ничем! Не странно ли?

И что еще удивительно: здесь, где лугов и пастбищ в два раза больше, чем пашни, летом коров подкармливают с пашен — специально сеют зеленку. А ведь из-за этого в известной мере снижается производство зерна для скота. Подкормка коров зеленой в летнее время была бы объяснима, если бы колхозные стада состояли из высокопродуктивных животных. Но ведь в среднем от коровы надаивают за год всего тысячу пятьсот килограммов молока. А зеленка, получаемая с пашни, стоит очень дорого, куда дороже клевера.

Беда-то в том, что зерновые на зеленку сеют по нужде, потому что не хватает выпасов, заросли они. А если бы их очистить от кустарников да посеять на них высокоурожайные травы! Иначе говоря, создать культурные пастбища. Вот тогда действительно рекой полилось бы дешевое молоко!

## О ЧЕМ ГОВОРЯТ СРАВНЕНИЯ

Вернувшись домой, я принялся за анализ цифр, которых у меня скопилось уже предостаточно.

Вот показатели двух колхозов: «Молдино» и «Великий Октябрь». Как они не похожи! У молдинцев урожай зерна и сена в три раза выше. Да и по другим культурам двойное или тройное превосходство. А в результате и продуктивность животных тоже выше.

Или вот лен. Это единственный вид продукции, от продажи которой колхоз «Великий Октябрь» получает больше, чем вкладывает, хотя гектар льна и принес денежных доходов всего триста тридцать рублей. А в «Молдине»-то получили тысячу сто. Так не здесь ли надо искать путь к подъему экономики отсталого хозяйства? Если, конечно, не говорить о поднятии общей культуры земледелия. Думается, что именно сейчас надо бы с особым старанием взяться за наведение

настоящего порядка на земле, за освоение правильных севооборотов. Почему сейчас? Да прежде всего потому, что отстающие колхозы получили передышку в виде огромной помощи со стороны государства — они освобождены на несколько лет от уплаты ранее взятых кредитов, оплата труда механизаторов, специалистов и руководителей принята за счет государственных кредитов. Короче говоря, созданы исключительные возможности для подъема экономики.

И все же, думается, в первую очередь надо браться за лен. Посмотрите, что получается сейчас: у молдинцев под лен отведено одиннадцать процентов пашни, а в «Великом Октябре» только шесть...

В чем же дело? Неужели в отстающем колхозе не понимают, что лен очень доходная культура? Нет, хорошо понимают. Беда в другом. Беда в том, что и эти сравнительно небольшие площади не успевают убрать вовремя. За последние годы мне пришлось видеть своими глазами гибнущую льносоломку и даже льносемена. То не успевали вовремя разостлать соломку, то собрать ее. И она теряла свои качества, а инсй раз и гибла совсем. А в ненастную погоду негде спрятать под крышу льносемена, негде их и сушить.

Мне приходилось уже говорить, что некоторые калининские руководители советуют колхозам: хотите преодолеть отставание — побольше сейте льна. Но вот вопрос: что толку, если колхоз «Великий Октябрь» удвоит площадь под льном, когда он и с малыми площадями не управляется? Результат может оказаться даже более плачевным.

Тут-то, думается, и областным и районным руководителям надо бы вникнуть в существо дела, найти надежные пути к подъему экономики слабых колхозов. Почему молдинцы управляют с уборкой льна, а в «Великом Октябре» нет? Да потому, что с рабочими руками у молдинцев более или менее благополучно. У первого 2603 гектара пашни, у второго 1628, а трудоспособных членов артели соответственно — пятьсот и сто двадцать девять. При этом если в «Молдине» за последние два-три года число трудоспособных увеличилось, то в «Великом Октябре» даже уменьшилось почти на двадцать процентов. И теперь сотню гектаров пашни в первом случае обрабатывают двадцать колхозников, а во втором только восемь. Значит, труда молдинцы вкладывают в гектар пашни в два с половиной раза больше.

Конечно, надо быть реалистами: колхоз «Великий Октябрь» не увеличит быстро числа трудоспособных колхозников. Как закрепить оставшихся — об этом следует серьезно подумать. И в этом случае неизбежно возникнет вопрос и о культуре и об экономике.

Пока остается один путь: помочь отстающему колхозу техникой. Правда, за последние годы колхоз сильно пополнил свой тракторный и комбайновый парк. Хуже дело с набором прицепных орудий. Но, надо думать, и с этим дело наладится. Однако как эту технику использовать в полную силу? Нельзя забывать, что и в этом году значительная часть колхозных полей засеивалась вручную, потому что мешают камни — и валуны и булыжник. Стало быть, технику машинно-мелноративных станций надо послать в первую очередь на помощь колхозам, подобным «Великому Октябрю», где трудности с рабочими руками.

Напрашивается еще один вывод, и немаловажный. Планируя производство колхозов, надо принимать во внимание и баланс рабочей силы. Пока же это учитывается в очень малой степени. Современный план предусматривает для любого колхоза одно главное: вся земля должна быть засеяна! А отсюда и задания по производству всех видов продукции. На первый взгляд все правильно, иначе и быть не может. Но не бывает ли тут грубых просчетов? Планируем производство зерна, мяса, молока и не берем в расчет того, чьими руками все это будет обрабатываться.

Конечно, земли надо засеивать полностью. Это всем ясно. Но если бы составлялся баланс рабочей силы на самые напряженные периоды полевых работ, то и набор культур, особенно трудоемких, мог быть иным. Тогда колхозы не несли бы убытков за счет не убранных в срок посевов.

Да вот вам первый попавшийся пример: колхоз «Великий Октябрь» ни разу еще не доводил до дела (то есть не убирал) ни гектара посевов сахарной свеклы и кукурузы. Сеять сеяли, и весьма большие площади, мобилизовывали людей на прополку посевов, но все равно не успевали расправиться с сорняками, до уборки урожая дело так и не доходило. Все это хорошо известно и в производственном управлении. Но правильных выводов своевременно не делали.

И если уж молдинцы всерьез заговорили об узкой специализации животноводства и полеводства, то в «Великом Октябре», где совсем мало рабочих рук, узкая специализация — едва ли не единственный путь к подъему экономики. Самые убыточные отрасли надо бы упразднить как можно скорее.

Вспомнилось, что когда-то я был начальником планового отдела треста совхозов. Решил составить кое-какие расчеты для родного колхоза: и по набору менее трудоемких, но наиболее эффективных культур, и по специализации животноводства. Хотелось предложить эти «проекты» новому председателю. Кое-что вырисовывалось весьма заманчиво. Но мои расчеты рухнули в тот же день, когда я пришел с ними в колхозную контору.

В правлении сидел районный землеустроитель Евдоким Осипович Смирнов. Он закончил проверку наличия земель в колхозе. Об этом просил новый председатель. Как видно, он заподозрил что-то неладное.

Вот какую картину нарисовал Евдоким Осипович: все эти годы за колхозом значилось пахотной земли тысяча шестьсот двадцать восемь гектаров. Но в наличии оказалось тысяча триста восемьдесят девять. Потерялось двести тридцать девять гектаров...

Что же: не было совсем этой пашни?

— Нет, она была,— возразил землеустроитель.— Но заросла и уже не обрабатывается...

А ведь в планах-то с этой земли ждут продукцию.

— Это еще не самый большой урон,— передохнул Смирнов.— В колхозе числится под выгонами четыреста сорок пять гектаров, а фактически ни одного — понимаете? — ни единого гектара не используется. Потому что все заросло.

А ведь и эти четыреста сорок пять гектаров входят в наличие сельхозугодий и с них планируется получение продукции...

Но, может быть, так только в этом колхозе?

— Что вы! — решительно возразил райзем.— Везде, где проверили, недостает...

Он называет колхоз «Путь к коммунизму», где «потеряли» сто тридцать га пашни, колхоз «Россия», не досчитавшийся пашни на трехстах шестидесяти трех гектарах. Это больше двадцати процентов того, что числилось за колхозом.

Пора бы наказывать за запустение земель. Но пока никто не наказан, да, пожалуй, и виновных в этом найти уже трудно.

Но дело не только в наказании. Надо и меры принимать, наступать на кустарники, высвобождать земли, плененные ими, и тем самым наращивать богатства колхозов.

И все же в те дни в колхозе составляли план первоочередных мероприятий по подъему экономики артели. План этот продуман, обоснован. Решено отказаться от самых убыточных отраслей — птицеводства и овцеводства. Уклон взят на молочный скот. Теперь, когда получена ясность по земельным угодьям, председатель внес в план дополнения: он просил, чтобы уже в этом году силами лугомелиоративной станции провести работу по очистке пятидесяти гектаров лугов, а в будущем году освободить шестьдесят пять гектаров заросших пастбищ. И еще: с помощью станции собрать камни-валуны на площади полтора гектара, где они особенно сильно мешают тракторам и комбайнам.

Что ж, требования резонны. Но ведь это пока мечта. Сходные заявки дадут и другие колхозы. А в распоряжении производственного управления одна не очень мощная лугомелиоративная станция. Она пока не в силах даже приостановить

наступление кустарников. Вопрос этот на месте не решить. Но почему его не решают те, кто может и обязан делать это — Министерство производства и заготовка сельскохозяйственной продукции, Госплан?

### ДОБРЫЕ ПРИМЕТЫ

Зазеленели поля, зацвели луга...

Не могу поверить, что есть места более красивые, чем наши. Особенно в период цветения трав! На лугах — раздолье цветов. И розовых, и голубых, и желтых, да решительно всех цветов радуги! А тут и лен зацвел, раскрыл свои нежно-голубые лепестки. И васильки закивали синими головками.

Весело застрекотали сенокосилки в лугах, появились первые копны душистого сена.

Председатель колхоза Ефим Васильевич Езовитов эти дни не уходит с лугов, подбадривает косцов, сам иногда возьмется за вилы или за косу. Тяжеловато ему: немолод, да и полноват... Однако присутствие председателя вносит оживление, работа лучше спорится.

Председатель ворчит. Не на колхозников, нет. Колхозниками он доволен. И в самом деле: нынче работа идет дружная. Сказалось то, что и деньги за работу платят аккуратно, и вести о пенсиях подбодрили колхозников. На работу вышли старики и старухи. А ворчит Ефим Васильевич на «Сельхозтехнику».

— Ничего не думают там товарищи... Ну, никакой у них боли за колхозное производство, — выговаривает он. — Все же знают: мало где можно применить у нас тракторные косилки и грабли. Пока только конные можно, и то не на всех лугах. А у них для конных запчастей нет. У нас восемнадцать конных косилок, а на покос вывели двенадцать. Остальные стоят — нет частей. И грабли конные из-за частей стоят. Безобразие!

Председатель прав, конечно. Но вина, видимо, не районного отделения «Сельхозтехники». Тут надо смотреть выше, это планирующие органы решили, что теперь конный инвентарь ни к чему. А ведь в этой зоне без конных косилок и граблей хоть караул кричи.

Но вообще-то Ефим Васильевич доволен.

— Силосу у нас в два раза больше прошлогоднего, — как-то похвастался он. — И все за счет клеверов да дикорастущих...

Нынче колхоз не сеял кукурузу: пять лет до этого сеяли, но ни разу не убирала. Но местным ученым надо все-таки задуматься: что же здесь сеять на силос? Может быть, клевер, как это решили в «Молдине», но надо испытать и другие, более урожайные культуры. А то ведь переводить траву с лугов на силос — значит снижать заготовку сена.

А над селом высоко взметнулась телевизионная антенна. Первая в колхозе. Над домом директора восьмилетней школы Василия Тимофеевича Иванова.

Прошло немного времени — и такая же антенна встала над домом нашего соседа — тракториста Василия Андреевича Бойкова. И когда на голубом экране увидели передачи из Москвы, Василий Андреевич, человек вообще-то не очень разговорчивый, произнес:

— Все считали, что до Москвы четыреста километров, а оказывается — всего двадцать один метр...

Это он намекает на высоту антенны.

Сказано образно: до Москвы совсем недалеко.

Больше всего дивились новым антеннам дачники. Здесь всех приезжих называют дачниками, хотя в большинстве они выходцы из этих мест и приезжают к своим родным на время отпуска.

Надо думать, приезжают не только для того, чтобы повидаться с родными. Влечет сюда многое. Вот уже и земляника пошла — душистая, вкусная. А там и черника поспела, и куманика. Зарумянена малина. А малины здесь — непроходимые заросли. И многие дачники увозят отсюда малиновое варенье ведрами.

А кто попозднее приедет, тот ведрами носит из болот клюкву и бруснику. А сколько здесь грибов! А дичи!

По теперешним временам для рыбаков едва ли найдется место более удачливое, нежели каска местных озер, соединенных речками.

Богата здесь природа. Очень богата. И часто думаешь: что бы не жить здесь? Почему же много людей разъехалось?

Наверное, нет надобности объяснять причины.

Но бывают они и совсем простыми. Вот же: в прошлом году поговаривали, что тракторист Василий Бойков собирается уезжать в райцентр. А появилось электричество — он купил телевизор и на райцентр рукой махнул.

Все говорят: заметно лучше пошла работа на полях. Бывший председатель колхоза Николай Дмитриевич Иванов принял первую бригаду и задал тон соревнования. Сам везде за главного работника: и стога мечет, и зеленую траву на машину грузит, и ямы под силос копает. Да и все колхозники лучше работают.

Но вот беда: лето оказалось засушливым и ожидаемых плодов не получилось... С грустью глядели колхозники на преждевременно пожелтевшие хлеба. Урожай совсем плохой: сам-два, сам-три, а некоторые поля не вернули даже семян. В те дни я часто вспоминал молдинских руководителей. Правы были они, предсказывая засуху. Наблюдательные люди, заранее почувствовали...

А как у них, в «Молдине»? Неужели тоже сильно подгорели? Тогда ведь потеряется вера и в силу правильных севооборотов.

Пришло письмо от Алексея Александровича Ипполитова. Спешу распечатать. Ясно, что агроном не может не рассказать об урожаях. Да, конечно: видны колонки цифр. И цифр весьма отрадных.

Нет, выдержали правильные севообороты! Агротехника молдинцев устояла и перед засухой: озимых собрано свыше пятнадцати центнеров с гектара. Яровых немножко меньше. И опять бригада Захарова на высоте: средний урожай перешагнул за двадцать центнеров с гектара. Любопытно и другое — бригада Муравьева собрала урожай зерновых выше прошлогоднего, собрала по пятнадцати центнеров озимых. Вот она — сила хозяйственного расчета!

Стопудовые рубежи перешагнули уже пять бригад колхоза.

Но почему же местные руководители не направили все свои силы на широкое распространение и внедрение опыта молдинцев? Нельзя же заподозрить, что они противники высоких урожаев? Значит, дело в консервативности, в том, о чем метко сказал Евгений Александрович Петров: в управлениях смирились уже с низкими урожаями. А смирившись, и успокоились...

Нужны силы, которые внесли бы свежую струю. И такие силы найдутся. В этом не может быть никакого сомнения.

\* \* \*

Когда я уезжал из родных мест, то из кузова машины видел такую картину: мощный трактор с двумя стальными рогами впереди лихо подкатил к огромному валуну, стукнул его, взревел посильнее, и вековечный валун был вывернут из своего гнезда, подхвачен стальными рогами и увлечен к канаве на краю полосы, брошен в нее. Я успел еще заметить, как и второй огромный валун покинул свое насыщенное место, третий...

Значит, пришла помощь, о которой мечтал новый председатель.

Наступление началось!



---

---

# Л У Б Л И Щ И С Т И Ж А

ИНГА КИЧАНОВА

★

## ЗЕМНОЙ ВЗГЛЯД НА «БОЖЕСТВЕННОЕ»

**Г**уманизм... Связывает ли современный человек это понятие с религией? «Истинный гуманизм — гуманизм христианский», — утверждают проповедники религии. А как отвечает на это жизнь?

В одном из районов Лондона я познакомилась с деятельностью маленькой «Ассоциации добрых соседей». Это добровольное общество пожилых и старых людей, которые хоть и честно проработали всю свою жизнь, но так и не смогли обеспечить себя на склоне лет. Пенсии по старости в Англии мизерны, дополнительных же средств к существованию эти люди не имеют, помощи им ждать неоткуда. Они объединились, чтобы помогать и поддерживать друг друга, смягчать тяготы одиночества, защититься от отчаяния, подступившего к каждому из них.

Почему же они не обращаются к общественности, к государству, к церкви?

Этот горький вопрос, видимо, давно обсудили друг с другом члены общества взаимопомощи. И их лидер, седая и в то же время молодая, обаятельная мисс Уэйд готова дать на него ответ.

Филантропия? Может быть, какой-нибудь частный фонд и стал бы опекать вновь созданное общество, но это весьма проблематично.

Государство? Но оно предлагает лишь диккенсовский «Холодный дом»: дома престарелых в Англии существуют отдельно для женщин и мужчин; между тем на закате жизни люди не хотят разлук, не могут пойти на разрушение семейного очага, даже самого скромного.

Церковь? Но эти люди не хотят обращаться к церкви за подаванием; к тому же многие не испытывают потребности в религиозном утешении; руководствуясь жизненным опытом, они знают, что, оказывая материальную помощь нуждающимся, церковь делает это на определенных условиях: вы должны стать активными прихожанами, исправно соблюдать обряды и ритуалы, посвящать в свои жизненные дела и духовный мир священника. А у этих людей вовсе нет в этом необходимости, более того, для них это тягостно. Путем долгого жизненного опыта, ценой отказа от иллюзий они пришли к убеждению, что помощи надо искать не у бога, а у человека, черпать силы, душевную ясность и мир в гуманизме человеческом, а не религиозном.

Что же это за «Ассоциация»? Секта отшельников, поддерживающих друг в друге огонек существования? Нет. Каждый из них свой жизненный опыт, свои знания и душевное тепло хотел бы применить с пользой, прожить остаток дней содержательной жизнью. Смысл деятельности этой «Ассоциации» как раз в том и состоит, что, фактически чуждые обществу и ненужные ему, эти мужчины и женщины стремятся отстоять свое право на достойное место в обществе, и самоуважение они основывают на своей социальной активности. Они участвуют в муниципальных и общественных мероприятиях своего района, иногда в манифестациях, собраниях и маршах в защиту мира. По вечерам они собираются друг у друга в тесных квартирках, чтобы обсудить события недели — так можно сэкономить и на газетах, — они бывают в гостях у других небольших добровольных обществ. В общении друг с другом, в человеческой теплоте и социальной активности они находят смысл жизни.

Подобные явления и настроения симптоматичны, они приобретают все большее распространение в буржуазном мире.

Обладает ли религия, которая всегда объявляла монополию на гуманизм, действительным основанием для такой монополии?

А не отвечает ли потребностям человека, общества, социального прогресса гуманизм атеистический, не требующий «посредников» в лице потусторонних сил, соответствующий самому корню этого слова, то есть человеческий?

Эти вопросы нередко задает себе ныне не только рядовой верующий, но и приходский священник и социолог.

Эти вопросы становятся предметом обсуждения на философских конгрессах, о них с тревогой говорят на Вселенском соборе католической церкви.

В официальном документе пресс-центра Собора, где излагалась проблематика «Схемы XIII», посвященной взаимоотношениям церкви и современного мира, обосновывалась необходимость постановки этой проблемы. «Многие рассматривают человека в аспекте земном, светском,— говорилось в этом документе,— для них конечные цели спасения представляются чем-то внешним по отношению к земному обществу». Эта мысль не нова, она лишь конкретизирует одно из положений энциклики папы Павла VI, предваившей открытие Третьей сессии Собора. В ней отмечалось, что часть человечества, испытывавшая глубокое воздействие христианства и глубоко впитавшая его, часто не замечает, что своими лучшими достижениями обязана именно христианству и в последние столетия явно отдаляется и отчуждается от христианской основы своей цивилизации.

Об опыте мисс Уэйд и ее друзей я упомянула в беседе с католическим священнослужителем из Дании, одним из тех, кто на сессиях Вселенского собора католической церкви занят в информационной службе Собора. Здесь работают преимущественно молодые люди, способные находить общий язык с журналистами различных воззрений. Доктор Лео Альтинг Гезау — приходский священник, социолог и журналист — один из них.

Предмет беседы — наш современник, его подход к миру, его оценка событий обыденной жизни, его духовные ценности. Мы разговаривали скорее о проблемах гуманизма и от вопросов религии как будто были далеки. Но стоило мне рассказать о мотивах отхода от религии этих пожилых людей, виденных в Англии, как неторопливый разговор свернул в русло дискуссии. Речь пошла о том, что в условиях социализма проблемы, решения которых с трудом пытается отыскать «Ассоциация добрых соседей», разрешает общество, государство, коллектив. К сожалению, мой собеседник с социальной практикой в социалистических странах не был знаком. Что же касается опыта этого лондонского общества, то с подобным явлением ему уже доводилось встречаться, и не раз. Наши мнения относительно этого явления, его оценки разошлись. Гуманное отношение друг к другу, добрая воля, взаимная забота и эффективная помощь не нуждаются в религии и церкви. Этот первый вывод, к которому пришли мисс Уэйд и ее друзья, мне кажется бесспорным. Мой же собеседник считает, что отход этих пожилых людей от церкви — лишь реакция на «плохую» церковь.

— Хороший священник и реформированная религия не упустили бы эту группу людей из-под своей опеки,— полагает он.

— Но ведь социальная деятельность даже самого хорошего священника составляет лишь часть его деятельности и его времени. Значительная часть отдана церковной службе, богу. Разве условия современной жизни не подсказывают людям необходимость непосредственного обращения к человеку и земных методов осуществления гуманизма?

— К сожалению,— соглашается доктор Гезау,— именно такой вывод склонны делать весьма многие наши современники.

Молодые реформаторы, к которым относит себя мой собеседник, намерены обновить религию и церковь для того, чтобы в религии, а не помимо нее люди искали разрешения личных и социальных проблем. Доктор Гезау готовит книгу об этом. Она будет посвящена, как он сказал, диалогу верующих и атеистов. Что ж, мы как раз и вели тот спор, ту беседу, которые можно охарактеризовать этим словом.

## ДЕТЕОЛОГИЗАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ПОНЯТИЙ

Как никогда ранее, в наши дни верующий склонен глядеть не на небо, а на землю. С помощью земных сил он стремится разрешать мучительные для него проблемы. И даже к тому, что носит название религиозных ценностей, божественного начала, сегодня верующий подходит, руководствуясь здравым смыслом, опытом, критериями современной цивилизации. «Происходит детеологизация даже религиозных понятий», — это удачное выражение принадлежит падре Раймондо Спяцци, известному теологу, профессору философии католического Доминиканского университета, написавшему множество работ по социологическим проблемам и философских книг против атеизма.

Детеологизация религиозных понятий — это не просто философское определение; это точное отражение обыденной жизни. Это явление мне пришлось наблюдать воочию в центре по изучению проблем христианства (он находится в городе Ассизи). В этом пропагандистском и исследовательском центре, помимо сорока тысяч книг, документов и фотографий, собрано семьсот живописных полотен и скульптур из разных частей света, созданных главным образом на библейские темы. Нельзя более наглядно проиллюстрировать трансформацию представлений о христианском боге: Христос в скульптурах и в живописи, присланных из Африки, напоминает — да простят меня верующие — изображение сатаны на фресках католических храмов. Божья мать изображена на полотнах и в скульптурах куда как «не ортодоксально» и, я бы даже сказала, вольно. Поражает обилие изображений Христа в виде бесформенных пятен, пересечений линий, кубических конструкций. То ли столь абстрактен стал образ божества в сознании художника-реалиста, то ли художник-абстракционист «реалистически» отобразил абстрактную для него идею. Можно предположить первое, поскольку отбор произведений живописи и скульптуры осуществлялся здесь с явным предпочтением по отношению к традиционному изображению библейских мотивов.

«Размывание» религиозных понятий, деформирование их под напором современных научных представлений и социальной практики, влияние современной цивилизации — этот процесс современной жизни на Третьей сессии Вселенского собора был расценен как одна из главных опасностей, угрожающих религии. Один из итальянских епископов, выступая на Соборе 22 октября, сокрушался по поводу того, что люди теряют чувство божественного, поддаются научной аргументации, отрицающей бога. «Это особенно относится к молодежи», — с тревогой подчеркнул епископ. Одну из причин столь драматического положения религии он видит в том, что атеизм имеет ныне возможность открыто проповедовать свои взгляды.

Что ж, с этим можно согласиться. Безусловно, ускорению процесса детеологизации в самых широких слоях верующих служит тот факт, что спор атеизма с религией стал публичным. В эпоху Великой французской буржуазной революции, когда был сброшен духовный диктат церкви, атеизм поднял голову. Ныне спор его с религией вступил в новую фазу, ныне в него вовлечены массы.

Но не менее важно и другое. В наши дни уже невозможно, как это долгое время делала церковь, представлять атеистическое свободомыслие как случайное, аномальное явление истории, ее «побочный продукт», как следствие ошибок церковных политиков.

Века и века церковь была в Европе господствующей силой общества и саму историю духовной жизни общества изображала как историю религиозной, христианской цивилизации — точно так же, как было на мусульманском или буддийском Востоке. О том, что существовали те или иные гуманистические, нерелигиозные тенденции в развитии духовной культуры, человек средневековья, например, мог судить лишь по анафемам, проклятьям и запретам, которым последовательно подвергались учения великих материалистов Греции и многих европейских мыслителей. Хроники и решения Вселенских соборов католической церкви доносят до нас лишь отдельные детали истинной картины: анафема арианской ереси, объявленная одним из первых Соборов; осуждение манихейства, подавление вальденсов, война против альбигойцев, крестовые походы против народных движений, «ереси». И одновременно гонения, замалчивание, сокрытие произведений античных мыслителей Эпикура, Лукреция Кара: фальсификация материалистического ядра учения Аристотеля. О том же извращении светского содержания:



культуры индуистскими священнослужителями рассказывает в своем «Открытии Индии» Джавахарлал Неру. Такова уж стратегия и тактика любой религии — они поистине универсальны.

Однако с уходом со сцены феодальных порядков сохранить в прежнем виде свой духовный диктат церкви стало просто невозможно, и многие из складывавшихся на протяжении долгих лет течений буржуазного свободомыслия смогли пробить себе дорогу. Наследниками этой традиции буржуазного просветительства в наши дни являются две международные по своему характеру организации: «Всемирный союз свободомыслящих» и «Всемирный гуманистический и этический союз».

«Всемирный союз свободомыслящих» — организация, созданная в шестидесятых годах прошлого века. Она издает в разных странах семнадцать журналов, располагает и другими изданиями. Действует эта организация на основе энтузиазма и добровольных усилий своих членов, зачастую подвергаясь преследованию властей. В Англии, например, где в соответствии с принципами буржуазной демократии школа отделена от церкви, национальной организации свободомыслящих все еще приходится вести постоянную войну с церковью и властями за права светской школы, против дискриминации в школах детей неверующих родителей. Манифестации свободомыслящих англичан, их митинги, апелляции к прессе, публичные требования устранения клерикальной цензуры и т. д. вызывают нередко преследование со стороны властей, но это не охлаждает пыла волонтеров свободомыслия.

Литература, которую издает общество свободомыслящих англичан, поднимает вопросы, живо интересующие многочисленных приверженцев этого общества: учителей, рабочих, профсоюзных деятелей, врачей, журналистов. Небогатое издательство в скромном бюро на Борроу-стрит, которое пытаются «зажать» сильные конкуренты, с успехом распространяет увлекательно написанные брошюры, листовки, книжки, посвященные проблемам жизни и смерти, проблемам пола, направленные против религиозных заповедей.

Нас немного позабавило, что молодые, вполне современного склада лидеры национальной организации свободомыслящих англичан не курят и не берут в рот спиртного.

— Почему? — спросили мы.

Нам ответили шуткой:

— Чтобы посрамить тех, кто считает, будто атеист и материалист — вульгарный чревоугодник и любитель выпить.

В своей каждодневной пропагандистской работе в защиту мира, принципов земного, светского гуманизма и социальной справедливости члены английской организации свободомыслящих связаны с другой родственной ей организацией — «Лигой английских гуманистов», которая входит в состав международной организации «Всемирный гуманистический и этический союз».

«Всемирный гуманистический и этический союз» объединяет довольно широкие круги либеральной, антиклерикально настроенной интеллигенции, преимущественно западноевропейских стран. Он, как и «Всемирный союз свободомыслящих», существует уже почти столетие. Среди его членов — Бертран Рассел, Соммерсет Моэм, профессор Айэр; его поддерживают многие видные деятели науки и культуры. На одной из конференций, которую английская национальная организация проводила в середине 1963 года, в повестке дня стоял вопрос: «Экономика сосуществования». Обсуждались научные основы политики мирного сосуществования, были представлены все точки зрения и позиции в этом вопросе, включая советскую.

Эта организация либеральной интеллигенции более богата, чем ее собрат. Правительство Англии долгое время запрещало национальной организации свободомыслящих принимать частные пожертвования и наследства, завещанные этой ассоциации. На более respectable, более «академическую», научно-философского направления английскую организацию «Гуманистический и этический союз» такое запрещение не распространялось. Именно поэтому эта организация имеет возможность издавать прекрасно иллюстрированный журнал «Гуманист», множество хорошо оформленных книг. В центре внимания ее лидеров, как объяснил нам один из них — профессор Блэкхем, — человек, его духовный мир, стоящие перед ним проблемы и трудности. Сам профессор Блэкхем —

автор нескольких работ об экзистенциализме, о его атеистической ветви. Его интересуют проблемы морали и этики в их философском аспекте. В его работах показано, как в сфере морали происходит то же «обмирщение», то же высвобождение из-под влияния религии.

В кабинете, заполненном книгами, на тихой лондонской улице мистер Блэкхем развивал свою, актуальную, видимо, и для английского общества, концепцию о том, какими путями утверждаются в жизни принципы светской морали и этики.

Совершенно очевидно, что претензии религии на монополию в этой сфере человеческого бытия неуклонно и безжалостно подтачиваются самой жизнью. Религии, церкви все в меньшей степени удается убеждать верующих в том, что человеку в его общении с другим человеком и всем обществом в целом необходим бог как посредник.

С тех пор как костер и палач перестали быть главными судьями в споре религии и атеизма, атеизм на Западе заметно расширил свое влияние. Но лидеры церкви и пропагандисты религии и поныне еще изображают дело таким образом, что атеизм — это козни дьявола, и распространяется он как ложная религия только лишь благодаря насильственному насаждению его коммунистами. Всячески настаивая на насильственном характере атеизма, церковь стремится тем самым скомпрометировать атеизм, представить его враждебным природе человека, антигуманным, противоестественным для общества. Одновременно она всячески убеждает, что религия — извечно присущий человеку атрибут, а церковь — один из главных столбов общества. Но самопроизвольное распространение атеистического гуманизма и религиозного индифферентизма красноречиво опровергает этот их аргумент.

Не так давно английский журнал «Свободомыслящий» провел опрос — один из многих — с целью выяснить, какое содержание современного человек на Западе вкладывает в понятие «бог». И вот что выяснилось: это понятие употребляют преимущественно для подкрепления клятвы, иногда как аргумент в споре, весьма часто в перепалке. Таких, кто вкладывал бы в это понятие богословский, собственно религиозный смысл, среди опрошенных оказалось весьма немного.

Примерно в то же время, летом 1964 года, подобный опрос провела среди советских школьников газета «Комсомольская правда». Ее опрос показал, что в лексиконе детей, в их повседневном обиходе слова, термины и понятия религиозного содержания почти отсутствуют... Таким же был результат опроса детей в Чехословакии.

В современном мире с особенной полнотой и силой светское содержание религии и чуждость человеку так называемого религиозного гуманизма выступают в плане социальной этики, социальных отношений.

В ходе истории церковь, и католическая в частности, имела достаточно возможностей воплотить свои социальные идеалы. Всем известно, что средневековые порядки, освященные в Европе католической церковью (и ныне изображаемые как общество социальной гармонии и благоденствия), подтачивались волнами народных восстаний, крестьянских войн, еретических движений. Эти массовые движения, носившие антифеодальный характер, были направлены и против социальной политики церкви. И то, что эти движения зачастую имели религиозную идеологическую окраску, свидетельствует против нее. Даже осуществляя свое полное господство, даже навязывая свою форму мышления массам, церковь не могла сдержать волн народного, социального протеста.

Папское государство, которое, казалось бы, должно было быть воплощением социального идеала католической церкви, было сметено волей народных масс Италии. Референдум, проведенный в 1870 году, продемонстрировал совершенно однозначно волю населения Папской области — упразднить господство церкви, теократии, упразднить тиранию инквизиции, покончить с черным — как тогда говорили, имея в виду цвет рясы, — террором.

И еще один исторический пример: иезуитское государство, созданное в Парагвае в XVIII веке. Оно просуществовало почти столетие, тщательно скрываемое от глаз мира, от прессы, от остального общества. И все же оно «распалось». Оно прекратило свое существование в результате взрыва народного гнева. И «туземцы», которые работали на плантациях иезуитского государства в кандалах от зари до зари, жили в казармах.

женщины и мужчины порознь, питались впроголодь, — взбунтовались. Крах «социального» эксперимента иезуитов, став достоянием гласности, вызвал громкий скандал в обществе, возбудил чрезвычайный интерес к тому, какие доходы, какую прибыль получили отцы-иезуиты и «святая церковь» от рабского труда захваченного ими (буквально) в плен населения.

Когда современный римлянин вносит довольно большую плату за газ, он знает, что часть этих денег идет в казну Ватикана; он читает о скандальных процессах, грязных сделках при строительстве олимпийского городка, где были замешаны дельцы, представляющие ватиканские финансовые организации. И он же читает в католических газетах и слышит в проповедях священника, что церковь дела материальные и финансовые не интересуют, что она все свои усилия отдает пастырской деятельности, удалившись как от политических дрязг, так и финансовых афер.

Ныне все чаще в проповедях упоминается Франциск Ассизский, основатель ордена нищенствующих монахов, проповедовавший в XIII веке идеалы бедности, призывавший к очищению церкви от мирской скверны. И так — снова призыв к бедности! Снова призыв к очищению церкви, снова проповедь моральных ценностей, христианского гуманизма!

Одна из фресок во францисканском монастыре на родине Франциска изображает спасение церкви с помощью проповеди обращения к бедности. Живописно изображен раскол церкви: огромная трещина в здании храма должна символизировать этот раскол. Франциск Ассизский подпирает своими плечами готовые обрушиться своды. Другие фрески прославляют св. Франциска как спасителя церкви от грозившей ей страшной опасности — утраты доверия прихожан.

И ныне все надежды на спасение церкви от «современной порчи» отцы церкви возлагают на обращение к теме бедности. Этому же служит обращение к человеческому содержанию так называемых религиозных ценностей, вернее, вновь предпринятая попытка представить христианские ценности как истинно человеческие, а гуманизм религиозный как единственно возможный и истинный гуманизм.

Поневоле кажется символичным, что над скромной каменной часовней XIII века, где проводил свои дни в размышлениях Франциск Ассизский, ныне возвышается храм-купол — огромное, роскошное, барочного стиля сооружение. Оно выглядит пышным склепом, в котором погребена не только скромная часовня проповедника бедности, справедливости и добра, но и сами эти принципы.

## ПРАКТИКА ЗЕМНОГО ГУМАНИЗМА

«Коммунизм... черпает свою силу из чаяний человека. Он хочет дать человеку смысл жизни, он апеллирует к его разуму, борется против его одиночества, обращается к его вере в прогресс и науку. Он берет на вооружение Прометееву волю к творчеству для избавления человечества от страданий и для его усовершенствования своими собственными силами, без помощи бога».

Это не цитата из марксистского автора и не передовая атеистического журнала. Так представляет себе смысл коммунистического гуманизма западногерманский теоретик Вольдемар фон Кнёрринген. Он отдает себе отчет: особенность реального гуманизма, гуманизма марксистов, состоит в том, что он охватывает все стороны бытия человека, предлагает конкретную программу удовлетворения материальных и духовных потребностей личности и общества в целом. Этот деятель специализируется на объединении светских и церковных сил для преодоления влияния коммунизма.

Удовлетворение материальных потребностей и духовных запросов — эти позывные социализма слышит сегодня каждый человек в мире. Все менее эффективно в борьбе с коммунизмом замалчивание его экономических успехов и культурных достижений. И то, что это и есть программа земного гуманизма, стало трудно опровергать даже весьма искусственным мастерам буржуазной пропаганды. Потому-то в последнее время предприняты новые атаки на самые принципы марксистского гуманизма.

Церковные пропагандисты пытаются доказать, что атеизм несовместим с гуманизмом. Пытаются они доказать и то, что самая практика осуществления атеистической пропаганды, самая деятельность атеистов в обществе представляет собой ущемление демократии и прав личности. Но особенно рьяны их нападки по поводу «насильственного» характера распространения атеизма в социалистических странах.

Ведя в этом направлении свои атаки, теоретики и политики буржуазного мира апеллируют, с одной стороны, к иллюзиям, которые долгое время насаждала церковь, — относительно адекватности цивилизации и религии (пресловутый тезис о христианской цивилизации). С другой стороны, они спекулируют на сложности самого процесса осуществления принципов гуманизма и на неинформированности рядового человека, в том числе и рядового интеллигента, относительно действительных взаимоотношений государства и церкви, положения религии и прав верующих в странах социализма. Они мобилизуют для своего наступления все предрассудки относительно социализма и коммунизма, которые удалось за многие годы привить людям на Западе.

Повсеместное распространение атеизма в мире в значительной мере способствует крушению первого утверждения. Что же касается второго, то незнание действительной картины еще нередко оказывается благодарной почвой для пропагандистских жупелов подобного рода даже в кругах прогрессивной интеллигенции.

Реальный гуманизм, утверждал Маркс, направлен против «всех небесных и земных богов, которые не признают человеческое самосознание высшим божеством. Рядом с ним не должно быть никакого божества». В этой афористической формуле отражена органическая связь атеизма, отрицающего существование божественных сил, с гуманизмом, утверждающим величие человека. Только беспомощность человека обуславливает всеислие и всевластие божества. Всеислие же человека не оставляет божеству места ни в области общественных отношений, ни в его духовной жизни.

Объяснение «загадки» обращения человека за помощью к небу материалисты и атеисты прошлого рекомендовали искать на земле. Марксизм вслед за научным обоснованием причины этого извечного явления предлагает программу такого решения земных проблем, которое устранил самую нужду в обращении к сверхъестественным силам. Решение этих проблем основывается на таких «простых вещах», как удовлетворение материальных и духовных потребностей человека — осуществление вековой мечты человечества о справедливости и равенстве для всех.

Во времена Маркса осуществить эту программу было еще невозможно. Во времена Ленина был заложен фундамент нового общества, которое в конце концов должно полностью устранить основу иллюзорного религиозного сознания. Трудности, противоречия, политические перипетии и войны, сопровождавшие становление этого нового общества, влияли и на процесс духовного освобождения человека от религиозных воззрений, и на формы борьбы против этих воззрений. Новый этап социального прогресса, процесс демократизации всех областей общественной жизни, характеризующий развитие советского общества в наши дни, создают благоприятные условия для полного осуществления Марксовой идеи об устранении земных причин обращения к небу.

Атеистическое воспитание — это часть социально-культурной деятельности нашего общества. Это то просвещение умов и очищение нравов, о котором мечтали гуманисты прошлых времен. К сожалению, даже наши друзья на Западе хоть и знакомы по большей части с принципами этого воспитания, но мало что знают о методах его осуществления. Невольно они ориентируются на те методы, которые имели место десятки лет назад и которые ныне обогащены новым содержанием.

Церковная пропаганда на Западе, извращая действительное положение вещей, чаще всего использует два тезиса. Первый: атеизм неизбежно приводит к аморальности; и второй: своим распространением атеизм обязан принуждению, господствующему в странах, ставших на путь коммунизма. Причем атеизм изображается главной целью, а пропаганда атеизма — главным методом и содержанием всей деятельности коммунистов в области культурной, да и всей духовной жизни.

Еще и поныне в американском католическом альманахе вы встретите утверждение, будто в соответствии с атеистической моралью в Советском Союзе существует общность

жен, казарменно-государственное воспитание детей, отсутствует личная собственность и свобода совести. Берешь в руки эту книжицу, издающуюся ежегодно, и не знаешь: смеяться, протестовать, а может, просто отослать ее издателю и авторам данные социологического исследования, проведенного недавно писателем В. Померанцевым? В 1964 году В. Померанцев тщательно и всесторонне изучил статистическую документацию и реальную картину жизни в Эстонской ССР. Он ставил целью выяснение вопроса: изменились ли к худшему нравственные нормы поведения людей, переставших соблюдать религиозные обряды и отказавшихся от религии. Собранный им материал (данные судебной и гражданской статистики, беседы, интервью и опросы, газетные статьи и хроника) — безусловно, объективное свидетельство в пользу его вывода. А вывод таков: моральные нормы поведения, нравственность этих людей отнюдь не стали хуже. Напротив, они стали более высокими, более чистыми.

А чего стоит тезис о принудительном «обращении» людей в атеизм!

Мне вспоминается случай из поездки по Московской области. В одной из деревень мне пришлось остановиться на ночлег в доме у набожной старушки — члена церковного совета. Рядом с иконостасом и лежащим на особой подставочке псалтырем, на почетном месте находился текст постановления ЦК КПСС от 1954 года, где критикуются ошибки и недостатки в проведении атеистической работы. Бабуся твердо знает соответствующее положение Конституции и свои права как верующей, и ущемить ее в них никому бы не удалось.

Когда в управление обществом вовлекаются миллионы людей, человек чувствует свою значимость, ценность. Атмосфера социальной активности, ощущение собственной полезности избавляет человека от чувства одиночества, потерянности. Следует ли удивляться тому, что полнота социальных связей все больше вытесняет те мотивы, которые побуждали прежде людей обращаться к религии в поисках утешения, спасения от трагедии одиночества? И надо ли негативно оценивать деятельность атеистов, стремящихся помочь людям в земных условиях, на почве социальной активности найти решение мучащих их проблем?

Каждый человек еще не вполне ощущает себя хозяином общества, для него еще не «прозрачно» ясны его взаимоотношения с обществом. Сами эти отношения вовсе не так просты и далеко не всегда понятны для каждого. Над разрешением противоречий, встающих перед человеком в его взаимоотношениях с обществом, придется еще немало потрудиться. Наука ориентирует здесь социальную практику, всесторонне, фундаментально изучая основные аспекты отношений личности и общества. Без такого подхода даже самые скрупулезные выяснения одних только деталей этих взаимоотношений (пусть самых важных деталей, даже самое тщательное выяснение) не могут продвигнуть вперед осмысление тенденций общественного развития.

Таково же мнение и ряда западноевропейских социологов, которые иронизируют по поводу мелкотемья и безрезультатности таких научных «дисциплин», как «социология баров» или «динамика цен на бульдогов». Это самокритичное отношение явно ощущалось в тех дискуссиях и беседах, которые велись в социологической секции конгресса Британской ассоциации содействия науке, который проходил в прошлом году в Саутгемптоне, в Англии.

Опыт советских социологов — пример комплексного изучения взаимоотношений человека и общества — вызвал у членов секции, с которыми мне довелось беседовать, большой интерес (мне представилась возможность познакомиться с этим опытом для освещения его в печати).

В данном случае речь шла о деятельности недавно созданного при Ленинградском университете института, изучающего взаимоотношения человека и общества. В состав института входит шесть лабораторий: социологических исследований, экономических исследований, инженерной психологии, социальной психологии, антропологии и экспериментальной психологии, юридических исследований. Лаборатория инженерной психологии, например, решает проблему, как помочь человеку во все усложняющихся условиях чувствовать себя в мире техники естественно, «по-человечески», чтобы тех-

ника не подавляла его, не мешала ему быть самим собой. А ведь это — один из аспектов гуманизма.

Лаборатория социологических исследований, организованная при философском факультете, молода, как и большинство ее сотрудников, и ее проблематика — изучение социологических аспектов трудовой деятельности человека, и в первую очередь труда молодежи. Одно из интересных направлений работы научного коллектива лаборатории — выяснение престижа той или иной профессии среди молодежи, другое — изучение структуры досуга студентов и молодых рабочих.

Молодежь в центре внимания и лаборатории экономических исследований, и лаборатории социальной психологии.

Экономисты изучают, в частности, пути преодоления социально-экономического разделения между умственным и физическим трудом; психологи — взаимоотношения в первичных производственных коллективах, смысл и роль неофициальной структуры и внутриколлективных связей. Эти исследования осуществляются в связи с исследованиями лаборатории антропологии и экспериментальной психологии, главная цель которой — изучение ресурсов и резервов человека, которые способствовали бы его гармоническому развитию. Юридически-правовой аспект деятельности другой лаборатории предусматривает конкретное участие науки в совершенствовании демократических институтов советского общества. И главное здесь — помочь каждому человеку стать полноценным и активным участником управления обществом.

В комплексном изучении всех этих проблем участвуют представители кибернетики, биологии. Что же касается дисциплин философских, то особое место здесь занимают этика, эстетика, педагогика, изучение того, как формируются духовные ценности человека нашего общества. Ведь общечеловеческие моральные ценности — мир, труд, счастье, свобода, равенство, братство обретают полноту лишь в той мере, в какой перестает действовать в обществе закон предшествующих исторических эпох «человек человеку волк», лишь с устранением из общества социальных причин, порождающих обращение к небесным силам.

Решение многообразных проблем человека марксизм основывает на достижениях мировой культуры. Преемственность в усвоении наследства прогрессивной мысли прошлого — это процесс, который не исчерпывается формулой однозначности. Неоднократно в ходе своего развития марксизм должен был преодолевать вульгаризаторские и упрощенческие тенденции в оценке творчества мыслителей и тех концепций, которые носили религиозную окраску или представляли собой разработку религиозной проблематики.

Институт научного атеизма, начавший свою деятельность в прошлом году, изучает во всех аспектах религию как явление социальной жизни. В центре внимания — конкретные мотивы, побуждающие известную часть членов нашего общества еще обращаться к религии. Вооруженные современными знаниями, атеисты смогут помочь верующим обрести всю полноту духовной жизни и социальной активности. Спросите школьника, машинистку или ученого во время концерта, в котором исполняются «Страсти по Матфею» Баха: улавливают ли они божественные, сверхъестественные элементы в этой музыке? Мне на этот вопрос, заданный в консерватории десяти человекам, десять, рассказывая о своих впечатлениях, о восприятии музыки, объяснили, что окупают в ней эмоции борения и накал человеческих страстей.

Мы не прячем «Христа в пустыне» Крамского или «Явление Христа народу» Иванова. Некоторых правоверных католических прелатов это заставляет поразмыслить по поводу их грубой пропаганды. Во время одной из пресс-конференций для американских священников и прессы на Вселенском соборе (куда и советские журналисты получили приглашение) один из американских прелатов делился своими впечатлениями о посещении ленинградского Эрмитажа. Его удивило обилие картин на религиозные темы, а еще больше то, с каким вниманием задерживались у этих картин молодые люди. У одной из посетительниц он спросил, что же ее привлекает к картине, трактующей какой-то библейский сюжет. И услышал в ответ пространное объяснение по-английски. из которого следовало, что эту образованную девушку, которой безразличен самый сюжет, волнует человеческий смысл картины, интересуется индивидуальное «я» художни-

ка, изображение как «произведение искусства». Удивление вызвало у прелата и то, что посетительница знакома с библейским сюжетом, и то, что она независимо и отдельно от него способна воспринять содержание человеческое.

Пожалуй, ничего удивительного тут нет, как нет ничего удивительного в том, что многим атеистам нравится чтение Библии, таких атеистов встретишь немало и у нас, и за рубежом. Маркс говорил о религии, что это логика этого мира в популярной форме, дух бездушных порядков.

Эта логика воплощена в притчах, которые интересны не только для любознательного ума, но пленяют своей литературной формой. Это та логика, действие которой ограничено пусть большим, но преходящим историческим этапом. Это та логика и та душа, которая еще близка и людям, живущим в условиях классового общества, и людям, еще чем-то связанным с ним или помнящим о нем.

Историки и философы вслед за французскими материалистами XVIII века продолжают исследовать вопрос: чему в человеке и обществе соответствовала и еще отвечает религия? Церковные социологи и политики тщательно выясняют, за счет каких факторов религия может продолжать удерживать свои позиции в обществе на нынешнем этапе его развития, пытаются заглянуть в будущее. «Не за горами, пожалуй, то время, когда христианство перестанет быть тем, чем оно было при Константине — критерием мысли, достоинства, действия», — писал западногерманский католический епископ Л. Егер, трезво размышляя о судьбах христианства.

Коммунисты заняты созданием условий, в которых человек смог бы быть счастливым на земле, не испытывал бы неудовлетворенности, духовных тягот, нужды в иллюзорном мире.

Непримиримость научного мировоззрения и религиозного. Это не кулачный бой, не состязание в брани, не пропагандистская трескотня. Для марксистов это позиция, обусловленная идейным принципом, пониманием хода исторического развития, прогресса. Это понимание того, что невозможно возвратиться к тому этапу развития человечества, через который оно проходит и который непременно минует.

Но такая позиция отнюдь не диктует волюнтаристского форсирования процессов изживания религиозных взглядов; она исключает — и нынешний этап нашего демократического развития это гарантирует — кампании «ликвидации» религиозных взглядов.

Более того. В вопросах войны и мира, расовой и социальной справедливости, в решении которых заинтересованы все люди земли, марксисты приветствуют и поддерживают добрую волю и инициативу руководителей церкви, когда они проявляются ими. Как это было, к примеру, во время карибского кризиса, когда в ходе этого кризиса папа Иоанн XXIII обратился с призывом мирного урегулирования.

Что же касается церкви, то под напором жизни она вынуждена вырабатывать программу отношений с современной цивилизацией как с той ее частью, которая ориентирована на церковь, так и с той, которая высвобождается или уже высвободилась из-под влияния религии. Наибольшие усилия в этом плане делает католическая церковь, за которой идет почти пятьсот миллионов приверженцев и которая озабочена тем, как удержать ее влияние в массах.

На Третьей сессии Вселенского собора католической церкви (14 сентября — 21 ноября 1964 года) были предприняты шаги к тому, чтобы выработать программу отношения к индифферентизму, атеистическому гуманизму, коммунизму. При обсуждении схемы «Церковь в современном мире», где ставились эти вопросы, выявилась вся противоречивость точек зрения, тенденций, которые сталкиваются друг с другом и затрудняют выработку программы.

## СЛОВО — ИДЕЙНОМУ ПРОТИВНИКУ

«Вера без дел мертва есть» — это библейское изречение суммирует понятие «христианский гуманизм». Один из важнейших его принципов: добрые дела **должны** совершаться во имя веры. Справедливость, доброта, помощь ближнему — это добродетель, если все это адресовано богу и совершается во имя его и для него. А если для

человека и во имя человека? Тогда добрые дела, сама доброта перестают быть добротой? Помощь перестает быть эффективной? «Наши трудности сегодня состоят в том, что христианский принцип — нет веры без дел — осуществляется наоборот: это скорее дела без веры (здесь имеются в виду добрые дела.— *И. К.*)»,— говорил на Соборе епископ Стренг. Для религии, церкви действительную трудность составляет тот факт, что в понимании миллионов добрые дела не нуждаются в санкции веры. И явление это не случайное. По словам того же епископа Стренга, «мир теперь уже не тот, каким был в эпоху Христа, но является порождением цивилизации, выросшей за последние четыре столетия; впервые в истории Вселенский собор собирается в век атеизма».

«Твердолобые» (их немало в церкви) сторонники церковного традиционализма вопреки духу времени, требованиям верующих и голосам трезвых деятелей церкви не только не желают вступать в диалог с массами неверующих, но требуют нового крестового похода против атеизма, материализма, коммунизма.

Восьмого ноября в большом зале на виа Кончилиционе, 11, была организована конференция сторонников этого курса. Тема, поставленная на обсуждение, звучала чисто теологически: «Богословская трактовка культа девы Марии». Сторонники крайнего крыла Собора были представлены весьма внушительно: двадцать два кардинала, в том числе знаменитый Оттавинани, дружно аплодировали каждый раз, когда докладчик принимался хулить марксизм. Эта массированная атака была предпринята как раз 8 ноября, когда газеты опубликовали текст обращения итальянских епископов к избирателям, где коммунизм подвергался хуле и где содержался призыв к католикам отказать в доверии коммунистам, не голосовать за них.

«Вновь запретить атеистический коммунизм как аккумуляцию всех ересей,— потребовал на заседании Собора епископ Поль У-пин из Нанкина. Его поддержал прелат из Аргентины Болатти, который осудил Собор за «умалчивание о заблуждениях коммунизма». Один из епископов, выступая 22 октября, заявил, что идеологических форм борьбы против коммунизма и только лишь идейного осуждения атеистического коммунизма недостаточно. Он — за формы политического вмешательства. Здесь — явная полемика с позицией Иоанна XXIII, который предлагал вести борьбу с идейным противником в плане идеологии, не допуская того, чтобы церковь вновь оказалась скомпрометированной участием в грубых политических акциях. Анафемы, запреты, проклятия по адресу коммунизма — имеющего огромное число сторонников во всем мире движения современности — неэффективны. Именно к противникам линии Иоанна XXIII принадлежали те соборные отцы, которые выступили в поддержку программы ядерного вооружения.

Епископ вашингтонский Хеннан взял под защиту ядерное оружие «небольшой мощности»; архиепископ ливерпульский Бек, рассуждая о проблемах войны и мира, предупредил, что христианские принципы в применении к современной жизни, к взаимоотношениям народов не могут быть поняты дословно, как, например, сентенция о том, чтобы подставить левую щеку, если тебя ударят по правой.

Но на Соборе сторонники позиции Иоанна XXIII оказались немало. Довольно дружными были их выступления против любых видов ядерного оружия и заявления о том, что верующие требуют от церкви последовательной защиты мира. В ходе обсуждения обозначилась и решимость сторонников Иоанна XXIII проводить в жизнь и его курс на диалог. Кардинал Мейер поставил на обсуждение 20 октября общую проблему о «необходимости диалога с современным гуманизмом, часто выступающим как атеистический». «Мы должны попытаться понять атеизм и определить корни его ошибок, заблуждений». Для чего же? Конечно, для отыскания путей борьбы. Но речь здесь идет о борьбе идей.

«Несогласие и враждебность к атеизму не должны,— считает кардинал Альфринк,— приводить церковь на путь простых повторений запрещения марксизма... Позиции церкви известны всем, оценка материализма в теоретическом и практическом плане как величайшая опасность для религии также известна. Однако церковь должна использовать путь диалога. Это «диалог с индивидуумами» с целью их обращения. И в его выступлении, и в выступлениях других речь шла о том, что мы бы назвали «индивидуальной работой» с неверующими. В этом плане предлагалось не пренебрегать ни туризмом, ни любыми другими возможностями, которые предоставляются для общения и для



«обращения неверных». Это путь идейной борьбы, дискуссии, столкновения непримиримых идейных принципов. Спор вокруг проблем человеческих.

Но как заставить себя слушать?

На Соборе говорилось и о тех аргументах, которые выдвигаются против атеизма. Как они должны звучать, чтоб их мог услышать и понять рядовой человек? Что касается аргументов теоретических, книжных, то они не слишком эффективны. Массы с ними не знакомы, а для католической интеллигенции они не всегда убедительны. В библиотеке Доминиканского университета св. Фомы Аквинского я имела возможность познакомиться с коллекцией таких книг. Под пение монахов, которое доносилось до библиотечных залов, я переходила от полки к полке, листая тома Беркли, содержащие опровержение атеизма, книги Николая Бердяева, сочинения падре Раймондо Спьянци, нашего радушного хозяина, директора пастырского института при Доминиканском университете. Книги подобного характера — это пособия для одной тысячи двухсот студентов Доминиканского университета из различных стран, в том числе стран «третьего мира» (среди студентов университета на факультетах социологии и философии довольно много светских приверженцев католицизма — их-то и вооружают здесь теоретически).

Идейная борьба и теоретическая полемика представляются участникам Собора более достойными для церкви, чем ее причастность к политическим дразгам. Те, кто отстаивал этот курс, отдавали себе отчет в том, что притягательная сила марксизма — в его гуманизме. Испанский епископ Герра предостерегал от недооценки того, что марксизм, который стремится к «освобождению человека в рамках реальной действительности», — важный фактор современной жизни. И в полемике с марксизмом католики должны учитывать, что марксисты не стоят ныне на позиции грубого отбрасывания религиозных убеждений.

Это было одно из тех выступлений, в которых звучало понимание того, что марксистский атеизм на современном его этапе не соответствует той карикатуре на него, которую до сих пор еще пускают в ход, что марксизм привлекателен для масс благодаря гуманным методам осуществления его программы... Это аргументы теоретические. Что касается аргументов для масс, то здесь ничего другого не остается, как убеждать делами, практикой пытаться превзойти своего противника.

Знаменательно, что и «правые» и «левые» на Соборе в своей аргументации зачастую апеллировали к энциклике Павла VI «Экклезиам суам», изданной незадолго до открытия Третьей сессии и содержащей постановку вопроса о диалоге.

Международная печать отмечала, что каждый может найти в документе церкви все, что он стремится там отыскать. Руководящий документ составлен таким образом, что с одинаковым правом, в точности цитируя, используют его и «консерваторы» и «обновленцы».

Дело в стиле, манере изложения мысли? Но, может быть, и это — политика? Воспроизведем основные положения документа — текст его на русском языке мы получили в ватиканском издательстве «Полиглот». Вот как излагается в энциклике сама предпосылка диалога.

Диалог с неверующими исключает внешние средства воздействия, не затрагивает чью-нибудь личную и гражданскую свободу. В ходе этого диалога церковь прибегает к средствам педагогически-воспитательным. Церковь сознательно отказывается от того, чтобы свести все дело к уличению того, что она считает злом в обществе, предавая это зло гласной анафеме и идя на него крестовым походом.

Непосредственно за этим заявлением содержится осуждение «безбожного коммунизма». Но энциклика осуждает атеистический коммунизм отнюдь не только идейно, но как учение, «которое ставит своей задачей освободить человека от устаревших лживых понятий о жизни и мире, чтобы заменить их научными, соответствующими прогрессу». Из сферы идеологического спора энциклика переходит в область оценок политического характера. Здесь явно применяется тон политической дискриминации. Но разве не опровергает это самую посылку, выдвинутую в качестве принципа диалога? Церковь, оказывается, осуждает не только и не столько идеологические системы, сколько их воплощение в социальных и политических режимах. Это как раз тот стиль и курс, от которого

Иоанн XXIII счел нужным отказаться. Однако тут же говорится, что не церкви принадлежит инициатива в этом осуждении. Оказывается, ее вынуждает к этому осуждению... угнетение, которому она, церковь, подвергается сама. Таким образом, дается и «объяснение» позиции: это лишь «жалоба», а не «приговор судей»...

Каким же может быть в таком случае диалог? Он оказывается, с одной стороны, «почти до непреодолимости затрудненным» (и здесь опять церковь изображается как жертва). Однако, с другой стороны, он возможен. Но в отношении индивидуумов. Относительно современных атеистов в энциклике предлагается с осторожностью и осведомленностью подойти к осуждению и опровержению их мотивов. Многие среди таких людей, говорится в энциклике, обладают широкими познаниями, «наделены даже величием мыслей, стремлением и способностью руководствоваться неэгоистическими побуждениями». «Как не возыметь надежду когда-либо привлечь подобные голоса, провозглашающие морально-доброе слово, к тем христианским источникам, откуда такие мысли проистекают». Это особенно знаменательный абзац. Способность служить «морально-добрым благам», руководствоваться неэгоистическими высокими целями, будучи атеистом,— все это признано главой церкви. Добро и благо «лишь» не отнесено к потусторонним «основам». Но когда критерием являются сами добрые дела, то «конкурентоспособность» идеологий и сравнение программы земного гуманизма и гуманизма христианского выступают именно в делах, как санкционированных, так и не санкционированных верой. Пусть же дела покажут, какой гуманизм ближе современному человеку, понятнее, нужнее. Иоанн XXIII именно в борьбе идей, в конкретной деятельности доказывающих свою правоту, видел смысл диалога. Энциклика его преемника не выражает однозначной позиции. Вероятно, поэтому довольно многим соборным отцам свойственно было стремление истолковать энциклику Павла VI как продолжение линии Иоанна XXIII, его политики в вопросах диалога с неверующими. Об этом, в частности, свидетельствовала дискуссия «О диалоге в свете энциклики «Экклезиа суам» (ее организовал папский социальный институт «Про деум»). На дискуссию приглашены были католические теоретики, протестантские и православные наблюдатели на Соборе. Один из выступающих, всемирно известный протестантский теолог и социолог Роджер Шутц, заявил, что необходимо видеть элементы истины в сознании неверующих. Выступавшему несвойственны были обычные для богослова шоры в понимании сути атеистического гуманизма. «И неверующий может отличаться щедростью, добротой, любовью к людям... Необходимо уметь видеть элементы искренности в мышлении людей неверующих». Он призывал искоренить «пустой априоризм» в суждении о другой стране в ходе диалога с верующими. Диалог должен быть не отвлеченным рассуждением, он должен быть посвящен конкретным вопросам, носить конкретный характер. Именно этот позитивный характер сравнения реального содержания идей, ценностей и программ может служить плодотворной основой для диалога, а говоря словами житейскими — основой ежедневного общения.

Хотя это выступление было единственно последовательным, однако из осторожных и витиеватых речей других ораторов следовало, что такого же примерно толкования энциклики склонны были придерживаться и некоторые другие. Кардинал Беа, заключивший обсуждение, превозносил идеи Шутца, предупредив, правда, о необходимости не торопиться с осуществлением этих идей... Церковь — институт вечный, и ему несвойственна торопливость и форсирование...

«Католическая церковь включает в себя все — и поворот вправо, и обращение влево, и возвращение на прежнее место», — так сострил католический журналист, когда он, взявшись доставить на своей машине с одного из соборных мероприятий группу своих коллег, не смог выбраться из Париоли (район Рима) и вынужден был возвращаться снова и снова на одно и то же место. Его коллеги, сидевшие в машине (среди нас были поляки, швейцарец, итальянец), ответили ему дружным протестом:

— Эта тактика не принесет успеха церкви!

Таково было общее мнение. Оно особенно справедливо в оценке повседневной жизни — сотрудничества, конфликтов и забот, жизни, в ходе которой и происходит диалог между верующими трудящимися и коммунистами.

### ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ДИАЛОГ

Спор в клубе римского района Монте-Сакро, в котором принимают участие коммунисты, социалисты, демохристиане,— это диалог? Но если демохристианское руководство принимает решение о ликвидации секции своей партии в этом рабочем клубе, поскольку контакты с коммунистами стали чересчур тесными,— это диалог? На предвыборном митинге коммунистов на Кампо деи Фьори священник, внимательно слушающий оратора и аплодирующий ему,— это диалог? А выборы, в которых, несмотря на антикоммунистическую кампанию, в которую подключилась католическая церковь, коммунисты все же завоевали больше голосов, чем на прошлых муниципальных выборах,— не результат ли это диалога?

О диалоге пишут в газетах, произносят речи на конгрессах демократической партии, на философских симпозиумах, конгрегациях Вселенского собора и в католических университетах. На деле же диалог — это жизнь, каждодневное сотрудничество, общие заботы, интересы, споры и радости людей, которые работают бок о бок. Это общение. Общение социалистов и коммунистов, верующих и сомневающих, просто неверующих и сознательных атеистов.

Опыт повседневной борьбы трудящихся за осуществление насущных социальных требований убеждает их в том, что одним из условий успеха этой борьбы служит единство всех групп и слоев трудящихся масс: коммунистов, членов социал-демократических организаций, христианских профсоюзов, верующих и атеистов. Это единство действий, в европейских, например, странах укрепившееся со времен Сопrotивления, продолжает углубляться и расти в наши дни.

И отнюдь не случайно, что вокруг этой проблемы ломается столько копий. Немало делается усилий со стороны реакционных церковников, чтобы исказить позиции коммунистов в вопросах сотрудничества, единства различных слоев трудящихся. В обсуждение привносятся элементы «холодной войны» и то грубая, то утонченная демагогия. Налицо попытки подменить действительное сотрудничество кампанией, призванной сорвать это сотрудничество, скомпрометировать принципы и побуждения, которыми руководствуются коммунисты.

В последнее время некоторые реакционные церковники активизировали попытки воздвигнуть препятствия на пути сотрудничества верующих трудящихся с коммунистами при помощи выдвигания на первый план религиозных принципов. Такие попытки позволяют увидеть подлинный смысл позиции деятелей церковных организаций в социальных вопросах, обнаружить действительную их ориентацию на самые реакционные социальные силы и институты буржуазного общества.

Трудящихся, занятых улучшением земной жизни, реакционные церковники пытаются вовлечь в спор о рае небесном, о трактовке проблемы неба и земли в марксизме.

Какую роль в ходе классовой борьбы играет факт принадлежности групп трудящихся к различным и непримиримым по своим принципам мировоззрениям: к марксистскому, научно-материалистическому и религиозному? Как относятся марксисты к единству действий с верующими в борьбе за общие цели? Этот вопрос не нов для марксизма. В. И. Ленин дал на него ответ в период борьбы русского пролетариата за власть: «Единство этой действительно революционной борьбы угнетенного класса за создание рая на земле важнее для нас, чем единство мнений пролетариев о рае на небе». В работах «Социализм и религия», «Классы и партии в их отношении к религии и церкви» и других Ленин обосновал принципы такого сотрудничества, исключаящего в то же время компромисс в области мировоззрения.

Борьбу за утверждение принципов материалистического, научного мировоззрения, за их чистоту марксизм ведет неустанно. Борьба эта, по-ленински принципиальная и острая, ведется в идеологическом плане. Сегодняшняя постановка проблемы сотрудничества обуславливается построением социализма и утверждением в жизни принципов гуманизма, принципов справедливости, свободы, равенства, братства.

Социализм, построенный в Советском Союзе и других странах, оказывает влияние на трудящихся, заставляет их задуматься и над тем, какую роль в капиталистическом обществе играют религия и церковь, оказывает просветительное и революционизи-

рующее влияние на массы трудящихся. Итоги сравнения реального гуманизма марксистов и так называемого христианского гуманизма, когда он становится на почву практической жизни, оказывают притягательное воздействие. Реальный гуманизм, гуманизм атеистический, человеческий, земной, ближе рядовому человеку, и это становится все более очевидным для всех.

Неужели кто-нибудь всерьез считает, что требования «бешеных» запретить католикам общение с коммунистами могут приостановить этот процесс, процесс расковывания сознания рядового человека?

Многие трезвые политики и пропагандисты из среды христианских профсоюзных деятелей и некоторых групп демохристиан стоят на позиции Иоанна XXIII. Один видный католический публицист сформулировал эту позицию следующим образом: «противоборство католицизма и коммунизма будет противоборством между двумя радикально противоположными понятиями о жизни, о мире, о человеке, понятиями теистическим и атеистическим. Мы считаем своим долгом быть (в этом противоборстве) самими собой. И мы говорим коммунистам: оставьте сами собой (статья Фламиньо Пикколи, «Пополо», 5 сентября 1964 года).

Оставаться самими собой — для коммунистов означает быть честными в осуществлении принципов сотрудничества. В ходе этого сотрудничества обнаруживается степень «конкурентоспособности» обеих идеологий, обеих социальных программ. Естественно, что в ходе общей борьбы трудящихся возникает необходимость в выяснении истоков, причин эксплуатации в обществе. Естественно и то, что социальная практика выявляет и значение тех институтов, на которых покоятся существующие порядки, выявляет роль церковных организаций, религиозной идеологии. И уже тем самым она решительным образом способствует отходу от религии и церкви, снятию религиозного отчуждения. Популярность марксизма растет неуклонно во всех странах капитала. В немалой степени это объясняется тем, что коммунисты в этих странах избирают те конкретные пути сотрудничества, те формы диалога, которые диктует им конкретная социальная действительность.

В ходе этого обсуждения нередко можно встретиться и со стремлениями исказить позиции коммунистов — приписать им готовность пересмотреть идеологические позиции в духе компромисса марксистского и религиозного мировоззрений. Иногда при этом ссылаются на формулировки тех или иных выступающих в полемике коммунистов. Эти-мологические неточности и нюансы в этих случаях возводятся в степень теории.

Марксизм при этом интерпретируют как учение, нуждающееся в дополнении в духе указанного компромисса. Таким интерпретаторам позиций коммунистов надо сказать прямо о невозможности для марксистов мировоззренческого компромисса, компромисса научного мировоззрения с верой в потусторонние силы.

Тезис марксизма, сформулированный и развитый Лениным в его работах «Классы и партии в их отношении к религии и церкви», «Социализм и религия», был и остается в силе. Да, религия не может служить тем принципом, на основе которого создается либо разрушается единство трудящихся в их борьбе против реакционных социальных сил. Союз, контакт, единство — коммунисты выдвигают этот лозунг, обращаясь к верующим и к неверующим. Желание, готовность и способность участвовать в борьбе за мир, социальный прогресс — вот главное.

Далеко не всегда, к сожалению, как марксистскую позицию, так и ее развитие в трудах советских теоретиков знают наши друзья на Западе. Далеко не все работы о гуманизме, о положении личности при коммунизме, философские труды нашей научной молодежи знакомы и итальянским и французским марксистам. Пересказываешь эти работы и с огорчением понимаешь, как мало этого нашим друзьям. Может, было бы правильнее снабжать книги советских авторов аннотациями на иностранных языках, давать такие аннотации к статьям в теоретических журналах... В нынешней атмосфере, характерной концентрированными атаками буржуазной идеологии на коммунизм, на атеизм, на принципы научного мировоззрения, им не всегда легко устоять перед тонко сфабрикованной ложью, квалифицированной фальсификацией. И все потому, что недостаточны их знания наших позиций, нашей реальной жизни. Мои друзья итальянские коммунисты — горячие спорщики и чуткие слушатели — взволновали меня до глубины души.

Они передали со мной советским друзьям карту России, выполненную в XVI веке. Шутливый комментарий пояснял, что знания некоторых друзей Советского Союза о нашей стране находятся примерно на подобном уровне. Наверное, нам больше бы надо было рассказывать о новых явлениях нашей жизни, о процессах демократизации, возрастания роли общественного мнения. О том, как понимаем мы политику «протянутой руки», контактов и сотрудничества с верующими трудящимися.

Политика «протянутой руки», единства действий коммунистов и верующих трудящихся отнюдь не конъюнктурный момент или тактический прием. Это нелицемерный, принципиальный союз, союз, который предусматривает и идеологическое разногласие. Религию, ее систему взглядов на природу, общество и человека марксизм считает ошибочной. Он понимает причины, породившие потребность в религиозных иллюзиях, и ставит целью создание условий, когда удовлетворение реальных потребностей делает эти иллюзии ненужными для человека.

Именно эту позицию марксизм занимает и в обсуждении проблемы диалога коммунистов и верующих сегодня. Принципы ясные, позиция последовательная, решения такие, от которых выигрывают массы. Строительство социализма и коммунизма — это процесс все более полного осуществления принципов гуманизма, совершенствования общественных отношений. И это в огромной степени обуславливает сотрудничество коммунистов и верующих трудящихся.

\* \* \*

Для тех, кто задумывается над судьбами прогресса, над путями развития культуры, ясно, что тенденция атеистического гуманизма, которая сейчас утверждается в мире, представляет будущее. В обществе, построенном на принципе земного гуманизма, найдут своих почитателей Эпикур, Данте и Пьер Абеляр, Шекспир, Аристотель. Но Аристотель подлинный, воспринятый марксистами во всей полноте его учения, без искажений, учиненных схоластическими «улучшателями». Подлинная культура — культура, воплощающая человеческий гуманизм, который никакими интерпретациями невозможно вытравить из творчества гениев художественного творчества и философской мысли. Современные попытки внесения христианством «коррективов», «улучшений» в творения великих гуманистов прошлого сегодня вызывают лишь ощущение неловкости, как это было, когда во время Третьей сессии Вселенского собора в присутствии папы Римского было организовано представление в ознаменование юбилея Шекспира.

В программке, розданной присутствующим (а это были соборные отцы, ватиканские чиновники, функционеры «католического действия», журналисты), написано, что будут представлены фрагменты из произведений Шекспира, в частности из тех, где он отдает дань религиозным ценностям и этике христианского гуманизма. На сцене же бушует подлинный Шекспир во фрагменте из «Венецианского купца», опровергающем церковные каноны, в отрывке из «Ромео и Джульетты», возвышающем «смертный грех» самовольного ухода из жизни во имя земной любви. Присутствующие хлопают, они взволнованы игрой английских актеров. И одновременно сконфужены: представление задумано как демонстрация христианского духа творений Шекспира. Все оглядываются на Павла VI. Он хлопает, не улыбаясь. На юбилее Шекспира он не просто один из образованнейших католических прелатов, знатоков искусства и литературы эпохи Возрождения. Он — идеолог католицизма, он монарх, облаченный в царственные одежды, один восседающий на троне высоко над толпой. После окончания спектакля многие стремятся подойти поближе к главе католицизма.

Сидящий за мной пожилой прелат поясняет: «Эти люди никогда не бывают в Ватикане. Там папу можно встретить часто». Действительно, даже мы, отнюдь не частые гости в Ватикане, однажды едва не встретились с Павлом VI, когда папа появился на открытии выставки, устроенной в Ватиканской библиотеке в связи с предстоящим Собором. После окончания Третьей сессии Собора эта встреча произошла. Мы, два советских журналиста, будучи представлены, сказали, что наши перья отданы на службу миру. «Вот и взаимопонимание», — произнес папа Павел VI, приветственно подняв руки; он подчеркнул, что мир является его неустанной заботой.

Во время краткой беседы глава католической церкви высказал мысль о важности сотрудничества во имя мира; он подчеркнул, что лишен предубежденности против народа и гражданской власти нашей страны. Павел VI выглядел усталым после торжественной трехчасовой церемонии закрытия Третьей сессии Собора. Он говорил тихо, но чрезвычайно весомо. Под сводами Ватиканского дворца, где Иоанн XXIII определял политический курс в течение всего лишь пяти лет, а Пий XII — двадцати, подобные слова звучали нечасто. Их произнес впервые папа Иоанн XXIII — хотя и противник коммунистической идеологии, но понимавший, однако, что миролюбивая политика нашего государства, успехи нашего народа в строительстве нового общества вызывают во всем мире самые горячие симпатии масс, связывающих с успехами нашей страны надежды на социальную справедливость, мир и разоружение.

Мир, прогресс, расовая и социальная справедливость — все это трудящиеся массы завоевывают в борьбе. В той борьбе, где день за днем выковывается сотрудничество всех слоев и групп трудящихся, где происходит переоценка религиозных ценностей и утверждаются ценности земного, человеческого гуманизма.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. ПОЛЯКОВА

★

## МИНУВШИЙ ВЕК ВО ВСЕЙ ЕГО ИСТИНЕ...

*(Заметки об историческом романе)*

1

**В**ряд ли кто-нибудь из нас ясно помнит, когда возникло у него ощущение непрерывности истории человечества, связи своей, сегодняшней жизни со всем прошлым России — от легендарного дрезного Киева до недавних времен Великой Отечественной войны. Вероятно, это начинается в раннем детстве, когда взрослые вечерами читают вслух «Вещего Олега» или «Руслана».

Бывшее неотделимо сначала от песни, от сказки: Илья Муромец и купец Калашников из того же мира, что Иван на сером волке или царь Салтан. Постепенно сказочное отсеивается от того, что было. Был князь Владимир-солнце. Было Игоревое побоище, в котором убили юношу в желтых сапожках. Розвальни, теряя ключья соломы, тащились по московским улицам, и женщина в черном поднимала к небесам скованную руку. Разливался над Москвою-рекой рассвет Мусоргского. Солдаты вели к виселице первого смертника в белой рубаше. Петр Великий, словно готовый шагнуть в серое плоское море, мерил саженными шагами берег, а за ним семенили придворные.

Живопись, музыка, театр сливаются с книгами: с «Полтавой» и «Капитанской дочкой», с так увлекательно начатыми и загадочно оборванными «Арапом Петра Великого» и лермонтовским «Вадимом». На всю жизнь запомнится, как вскрикнул истерзанный Остап: «Батько, слышишь ли ты?» — и в тишине раздалось: «Слышу!» Тянется снежными тракатами на дню слаженный возок декабристки. И наконец узнается лучшее

в нашем историческом романе — «Война и мир».

Родная история предстает перед нами частью истории всей земли в общем, слитном ее течении и в неповторимости жизни каждой страны.

Пушкин читается одновременно с приключениями Айвенго и Квентина Дорварда, с книгами об аббате Симурдэне, который сбросил сутану, чтобы сделаться солдатом революции. об Эваристе Гамелене — творце и жертве той же революции, о рыцарях Сенкевича, о Кристин — дочери Лавранса, о фейхтвангеровских иудеях и теккереевских виргинцах XVIII века.

Только историки познают и знают историю в ее непосредственных свидетельствах — в летописях, указах, архивных документах, в том, что называется «памятниками материальной культуры» Человек же, отношения к науке истории не имеющий, прошлое мира и своей родины воспринимает больше всего через художественную литературу и искусство вообще. Плутарх и Моммзен, Карамзин и Ключевский все-таки для немногих. Шекспир, Пушкин, Вальтер Скотт, Мериমে — для всех.

Школьные учебники истории изрядно забываются, и прошедшие времена представляются нам такими, как изобразили их писатели, художники, артисты, сумевшие «воскресить» минувший век во всей его истине — так просто и точно определил задачу исторического писателя еще Пушкин. И воскрешение минувшего века — это не только воссоздание прошлого, но обязательно и оценка писателем этого прошлого. отношение к нему, критерий, выдвинутый со-

временным художником. Для Пушкина и Гоголя, для Толстого и Писемского век минувший всегда оставался объективной реальностью, которую познает и воскрешает художник в свете своего мировоззрения, на уровне современной исторической науки (а иногда и опережает ее, как Пушкин). И в то же время в бесчисленных странах и событиях прошедших времен он непременно выберет то, что волнует его сегодня, в чем ощущает он истоки настоящего, объяснение или опровержение его. Так искали, так выбирали классики «узлы истории»: предшествование Смутного времени, петровскую эпоху, великий пугачевский бунт, богатырские характеры запорожцев, первую отечественную войну, в которой так отчетливо раскрылось то, что называется русским народным характером.

История России виделась писателями в ее единстве; они остро чувствовали связь настоящего с прошлым, зависимость настоящего от событий прошедших, будь то Бородинское сражение или угличское убийство младенца. Не только прошлое у них отвечало за настоящее — Россия годуновских времен за Россию Николая Первого или Николая Второго. У них настоящее отвечало за прошлое, потому что прошлое было великим и страшным уроком, который не должен был бы повториться.

Эти «болевые точки» русской истории перестали ощущаться в предреволюционной прозе. Пожалуй, лишь некоторые рассказы нового в русской литературе Толстого — Алексея Николаевича — продолжали эту традицию. Длиннейшие романы с продолжением печатают в эти годы «Исторический вестник». Темный делец Каспари издает бесчисленные романы из русской истории всех времен, где чередуются маскарады, разговоры, дуэли, темницы, похищения красавиц на тройках, — дорожное чтение десятых годов. В книжных шкафах интеллигентов рядом с приложениями к «Ниве» встает много томное собрание сочинений Дм. Мережковского: Мережковский пишет о Юлиане Отступнике, о Леонардо, о Петре и Алексее, Александре Первом и старце Федоре Кузьмиче. И вся история человечества объясняется им борьбой Христа и антихриста, света и тьмы, добра и зла, и при всех внешних аксессуарах древности «египтяне его разговаривают на московско-арбатском наречии» (Горький). Традиция большой исторической прозы, русской классики XIX века была потеряна,

почти оборвалась. Возродилась она с огромной силой в новой литературе, рожденной Октябрем.

Художники, жившие в дни, которые потрясли мир, «заботливо вызывают к себе на помощь духов прошедшего»<sup>1</sup>, воскрешают эпохи народных землетрясений, образы бунтарей и революционеров — от Спартака и Фомы Кампанеллы до народовольцев. Двадцатые годы дали нам Пугачева в изображении Тренева, Есенина; Разина — Чапыгина, Каменского, «одетых камнем» народовольцев Ольги Форш, тыняновского Кюхлю. Смотрите, говорила эта литература, сколько было предтеч, пророков-мучеников у нашей революции. И смотрите, какие разные эти мученики и пророки — от народного бунтаря Стеньки до «страшно далекого от народа» Вильгельма Кюхельбекера. Смотрите, сколько веков поднимали восстания, захватывали барские земли, делили богатства — и не могли победить. Победили мы — наследники великих бунтовщиков, свершившие то, чего не могли свершить они. Этим пафосом свершения. этим ощущением себя наследниками, осуществляющими тысячелетние мечтания, наполнена литература двадцатых годов.

Новаторство советского исторического романа, сразу столь высоко оцененного Горьким, заключалось не только в обращении к Кромвелю и Разину, революционерам и революциям прошедших времен. Впервые то, что было достижением гениальных произведений, пронизало всю историческую литературу: судьба человеческая в романе теснейше сплелась с судьбой народной и определена ею. В книгах, в пьесах, в спектаклях двадцатых годов это народное начало часто даже перевешивало: отдельный человек незаметен в бушующей стихии восстания, общего неодолимого движения, народ в слитности своей вршит историю.

На этом не остановилась новая литература. Она все глубже исследовала соотношение судьбы человека и народа, воплощала неповторимость, конкретность людей истории. В этом главным ключом были написаны в основном в тридцатые годы — годы великих завоеваний литературы социалистического реализма — романы В. Яна о Чингисхане и Батые, «Севастопольская страда» С. Сергеева-Ценского, «Салават» Ст. Злобина, «Повесть о Болотникове» Г. Шторма, «Пуш-

<sup>1</sup> К. Маркс. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. Сочинения, т. VIII, стр. 323.



кин» Ю. Тынянова, трилогия Ольги Форш о Радищеве.

Они очень разнообразны, эти книги — и по выбору исторических событий, и по почеркам писателей. Неторопливо и широко течет повествование Сергеева-Ценского, захватывая Москву, Петербург, солдат, адмиралов, главнокомандующего, обитателей корабельной стороны Севастополя, — Россию, переносящую военную страду с крестьянским терпением и солдатским мужеством. Изощренно сложен мир «Смерти Вазир-Мухтара»; сначала он как бы отталкивает, затем — втягивает в себя, и вы словно сами переноситесь в сумрачную, страшноватую последекабрьскую Россию. Огромная эрудиция, культура В. Яна не подавляет читателя: собеседник-писатель умен, интересен, увлекателен, а главное, так заразительна его ненависть к завоевателям, оставляющим после себя пустыни. Невелика повесть Паустовского «Судьба Шарля Лонсевилья». И рассказывает она всего-то о больном неудачнике-французе, попавшем в старый Петрозаводск. А в пятидесяти страницах ее встает время наполеоновских войн, декабристских мечтаний и отношение к этому времени писателя, живущего столетием позже.

Разные произведения эти едины в главном — в восприятии прошлого с «высокой» точки зрения передовой исторической науки, в раскрытии эпической темы — темы соотношения отдельного человека с историческим процессом, с судьбой народа. Продолжая традиции мирового романа, памятью слова Лессинга, что для исторического писателя «характеры священны», советская историческая литература расширяет, обновляет те принципы жанра, которым следовали писатели, обращавшиеся к веку минувшему со времен родоначальника этого жанра — Вальтера Скотта.

Классический для всей европейской литературы «вальтер-скоттов» принцип построения исторического романа принимался Пушкиным и обосновывался Белинским: «История представляет нам события с его лицевой, сценической стороны, не приподнимая завесы с закулисных происшествий, в которых скрываются и возникновение представляемых ею событий и их совершение в сфере ежедневной, прозаической жизни. Роман отказывается от изложения исторических фактов и берет их только в связи с частным событием, составляющим его содержание, но через это он разоблачает перед нами вну-

тренную сторону, и з н а н к у, так сказать, исторических фактов, вводит нас в кабинет и спальню исторического лица, делает нас свидетелями его домашнего быта, его семейных тайн, показывает его нам не только в парадном историческом мундире, но и в халате с колпаком... Исторический роман есть как бы точка, в которой история, как наука, сливается с искусством; есть дополнение истории, ее другая сторона».

Приводим это классическое высказывание Белинского не только потому, что в нем точнейшим образом сформулирована эстетика исторического романа XIX века, но и потому, что, перечитывая Белинского, мы особенно ясно видим, в чем советский исторический роман продолжил традиции и в чем нарушил их. «Сфера ежедневной жизни», «изнанка исторических фактов», изображение «домашнего быта», «дополнение истории» — это все осталось. Но, вооруженный передовой наукой о развитии общества, знанием законов исторического процесса и перспектив его, советский исторический романист обладает возможностями, которых не было и не могло быть у его предшественников.

Тынянов и Шишков, Злобин и Ян, узнавая и раскрывая «частные» линии истории, в то же время берут на вооружение именно «исторические факты»; они показывают и «лицо» и «изнанку» истории, сплавляют события большие и мельчайшие, переплетая хронику историческую с хроникой семейной. Расширяя «охват» эпохи сравнительно с романом XIX века и в то же время опираясь на его лучшие традиции, советские писатели все больше утверждают закономерности в советской литературе именно историко-эпического романа, который строится на постижении объективных закономерностей истории, постижении исторического процесса, определяющего судьбы человеческие.

Советская литература двадцатых—тридцатых годов взяла все лучшее от новой исторической науки, в частности от Покровского и его школы. От науки, восстановившей в правах народ и резко выделившей в сплетении случайностей и необходимостей социальные закономерности истории. Но, к счастью, литература почти избежала вульгаризации, изображения прежних времен лишь как борьбы торгового капитала с феодальной оппозицией.

Советский исторический роман не забывал «индивидуальное начало» истории, наоборот,

он акцентировал его. Пушкин Тынянова, Болотников Шторма, Радищев и «казанская помещица» — Екатерина II Ольги Форш — люди, подчиненные историческому потоку и в то же время направляющие его. А над этими романами, как сам двухметровый Петр Великий над людьми обычного роста, высится «Петр Первый» Алексея Толстого.

Каждый перечитывающий роман (не говоря уж о тех, кто впервые его открывает) снова погружается в живой, осязаемый мир, изумительно реальный во всех своих оттенках, во всех персонажах, составляющих «необходимую часть воздуха, земли, света, которые их окружают и питают» (Ромен Роллан).

Каждый эпизод — а главы романа состоят из множества завершенных картин-эпизодов — с первой же фразы его («Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь... зачерпнула пахучую воду, хлебнула, укусила льдинку и дала напиток братикам») видится как реальность, сейчас происходящая. Грязно-шумная Москва, запах пирогов Федора Зайца, встреча побродяги Алексаши с царевичем, который отсиживается от нянек в лопухах, «роба цвета «незабвенный закат», Азовский и Шведский походы, мужицкая беда и византийский блеск царевых палат, неумная жизнь царя и сонное боярское житие сливаются в единый мир, в облик великой эпохи пробуждения России. Бесчисленные люди романа: Иван Бровкин, из грязи поднявшийся в князи, красавица Санька, затмившая дур-боярышень, шотландец Патрик Гордон, опухший от пьянства князь-кесарь Ромодановский, пегобородый смутьян-мужик, который «Дон поднимает», лихой капитан Памбург, «потешные», солдаты, плотники, рабочие, которым платили поденно четыре алтына и давали шти с мясом, — все смешаны в едином горниле, все живут, дышат, строят Петербург, переливают колокола на пушки, гонят по Дону корабли «Самое главное и самое прекрасное, что есть в книге... это живое движение живых людей, это здоровое и всегда жизнерадостное движение русского народа, окружающего Петра... роман переполнен оптимизмом, в нем в каждой строчке дышат богатые силы народа, который еще сам своих сил не знает, который верит в себя и верит в лучшую жизнь», — очень верно сказал А. Макаренко в пространной и интереснейшей своей статье о «Петре Первом».

Выбор Толстого был встречен современной ему критикой тридцатых годов различно; под безапелляционностью суждений («Историческая концепция Алексея Толстого... груба, примитивна и реакционна», — писал о книге один из «литпостовцев» в 1931 году) скрывалась растерянность: после вереницы произведений о народных восстаниях роман о царе — душеделе булавинцев? Может ли советский писатель ставить царя в центр романа? Сложность замысла и решения Толстого старались свести к привычным уже схемам, а роман не сводился к этим схемам, жил своей жизнью, покорял читателей, видевших Петра и его время глазами Толстого.

Сейчас, в шестидесятых годах, мы гораздо яснее ощущаем необходимость выбора Толстого, близость изображаемой эпохи, «удивительной картины взрыва творческих сил, энергии, предприимчивости» концу двадцатых — началу тридцатых годов века двадцатого. «Здоровое движение народа» петровских времен явно перекликалось с годами, когда писался «Петр», когда жизнь перерачивалась во всех ее пластах и классах, когда народ строил Днепрогэс, перепыхивал межи — работал, не шадя живота, веря в добрые плоды своего труда. Время и герой были продиктованы исторической необходимостью, близость прошедшего времени писателю рождала тот великолепный пафос труда и свершения, которым пронизан «Петр Первый».

«Художественная стоимость» романа не понижается и сегодня.

Но прошедшие годы позволяют нам яснее увидеть и недостатки этого замечательного романа, также определенные временем. В упомянутой уже статье А. Макаренко, восхищаясь романом, увидел в нем зародыши той иллюстративности, которая дала ростки в третьей книге «Петра», написанной через десять лет после двух первых.

Казалось бы, невозможно говорить об иллюстративности по отношению к такому художнику, как Алексей Толстой. И в самом деле, как зримо написаны не только Петр, Алексашка Меншиков или Катерина, но и такие эпизодические, мелькающие персонажи, как курфюрстина Софья, или пирожник Федька, или простоватая княгиня Авдотья Буйносова, рядом с которой сам князь Роман Борисович кажется исполненным ума. Но вот «удивительное существо народ» живет на страницах романа больше

в слитности своей, в «массовках» штурма Нарвы или панораме строительства Петербурга; выделенные писателем судьбы одноглазого Овдокима, Федьки Умойся Грязью. даже Андрея Голикова хотя и выразительны, но все же не слишком ярко обозначаются в великолепной разноцветной пряже романа.

В третьей книге «Петра» (вышла она в 1944—1945 годах) человеческий коловорот сменяется картиною болеестройной. Петр — не в гуще жизни, но как бы возвышается над нею, дирижирует ею, и она послушно подчиняется ему. Правда, и здесь есть сцена, когда царь приходит в барак и навстречу ему встает «голый по пояс, большебородый человек». Каторжно работающий мужик бесстрашно рассказывает царю о холоде и голоде, в которых живет народ, о том, что «в старопрежние годы народ жил много легче. Даней и поборов таких не было...» Это — изображение противоречий между народом и царем, варварских методов искоренения варварства, но изображение — прав Макаренко — достаточно иллюстративное. Речи мужика и Петра — это развитие тезисов, схваченных разумом, но не претворенных талантом художника. Потому-то и сквозит в сцене утешительно неправомыслие, что, были бы придворные (например, Меншиков) честны, и народу привольно жилось бы за царем-строителем.

Ярче всего, зримей всего написаны в этой книге новоявленная царица Катерина, купанье ее с пышными придворными девами, маскарад у царевны Натальи. Словно бы сквозь сурикские краски первых книг сквозит идилия Ватто, в музыку Мусоргского вплетаются ноты глюковской пасторали...

Роман не закончен. Нет задуманных сцен булавинского восстания, нет Полтавы. Но три книги романа не только воссоздают перед нами рубеж семнадцатого и восемнадцатого столетий, но и рубеж тридцатых и сороковых годов века двадцатого с их свершениями и противоречиями.

## 2

Никогда не издавалось в России такого количества исторических романов, как в годы военные и послевоенные. Эпиграфом к ним всем, пожалуй, можно поставить слова, в которых выразил свой неосуществленный замысел Грибоедов: «Трубный глас арханге-

ла; на его призыв возникают тени давно усопших исполинов — Святослава, Владимира Мономаха, Иоанна, Петра и проч... Пророчествуют о године искупления для России, если не для современников, то сии, повествуя сынам, возбуждают в них огонь неугасимый, рвение к славе и свободе отечества».

«Тени исполинов» — Александра Невского, Минина, Кутузова, Суворова вставали в торжественных коринфских мозаиках, в живописи, в книгах, исполненных патриотизма и пробуждающих его. Вспоминалась кампания 1812 года: знали — однажды и Москва была сдана, и все-таки покоритель Европы бежал снежными равнинами, забыв в Москве свою мраморную триумфальную статую, бросив походную раскладушку, что стоит сейчас в Историческом музее. Куликовская битва, полтавская баталия, подвиги матроса Кошки, Брусиловский прорыв — все ободряло, поддерживало, убеждало, что выстоит народ, создавший великое государство.

И в послевоенные годы внимание к прошлому было постоянным и в театре и в кино: чередой выходили фильмы о Севастопольской обороне, адмирале Ушакове, Шевченко, Ломоносове, Глинке, Георгии Саакадзе, Алишере Навои, Лермонтове...

Но чем дальше, тем больше во многих фильмах и спектаклях, картинах и романах тускнела сложившаяся уже традиция советского исторического искусства — изображение жизни в главном ее направлении и в ее сложности, неперемнное включение героев в огромные общие процессы народной жизни.

Отступали на второй план беды крестьянской жизни, четвертьвековой каторги старой армии: красавцы богатыри радостно и покорно шли в бой, варили кашу у костров, хором славили отцов-командиров. Выделялась одна сторона действительности: Россия в борьбе с внешними ее врагами, с татарами, турками, шведами, французами — в зависимости от времени действия. Был в это время и роман о Суворове — «народном генералиссимусе», гонимом царями за свободумыслие. Естественно, что в таком романе попросту отсутствовал эпизод, когда Суворов вез в железной клетке изловленного Пугачева: подлинность истории, истина ее нарушила бы гармонию парадно-лубочного портрета (Л. Раковский, «Генералиссимус Суворов»). Был роман о булавинском вос-

стании, где историческому Кондрату Булавину, который предпочел смерть пленению, пришлось заняться внеисторической самокритикой и признаваться, что он «ошибку понес», ибо мешал прогрессивным делам Петра Великого (первое издание романа «Дикое поле» Д. Петрова-Бирюка). Был роман о Данииле Галицком и Александре Невском, где Русь XII—XIII столетия представляла народной сплоченной державой, которая жила бы в золотом веке, если бы не монголы («Ратоборцы» А. Югова).

Многие писатели обращались к изображению минувшего века, но немногие были верны изображению минувшего века во всей его истине. Сложность не анализировалась, но замалчивалась. В то же время антиисторичность общей концепции, робость в раскрытии противоречий времени и характеров сочетались с подробнейшим воссозданием внешних черт эпохи. Длиннейшие описания яств и питий за царскими и боярскими столами, старинных одежд, посольских приемов и даров часто существовали в книгах сами по себе, не столько помогая раскрыть глубину исторического процесса, сколько затеняя эту реальность пышной многостраничной экзотикой.

Описания царских палат и одежд, пиров и приемов в пятитомном романе В. Язвицкого «Иван III — государь всея Руси» сделаны с точностью и любовью антиквара. А сам государь? Он с детства отличается остротой ума и крайним благородством. Он и объединитель русских земель, и народолюбец, и прозорливец, и каждый шаг, каждая мысль его продиктованы лишь заботой о благе Руси. Вместо портрета — «парсуна», почти икона, сквозь которую еле-еле брезжит реальность.

Почти всегда такое идеализирование, искажение сущности исторического героя сочеталось с неточностью «формы» романа, с неумением воплотить образ именно в исторической конкретности. В «Ратоборцах» А. Югова великий князь, возвращаясь от хана, думает такими словами: «Боже! Да неужели же все это позади: Батый, верблюды, кудесники, ишаки и кобылы, лай овчарок, не дававший спать по ночам, и все эти батыры, даруги, нойоны, агасы, исполненные подобострастия и вероломства, их кланча, и происки, и гортанный их, чуждый русскому уху говор, и шныряющие по всем закоулкам — и души, и комнаты — узкие глаза?! Эти изматывающие душу, Батыевы ауден-

ции... Неужели все это — позади, в пучине минувшего? Неужели скоро увижу увалы Карпат, звонкий наш бор, белую кипень цветущих вишневых садов... Анку (княжину.— Е. П.)?»

Из объективной, непреложной реальности история превращалась в непомерно растянутую притчу о величии России; тезис «политики, опрокинутой в прошлое», опровергнутый и отвергнутый теоретически, продолжал жить и в исторической науке, и в исторической литературе. А объективный материал прошедших веков сопротивлялся искажению его, не втискивался в удобную схему. И в борьбе правды истории и неправды трактовки ее терпели поражение самые большие художники.

Алексей Николаевич Толстой строил свою драматическую дилогию об Иване Грозном («Орел и орлица», «Трудные годы») на прямой полемике с Алексеем Константиновичем Толстым, с его «Смертью Иоанна Грозного». Полубезумный деспот и распутник, ошеломивший своими жестокостями даже выдавший виды XVI век, превращается в мудрейшего из русских государей, в возлюбленного-рыцаря, в любящего мужа. Прежде опричнина изображалась кровавой ордой; теперь это — благое учреждение царя, жестоко справедливыми воинами которого предводительствует великий в своей нерассуждающей преданности Малюта Скуратов. В искусстве прошлого всегда жила тема юродивого, обличающего царя-убийцу; в спектакле 1945 года эффектнейше была поставлена сцена, когда юродивый грудью защищает царя от предательской стрельы.

В фундаментальном романе В. Костылева «Иван Грозный» эта тема мудрого царя, «народного царя» доводилась почти до абсурда. Изображение Грозного монарх-деспотом объявлялось принадлежностью буржуазной историографии XIX века. Между тем на эту сторону образа Грозного всегда обращали внимание декабристы, Чернышевский, Добролюбов.

Пышное цветение исторического романа в сороковые годы, особенно в годы послевоенные, не равно расцвету. Но неужели не осталось нам от этого времени ничего, кроме парадных портретов великих людей, кроме бесконфликтности в изображении минувших эпох? Да, были в искусстве этого времени и лучезарный Грозный, и Глинка, который, едва взглянув на Европу, мчался на переключных обратном, поняв, что нечего

ему делать в этом разлагающемся мире. Но жил ведь на экране Мусоргский — Александр Борисов, Тарас Шевченко — С. Бондарчук — бродил в солдатской рубашке по приаральской пустыне. Вышел трехтомный «Емельян Пугачев» Вячеслава Шишкова с его документальной правдой, претворенной пером большого писателя. Снова это — не биография Пугачева, но история пугачевского бунта на долгом его протяжении и огромном пространстве, история пугачевских «графов» и «вельмож» с рваными ноздрями, башкирцев и татар, стекавшихся к бунтовщикам, самих бунтовщиков в их силе, жестокости, справедливости, во всей беспощадности, но не бессмысленности их дела. Три тома эти написаны советским писателем, видящим экономические, социальные причины и истоки пугачевского бунта, пугачевского триумфа и неизбежного поражения.

Та же трудная истина прошлого, та же эпичность его возникала в «Звездах над Самаркандом» С. Бородина или в «Степане Разине» Ст. Злобина. При всем отличии Злобина от Шишкова принципиальная общность их романов очевидна. Она не в общности стиля, но именно в том, что Пугачев и Разин — своеобразнейшие люди, представляющие закономерности народной жизни, раскрываемой писателями в ее многослойности, в разнообразии человеческих судеб и социальной общности их.

Продолжается изучение «белых пятен» истории; писатели обращаются к образам и событиям, раньше не привлекавшим внимания литературы. Новые герои входят в нее: «правитель» Российско-Американской компании, негодник и просветитель Александр Баранов («Великий океан» И. Кратта), герои Петропавловско-Камчатской обороны («Русский флаг» А. Борщаговского), офицер-исследователь Невельской («Далекий край» Н. Задорнова). Старинный жанр продолжал жить и развиваться. В воссоздании образов патриотов российских проявлялся патриотизм писателей, сознание величия страны, давшей людей большой храбрости и честности, искреннего уважения к другим народам и подлинной, непоказной любви к народу своему.

## 3

Естественно, что сегодня искусство наше повествует главным образом о современности. В прошлое отходят чаще всего неда-

леко, к Октябрю, к теме историко-революционной.

Сломаны на киностудиях декорации боярских палат и дворцов. Только «Гусарская баллада» и «Крепостная актриса» — водевильно-опереточная дань прошедшим векам.

Новых пьес из русской истории нету, а из классики почему-то укрепилась на периферии лишь сомнительно классическая «Василиса Мелентьева», осуществляющая борьбу с культом Грозного. В интервью с актерами и режиссерами что-то нет мечтаний о ролях Годунова и Самозванца, Грозного и Петра Первого.

Двадцать второй съезд партии поставил перед искусством новые, большие задачи. Перед всеми без исключения видами искусства, всеми жанрами литературы. Как же отвечает на них историческая литература последних лет? Как она сегодня рассказывает о дальних рубежах времени?

«Читатель любит исторический роман. Исторический роман облегчает изучение истории», — подчеркивал Горький еще в двадцатых годах. Сегодняшние читатели любят исторический роман не меньше. Знакомство с ним облегчает серия «Исторического романа народов СССР», в которую вошли уже десятки книг — от Дажечникова до Кави Наджми и Гамсахурдиа. Гослитиздат щедро выпускает серию мирового исторического романа. Но это — накопления жанра. А новые книги?

В последние годы вышли биографические романы о Чернышевском, Ломоносове, Адаме Мицкевиче, Плещееве, молодом Достоевском и т. д. Есть романы об Анне Ярославне — королеве Франции, о «сидении» донских казаков в отбитом у турок Азове, о декабристах и декабристках. Писатели обращаются к веку двадцатому и ко временам, когда и Руси-то еще не было; подчас книги уже не столько преломляют историю, сколько заменяют ее, потому что об этих временах и сами историки знают немного. Помните у Белинского: «Когда мы читаем исторический роман... то как бы делаемся сами современниками эпохи, гражданами стран, в которых совершается событие романа, и получаем о них, в форме живого созерцания, более верное понятие, нежели какое могла бы нам дать о них какая угодно история»...

Попробуем же превратиться в современников античности, в граждан Боспора Ким-

мерийского на рубеже I—II веков до нашей эры. Полузабыты беглые главы школьного учебника о древнейших государствах на территории нашей страны. Помнится только царь Митридат (и то больше названием керченской горы да легендой о невосприимчивости к яду). Счастлив тот, кто сам побывал в керченском склепе Деметры, на развалинах Неаполя-Скифского, возле мраморных обломков Херсонеса-Таврического. Об этих-то городах древних времен нам расскажет роман Виталия Полупуднева «У Понта Эвксинского» (что значит порусски — Черного моря). И не один роман, а два. И оба не просто большие, но огромные. Первый — «Великая Скифия», второй — «Восстание на Боспоре» («Советский писатель», 1961 и 1962).

На карте, приложенной к книге, — названия неведомых племен: дандири, тореты, керкеты; на месте нынешних курортных городов стоят Фанагория, Пантикапей, Ахиллий. Главы называются загадочно и пышно: «После экклезии», «Катафрактарии Раданфира», «Последний Спартокид», «Зариадр и Одатида»... Процветающие греческие города-колонии отправляют в метрополию пшеницу, мед, рыбу; города прижаты к побережью, а дальше простираются владения скифов и других племен, ведущих вольную жизнь. Разноязычная толпа движется по улицам среди мраморных зданий, а в лачугах живут рабы, которые ломают камень, солят рыбу, гребут на галерах. События романистом выбраны основные в истории народов Причерноморья: борьба скифов с греческим Херсонесом, восстание рабов Боспорского государства под водительством Савмака.

Кажется, этот выбор, это подробное изображение «базиса» жизни, общественного строя далеко не идиллической древности должны предопределить эпичность повествования, создание исторически обусловленных характеров, подчинение сюжетных линий широкому, объективному течению жизни.

В изображении быта, одежд, древней утвари романы кажутся точными (хотя, может быть, специалисты по истории эллинистического Крыма и найдут в них те или иные несообразности). Мы верим, что так жили богатые херсонесцы и рабы, скифы и тавры, так они пахали землю, так торговали, воевали. Верим даже, что богиня — покровительница Херсонеса была такою: «де-

ревянный лик, с неподвижно выпученными глазами и странно изогнутым ртом, был искажен, как бы от непереносимой внутренней боли». И в то же время «резчик сумел передать своему творению некую обаятельность, изящество, женственность, наконец ту внутреннюю напряженность, которая поражала зрителя... Кумир, несмотря на влияние времени, производил незабываемое впечатление. Его индивидуальность была доведена до предела.

Но тут и не историк начнет волноваться. Во-первых, такая богиня больше напоминает произведения Пикассо, чем образцы древнего искусства. А во-вторых, если даже неведомый скульптор и сумел, опередив греческое искусство, довести до предела индивидуальность кумира, то как относится автор к индивидуальности своего героя, который рассматривает богиню? Это он-то, живущий до нашей эры, такими сегодняшними, стерто книжными словами, думает об «индивидуальности»?

Может быть, это обмолвка, неудачная страница? Нет — таким же среднелитературным, штампованным языком написаны оба романа. И дело не только в скудости и стертости авторской речи, особенно разительной после Тынянова, Толстого, Шникова. Литературная форма теснейшим образом связана с содержанием. Претендуя на роман-эпопею, используя известные исторические факты, автор обращается с ними совершенно произвольно, не сюжет извлекая из исторических событий, но события подгоняя под сюжет, не выводя подлинных людей эпохи, но вводя в эту эпоху людей-схемы, героев стандартных, пригодных для всех веков.

Героев здесь множество: скифский царь Палак, полководец Калак, князь Напак, военачальник Диофант, жрица Мата, простоватый Бабон, рабы, солдаты, греки, скифы, не говоря уж о таврах и сколотах. Длинные описания их пиров, одежд и оружия. Но так подробно описанные плащи и туники кажутся театральными костюмами, а чаши и мечи — картонной бутафорией. В театре хороший актер заставит зрителей поверить, что чаша подлинная, хоть и сделана она неважно. А здесь и описание может быть скрупулезным, но это не помогает, потому что подлинными должны быть люди, а они похожи на куклы-муляжи в витрине этнографического музея.

Не умея проникнуть в сущность харак-

тера, запечатлеть подлинные процессы народной жизни, автор громоздит приключения на приключения. То скифский князь Фарзой, герой обенг книг, который «имеет русые кудри и льняного цвета вьющуюся бородку», претерпевает очередное бедствие: кораблекрушение или нападение разбойников, становится рабом-галерником, но, конечно, снова освобождается. То появляется дочь военачальника Гликерия: затянута в замшевый костюм, с кинжалом у пояса скачет она на коне, привлекая все взоры. Красавица Гликерия влюбляется в красавца раба Савмака. Когда рабы-заговорщики собираются ночью в склепе, называемом склепом Никомеда Проклятого, Гликерия предупреждает их об облаве. Заговорщики спасаются, в склепе остаются лишь Савмак и Гликерия, которых и захватывают солдаты. Их обвиняют в прелюбодеянии и обнаженными ведут по городу под улюлюканье толпы.

Савмака освобождают восставшие рабы. Он становится их вождем и побеждает, потому что хорошо осознал цели и методы восстания. Рабы хотят разорить город, Савмак им разъясняет: «Сейчас задача не сжечь город, а спасти его... А с восходом солнца — начать лучшую жизнь без господ и хозяев». Затем «Савмак напомнил, что за стенами города живет много крестьян, которые видят в городских рабах братьев и ждут от них великих дел. А скифский народ протянет повстанцам руку помощи, и тогда никакой враг не одолеет нового государства бывших невольников...»

Пушкин иронизировал над неудачливыми подражателями Вальтера Скотта: «В век, в который хотят они перенести читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений».

Форма этого переселения в минувший век изменилась, но сущность осталась прежней; героям древних лет приписывают не столько «предрассудки и дневные впечатления» автора, сколько мысли, которые не могли прийти им в голову, и фразы о «руке помощи», заимствованные из сегодняшних газет. Так сплетаются две ложные дороги: скрупулезная тщательность в описании необычного быта, превращающая его в экзотику прошлого, и в то же время модернизация, осовременивание героев. Две эти крайности сливаются, потому что источник их один: неуменно проникнуть в то, что назы-

вается душой эпохи, в естественный процесс ее жизни, в психологию людей прошлых веков, отличную от нашей. И народ, те рабы, о тяжелой жизни которых нам так подробно, казалось бы, рассказывают, превращается в массу маленьких марионеток, которые по велению автора то гребут на галерах, то поднимают восстание и сражаются, образуя лишь условный, хотя и громоздкий, фон для приключений главных героев. Приключения эти следуют одно за другим, как в романах Дюма, пока Гликерия не погибает, а Савмака не берут в плен.

Такое сочетание псевдоэпоса и приключенческого романа, попытка объединить Гомера и Дюма, довольно часто в исторической литературе, но свидетельствует оно не о победах, а скорее о поражениях жанра.

В 1961 году «Молодая гвардия» выпустила два тома романа Валентина Иванова «Русь изначальная». «Первое произведение не только в русской, но и в мировой литературе, посвященное эпохе VI века», — предваряет книгу издательская аннотация.

Снова белое пятно истории. Снова писатель ведет нас во времена долетописные, о которых и ученые знают мало. Это его право — «заменить историю», дополнить скудные ее данные интуицией, воображением, сделать книгу, которую читатель примет как бесспорную, потому что внутренняя правда ее убедит: так было, так жили предки наши.

Устами византийского писателя VI века Прокопия Валентин Иванов так определяет задачу писателя: «Писателю нужна решимость большая, чем другим, так как сомневающийся не закончит и строчки, он осужден на бесплодие бесконечных помарок и чистых страниц... Военачальник может уклоняться от сражений, в его власти замена штурма бездействием терпеливой осады. Писатель же подобен солдату, рвущемуся на стену».

Приняв, видимо, на веру это кредо, автор отважно «рванулся на стену»: в двух томах он повествует о судьбах двух народов, о разложении Византии VI века, о разврате и жестокости ее правителей, жадности и трусости обитателей ее — ромеев, бедствиях пленников, бедняков и рабов. И о гордых, свободных славянских племенах, ведущих жизнь суровую и простую. Эпиграф к первой главе гласит: «Там русский дух... там Русью пахнет». Русское

государство еще не сложилось, но племена, которые войдут в него, уже несут «русский дух», словно проводя будущее своей страны.

У ромеев — монархия, тирания, и они слепо верят в судьбу. У славян — народоправство, и ни в какую судьбу они не верят, твердо зная, что создает ее сам человек («Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но живут в народоправстве... Они считают, что только единый бог, творец молний, владычествует над всеми, ему приносят они жертвы и совершают другие обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что Судьба по отношению к людям имеет какую-либо силу...»). Все, от князя до молодого воина, знают свое место и свой долг. Воины сторожат границы от врагов и ведут войны лишь справедливые, освободительные. Хлебопашцы пашут, женщины растят детей, варят целебные травы и еду для семьи... А уж что и как ели славяне, описывается многократно и вдохновенно: «мясо зверей и вольной птицы, мясо домашнего скота, мед диких пчел, густое молоко сильных, мало раздоенных коров, сыр и масло, лук, пшеничные, овсяные, гороховые каши». И снова подают им «корыто с печеными на раскаленных камнях окунями, линиями, язми и мягкой сомятиной», и снова едят они окорока, пшеничные лепешки, вепрятину, которая «выдерживалась в рассоле вместе с гадючьим луком, польнью, донником, смородиновым листом, коптилась в дыму ольховых, ореховых веток и дубового прелого листа».

Конечно, жизнь славянских племен была простой и чистой сравнительно с умирающей Византией. Конечно, естественное равенство родового строя, суровый быт его способствовали становлению сильных, цельных характеров. Но ведь и в родовом строе не было идиллии, и в нем были заложены противоречия, которые привели к его гибели, к смене новым строем в последовательности естественной и необратимой. Крещение несло Руси конец старых обычаев, новые формы жизни и новую, более высокую культуру, в свою очередь обогащенную Русью. Оно способствовало единству будущей Руси, связывало разрозненные племена в новое государство.

Этой сложности и естественности процесса, этой истины народной жизни нет в «Руси изначальной». Не диалектику жизни видит ее автор, но простую и поэтому удобную схему. У ромеев — разложение, у сла-

вян — золотой век. Там — восстания, войны, страшные, подробно описанные пытки, здесь — тишина и разумный труд, нарушаемые лишь набегами врагов. Все очень просто. Только как согласовать эту простоту со сложностью самой жизни и ее развития?

«Мы не должны забывать, что все наше экономическое, политическое и умственное развитие вытекло из такого предварительного состояния, при котором рабство было настолько же необходимо, как и общепризнано. В этом смысле мы имеем право сказать, что без античного рабства не было бы и современного социализма».

Нет ничего легче, как произносить громкие фразы по поводу рабства и т. п. и изливать целые потоки высококравственного гнева на такие постыдные вещи... Раз заговоривши об этом предмете, мы должны сказать, какую бы ересь и каким бы противоречием ни казались наши слова, что при тогдашних условиях введение рабства было большим шагом вперед. Несомненен тот факт, что человек, бывший вначале зверем, нуждался в варварских, почти зверских средствах, чтобы выйти из первобытного состояния. Там, где уцелел древний общинный быт, он всюду, от Индии до России, служил целые тысячелетия основанием самых грубых государственных форм восточного деспотизма. Только там, где он распался, самостоятельное развитие пошло вперед, и первым шагом по пути экономического производства было усиление и развитие производства посредством рабского труда... При исторических условиях древнего, в частности греческого, мира переход к общественности, основанной на классовой противоположности, мог совершиться только в форме рабства. Даже для рабов это было прогрессом: военнопленным, из которых они по преимуществу набирались, сохраняли теперь по крайней мере жизнь, тогда как прежде их убивали, а еще раньше даже поедали»<sup>1</sup>.

Так «Анти-Дюринг» опровергает «Русь изначальную», самую историческую концепцию автора, вернее, ее внеисторичность.

Этот антиисторизм порой кажется даже сознательной позицией автора. По крайней мере когда он утверждает: «Твердо известно важнейшее — жившие за сотни поколений до нас имели такое же тело, как и мы, и столько же драгоценного вещества вме-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 183, 184.



шали их черепа. Они мыслили; они смеялись и плакали, отдаваясь тем же чувствам, которые сегодня вызывают радость и горе их отдаленных потомков.

Конечно, ромей и славяне VI века принадлежали к единому типу современного человека. «Драгоценного вещества» в их черепах было столько же, сколько в наших, но мысли оно все-таки вмещало иные. Валентин Иванов упорно доказывает, что славянин VI века мыслит именно так, как современный, начитанный в популярной литературе по общественным вопросам человек. Проявляется это во всем. в рассказах о жизни других народов, погрязших в рабстве, в понимании славянским князем своего места в историческом процессе, в спорах о религии, занимающих большое место в романе.

Ромей-византийцы упорно хотят обратить славян в христианство. Почему-то в романе все время подчеркивается, что славяне поклоняются единому богу (хотя сам автор описывает их языческое многобожие). Но единого бога византийцев они не приемлют и говорят о нем так, словно каждое племя уже подписано на серию антирелигиозных брошюр издательства «Знание». Греческий пресвитер излагает россиянам основы христианства. Славянин отчитывает его: «Не нравится мне твой рай. Сиди да сиди сложа руки... За день один тоска червем сердце высосет... Такой бог только для рабов пригоден. Мы ж люди вольные».

Во втором томе славян продолжают соблазнять христианством. И снова проповедник получает отпор: «У нас, россиячей, нет ада. Наши боги скромны. Пусть они носят разные имена — они одинаковы...» Затем идут уже вполне современные тезисы: «Душа человека пробуждается с рождением тела... Вы запугиваете адом других, дабы презрять их в данников».

Последние слова принадлежат не славянину, но греку Малху. Он прошел многие страны и испытал многие беды, а попав к славянам, понял, кому принадлежит будущее, и навсегда остался у них. Он вошел в племя, взял жену, «с которой жил он разумно, забыв лукавые утехы Теплых морей», и победил в споре греческого пресвитера. Тот грозит: «Будь победа за нами, ты выйдешь в руках палача, еретик!» А Малх отвечает: «Прочь! Мне нет до тебя дела, я россияч».

Таких всепонимающих героев, с легкостью ориентирующихся в грядущем, в «Руси изначальной» множество.

Наибольшими доблестями среди украшенных всеми добродетелями славян отличается главный герой Ратибор, на первых страницах — подросток, на последних — глава своего племени. С отроческих лет отличается он силою и отвагой, честностью и скромностью. Даже увидев изображение чужого бога, осторожно обходит его: «Недостойно россияча взять чужое... бесчестно позавидовать силе, ловкости или уменью другого. И — дурное дело потревожить сонный покой пусть и чужого, пусть никому не нужного бога забытых племен» (в противоположность Ратибору хазары, верящие в Яхве, «с насмешкой смотрели на глупых богов бесильных славян», за что и были наказаны поражением в бою).

Конечно, как ни прославляя Ратибора, на таком характере, вернее, отсутствии его, романа не построишь. И описания славянских охот и походов, свадеб и похорон, злодейств ромеев и восстаний в Византии помогают мало. Тут снова в ход идут приключения. То Ратибор влюбляется в красавицу хазаринку, убитую в стычке, и любовь эта долго тревожит его. То два славянских богатыря, Индульф и Голуб, попадают в Византию и развратная жена полководца Велизария приближает к себе Индульфу, плененная его силой. Славяне участвуют в походе Велизария на Неаполь, видят, так сказать, соблазны Европы. Но, конечно, русский дух побеждает, и они возвращаются на родину с сознанием напрасно растроченных лет. А Ратибор, оставшийся дома, избирается князем и произносит «Слово» в «похвалу россиячу», заканчивая им эпопею.

Впрочем, в заключение и сам автор произносит еще одну «похвалу россиячу»: «Таковы россиячи. Они не обольют презрением другие народы, возомнив себя выше всех. У них не привьются учения злобных пророков. Россияча всегда жалит сомнение. Как бы ни занесся он, наедине с собой он знает: нет в тебе совершенства, нет, нет!

И, не умея восхищаться собой, россияч ищет высокого вне себя и свое счастье находит в общем. Таков россияч, человек большой любви».

Так славяне VI века наделяются не только всевозможными личными добродетелями, но и предвидением великой миссии русского народа, к той поре еще не образовавшегося. В книге Валентина Иванова есть все: хронологически точные события, битвы, походы, свадьбы, похороны, необычайные при-

ключения молодых славян. Нет в ней лишь того, что дает сегодня историческому роману право на жизнь — нет самой жизни VI века и людей ее.

## 4

Перенесемся теперь в века XVII и XVIII — излюбленные эпохи русских исторических романистов. Смутное время и воцарение Романовых, разинское восстание, «рыцарь Иоанн» — Иван Болотников, люди века, так несправедливо называемого екатерининским, — Суворов и Потемкин, Радищев и Пугачев постоянно привлекали внимание русских писателей. Внимание это сохраняется и сегодня.

В 1963 году вышел большой, как принято говорить, «фундаментальный» роман Всеволода Никаноровича Иванова «Черные люди».

Это своего рода историческая хроника царствования Алексея Михайловича. Соляной и Медный бунты, восстание Разина, война с Польшей, зарождение раскола — все интересует автора, все описывает он точно и тщательно: здесь действует сам царь со многими придворными, именитые бояре Морозовы, патриарх Никон и протопоп Аввакум, Ерофей Хабаров, купцы русские и купцы английские, заводские люди и крестьяне. Неторопливо подробны картины царской жизни, и сам Алексей Михайлович живет на этих страницах со своим истинно царским честолюбием, хитростью, беспокойством о своей власти и с какой-то человеческой безликостью, бесталанностью, что ли, словно вся человеческая яркость миновала отца и удвоилась в сыне — Петре.

Но не царь, не бояре его, не Морозовы и Нарышкины — герои романа.

Он посвящен тем «черным, тяглым людям», которые «за труд свой жалованья никакого не видят, а против того, получив по клочку земли под двор, работают на себя, а тянут на государя, со своих дворов платят и пошлыни, и налоги, и оброки, платят все, что положено на всех их «по разрубку и размету», платят их сполна, отвечая друг за друга всем миром, иногда попадая и на праведж».

Это присущее всей книге чувство «корней России», экономической, социальной, исторической обусловленности деяний царствования Алексея Михайловича и включает «Черных людей» в ту большую традицию советского исторического романа, которая

потеряна в «Понте Эвксинском» или «Руси изначальной».

События «Черных людей» связаны, взаимобусловлены, историчны не только потому, что здесь излагаются достоверные факты, но потому, что факты эти объяснены единым, могучим процессом жизни России. «Черные люди» тянут войну с Польшей, рыбачат на Белом море, идут в Сибирь, поднимают восстание, во главе которого стоит Разин. Но это совсем не значит, что Вс. Н. Иванов посвящает свое повествование только жизни черных людей. Он не вульгаризирует историю, он вбирает в роман все слои русского общества, от мужика до царя, и показывает переплетение, связь их.

Герой романа Тихон Босой хоть и вышел из «черносотных мужиков» и хоть сохранил с ними Босые тесную связь, но сейчас это уже семья-династия, которая владеет пятью лавками в Устюге, да есть еще у них «торговые дворы да амбары в Сибири, в Мангазее, Тобольске, Енисейске, да своя ямская гоньба, да дошаники, да лодки по сибирским рекам». Босые — представители торгового капитала. Но в разработке этой темы нет ни вульгарного социологизма, ни отрыва «семейной темы» от общей картины жизни XVII века. Такой картины, думается, не было еще в литературе. Русь Вс. Н. Иванова — не Русь тишайшая, с тишайшим же царем, с темными мужиками и дородными бездельниками-боярами, которые только и знают, что препираться из-за мест да пировать, как на картине Маковского.

Россия предстает здесь могучей державою, молодой страной искусных ремесленников, землепроходцев, предприимчивых купцов-путешественников. Земский приказ, таможенная изба — нужнейшие учреждения, где идет деятельная, полезная жизнь; дьяки — люди умные, широкообразованные. Кипит жизнь не только в столице, но в Архангельске, в Устюге, в Сибири: «Весь Енисейский острог был в морозном тумане, в розовых утренних дымах, снег на башнях, на стенах, на куполах был палевого цвета. Вся площадь перед церковью была полна народу в ярких желтых нагольных шубах и полушубках, черных однорядках с цветными опоясками, в меховых шапках, в татарских малахаях... Много было и остяков и тунгусов в их меховых одеждах, шитых цветными шерстями, в круглых совиках с ушками, в куклянках, в высоких торбазах. Над толпой стоял пар от дыханья, роевой

гул, вспыхивал смех, визгливо переговаривались женщины. На окраине площадки торжка стояли заиндевевшие лошади под рожками... Тусклыми, оловянными поленьями лежали мерные зубатые щуки, усатые сомы, нельмы, узкорылые осетры, черные тупорылые налимы, широкие лещи, в рогожных, завороченных сверху кулях рыба мороженая шерба. Прямо на снегу столбы из кружков синего молока и желтого масла».

Фламандское (а вернее, именно сибирское) изобилие, яркость красок в этой книге, ее «естественный оптимизм» приводят на память суриковское «Взятие снежного городка». Время, к которому обратился писатель, предстает как предшествующее петровским реформам и подготовившее их. Такая Россия рождает великие характеры.

Это «рыжий мужик» Никон с его государственным умом, властностью, возмечтавший возвыситься над царем и жестоко наказанный за это. Это неистовый враг его Аввакум. Оба они — порождение «черных людей», оба чувствуют могущество и единство России и каждый по-своему хочет ей добра, хочет внести свою лепту в общее дело. Трагедия Никона в том, что кровная его мечта — церковная реформа, возвращение к истинной старине — почитается народом поганым новшеством и не приемлется им. Мечтающий об укреплении и очищении России, он только порождает раскол и смуту на долгие годы.

Таким же сыном своего века и выразителем его воссоздан Аввакум. Источник у писателя несравненный: «Житие» протопопа, им самим писанное. Такой искренности и страсти, такой защиты своего бога и своих взглядов, такой смеси неистового фанатизма, человечности, искренности, красноречия, такого могучего писательского изобразительного таланта, пожалуй, и не знает мировая литература, особенно литература века семнадцатого. Настолько огромен этот человек, настолько велики его сочинения, что можно оказаться бессильным перед таким источником. Лесков хотел было ввести в «Соборян» явление Аввакума и все-таки не решился, вычеркнул эпизоды, написанные им в полную силу.

Вс. Н. Иванов осмелился. «Житие» немногие читают, роман прочтет всякий. И впереди всех героев романа встанет именно Аввакум. От первого появления, когда оскорбленный им боярин велит ки-

нуть сельского попа в Волгу, а поп ловко выплывает, пожертвовав реке скуфью, и до восшествия на костер в Пустозерске — судьба Аввакума написана Ивановым с истинным пристрастием и любовью. В подробных описаниях великих бедствий и великих скитаний протопопа с безответной его женой, с многочисленными чадами не теряется основа образа — постоянная ошущаемая связь его с «черными людьми», с беглыми людишками, общность с Разиным. Истина минувшего века раскрывается в полноте и вестественной ограниченности ее, ограниченности именно веком семнадцатым, его взглядами, его предрассудками.

К сожалению, на этом уровне Иванов не всегда удерживается, словно бы опасаясь своей приверженности неистовому протопопу. И он начинает в чем-то подправлять, «подсовременивать» Аввакума, приписывать ему то, чего в мыслях протопопа и быть не могло.

Думая податься в Москву за правдой, герой тут же одергивает себя: «К народу нужно в сердце, в душу войти, жить с ними, с простыми людьми... Не ходи в Москву-то, держись за народ, за простого человека. За землю свою... В народе спасенье, в народе жизнь бесконечная. Народ-то не для себя хорошего ищет, а для всей земли...»

Человек, пошедший в огонь за свою веру, мыслит совсем уж на себя не похоже: «Он обличает Никона, а за что? Старину Никон отверг... А Никон вон говорит, что старина пуше у греков — те-де крестятся по-старому... Да не разница такая страшна. Угнетенье страшит. Насилье! (разрядка моя.— Е. П.). Страшно, что Никон людей за крест Христов на цепь сажает... Это уже не от Аввакума, а, пожалуй, от автора. Аввакум сомневается там, где он не мог сомневаться. Религиозная форма, в которой проходили народные движения старины, была неотделима от времени. Это не Аввакуму не страшна разница между своей верой и никоновскими новшествами; это Вс. Н. Иванов, понимающий, что «угнетенье страшит», сегодняшнее свое понимание отдает Аввакуму. Так несколько нарушается истина образа, истина века минувшего, которая не терпит поправок и примысливаний.

И еще один мотив вводит в повествование автор, также руководствуясь благими намерениями, опасаясь, быть может, что чи-

тателю наскучит историческая хроника; раз уж книга называется романом, в ней должна быть любовь. В книге есть история любви Тихона Босого к красавице Анне, ставшей воеводшею и княгиней, написанная гораздо слабее, чем странствия Аввакума по Сибири или неторопливые сцены у царя. Но есть и еще одна вариация любовной темы, вовсе уже неожиданная.

Попал Аввакум в Москву, в покои царя, и «увидел протопоп тут одни такие женские глаза, от которых задохнулось, остановилось сердце, утонул в них протопоп». Рассказывает он теремным затворницам свою жизнь, и «сдается сейчас протопопу — его верная подружка Марковна простовата, неказиста... Из всех женских лиц теперь все ярче горели на него из-под черного платя, заколотого черной жемчужиной, серые глаза на бледном, с розовыми губами лице — глаза боярыни Морозовой... Ох, тонет он, протопоп, тонет в темно-серых страстных глазах под соболиными бровями...»

В этот пассаж читатель не поверит. Не поверит, потому что так это не могло быть. Не мог Аввакум плениться «розовыми губами». Не мог постыдиться «простоватой Марковны», как Победоносиков — простоватой Поли. И не нужно это автору.

Писатель силен именно своей правдой, своим пристрастием к веку и его людям. Правдою голодной смерти Морозовой, последним разговором ее со стрельцом-стражником: «— Есть хочю! Дай калачика! — Госпожа, боюсь я! — Ну, хлеба! — Не могу! — Ну, сухарика! — Нету!... Благослови тебя бог, хоть и так!..» Правдою Аввакумовых посланий: «Не для того мы в мир пришли, чтоб на кроватях пышных почивать, а чтобы в трудах жить. Христианское-то терпение мучительно, а потом в радости забудем все, как баба беременная мучится, бедная, перед родинами, а как родила ребенка — так все забыла... Правдой Соляного бунта, освоения Сибири, кипучей московской жизни. Этой правдою века минувшего скреплены многие судьбы и многие образы «Черных людей».

Много интересного, значительного и в книге Н. Равича «Две столицы». Старый писатель, он написал несколько книг о героях давнего и недавнего прошлого от Ломоносова до Ухтомского. Лучшим людям России посвящается и небольшой роман «Две столицы».

Судьба Радищева воссоздается здесь наиболее полно. Но Равич пишет не биографический роман; в этом его отличие от известной трилогии Ольги Форш. Он хочет не только проследить жизнь Радищева или Новикова; их жизнь — часть XVIII века, каким был он, каким видим мы его сегодня. Автора интересует то, что называется обычно обликом века: главные его закономерности и мельчайшие детали. Эти детали он любовно собирает, соотносит с большими событиями, сливает друг с другом. Каждая из глав романа как бы завершена в себе и становится самостоятельной новеллой; одна новелла соединяется с другой, в каждой — подлинные биографии, факты, документы. Героиня первой главки, названной «Маленькая Фике», — захудалая немецкая принцесса, ставшая императрицей Российской. Прелестно письмо ее отца, который дает дочери пространные наставления: сохранить лютеранскую веру, уважать мужа, не играть в азартные игры, «наипаче не вмешиваться ни в какие правительственные дела», и краткие комментарии — как дочь нарушала отцовские заветы.

Сотни, тысячи фактов, десятки имен, цифры, подлинные документы переплетаются здесь, воссоздавая жизнь двух столиц — императорского Петербурга и оппозиционной Москвы. Глава «Третий Рим цветущий» начинается так: «За двадцать пять лет царствования императрицы население России увеличилось с двадцати миллионов до тридцати двух... Армия выросла втрое... За двадцать лет серебряной монеты было выпущено в четыре с половиной раза больше, чем за шестьдесят два года, предшествовавших царствованию Екатерины». Только факты. Ничего, кроме фактов. Фраза канцлера Безбородко: «...Ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выпалить не смеет». Указ, окончательно закабаляющий крепостных. Фраза из письма Екатерины: «Свобода, душа всех вещей, без тебя все мертво»...

Равич не возмущается роскошью вельмож и поголовным взяточничеством, он просто приводит случаи: семнадцать лакеев сидели в передней генерала Измайлова, он же держал две тысячи борзых. А генерал Боборыкин, сдавший преемнику казенные деньги, которые мог прикарманить, так разбил всех, что в общественных местах его встречали аплодисментами. Кончается глава сухим сообщением: «В 1773 году началось народное восстание под руководством

Емельяна Пугачева, продолжавшееся до 1775 года, охватившее огромное пространство: с востока на запад от губерний Владимирской и Рязанской и до границ Сибири и с юга на север от реки Урала, Киргизских степей, Астрахани, земли Войска Донского, Воронежа до Казани, Перми и Екатеринбурга. За это время было убито 1572 помещика».

В таком романе это перечисление правомерно. Равич называет общеизвестное великое событие екатерининского царствования, Пугачевское восстание, дополняет менее известным описанием его границ и завершает уже совсем редкой цифрой (1572 помещика), закрепляющей размах восстания.

Годы должны были уйти на собирание таких деталей. И там, где капельки-детали сливаются воедино, там воскресают Петербург и Москва. Здесь и поговорка: «На каждом окошке по лепешке» — о барском доме, переполненном девицами; их не надо описывать — по поговорке видно, как слобные девицы, одурев от скуки, высматривают женихов из окон. Прозвище, припаянное одному военному: «Король Неапольский» — за подвиги в Неаполе по женской части. «Дом-комод» Трубецких на Покровке и сами бесчисленные московские Трубецкие, каждый со своими причудами и присловьями.

Екатерининский век живет в этих деталях, анекдотах, цифрах и афоризмах. Но в одних только анекдотах и цифрах его не воплотишь. А когда Равич переходит к созданию единого облика столицы, то красочность подробностей часто уступает место таким описаниям: «В Москве был университет, где еще жил дух Ломоносова. Во главе его стоял М. М. Херасков, дом которого посещали Фонвизин, Сумароков, Майков, Богданович, Мерзляков, Карамзин, Дмитриев, Новиков... В середине восемнадцатого столетия переселившиеся в Москву вельможи начали переносить в нее вкусы и привычки «северной Версалии» — они стали строить в разных концах города роскошные дворцы. Так возникли: особняк Пашкова на Моховой, дворец графа Разумовского, выстроенный Казаковым, появились переулки Трубецкой, Оболенский, Мамоновский, Лопухинский, Всеволодский, Брюсовский. Олсуфьевский, Соймововский, Гагаринский, Еропкинский, Языков».

В этом уже нет образа, нет движущей

мысли, которая объединяла факты, посвященные Пугачеву. Можно перечисление сократить, можно продолжить. Можно ввести новые факты московской жизни — они не будут действенны, потому что главная тема романа — противоположность двух столиц, Петербурга и Москвы, не совпадает с главной темой времени.

Прав Равич, противопоставляя чиновный Петербург университетско-разночинской Москве. Но это противопоставление именно двух слоев общества, столь же разных и в Москве и в Петербурге. Сами же столицы вовсе не были так полярны. Ну, жили в «северной Пальмире» преуспевающие чиновники и сановники, а в Москве те же чиновники в отставке да бары-помещики, любящие фрондировать на словах и вспоминать прежние времена. Но ведь были-то это не два противоположных мира, а близкие грани мира единого, прослойки одного класса. «Истина века» сложнее и шире концепции «двух столиц». И естественно, что эта концепция в конце концов сводится на нет; чем дальше, тем отчетливее роман становится сжатой хроникой XVIII века с перечислением походов Суворова и побед Ушакова, с многочисленными суховатыми реляциями вроде: «Два казачьих полка под командой полковника Иловайского с пиками наперевес лавой летели на наступающих... Турки повернулись к ним, но с правой стороны показался Орловский пехотный полк».

Судя по всему, центром книги должна была быть та «молодежь из дворян и разночинцев», которая образовала московское студенчество, первую русскую интеллигенцию — страшную опасность в глазах императрицы. Именно из этой среды вышли люди, которые уже прозвали историческую обреченность монархии, — Радищев и Новиков.

Им посвящены многие главы «Двух столиц». В них намечена та тема, которая определит русскую историческую литературу, посвященную следующему веку — девятнадцатому, тема, которая раскрывалась Тьняновым во всех его книгах: это тема противоречий внутри самого общества, все растущего противопоставления общества самодержавному государству.

Но у Равича эта тема именно намечена. Она не только растворяется в деталях, она слишком прямолинейно выражена и «осовременена» в основных образах романа:

«молодого еще человека с живыми глазами и подвижным лицом» (Радишев) и «крупного человека с большим носом и выразительными черными глазами» (Новиков). Радишев у Равича уже не столько просветитель XVIII века, сколько революционный демократ времен Чернышевского: так последователен он в своих революционных взглядах, так твердо знает, что нужно делать народу для своего освобождения. «Мрачный и раздражительный в кругу дворян» и «веселый, общительный... с простыми людьми», он ведет крамольные разговоры с крестьянами, и крестьяне доверчиво отвечают ему, не зная даже, с кем разговаривают. «Стало быть, при Пугачеве-то лучше было?» — спрашивает барин. «Лучше, — охотно откликается мужик. —...Первонаперво земля твоя, работай и живи. Второе — права человек приобрел. Людьми мы себя почувствовали. Держава-то на ком держится? На нас. Хлеб ей кто дает? Мы».

Если уж крепостной так осознал роль трудящегося народа, то на что же способен сам Радишев — человек передового ума? Не удивительно, что, беседуя с «апостолом московских мартинистов» Семеном Гамалеей, он утверждает, что надо «силой разбить оковы». Гамалея, как и положено гнилому либералу любого века, возражает ему: «Тогда переменятся только роли. Угнетаемые сами превратятся в угнетателей...» А Радишев терпеливо разъясняет: «Но угнетателей тысячи, а угнетаемых миллионы». Через несколько страниц, точно так же споря с масоном Кутузовым, Радишев пророчит: «Народ восстанет и сам возьмет власть в свои руки».

Там, где писатель просто излагает факты: разорение новиковской типографии, арест Радишева, ссылку, поездку за ним в ледяную Сибирь молодой свояченицы с детьми — сами эти факты потрясают. Там, где Радишеву приписываются архиреволюционные диалоги с мужиками или масонами, перестаешь этому верить.

При множестве исторических сведений, собранных умело и любовно, не многие люди восемнадцатого столетия останутся в памяти читающего. И люди эти — не главные герои времени. Не Радишев, не Новиков, не Баженов, не Суворов. Живут в романе хитрый канцлер Безбородко, умница и дипломат митрополит Платон, сумевший на время отвести грозу от новиковской типографии, капитан Сакен, взорвавший свой

фрегат в бою с турками. Они написаны так, что видишь их облик, слышишь речь допускских времен. И самая живая среди них — «Маленькая Фике». Так век Радишева и Суворова снова словно бы превращается в век Екатерины, хотя цель ставил себе писатель противоположную.

## 5

«Исторический роман нужен читателю». Попробуйте купить в книжном магазине «Понт Эвксинский» или «Две столицы» (в 1964 году роман переиздан). И в букинистическом не достанешь. А тиражи были достаточно велики. Люди нашего сегодня хотят знать правду прошлой жизни. Поэтому так жадно читаются исторические романы — в каждом из них читатели хотят найти подлинность прошлого и оценку этого прошлого современником. Областные, периферийные издательства зачастую перевыполняют свои планы именно благодаря историческим романам, и отнюдь не за счет перепечаток книг, вышедших в центральных издательствах. Не говоря уже о наших республиках, где сложилась большая традиция исторического романа, в каждой почти области — свои романисты, «местные авторы».

Правда, иногда они пишут и такое: «— Я люблю вас, Кэт, — задыхаясь не столько от бега, сколько от волнения, прошептал Бестужев, сжимая ее руку. — Почему вы так долго не приезжали к нам? — спросила она, опускаясь в сладком изнеможении на скамью»... Это диалог не из романа Вербицкой или Нагродской, но из книги, вышедшей в 1963 году. О судьбе Мари Раевской, или Марии Волконской, повествует книга «Жена декабриста», выпущенная киевским издательством. Вероятно, издательство привлекло то, что часть действия его протекает в Каменке, получается вроде бы роман на местную тему, а действуют в нем — декабристы, Пушкин.

Автор книги Юрий Калугин пишет, не особенно задумываясь над стилем эпохи, да и стилем вообще. Пестель разговаривает у него вполне современно-канцелярским языком: «Не хочу портить ваше хорошее впечатление, которое вы вынесли из сегодняшнего совещания». А в душе он таит любовь к Волконской: «Никогда Мари не узнает, как дорога она ему. Никогда не узнает, что она — единственная женщина, которая за-

ставила его взгрустнуть об иной жизни, недоступной ему, творцу «Русской правды»...»

Среди поклонников Мари был и Пушкин, «влюбленный во всех хороших женщин, Пушкин — жизнерадостный, остроумный, мастер на шалости и выдумки, вбиравший в себя виденное и слышанное, как губка впитывает воду, чтобы потом все это передать в чудесных стихах». На знаменитом вечере у Зинаиды Волконской перед отъездом Марии в Сибирь Пушкин описан так: «На нем был черный сюртук, черный бархатный жилет, наглухо застегнутый, галстук широкой бабочкой, как будто небрежно повязанный, но в этой небрежности был свой стиль, своя неуловимая элегантность: минут десять пришлось для этого повозиться перед зеркалом».

Таков уровень книги. Вероятно, не стоило бы и останавливаться на этом произведении: ну, бывает — прельстилось издательство местною темой. Но Ю. Калугин не просто излагает романтическую судьбу Марии Волконской; он пытается объяснить историю, войти в русло большого исторического романа и... подхватывает штампы, доводя их почти до пародии. Здесь есть хроника родов Раевских и Волконских, есть известные по учебникам подробности казни пятерых декабристов. Есть лицемерный высший свет, к которому принадлежит и мать Волконского. Есть представители народа. Кормилица Волконского, старая Даниловна, перед обыском помогает сжечь все компрометирующие бумаги и едет с Марией в Сибирь. Поездке Волконской все время стараются помешать какой-то злодей. Переодеваясь то странником, то чиновником, он строит козни и даже напускает на Мари пьяного купца, который пытается ее соблазнить. Даниловна вцепляется купцу в бороду, а заодно разоблачает и злодея: переодеваясь в чужие одежды, он забывает снять серебряную серьгу, по этой-то серьге и примечает его кормилица. Помогает ей уличить негодяя крестьянин Егорыч. Благополучно продолжающей свой путь Мари «верилось, что и на дальнейшем пути, и на каторге она встретит других Егорычей, которые в трудную минуту протянут ей руку братской помощи».

Это не единственное произведение Ю. Калугина в историческом жанре. В 1962 году в Симферополе вышла его повесть «Он между нами жил...», посвященная Мицкевичу. Почему в Симферополе? Пото-

му что Мицкевич жил в Крыму и писал там сонеты. Все просто. Автор описывает чары южного берега: «Ночь. Колдовская восточная ночь! Мицкевич распахнул окно, облокотился о подоконник. С гор веет прохладой. Под окном лепечет ручей»... И тут же — Грибоедов, Пушкин, декабристы, польские общества филаретов и филوماتов, толкование Мицкевичем основ жизни: «За стенами одесских салонов лежал обширный мир простых людей, чьими тяжкими трудами жила верхушка общества. Так было и в Вильно, и в Варшаве, и в Петербурге, и в Одессе. Так было во всем мире, где сильное меньшинство диктовало свои законы бес- сильному большинству»...

Так думают и изъясняются великие поэты, так народная тема превращается в «других Егорычей», а подлинный патриотизм, без которого немислим исторический роман, оборачивается тем патриотизмом, который издавна называется квасным.

Устрашенный таким наступлением псевдонсторического романа — от «Понта Эвксинского» до «Жены декабриста», читатель может решить, что наступил кризис жанра вообще. А доказывают эти романы, пожалуй, обратное: нужность, насущность жанра, интерес к нему, который используют авторы пудовых «эпопей» и завлекательных историй из жизни светского общества, направленных социологическими рассуждениями.

Но живые традиции советского исторического романа не прерываются. От двадцатых—тридцатых годов, через лучшие книги военных и послевоенных лет, лучшие главы таких книг, как «Черные люди» или «Две столицы», они находят, с той или другой степенью успеха, продолжение в многочисленных книгах, издаваемых не только в двух столицах.

В Перми вышел «Горюч-камень» А. Крашенинникова (1964). Опять XVIII век. Индия. Штурм Дели. Загадочное похищение огромного алмаза. События эти явно мало знакомы автору и написаны согласно привычным литературным штампам. И впоследствии все, что относится к истории алмаза и жизни миллионеров Лазаревых, не выходит за пределы средней беллетристики. Но вот молодой писатель начинает рассказ о судьбе бедняка рудонискателя Моисея Югова. Сразу меняется строй романа. Крашенинников видит, любит, знает своего героя, человека той тяжелой жизни, которую

жил тогда народ, и через эту жизнь пронесшего талант, ум и достоинство.

В Воронеже изданы две небольшие повести В. Кораблинова, начинающие цикл «Воронежские повести» (1964). Писатель, влюбленный в свой город и его людей, свою любовь хочет передать читателю. Настоящее для него неотрывно от прошлого, от истории Воронежа. История эта — от зарождения города до Октября — так же жива для Кораблинова, как настоящее; жива не в общих своих чертах, но в конкретных приметах разных эпох, прежде всего в людях.

Кораблинов владеет трудным искусством сказа, прямой речи, образной, иногда витиеватой, но не злоупотребляет этим искусством. И границы скромных жанровых зарисовок раздвигаются. В судьбе рядового казака Герасима Кривуши, в поездке его к царю с челобитной, в муках, в смерти встает XVII век в его истине, хотя здесь не действуют ни Разин, ни Авакум, а все больше воронежские обыватели.

В сказе «Воронежские корабли» легко было бы сбиться на хронику страдных лет Воронежа — верфи петровских кораблей, но Кораблинов снова пишет жанровую картину; перед нами жизнь маленьких людей — ефрейтора Афанасия Пескова, мальчика Васятки, «утеклецов» и «нетчиков», которые бежали от тяжких повинностей, приезд царя в тихий Воронеж, ужас перед «бешеным табачником». И снова в «жанре» просвечивает эпос, в малом встает большая история.

В Красноярске в 1964 году вышла небольшая повесть Бориса Балтера «О чем молчат камни». О книге Балтера «До свидания, мальчики» спорили много; его историческая повесть вообще не привлекла внимания. Между тем она не кажется случайностью для молодого писателя. И не только потому, что быт Хакассии XVII века тщательно изучен и воспроизведен им. Но и потому, что в повести этой ощущается та же сложность жизни, тот неперенный выбор человеком своей дороги, своего отношения к большим и малым событиям, ко-

торые определили книгу Б. Балтера о мальчиках последней войны.

Прошлое вовсе не идилично, но трудно, часто жестоко. Мы видим древнюю страну — перекресток путей в Индию, Россию, Китай, видим древние обычаи народа и слом их, потому что наступает иная жизнь, потому что невозможно народу быть одному: нужны друзья, нужна поддержка. Одни ненавидят русских, другие накрепко связаны с русскими. с казаками, которые тоже ищут своих путей. Все это происходит не в какой-то условной древности, но действительно в веке семнадцатом, в степи с ее жестокими обычаями. Ручеек истории Хакассии сливается с рекою русской истории.

В Куйбышеве в 1964 году издан «Дубовый листок» И. Корженевской. Объемистое произведение построено традиционно для исторического романа, в форме записок мемуаров отставного майора Михаила Наленча. Участник польского восстания, он сослан на Кавказ, ходил в походы против горцев, попал в плен к горцам и в старости, в шестидесятых годах, неторопливо рассказывает о пережитом.

Произведение И. Корженевской грешит длиннотами, в нем появляется «панна в нежно-розовом платье», которая и написана нежно-розово. И все же ясно ощущается, что тема романа для писательницы своя, кровная, что она должна была написать книгу об одной из трагичнейших страниц русской истории — о царской России и униженной ею Польше, о приезде Николая I в Варшаву, о пылких мечтах и заговорах молодых поляков, о ссылке их во глубину России.

Роман о трудном и великом прошлом России имеет богатую историю и славные традиции. Об этом прошлом написаны «Арап Петра Великого» и «Тарас Бульба», «Петр Первый» и «Смерть Вазир-Мухтара». Читатель, памятуя об этих великих образцах, ждет нового исторического романа шестидесятых годов XX века. Романа о прошлом России, достойного времени, в котором мы живем.





# ЖИ И ЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**В. Сурвилло.** От пьесы к роману.— **В. Гоффеншефер.** Читая Кайсына Кулиева.— **Е. Старикова.** Идейная драма сатирика.— **А. Лебедев.** К выходу собрания сочинений Луначарского.— **Гр. Бернадт.** Бесспорное или спорное?

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**С. Козлов.** Крупный военный теоретик.— **О. Лацис.** Пульс экономического соревнования — **Д. Шелестов.** Комиссары возвращаются в строй.— **А. Манфред.** Деятели Великой французской революции.

## Литература и искусство

### ОТ ПЬЕСЫ К РОМАНУ

**Александр Крон.** Дом и корабль. Роман. «Звезда», №№ 7, 8 и 9, 1964.

Общие, самые внешние очертания композиции нового романа А. Крона определить несложно: рамками ему служит текст военного донесения о подвиге. Словно бы так: вы читаете донесение, где-то в середине отрываетесь от текста, задумываетесь о людях, совершивших подвиг, хотите их представить себе — и вот они перед вами во плоти. Кончается роман, донесение дочитывается.

Боевого подвига не будет в романе. Весь он заполнен подготовкой к подвигу — людей и лодки. Но в этой подготовке тоже подвиг. Подводная лодка, серьезно пострадавшая в предшествующем походе, а на причале и вовсе выведенная из строя артиллерийским налетом, обречена на консервацию. Горстка краснофлотцев берется восстановить ее боеспособность. В условиях первой блокадной осени и зимы Ленинграда измученные голодом люди под бомбами и снарядами делают это, делают своими руками, вне заводских условий, без всякой помощи извне. Организатор этого подвига Горбунов — главный герой книги.

В критике герой уже вызвал высокое признание. В самом деле, что пленяет в герое?

Пленяет его неспособность к самодовольству. Подводная лодка, штурманом которой он был, вернулась, когда все уже считали ее погибшей; ее боевой успех несомненен: она потопила немецкий транспорт, вдвое превысила «автономность» (способность подводной лодки находиться в отрыве от базы). Что же герой? Он лишил себя и командиров возможности получить награду. Он подверг поход разбору и вскрыл ошибку в нем.

Его отвращение к бюрократизму.— «Нет ничего более далекого, чем боец и чиновник,— говорит он,— вот почему нигде так не страшен бюрократизм, как в армии и в партии». Причину ошибки похода он и видел в бюрократизме. Нужен был во что бы то ни стало отчет о боевом успехе — и вот израсходованы торпеды для уничтожения немецкого транспорта, ветхой посуды. А на следующий день на горизонте показался немецкий танкер под боевым охранением, и атаковать его было нечем.

Его демократизм.— «Что может быть недемократичнее по своей организации,— это его слова,— чем подводная лодка? Все слепы — вижу я один. Все глухи и немые — только я знаю код. Я веду, я атакую, я коман-

дую — остальные слушают и репетуют». Как же ужился в нем демократизм с жесткой и нещадной требовательностью, с доходящей до педантизма придиричностью? Ужился, потому что свойством его натуры было то, что составляет душу демократизма: неподдельный интерес к человеку, уважение к личности бойца, сердечная привязанность к находящимся под его командой людям, привязанность такая, что подчас ему трудно было скрывать свое любованье ими.

Главный принцип всей воспитательной работы Горбунова — именно пробуждение и развитие в каждом способности самостоятельно мыслить. Он выбрал себе в помощники Дмитрия Туровцева — натуру в этом отношении неблагодарную, человека с неустоявшимися взглядами, с несложившимся характером, ленивого мыслью и избалованного. Но Горбунов разгадал в нем способности, честность, чистоту и вознамерился воспитать из него при помощи коллектива нужного ему штурмана. И он не пожалел сил для того, чтобы с настойчивостью, временами приводившей Митю в отчаяние, выработать в нем и такие качества, как исполнительность, точность, организованность и главное — самостоятельность. Горбунов объяснил Мите, почему он так настойчиво стремится побудить каждого к самостоятельной работе мысли. «А вам не приходило в голову, что корабль может оказаться в условиях, когда земные законы практически перестают воздействовать и лодка становится похожей на снаряд, летящий в звездном пространстве?.. Что сдержит тогда людей, чтоб они не превратились в обезумевшее стадо? Только сознание, только мысль».

С каким неистовством обрушился он на Туровцева, когда тот однажды назвал себя песчинкой, от которой мало что зависит! Эту мысль Горбунов назвал подлой: ею можно оправдать любую низость — дезертирство (что изменится, если одной песчинкой станет меньше?); воровство (много ли будет общественных богатств, присвоенных песчинкой?); оправдание войны (какая беда, если погибнут десятки, сотни, тысячи песчинок?). «Так вот — я не песчинка». Он поделился с Митей своей заветной мыслью — планом выхода лодки из запертого немцами залива, преодоления минных полей и таких действий, которые определят ход войны на Балтике. И он объяснил, какой штурман нужен ему для этой цели. «Весь вопрос в том,

будет ли у меня такой командир штурманской части». Загоревшемуся Мите очень захотелось воскликнуть: «Он у вас будет». Он постеснялся, он решил без клятв готовить себя к высокому подвигу. Завтра он начнет новую жизнь, он сожжет за собой все мосты.

Сжигать было что. Была любовь.

Пожалуй, он сам еще не знал, точно ли это была любовь. По-разному возникло чувство у него и у Тамары. Тамара полюбила его сразу и беззаветно. Митя же в своих размышлениях готов был считать свою любовь «удовольствием». Он душил прораставшие в нем побеги любви, уродовал их циничными толкованиями. Он прятал свою любовь от себя, от людей, от Горбунова. Горбунов лишил его права на любовь. «Идет война, и вы мне нужны целиком. Если у вас есть женщина — бросьте ее». «Вы не отдайте себя всего». Вновь и вновь: «Повторяю еще раз, — вы нужны мне целиком. Отбросьте, истребите в себе все, что занимает хоть частицу вас».

Митя истреблял. Человек, обучавший его самостоятельно мыслить, лишил его права самостоятельно чувствовать. Истребить свое чувство он не мог, но изуродовать его смог.

Неизвестно, что думал впоследствии Горбунов, когда как-то раз стоял подличным репродуктором и увлеченно слушал чарующий, «многострунный» голос Катерины Ивановны, диктора радио. Она читала письма солдат с фронта их женам и матерям. Не было ли у него протеста против таких несомненных доказательств, что боец «не весь тут»? С этого момента уже у него самого зарождалась любовь к Кате. Почувствовал ли он, когда полюбил, что он не отдает себя своему делу всего целиком? Мыслей Горбунова читателю знать не дано — никогда, нигде, ни в чем, за исключением того, что он выскажет сам или обнаружит в движениях или поступке.

В конце романа вырвется у него полупризнание. «Сказать по совести, я тоже кое в чем грешен перед вами», — говорит он Мите. «Об этом потом, в другой раз, — поспешно добавил он, и щека его дернулась». «Кое в чем», а щека дернулась.

Но как бы то ни было, несправедливость по отношению к Мите совершена. Она имела тяжкие последствия. Она расчистила путь Селянину.

Кто такой Селянин? Это анти-Горбунов. Они не встречаются друг с другом на про-

тяжении всего романа — лишь в конце его происходит короткое столкновение, но и то за кулисами, не на глазах читателя. Но они неутомимо и страстно ведут борьбу между собой. Это борьба за человечьи души.

Вот что услышит Митя от Селянина на вечеринке у Тамары в первую же встречу с ним: «А ведь то, что происходит с нами, давно не укладывается ни в какие мерки, оно ужасно и величественно, фантастично и парадоксально, как будто на нас уже не действует сила земного притяжения. Так давайте же, черт возьми, вести себя соответственно и позабудем хоть на один вечер о прописных истинах, которые годятся только для тыловых городов и ни хрена не стоят в данной реально сложившейся обстановке».

Это — как объявление войны. Горбунов тоже говорит о поведении людей вне законов «земного притяжения», он тоже хочет, чтобы люди вели себя «соответственно» — соответственно долгу, чести, совести. Селянину нужно, чтобы они забыли о «прописных истинах». Об одной из «прописных истин» — справедливости — Селянин говорит во вторую встречу трех — его, Тамары, Мити: «Мы руководствуемся целесообразностью. То, что на данном этапе целесообразно, — это и есть справедливость».

Потом, когда уже произойдет разрыв между Тамарой и Митей, состоится разговор Селянина и Мити «на острях и безднах». Селянин переворочит и вывернет все принципы, какие дороги Горбунову.

Горбунову ненавистен бюрократизм. Селянин — апологет и теоретик его. Хотите знать, почему страна выстояла против бликкрига? «А видите ли, выстояла страна потому, что к началу войны она, как огромная бочка, была скреплена железными обручами аппарата... Продолжали отчитываться перед высшими инстанциями и подтягивать низшие, брать на учет и составлять списки, рапортчики, обзоры и объективки», — словом, продолжали заниматься всем тем, что по легкомыслию называют «бюрократической возней».

Горбунов требует самостоятельности мысли. Селянин уверенно провозглашает: «Я солдат и не имею никаких точек зрения, кроме официальной, все высокие материи я недоверил государству и несколько не стыжусь, что я только исполнитель». Он убеждает Туровцева: «Поменьше вылезайте со своим мнением и никогда не оставайтесь в меньшинстве. А когда начальство спрашивает

— подумайте и постарайтесь угадать, что именно от вас хотят услышать».

Идет борьба за Митину душу. Напористость Селянина, изворотливость, приманчивые своим внешним блеском словесные ухищрения, жонглирование понятиями и фактами приводили Митю в растерянность. Склонить его на свою сторону Селянин, конечно, не мог, все существо Мити восставало против Селянина, он испытывал к нему отвращение. Но было кое-что, что незаметно проникло в сознание, как медленно действующий яд. Это прежде всего намерение на любовные отношения между Горбуновым и Катериной Ивановной. Мысль о том, что Горбунов проповедует одно, а делает другое, разъедала душу.

И вот что скоро произошло на корабле. Там случилась драка между боцманом Халецким и краснофлотцем Соловцовым. Соловцов оскорбил Халецкого, он был не прав. Туровцев пригрозил Соловцову: его спишут с корабля — подобрать ключи всегда можно. Горбунов узнал, как поучал Митя Соловцова. «Это что-то новое, штурман, — сказал он Мите. — Откуда это у вас?»

Селянинское выражение «подобрать ключи» Митя повторил, возможно, почти автоматически, оно было пустой угрозой. Но все же яд незаметно проник в душу.

Вскоре Мите был преподан наглядный урок, как это делается, как подбираются ключи. Учитель был искуснейший, урок жестокий.

Инструктор политотдела Одноруков собирает материал против Горбунова. Он обращается за материалом к Дмитрию Туровцеву.

Он его получает. В письменном виде.

Объяснить поступок Мити растлевающим влиянием Селянина невозможно. Невозможно объяснить его и озлобленностью на Горбунова, какой бы мучительной ни была для Мити мысль о «предательстве» Горбунова — его любви к Кате. Как раз об этом и отказался говорить Митя, хотя Одноруков всячески добивался и такого показания. Добился Одноруков у него показания политического — об авангардизме Горбунова. Пусть представление об авангардизме у Мити было самое смутное («что-то из истории комсомола»), пусть он утешал себя тем, что обвинение особой опасности не представляет, но, конечно, то, что это обвинение политическое, ему было ясно. Так какая же си-

ла заставила Митю уступить домогательствам ненавистного ему Однорукова?

Эта сила, вот она: «Но в мягких шепотных интонациях Однорукова, в его манере отделять слово от слова четкими интервалами было что-то завораживающее, заставлявшее предполагать, что за его словами стоит какая-то иная логика, более высокая, чем та повседневная, обывательская, при помощи которой лейтенант Туровцев обходился до сих пор».

Не предположительно, а доподлинно за его словами стояла такая логика — логика культа личности. Мог ли Митя быть свободным от ее влияния? Курсант Туровцев уже голосовал однажды за исключение из комсомола двух комсомольцев за то, что они после ареста майора Славина ходили к его жене и что-то писали. Можно быть уверенным, что голосовал он искренно: «высокая логика» учила его бдительности.

После «беседы» с Одноруковым, после того, как дело было сделано, наваждение рассеялось: Митя понял низость своего поступка. Создалась сложная коллизия: оба героя стали лицом к лицу с культовыми явлениями. Как сложатся дальше их отношения, какими и как они выйдут из этой коллизии?

С наименьшим для себя беспокойством. С непоследовательностью озадачивающей.

Туровцев присутствует при разговоре, когда Иван Константинович, художник, отец Кати, высказывает мысль: «Настоящий человек, зная за собой вину, не кается. Он просит прощения». Горбунов поясняет: «Каются, когда трусят. Чтоб попросить прощения — нужно мужество». И Митя находит в себе это мужество. Он тут же просит прощения у Горбунова. Вот как он это делает:

«— Простите меня, Виктор Иванович... За то, что я мог о вас плохо думать... Я плохо говорил о вас... комдиву. И не только комдиву. Я сам не понимаю, как это случилось. Если бы в глаза — другое дело. А за глаза — это подлость, я знаю...»

— Все? — глухо спросил Горбунов.

— Все, — подтвердил Митя. Он знал, что это не все, но главное было сказано, мосты сожжены».

Возникает неразрешимое противоречие: умный, искренний, честный человек говорит совершенно искренно и мужественно. И в то же время совершенно очевидно, что говорит он трусливо и лживо: он умалчивает о завлечении.

Секрет раскрывается просто: просьба Ту-

ровцева о прощении — цитата. Она с некоторыми сокращениями приводится из пьесы А. Крона «Офицер флота», написанной в 1942 году. Там те же главные персонажи, то же время и место действия. Но в пьесе нет никакого Однорукова, этого воплощения времени культа личности, нет допроса, нет доноса. Там легкомысленный и несерьезный юноша, раздраженный придирками командира, нагородил на командира за его спиной (и за спиной зрителя) его закадычному другу кучу обвинений, устыдился и покался.

Перемещенная из пьесы в роман сцена ставит в тупик.

В пьесе и в романе Горбунов говорит: «Ну что ж, я знал». Эти слова в пьесе не вызывают у читателя (или зрителя) недоумение. У читателя же романа возникает неизбежный вопрос: что он знал — все или то, что сказал Туровцев? Он прощает Туровцева, но знает ли он, что именно он прощает?

Тезис Ивана Константиновича о прощении сослужил непредвиденную службу: он позволил обойти вопрос о раскрытии природы и причины поступка Туровцева, избежать анализа ошибки.

В 1942 году анализ был невозможен, сейчас задача художника заключается в том, чтобы сделать его, не нарушая исторической правды. Но и герои и автор обходят задачу. Невозможно поверить — а в данном случае это значит поверить в характер Горбунова, — что, помимо данного проявления культа личности, Горбунов не сталкивался с другими подобными — с клеветой, недоверием, беззаконием. Что он думал при этом? Как объяснял? Был слеп? Оправдывал? Не доумевал?

Читатель не знает. Ему ни разу не дано проникнуть во внутренний мир героя, в его раздумья.

«Общий замысел А. Крона не вступает в спор с жизненным материалом», — пишет В. Камянов в «Литературной России» (№ 46, 1964). Замысел не вступает. Способ изображения, изобразительные средства вступают.

О том, что победил в борьбе за Митю Горбунов, о том, что Митя — надежный человек, гражданин и воин, читатель узнает в самом конце романа из донесения военкома: фамилия Туровцева стоит третьей в перечне людей, совершавших подвиг. Но что стало с Тамарой, как она?

В критике возникло несогласие в толкова-

нии образа Тамары. В. Камянов усматривает насильственность, авторский произвол в том, что она стала любовницей Селянина. В. Кетлинская («Литературная газета», 28 ноября 1964 года) считает поведение Тамары психологически оправданным. «От обиды, от гнева, от одиночества женщины часто совершают и более безрассудные поступки, чем совершила Тамара. А разобралась она в Селянине очень скоро...» Но вопреки этому мнению Селянин с первой встречи показывает себя как циник, как человек беспринципный и аморальный, и Тамара это видит. В первый же вечер Селянин призывает забыть «прописные истины», которые «ни хрена не стоят в данной реально сложившейся обстановке». При этих словах Митя отвернулся и «тут увидел Тамару... По ее лицу бродила улыбка — хитроватая и угрюмоватая, точно такая, какую хотел скрыть Митя. Они переглянулись, как заговорщики».

Тамара с ее тонким пониманием разобралась в Селянине с первой встречи. Она ошиблась лишь в одном: считала его сильным человеком, а он оказался холуем. Иллюзий о морали Селянина у нее не было.

Противоречия в поведении Тамары есть, только следует проверить, где их источник.

Можно понять Тамару так: это характер сложный, причудливый, необузданный. Если ей взбредет в голову какая-нибудь шальная идея, она не пощадит не только вас, но и себя... Перед нами начинает маячить тень Настасьи Филипповны Достоевского. Принцип Тамары, по словам Селянина: не надо мне твоего хорошего, хочу свое плохое. И этим доведенным до крайности негативизмом можно объяснить разрыв с Митей и связь с Селяниным. Насильственность этого поступка очевидна, но источник ее в так трактованном характере Тамары.

Возможно и другое толкование образа. Тамара — сильный характер. Этому противоречит, правда, ее любовная связь с Селяниным. Но на чем основывается убеждение о существовании этой связи? На свидетельстве Тамары и Селянина, внушавшим и внушившим это убеждение Мите. Однако убеждение Мити началось с обмана: в роковой вечер разрыва Тамара не пустила к себе Митю, внушив ему мысль, что у нее Селянин, в то время как у нее была Юлия Антоновна. Что, если и все остальное было лишь обманым внушением? Никаких помет для такого понимания нет. Сообщение Селянина Мите о своей связи с Тамарой легко объяс-

нить озлобленностью незадачливого соперника. Селянин говорил о Тамаре «как-то странно — смесь осуждения с боязливым уважением». А Тамара, как объясняла Мите свою связь с Селяниным она? «Конечно, нравился. А ты что же думал, я просто так — за харчи? Он ведь не глуп. И держаться умеет. Думаешь, вот сильный человек, никого не боится, ни от кого не прячется». Последние слова прямо предназначены для того, чтобы больно уязвить Митю: он-то прятался. Его подчинение требованию Горбунова жестоко оскорбило ее, и она решила подвергнуть любовь Мити испытанию, проверить, точно ли это любовь. Не зря окружающие улавливали в ее поведении демонстративность.

Такое толкование меняет всю стратегию романа: Тамара перестает быть только жертвой ошибки Горбунова, она становится борцом за свою любовь, а Селянин пешкой. Тогда в новом свете предстают и становятся понятны слова Кати, сказанные ею Мите: «Я сама ее осуждала, а теперь чувствую себя последней свиньей... Тамару может заносить в разные стороны, она может надевать ошибок... но она решительно не способна на душевную низость».

В пьесе «Офицер флота» малозначительная и непрочно связанная с сюжетом фигура Тамары была ясна и однолинейна: слабая женщина, привыкшая к легкой жизни, не выдержала ужасов блокады и, чтобы забыть, опустила в омут распутства. В романе это понимание образа категорически и недвусмысленно отвергнуто. Теперь это, по замыслу, образ сложный, противоречивый и многогранный. Но убедительно воплотить эту противоречивость, многосторонность автору не удалось. Мы не чувствуем авторского отношения, авторского понимания этого персонажа.

Образ Тамары написан, условно говоря, драматургически: о ее внутреннем содержании можно судить лишь по движениям и разговорам с другими, непосредственно в ее душевный мир заглянуть не дано.

Так изображен и Горбунов, но с последствиями для него менее бедственными: Горбунову предоставлены большие монологи, их столько и они такого объема, что вряд ли это было бы уместно для сцены. Горбунов раскрывает себя сам, и лишь в некоторых случаях, правда очень важных, его отношения к обстоятельствам неясны. Так изображен и Селянин, полностью сам себя рас-

крывающий с развязностью, оправдываемой тем, что он чувствует себя в безопасности: его взгляды находятся в гармонии с логикой культа личности. Тамара же малоподвижна и скупа на самохарактеристики. Ее образ незавершен, неясен: повествователь от нее отступился, а без сцены ей не жить.

Но так — драматургически — написаны образы почти всех персонажей романа за исключением Мити Туровцева. Искусство эпического повествования не во всем далось еще драматургу.

Недостатком показалось нам и неумение автора сокращать написанное. Самоотверженно сокращать даже тогда, когда написанное само по себе неплохо. Роман лишен компактности, он растянут. Это тем досаднее, что иные из его персонажей, например, Юлия Антоновна, Соловцов, очень похожи на героев произведений, уже ранее читанных. Да и в самом романе есть персонажи, друг друга дублирующие: например, профессор-хирург и контр-адмирал. По сути

это маски, маски свирепых добряков. Они искусно сделаны, они забавно орут, рывкают, рычат и творят благо, они совсем как живые, но это театральные маски, не более.

Ярок и интересен образ главного героя, образ, при всех уже сделанных оговорках, замечательный. Темпераментно, увлекательно написаны многие страницы, эпизоды.

Только как художественное единство, как цельный художественный образ роман воспринимается с трудом. То этот образ расплывается в боковых ответвлениях сюжета, то дробится в смутном мерцании непроясненных характеров, то бледнеет в подсветке театральных софитов. Но явственно выступающие черты его, те, какие сказались в характере Горбунова, в мужании Туровцева, в обретении им общности с коллективом, в пути его к подвигу, в крахе посягательства на него адептов культа личности, — эти черты высокоценны и благородны.

**В. СУРВИЛЛО.**

★

## ЧИТАЯ КАЙСЫНА КУЛИЕВА...

**Кайсын Кулиев. Раненый камень. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с балкарского. «Советский писатель». М. 1964. 312 стр.**

**И**стина, которая никогда не станет банальной: подлинная поэзия рождается только большим и глубоким чувством. И когда это чувство есть, оно способно поднять на высоту поэтического откровения самые простые слова.

...После ожесточенных боев на реке Молочной и освобождения Мелитополя наша армия устремилась на юго-запад, к Сивашу и Перекопу — освобождать Крым. Гитлеровцы откатывались, давая лишь быстротечные арьергардные бои. Мы, армейские газетчики, еле попевали за стремительным маршем передовых частей. Полуторка, приговоренная к списанию еще в дни сталинградской обороны, дребезжа, катилась по ровным степным дорогам.

Где-то у границ заповедника Аскания-Нова наша машина с размаху въехала на гигантский зеленый ковер, расстеленный среди желтой стерни, — неоглядное озимое поле. И на этом зеленом ковре резко выделялись пятна свежей — черной и красновато-желтой — земли, выброшенной взрывами и засыпавшей нежные всходы.

Вглядываясь в поле, мы пытались прочтывать по его ранам, что здесь произошло.

— Вот, — сказал один из нас, показывая на черную воронку, широко окруженную брызгами-комками чернозема, — вот здесь разорвалась мина, она задела только верхний слой.

— Да! — подтвердил другой. — А вон там, где черное смешано с желтым, там разорвался снаряд. Он вскопал землю глубже... А там, подальше, — видите? — где рыжая грядка виднеется, там кто-то окоп рыл и добрался до глины, а замаскировать бруствер под зеленое поле то ли не догадался, то ли не успел...

И вдруг я услышал рядом тихое и горестное восклицание:

— Такая хорошая земля! А? Такая красивая, такая добрая земля, и вся изуродована! Ну, как это возможно? А?!

Я повернул голову и увидел обращенные ко мне с недоуменным вопросом полные укоризны и боли глаза Кайсына — светлогарие, большие, округлые и зоркие глаза горца, которые в минуты задумчивости или

гнева напоминали орлиные, а теперь были похожи на глаза ужаснувшегося ребенка.

Горечь, вложенная в эти простые и, казалось, даже наивные слова, придавала им неожиданную силу. И я не удивился тому, что человек, с первых дней войны находившийся на фронте, бывший парашютист-десантник, пришедший к нам после боевого ранения из госпиталя,— что этот человек, выдавший кровь и смерть людей, вдруг испытал боль при виде изуродованного поля.

Поэт...

Через двадцать лет я прочитал стихотворение Кайсына Кулиева «Сжимаю в пальцах влажный ком земли...» — о красоте и неистребимой силе родной земли, которую смерч войны «сжигал, пытал огнем и громом» и которая, «покрывшись пеплом и золой, все ж остается прежним черноземом». Быть может, первоначальным толчком к этому стихотворению, завершающемуся ныне столь спокойно-утвердительным обобщением, и послужил тот взрыв удивления и горя, который вызвал в душе поэта вид истерзанной войною зеленой нивы?

Находясь в самой гуще разрушений, страданий и смертей, он не мог с ними свыкнуться — да кто из нас мог с ними свыкнуться! Но у многих острота восприятия горя притупилась: оно стало повседневностью. Некоторые скрывали свою боль из ложной боязни прослыть сентиментальными. А он все воспринимал остро и непосредственно, и взволнованные чувства вырывались горячим словом, негодованием, протестом, призывом. И в горестном восклицании об изуродованном поле я услышал всю боль, накипевшую в сердце поэта, где кровавыми ранами запечатлелись страдания народа и родной земли.

Под изумрудным полем Таврии чудились заснеженные сталинградские степи, где наша армия отражала контратаки котельнической группы Манштейна. Тогда Кулиев написал суровое и мужественное стихотворение, напечатанное в нашей армейской газете «Сын отечества», «Пусть наши слезы заменит свинец...» — о полусожженных телах, вызывающих к мести:

Мы бы проклятье послали врагу,  
Но проклят убийца самою судьбой.  
В горе скривили б углы наших губ,  
Но слезы мешают идущему в бой.

Головы скорбно склонили б на грудь,  
Но горе сурово велит: гляди!

Но месть говорит: свидетелем будь  
И выполнить волю мою иди!

Да, в тихом, горестном восклицании поэта слышалась не только скорбь об изуродованном поле. Я еще не знал тогда, что в полевой сумке поэта лежали стихи, появившиеся в переводе через много лет:

В глаза мои смотри...  
Увидишь в них  
Тоску друзей, погибших в день осенний.  
В глаза мои смотри.  
В них горе нив,  
Впитавших кровь пожаров и сражений.  
Смотри в мои глаза,  
Увидишь в них,  
Как солнце, отраженное в росинке,  
Испытанное мужество живых.  
Смерть побеждавших в страшном

поединке.

(Перевел Д. Голубков)

Он ни о чем не забыл и отвергал искусительное «закрой глаза!», чтоб отдохнуть, чтоб позабыть об этом.

Но так нельзя. Прости, читатель мой!  
Не видящий не может быть поэтом.

(Перевел Н. Коржавин)

Что знали мы о Кайсыне Кулиеве, когда, сведенный военной случайностью со своим земляком Алимом Кешоковым, он вместе с последним оказался моим подшефным на «армейском Парнасе»? Да почти ничего, кроме того, что до войны он учился в ГИТИСе и Литературном институте, что пошел в армию добровольцем еще в 1940 году, что в составе парашютно-десантной части дрался с гитлеровцами с первых дней войны, что был ранен. Алим сказал мне, что это талантливый молодой балкарский поэт. Но стихов его читать мне не доводилось, так как в переводе их тогда появилось еще мало (позже я узнал, что они были тепло встречены Тихоновым и Пастернаком).

Сам он любил читать мне не переводы своих стихов, а стихи Лермонтова и Блока и, помню, одно время буквально бредил блоковским «На поле Куликовом». И казалось, что еще больше, чем известными, приобретшими эпиграфическое звучание строками «И вечный бой! Покой нам только снится сквозь кровь и пыль...» (не откликнулись ли они позднее и в стихотворении Кайсына «Покоя нет?»), он упивался словами: «Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль...»

Но с первых же дней знакомства с Кайсыном нельзя было не ощутить в нем поэта — поэта по самой своей человеческой сути.

Приходилось ли вам чувствовать в чловеке поэта, если музыка его стихов прозвучала для вас лишь на его родном языке, совершенно вам не знакомом?

Весь в порыве, с неожиданными вспышками горячего темперамента, с крутыми поворотами настроения, он читал свои лирические стихи, как тихую молитву, почти шепотом, закрыв глаза, чуть покачиваясь, как бы прислушиваясь к собственным словам и подчеркивая смысловые ударения движением головы. Я думал тогда, что такая манера читать стихи присуща лишь ему одному. Но когда через много лет мне довелось услышать и увидеть, как читает на турецком языке свои стихи Назым Хикмет, я понял, что это восточная манера чтения лирики, идущая то ли от импровизации народных певцов, то ли и впрямь от молитвы. Осталась истовость произносимого слова, но обращенная уже не к аллаху, а к человеческому сердцу. Осталась истовость выражения чувств и обращения к чувству, истовость выражения любви, радости и печали, мольбы и заклинаний — тех поэтических заклинаний, которые настойчиво повторяются в каждой последующей строфе стихотворения или звучат в подтексте, как молчаливая клятва горца на кинжале.

Нет, кажется, другого советского поэта, у которого национальная сущность образной системы была бы выражена более резко, чем у Кайсына Кулиева. Вместе с тем он многообразен в своих приемах. «Я убежден,— говорит он в одной из своих автобиографий,— что настоящий поэт способен поднимать разные тяжести... Я... за разнообразие приемов и красок». Его лирико-философские обобщения выражены и в форме традиционной краткой сентенции — рубаи, и в изящной, как акварельный этюд, зарисовке, и в резких мазках романтических гипербол. В его повествовательных произведениях наряду с отзвуками возвышенных народных «песен о героях» вы найдете эпически простые образы и описания, которые восславляют человека в труде. Его образная система чрезвычайно емка и широка по пронизывающим ее идеям, смыслам в себе мудрость древнего народа с мыслями и чувствами современного передового человека, с идеями социалистического

гуманизма. Весь — глазами, слухом, воспоминаниями — он в ущельях родной Балкарии, среди суровых и добрых гор, среди камней, то покрытых мирной травой, то опаленных огнем войны, среди скал, каждая из которых знакома с колыбели и неповторима по своим очертаниям, среди мужественных и добрых людей с натруженными руками — пастухов и землепашцев, каменщиков и столяров, кузнецов и мельников, табунщиков и аробщиков. И в то же время он — на вершине горного хребта, откуда взору открыт широкий мир, неразрывно связанный с родным краем и судьбою его обитателей.

Это ясно сейчас каждому, кто читал стихи поэта, известность которого — именно благодаря сказанному — уже давно шагнула за пределы Кабардино-Балкарии и подтверждена ныне выдвижением его на соискание Ленинской премии. Но в годы нашего знакомства я мог судить о кругозоре поэта не столько по его стихам, сколько по его словам и поступкам — вот так, как в рассказанном мною случае в Таврии я судил о его переживаниях. Однажды после взрыва ярости при виде убитых детей и стариков он, поостыв, сказал:

— Вот я, сын маленького кавказского народа. Нас называли дикими горцами. А действительно дикими оказались немцы — великий народ. Как они могли пойти за фашистами, как они могут так зверствовать? Я ничего не понимаю. Скажите умное слово, объясните, пожалуйста. Ну как могло такое произойти?

Но гнев не ослеплял его. «Сын диких гор» дрался против фашистов, сознавая себя защитником не только родного края и родной страны, но и всего человечества, всей подлинной цивилизации. Он защищал не только песни своего предшественника — народного поэта Кязима Мечиева, не только Пушкина, Лермонтова и Шевченко, но и носимые им в сердце и вешевом мешке стихи Федерико Гарсиа Лорки и Шандора Петефи. Он дрался против фашистов и за культурные ценности немецкого народа, ибо они принадлежали и ему.

Когда на фронтовом совещании писателей и корреспондентов один из докладчиков пытался отделить нашу борьбу за освобождение советской Родины от борьбы за спасение человеческой культуры и заявил, что на сегодняшний день главное — гнать фашистов, «а судьба Бетховена и Гейне нас не



волнует», из аудитории раздалась горячая реплика:

— Неправда! Волнует! Наша судьба — их судьба!

Эта нарушившая воинскую дисциплину и субординацию реплика вырвалась у Кайсына Кулиева.

«Волнует!»... Это не было пустым словом. И свидетельство тому — стихотворение «Бетховен», где величие композитора и его музыки осознано через родные поэту образы. Это — легендарный титан-нарт, который смешал горы и «друг на друга скалы громоздил и сам бродил меж ними, одинокий».

Он так писал, как будто по ночам  
Ловил руками молнии и тучи  
И тюрьмы мира в пепел превращал  
В единый миг усилием могучим.

(Перевел Н. Коржавин)

В последнюю книгу Кайсына Кулиева «Раненый камень» вошла переведенная Михаилом Дудиным поэма «Перевал». Она — о преемственности подвига. Молодой врач, сын бойца, погибшего под Ленинградом, во имя спасения человеческой жизни идет через обледенелый и вьюжный перевал, «как ходят в штыковую», и, выполнив свой долг, на обратном пути погибает под снежной лавиной. «Чтоб тяжесть равнодушья не давила», он «сам на плечи тяжесть смерти взял».

Равнодушие хуже смерти. Неспособность «чужой бедою жить» противопоказана человечности и мужеству, которые должны, по словам поэта, стоять в поэзии на первом месте.

Тобой, жизнь, балован я и пытаю,  
И впредь со мною делай что угодно,  
Корми как хочешь, но не делай сытым,  
Глухим, не понимающим голодных.

(Перевел Н. Гребнев)

Равнодушие не только противочеловечно, но лишает подлинной жизни и самого несущего «тяжесть равнодушья». Без взволнованного жизнью чувства нет и поэзии. И начало ее — удивление, потрясающее не только в час великих бедствий или радостных свершений.

Рождаются великие творенья  
Не потому ли, что порою где-то  
Обычным удивляются явлениям  
Ученые, художники, поэты.

(Перевел Н. Гребнев)

Взволнованное чувство превращает обычное в необычное поэтическим сопоставле-

нием и обобщением. И жизнь в стихах Кулиева встает перед нами в единстве света и тени, в ее вечной диалектике и движении. Он смотрит, как

Два камешка трудятся упорно,  
В руках спорится дело и горит.  
Один из них сооружает жернов,  
Другой надгробный памятник творит.

(Перевел Н. Гребнев)

И эти два камня «с одного утеса» вновь напоминают ему о том, что «в труде каменистеса, как и везде, со смертью жизнь сплелась». К этому же единству в контрасте он возвращается вновь и вновь, когда говорит о сплетении печали и радости, о том, что «справляют на одном дворе поминки, играют свадьбу на другом дворе»...

Зеленая и желтая трава,  
Мед и полынь, затишие и грозы.  
Исчез бы смех, когда б исчезли слезы.  
Жизнь по своей природе такова.

(Перевел Я. Козловский)

Это не медитации пессимиста, а поэтические размышления человека, влюбленного в жизнь, приемлющего ее во всей сложности и многообразии, в ее возрождающей силе и непримиримого к тем, кто хочет (и воображает, что это возможно) разделить ее по принципу: вам слезы — а нам радость, вам смерть — а нам жизнь.

Нет подлинной жизни без любви к самой жизни — к цветку, выросшему на камне, и к снежной горной вершине, освещенной восходящим солнцем, к женской красоте и к мудрости старца, к умелым рукам косаря и мужеству воина, без любви к родной земле и тем, кто трудится на ней.

И надо воздать должное поэту. Испытания, выпавшие на его долю, не только не ослабили его любовь к жизни и человеку, но закалили ее. А испытания эти не ограничились пламенем войны.

...После освобождения Крыма нас перебрасывали на другой фронт. Перед тем, как погрузиться в эшелон, я пошел проститься с Кайсыном. Он не ехал с нами. Он лежал в госпитале в Симферополе, раненный и физически и душевно. В те дни пришла весть о том, что его народ выслан из родной Балкарии. Черная волна шельмования и произвола обрушилась на целый народ. Что, кроме горького недоумения и горькой обиды, могла вызвать эта весть в сердце балкарца-коммуниста, пролившего

кровь в боях за советскую родину и поставившего на службу ей свое поэтическое слово?!

Госпиталь находился на взгорье за Салгиром, и, подойдя к зданию, я увидел Кайсына в свете заходящего солнца. Он сидел подле росшего у стены госпиталя куста, положив рядом костыли, и недвижно глядел вдаль. Орел с перебитым крылом...

Кулиев заговорил, но не о себе, а о своем народе.

— Вы не представляете себе, что должен переживать горец, когда его отрывают от могил его предков...

(Через несколько лет я вспомнил об этих словах, когда в глубине Баксанского ущелья увидел обвалившиеся дома и ограды опустевшего и почти сравнявшегося уже с землей балкарского аула и сиротливые столбики надгробных камней.)

Хотя никто об этом еще не объявлял, но мы знали, что и его самого ждала невеселая участь: досрочная демобилизация и предписание ехать в ссылку.

И когда в июле 1944 года мне удалось на несколько дней попасть в Москву, я пошел в гостиницу «Москва» к Н. С. Тихонову и рассказал об угрозе, нависшей над Кайсыном Кулиевым. Благодаря усилиям ряда видных наших писателей ему было разрешено поселиться, где он захочет, за исключением столичных городов и крупных центров, входивших в пресловутый запретный «минус». Но поэт сказал: «Я должен быть там, где находится мой народ».

Последовали тяжкие годы, когда написанное на родном языке оставалось немым и слово не могло дойти до глаза и слуха людей. Но эти годы не сломили поэта, вооружившегося тем, что в одном из стихотворений он назвал «мужеством терпения». Не сломили в нем любви к жизни, веры в

человека и торжество справедливости в великой стране, борющейся за высшее проявление человечности, за коммунизм.

Когда бы горцам, молодым и старым,  
Уменья верить не было дано,  
Нас ветром, как труху гнилой чинары,  
С чужой землей смешало бы давно.

Когда лишились хлеба мы и песни,  
Когда мы скалы на плечах несли,  
Нас тяжесть горя придавила б, если  
Нам солнце не мерещилось вдали.

Мы все, кто грешен был или безгрешен,  
Перед бедой не распростерлись ниц,  
И справедливость, как листья орешин,  
В мечтах и снах касалась наших лиц.

(Перевел Н. Гребнев)

Эту справедливость восстановил XX съезд партии, вернувший Советской стране, ее истории и созидательному труду тех, кто стал жертвой произвола: отдельных борцов и целые народы, творения погибших и творчество живых.

Пусть с опозданием на десять лет, но после 1956 года широкие круги советских читателей узнали о существовании большого, нежного и мужественного поэта Кайсына Кулиева. И мы должны быть благодарны всем русским поэтам — Н. Тихонову и покойному Д. Кедрину, С. Липкину и М. Дудину, Н. Гребневу и Я. Козловскому, М. Петровых и В. Звягинцевой, Н. Коржавину, Д. Голубкову и Е. Елисееву, переводы которых сыграли в этом знакомстве читателей с Кулиевым огромную роль.

Если верно, что настоящий человек неотделим от своего дела, то подлинный поэт неотделим от своих стихов. И да простит мне читатель, что, сев писать рецензию на книгу, я написал очерк о человеке, призвание которого — поэт.

**В. ГОФФЕНШЕФЕР.**

★

## ИДЕЙНАЯ ДРАМА САТИРИКА

**А. Турков. Салтыков-Щедрин. «Молодая гвардия». М. 1964. 368 стр.**

Сдержанная по манере изложения, строго документальная по методу изображения, биография Салтыкова-Щедрина, написанная А. Турковым, кончается открыто лирическим обращением к читателю — оно идет как бы от лица самого Салтыкова: «Мое оружие тебе еще пригодится, читатель! Не нужно мне от тебя ни пышных

памятников, ни юбилеев — я и при жизни их не жаловал. Все равно мне, где мои портреты — на чердаке или в парадном зале, если книги мои пылятся и роятся в них только новые пенкосниматели. Кто-то сказал: пусть нас меньше почитают, но больше читают! Только об этом я и прошу».

Книга А. Туркова, несомненно, возбудит

у думающего читателя свежий интерес к творчеству Салтыкова-Щедрина (да и ко всей драматической истории русской литературы и русской общественной мысли XIX века), она поможет нам по-новому, с пользой для себя перечитать тома его сочинений. И, конечно, не только потому, что в финале этой биографии звучит такой горячий, настойчивый призыв: «Читайте! Ну, читайте же!» — а потому, что каждой своей страницей, каждым документом, в ней приведенным, каждым сопоставленным произведением Щедрина с фактами общественной жизни эта книга раскрывает нам непреходящее значение бесстрашной мысли сатирика и образов, в которых она отлилась.

А. Туркова привлекла задача рассказать не о бытовой обстановке и личных обстоятельствах жизни писателя, а передать идейную драму художника, мыслителя и общественного деятеля на фоне эпохи. Детство, юность, отношения с родителями и женой лишь слегка просвечивают сквозь основное повествование, которое заключено во временные рамки 1848—1889 годов.

1848 год — это год, когда двадцатидвухлетний чиновник петербургского военного ведомства Салтыков был арестован за публикацию в «Отечественных записках» повести «Запутанное дело» и сослан в Вятку — прозаический дебют российского литератора! 1889 год — год смерти больного старого писателя, уже в течение пяти лет после закрытия «Отечественных записок» лишенного трибуны, соратников, необходимой ему как воздух атмосферы журнальной борьбы: враги добились установления «односторонней полемики». 1848 год — это вершина николаевской реакции, которой испуганный царь отвечал на революцию в Европе. 1889 год — это затянувшиеся сумерки «безвременья», наступившие после убийства Александра II.

Грустные вехи! Грустные, если они не остаются отвлеченно-привычными историческими «датами», если нам дают почувствовать, что это реально значит для человека, писателя, деятеля, когда молодость его начинается с гонений и ссылки, а старость кончается гонениями и «арестом» его любимого духовного детища.

«...Встречаются поколения, — цитирует А. Турков размышления сатирика еще в пору реакции шестидесятых годов, — ксто-

рые нарождаются при начале битвы, а сходят со сцены, когда битва подходит к концу. Даже передышкой не пользуются. Какой горькой иронией должен звучать для этих поколений вопрос об исторических утешениях!» Вокруг Щедрина, добавляет его биограф, сплошь такие поколения, и он сам принадлежит к одному из них.

Книга А. Туркова, безусловно, дает возможность ошутить истинный смысл исторических дат и событий в отношении к нравственному облику людей, их степени общественной активности, содержания их духовной жизни.

Сорокалетний промежуток между 1848 и 1889 годами для Салтыкова-Щедрина был заполнен каждодневной упорной борьбой художника и редактора журнала с произволом, бесчеловечностью, тупостью самодержавия, с политическим невежеством русского обывателя. В конце книги А. Туркова дана хроника жизни и творчества писателя. Когда, прочитав книгу, проглядываешь эти вехи его биографии, еще раз невольно замечаешь утомительное постоянство одного и того же мотива: сентябрь 1849 года — «допрос Салтыкова по делу о петрашевцах»; ноябрь 1857 года — драматическая цензура запрещает исполнение «Смерти Пазухина»; апрель 1866 года — «донос жандармского подполковника Глобы на Салтыкова»; август 1871 года — «по требованию цензуры из «Отечественных записок» вырезана пятая глава из цикла Салтыкова «Итоги»; июль 1874 года — «Совет министров запрещает майскую книжку «Отечественных записок» (уничтожена 30 сентября); апрель 1875 года — «цензура запрещает четвертую главу «Экскурсий в область умеренности и аккуратности»; февраль 1880 года — «под угрозой ареста книжки журнала исключается рассказ Салтыкова «Вечерок» и т. д. и т. п.

Так сорок лет подряд из года в год. Противники обвиняли музу Салтыкова-Щедрина в «однообразии», но сами однообразием своей бездарной, тупой политики поставляли сатирику бесконечный поток поводов для гневного негодования и саркастического смеха, заставляя его все более и более изощренно искать способов выражения своей мысли, всякий раз заново отвеивать каждую строку у цензуры, сложнейшими аллегориями и ядовитыми ассоциациями намекать догадливому читателю на истинный смысл событий и явлений, не замеченных

или искаженных «рептильной» прессой. А. Турков показывает, как в этой утомительной борьбе оттачивались идеи писателя, создавался своеобразный стиль его сатиры, рождалась устойчивая система фантастически-гротескных обобщеннейших образов, которым суждено было бессмертие, может быть, и в силу этой вынужденной предельной обобщенности.

Но иногда — и это тоже живо ощущаешь, читая книгу А. Туркова, — прорывалась горечь усталого человека, обреченного на постоянное нечеловеческое напряжение в поисках малейшей лазейки для малейшего подобия свободного суждения. «...Ты пишешь и хочешь выразить самую простую и отнюдь не зажигательную мысль, — признается сатирик. — ...Ну, так смотри же, сколько ты обходов должен был сделать, чтобы пустить в ход эту совершенно простую мысль... Во-первых, ты должен был затеять статью в печатный лист, тогда как все дело ясно из пяти-шести строк; во-вторых, ты должен был выдумать, что у тебя есть какой-то приятель Глумов, который периодически с тобой беседует, и пр.». Какое, должно быть, грустное удовлетворение испытывал он от подобной маленькой откровенности с читателем, которую он все-таки мог иногда себе позволить!

Были ли праздники в этой жизни подвижника? Был общий недолгий праздник после смерти Николая I, в канун реформы 1861 года. Вся Россия тогда надеялась. В ноябре 1855 года Александр II разрешил ссыльному Салтыкову «проживать, где ему будет угодно». Писатель едет в Москву, женится по любви, «Губернские очерки» находят поддержку у Чернышевского в «Современнике». «О счастливый июнь 1856 года!» — восклицает биограф, зная, как недолго продлится этот праздник надежд.

К последующим годам относится расцвет административной карьеры Салтыкова в качестве сначала рязанского, а потом тверского вице-губернатора. Человек больших организаторских дарований и колоссальной работоспособности, Салтыков на собственном опыте убедился, какую двусмысленную роль играет самый честный человек на царской службе и как разбиваются все его стремления к частным «улучшениям» о стену нерушимых «устоев». «Ты исполнитель, — скажет он впоследствии устами одного из героев «Теней», — и ничего больше; твои способности, твое уменье,

конечно, драгоценны, но они драгоценны в том смысле, что человек умный и способный всякую штуку сумеет обделать ловчее, нежели человек глупый и неумелый». А. Туркову прекрасно удалось показать значение этого периода практической деятельности царского чиновника (которую не могла простить ему революционная молодежь) для последующего творчества писателя. Не в том дело, что, сам чиновник, Салтыков видел и изобразил пороки чиновников, а в том, что, пытаясь прошибить лбом стену, он убедился в глубине болезни всего строя, и его практический опыт был лучшим лекарством от всех прекраснодушных иллюзий.

Праздник надежд на быстрые, решительные перемены окончился уже в 1862 году — усмирены крестьянские бунты, арестован Чернышевский, в течение восьми месяцев молчит «Современник». Подавлено польское восстание 1863 года. К 1866 году (выстрел Каракозова) волна реакции снова достигла своего апогея. Два года молчит Щедрин. «Авангард» шестидесятых годов погиб, но, пишет А. Турков, «большая война не проиграна». Возврат к прежнему верноподданническому сознанию уже невозможен. И, собрав силы, Салтыков-Щедрин направляет их на то, чтобы «не уступить поля боя напиранию реакционной своре», неустанно разясняя истинный смысл, то есть «бессодержательность и лицемерие многих «краеугольных камней» господствующей морали».

Где брал этот человек силы для каждодневной в течение целых сорока лет партизанской войны с врагом, за плечами которого стояли армия, полиция, суды, услужливая пресса, традиционная верноподданническая мораль и идеология? В продолжение всей жизни его обвиняли в отсутствии «положительных идеалов» — обвиняла и реакционная пресса и либеральная, и литературные жандармы и прогрессивная молодежь. Ведь его сатира не шадила не только «помпадуров» и «господ ташкентцев», но и всех «пошехонцев» и «глуповцев», а когда ты разоблачаешь самодура или карьериста, то это не вызывает с его стороны такого острокровенного негодования, как тогда, когда ты осмеливаешься критиковать и призывать проснуться, научиться понимать свои интересы его величество народ, которому господа ташкентцы всегда готовы бессовестно кадить, чтобы легче было его обирать. И они правы, эти господа, в своем не-

годовании, здравомыслие «пошехонцев» для них всегда опасней. Как же тут не возмутиться отсутствием «идеалов» и «верований»!

Но мыслима ли титаническая борьба за подъем общественного сознания, которой посвящено все творчество Щедрина, без высочайшего идеала и глубочайшей убежденности в истине? Во имя чего же весь этот труд, сражения с цензурой, страх за любимый журнал? Ведь награда за это ждать не приходится.

Широкий демократический и гуманистический идеал Щедрина не был и не мог быть сформулирован в точную программу. Удивительная политическая прозорливость и ясность мысли и в шестидесятые и в семидесятые годы убеждала его в том, как далека еще выходя из тупика самодержавия, как мало надежд на крестьянскую революцию, как бесцелен индивидуальный террор народовольцев, как легко он провоцирует новую и новую волну правительственной реакции, как опасен авантюризм «казарменного коммунизма» Нечаева, с каким напором рвется к благам жизни новорожденный российский буржуа, как темен и невежествен народ, как смешна теория «малых дел»... Или все это было не так? Или могла быть в это время в России действенная прогрессивная программа?..

Для Салтыкова-Щедрина народ никогда не представлял пассивный объект для сторонних благодеяний или социальных экспериментов, писатель считал, что, лишь став силой, свободно определяющей характер своего жизненного уклада, он может надеяться на коренное изменение своего положения. «А может быть, массы и без ваших забот, сами похлопочут о дальнейшем воспитании себя? А может быть, это дальнейшее воспитание укажет на формы жизни, совершенно отличные от тех, которые составляют предмет ваших мечтаний и надежд?» — обращался писатель к доктринарам, игнорирующим при составлении своих спасительных рецептов мнение самих спасаемых.

Пафосом творчества и деятельности самого Салтыкова-Щедрина, пишет А. Турков, «всегда было свободное исследование окружающего. Он остается ему верен и как редактор». Вот почему в письме к Н. Михайловскому Салтыков называет Глеба Успенского «самым для нас необходимым писателем», вот почему редактор «Отечественных

записок» предлагает А. Н. Энгельгардту написать очерки о деревне, чтобы противопоставить реальное исследование народной жизни тому «висячему в воздухе представлению об этой жизни», которое господствует в обществе. «Характеристическою чертою настоящего времени, — писал сатирик в 1876 году, — является не столько знание интересов и нужд государства и бескорыстное служение им, сколько самоуверенная и хлесткая болтовня, сопровождаемая знанием, где раки зимуют, и надеждою на повышение».

«...Сам Салтыков, — рассказывает его биограф о восьмидесятых годах, — был не чужд горестного сознания, что он не может решительно указать ясный путь к общественному переустройству, что части революционной молодежи он, со своим идеалом свободного исследования, кажется либералом, «лишь говорящим о свободе и других высоких предметах, но неспособным пожертвовать собою за свои убеждения».

Как ни горько было такое сознание, но ведь Салтыков еще в пору реакции 1862 года предвидел неизбежность этой драмы исторической прозорливости, обрекающей человека его уровня политического мышления на периоды идейного и общественного одиночества: «Если поколение, к которому обращаются эти строки, хочет сделаться достойным своего призвания, пускай оно не пугается исключительности, пускай оно и в мыслях, и в выражениях, и в действиях соблюдает ту опрятность и даже безразличность, которая одна может обеспечить действительный успех в будущем». И какой бы порою ни казалась ограниченной эта единственно возможная реальная цель — пробуждение духа «свободного исследования» и подъем общественного сознания, переложить ее, эту работу, эту историческую миссию, не на кого. А разве мыслимы были бы без нее даже отдаленные «успехи будущего?»

Красноречив и убедителен в книге А. Туркова язык документов и фактов, при помощи которых главным образом и создает автор идейную биографию Салтыкова-Щедрина. Правда, не все главы книги одинаково интересны, и менее интересны как раз те, которые посвящены наиболее известным произведениям писателя, например, роману «Господа Головлевы». И вообще, хотя биография Салтыкова-Щедрина написана рукою критика, анализ художественных образов сатирика в ней менее уда-

чен, чем рассказ об эпохе и борьбе идей. И когда читатель попадает в «зону», лежащую как бы в стороне от главного нерва книги А. Туркова, тогда он начинает сожалеть, что в этой биографии все-таки мало бытовых сцен, диалогов, живых портретов, проникновения в психологию «героя», тем более, что, когда изредка встречаются такие сцены, диалоги, портреты, они выразительны, они запоминаются, например, сцена в редакции «Отечественных записок» или последние страницы биографии, о которых уже была речь.

И очень удачны, очень нужны этой строгой книге лирические монологи и реплики, воссоздающие внутреннее течение мыслей писателя, как, например, страница, на которой рассказано о минутах, пережитых Салтыковым после жандармского допроса по делу Петрашевского: «Ах, Михаил Васильевич, Михаил Васильевич! Таких ли ты слов заслуживал, друг ты мой, хоть и верно, давно разошлись мы!.. Тут бы руку протянуть бывшему приятелю — на долгую, может быть, вечную разлуку! Спасибо, друг. Твой

кружок походил на легкие, которыми только и дышала сдавленная со всех сторон русская мысль. И все прежние разногласия кажутся сейчас так ничтожны перед лицом торжествующего победоносного зла. Не крадывается ли в душу Салтыкова горькое предчувствие, что еще не раз в будущем столкнется он с этой трагедией разъединенности сил, встающих против общего врага? Сначала — разногласия, яростная полемика или холодная отчужденность, а потом — грохот колымаг земли по крышке гроба или скрип дверей тюремного каземата, и горечь запоздалого сознания: ушел соратник, не ставший другом или даже унесший рубцы от твоих ударов...»

Однако ощущение недостаточности подобного эмоционально-художественного элемента в биографии Салтыкова-Щедрина, написанной А. Турковым, возникает только в некоторых ее местах, в большинстве же глав она восполнена пафосом мысли и неопровержимой убедительностью исторического документа.

Е. СТАРИКОВА.

★

## К ВЫХОДУ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ЛУНАЧАРСКОГО

А. В. Луначарский. *Собрание сочинений. В восьми томах. «Художественная литература». М., т. 1, 616 стр. 1963; т. 2, 702 стр. 1964; т. 3, 627 стр. 1964.*

Вышли три тома первого собрания сочинений А. В. Луначарского. В кратком предисловии к первому тому Институт мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР сообщает, что издание охватит труды Луначарского по эстетике, истории и теории литературы, а также его литературно-критические произведения. Однако, как сообщают издатели, «рассчитанное на широкие круги читателей», издание «включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского». Всего предполагается издать восемь томов его сочинений. Первый из уже вышедших томов объединяет работы Луначарского, посвященные русской литературе конца XVIII — начала XX века, во второй том вошли выступления, посвященные советской литературе. В третий — статьи о театре и драматургии. Изданию предослано обширное редакционное предисловие.

Общая оценка и конкретный анализ принимаемого издания станут возможны,

естественно, лишь после его завершения. Специального разговора потребует тогда и такое ответственное дело, как комментирование сочинений Луначарского в новом издании его произведений. Ведь в сумме своей эти комментарии уже сами по себе составят едва ли не целую книгу, которая представит и тот исторический «фон», на котором развевалось творчество Луначарского, и ту конкретную внутрилитературную обстановку, которая зачастую определяла поводы появления тех или иных его выступлений. Однако еще до выхода в свет последнего тома можно сказать, что сам по себе факт такого издания заслуживает, вне всякого сомнения, решительной поддержки и всяческого сочувствия — это весьма заметное явление в нашей культурной и общественной жизни.

Луначарский жил в эпоху, когда вытеснялось и уходило в прошлое искусство старого русского общества и когда только еще нарождалось искусство нового мира. Луначарский-критик как бы связал эти два

художественных мира, два этих культурных пласта. Линия эстетической преемственности и линия разрыва с нормами традиционной эстетики прошла через «критическое сердце» Луначарского. В памяти этого сердца сохранилось все самое светлое и самое звучное, что подарили людям величайшие художники человечества. Но в этом сердце всегда жила беспокойная, тревожная мечта о неведомом еще в своей красоте грядущем искусстве. С именем Луначарского связан важнейший этап в становлении марксистской эстетики и художественной критики.

Известно, что выступившие непосредственно вслед за Марксом и Энгельсом — родоначальниками марксистской эстетики — Меринг, Лафарг, Плеханов, Лабриола отнюдь не считали свои работы по вопросам искусства главным делом своей жизни. И по стилю, и по жанру, и по манере критические выступления этих видных деятелей пролетарского движения в принципе не отличались от их публицистики вообще. То же самое следует, конечно, сказать и о Цеткин, Люксембург, Крупской и других. В гворчестве Луначарского марксизм в первые так широко и цельно характеризовал самые разнообразные эстетические явления. Этот акт знаменательно совпал с процессом утверждения марксизма в качестве идеологии господствующего класса, класса-гегемона, в качестве господствующей идеологии, когда после насильственного свержения в нашей стране старого общества на первый план все более стала выступать задача убеждения широчайших народных масс в истинности конкретных путей построения нового общества.

Не случайно, что, когда культ личности стремился свести на нет сферу убеждения, Луначарский оказался неуместен.

«Возвращение» Луначарского широкому советскому читателю, происшедшее не столь уж давно, имело известное своеобразие. Кригическое дарование Луначарского, авторитетность его суждений о конкретных явлениях искусства не вызывали при этом никаких сомнений. Разногласия возникли вокруг оценки его роли как руководителя советского искусства. Подобное разединение творческой деятельности Луначарского имело свои причины и было характерно.

Почти сразу же после возвращения широкого интереса к наследию Луначарского

пала и больше не отстаивалась в открытую даже ее недавними сторонниками точка зрения, согласно которой принципом, которым руководствовался Луначарский как народный комиссар, ведавший просвещением и искусством, был принцип «величайшей нейтральности», по существу лишь несколько видоизменявший известную формулу Каутского относительно полного невмешательства партии пролетариата в условиях победившей социалистической революции в дела идеологии и «полной анархии» в области искусства. На основе подобной трактовки деятельности Луначарского его решительно осуждали, его взгляды на партийное руководство искусством объявляли порочными.

Вскоре была высказана прямо противоположная точка зрения, согласно которой именно то, что раньше объявлялось «смертным грехом» Луначарского-наркома, теперь выдвигалось в качестве его величайшей доблести. Луначарский представлял «добрым меценатом» советского искусства, с некоей «отеческой» незлобивостью лишь взиравшим на острую борьбу, развертывавшуюся в искусстве и вокруг искусства в первые же десятилетия существования нового общества в нашей стране. Последняя точка зрения была, как известно, печатно у нас осуждена.

В дальнейшем, однако, в работах разных авторов, в зависимости от конкретных задач, преследуемых ими, Луначарский выступал то как сторонник самой решительной линии в руководстве искусством (вплоть до отстаивания административного вмешательства в сферу художественного творчества), то как чрезвычайно мягкий и покладистый человек, склонный прежде всего ко всякого рода компромиссам и «улаживанию» разного рода конфликтов. И в том и в другом случаях авторы исходили из добрых побуждений, стремясь оградить Луначарского от возможных нареканий и утвердить опыт первого нашего наркома просвещения в качестве образца для подражания.

Проигрывал при этом неизменно Луначарский. Разные авторы в подтверждение своей версии приводили соответствующие цитаты, и создавалось впечатление, что Луначарский был человеком по крайней мере весьма непоследовательным в вопросах наиболее принципиальных. Между тем такого рода непоследовательности у Луначарского — наркома просвещения не было.

Статьи, включенные в том нового издания сочинений Луначарского, посвященный советской литературе, свидетельствуют об этом с несомненностью. Дело же заключалось здесь в том, что его руководство искусством было профессионально. Он потому и считал возможным для себя быть проводником партийной линии в вопросах искусства, что находил в себе силы и способность убеждать своей профессионально-критической деятельностью людей в правоте этой линии. Так, кстати сказать, в творчестве Луначарского в советский период его деятельности были развиты традиции Белинского и Чернышевского — признанных «властителей дум» передовой части старого русского общества.

«Свобода печати в буржуазном смысле, — писал Луначарский, — вещь ложная и фальшивая». Советское государство, говорил Луначарский на сессии Института философии Комакадемии в 1933 году, не может заявить: «Я — солнце, которое смотрит, улыбаясь, и на добрых и на злых; я — дождь, который проливает на худых и на хороших свои капли». Но, писал Луначарский еще в 1918 году, «что касается вопросов формы — вкус народного комиссара и всех представителей власти не должен идти в расчет... Было бы бедой, — подчеркивает он, — если бы художники-новаторы окончательно вообразили бы себя государственной художественной школой, деятелями официального, хотя бы и революционного, но сверху диктуемого искусства». Кстати сказать, в письме А. А. Луначарской в редакцию журнала «Коммунист» от 26 апреля 1959 года сообщалось, что статья, из которой здесь процитированы эти строки, была написана Луначарским в результате разговора с ним В. И. Ленина.

В статье «Свобода книги и революция» (1921) Луначарский писал с вполне понятной по обстоятельствам тех времен резкостью: «Слово есть оружие и совершенно так же, как революционная власть не может допустить существования револьверов и пулеметов у всякого встречного и поперечного, ибо этот самый встречный и поперечный часто есть злейший враг; так же государство не может допустить свободы печатной пропаганды». Но, замечает тут же Луначарский, «тот, кто сделает из этого вывод, что самая критика должна превратиться в своего рода донос или в пригонку художественных произведений на примитивно ре-

волюционные колодки, тот покажет только, что под коммунистом у него, если его немного потерять, в сущности, сидит Держиморда и что, сколько-нибудь подойдя к власти, он ничего другого из нее не взял, как удовольствие куражиться, самодурствовать и в особенности тащить и не пущать». В статье «Моим оппонентам», включенной во второй том нового издания, в которой, как о том сообщается в редакционных примечаниях, «речь идет о статье Я. Шапирштейна (Я. Е. Эльсберга) «К судьбе театрального Октября», высмеивая предложение своего оппонента «поставить под особый надзор Южина, когда он играет Островского, или Шаляпина, когда он поет «Хованщину», Луначарский пишет: «Тот же товарищ делает указание на мою будто бы непоследовательность, «административными мерами в искусстве, как и в науке, Октябрьскую революцию не сделаешь», говорю я. Этим я хочу сказать, — замечает Луначарский, — что и наука и искусство развиваются творческими актами, а не полицейскими мерами».

Луначарский отлично понимал, что искусство не может возникнуть по принуждению. Искусство добровольно по самой своей природе, нельзя принудить к вдохновению. А это значит, что в делах искусства руководство лишь принудительное, а не убеждающее есть прежде всего руководство фиктивное. И, поскольку такому руководству, в отличие от руководства убеждением, просто-напросто нечего делать с талантом, оно с неизбежностью должно доказать, что не талант — главное в искусстве, то есть не искусство главное в искусстве. Некоторое время тому назад в нашей прессе можно было встретить выраженные в достаточно ясной форме пренебрежительные высказывания о роли таланта в художественном творчестве. Думается, что подобные заявления вполне ошибочны. (Как известно, В. И. Ленин писал в свое время в редакцию «Правды»: «Талант — редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать»<sup>1</sup>.) Нельзя талант в искусстве противопоставлять принципу партийного руководства искусством. Это для Луначарского было всегда совершенно несомненно.

Весь облик Луначарского — партийного руководителя искусством ленинского типа,

<sup>1</sup> «Ленин о культуре и искусстве». «Искусство». М. 1956, стр. 418.



ленинской школы — противостоит связанной в конечном счете с «культувыми» традициями фигуре угрюмого ругателя, подозрительно косящегося на все, хоть сколько-нибудь превышающее меру его собственного понимания, или безграмотного чинуши, высокомерно поучающего всех и каждого и имеющего всегда самые категорические суждения обо всем на свете, даже и о том, о чем сам он ни малейшего представления не имеет. Вот в чем дело, а не в какой-то «непоследовательности» Луначарского, о которой, как видим, кое-кто говорил уже задолго до того, как «непоследовательный Луначарский» был вынужден отойти от искусства.

Таковы мысли, которые приходят в голову, когда перечитываешь работы Луначарского, включенные в первые тома его собрания сочинений.

Луначарский оставил огромное наследие. Сфера творческих интересов этой, по ленинскому выражению, «на редкость богато одаренной натуры»<sup>1</sup> поразительно многогранна. Сотни статей написаны Луначарским по различным вопросам искусства и литературы. Все это богатство еще не собрано, не систематизировано, не изучено, многое плохо сохранилось и плохо сохранялось, многое где-то затерялось, остается в забытых стенограммах. Текстологи до самого последнего времени еще не прикасались к страницам, подписанным именем Луначарского. Между тем именно в этом случае работа их особенно насущна. Луначарский редко писал свои работы:

<sup>1</sup> См. «В. И. Ленин и А. М. Горький», Издательство Академии наук СССР, М. 1961, стр. 254.

«у него, прирожденного оратора,— как пишет один из достаточно хорошо знавших Луначарского людей,— процесс литературного творчества был тесно связан с произнесением мысли вслух. Поэтому он предпочитал диктовать свои статьи другому лицу... Часто он не находил времени для проверки этих записей».

Изданию, по поводу которого написана настоящая рецензия, предшествовало несколько неплохих сборников работ Луначарского, изданных у нас в сравнительно недавнем прошлом. В отдельных случаях издатели собрания сочинений пошли на восстановление текстов, пострадавших некогда по тем или иным причинам. Такого рода «восстановительные работы» представляются тем более важными, что статьи Луначарского достаточно радикально сокращались во время редких переизданий в тридцатых и сороковых годах. Следует, очевидно, подумать уже сейчас и о более полном издании сочинений Луначарского, включившем бы его работы по этике, истории философии, по социологии, его интереснейшие музыкаловедческие труды и т. д. Кстати сказать, издательство «Советский художник» никак все не выпустит сборник статей Луначарского по вопросам изобразительного искусства, о котором два года тому назад было объявлено как об уже готовом к печати. Между тем подобный же сборник, выпущенный перед войной, стал теперь в буквальном смысле слова библиографической редкостью.

Надо удовлетворить наконец в полную меру общественную потребность в работах Луначарского.

А. ЛЕБЕДЕВ.



## БЕССПОРНОЕ ИЛИ СПОРНОЕ?

Краткий словарь по эстетике. Под общей редакцией М. Ф. Овсянникова и В. А. Разумного. Политиздат. М. 1964. 543 стр.

«Краткий словарь по эстетике» заканчивается списком авторов от Апресяна до Яницкого, всего сорок три имени; за ними идут «и др.». Но сколько их? Велика ли доля этих «др.» в составлении двухсот пятидесяти статей словаря? Неужели начальные буквы этих «др.» не вместились в алфавит от «А» до «Я»?

Редакция предупреждает в своем пред-

словии, что «в словаре сознательно не затрагиваются вопросы, являющиеся в настоящее время предметом научной дискуссии» (стр. 4). Не значит ли это, что все написанное в словаре является бесспорным и принятым современной наукой?

Возьмем статью «Изобразительное искусство» (стр. 116). «Произведение изобразительного искусства,— сказано в словаре,—

неподвижно, статично, не имеет в арсенале своих художественных средств развития во времени, но зато обладает возможностью неограниченного по продолжительности восприятия, раскрывая через зрительные образы пластическое и цветное богатство реального мира».

Недурной образец «популярного разъяснения», рассчитанного «на самые широкие слои читателей!» (См. «От редакции», стр. 3.) Сквозь это нагромождение слов трудно продраяться и «узкому кругу специалистов», на которых словарь, правда, «не рассчитан» (там же). Ясно сказано лишь одно: что «произведение... обладает возможностью... восприятия». И это — бесспорно? Обычно считают, что такой возможностью обладает только зритель.

Еще сомнительней предлагаемое «Кратким словарем» понимание «не ограниченного по продолжительности восприятия» произведений изобразительного искусства:

«...Мы до сих пор можем видеть портрет старой матери гениального голландского художника Харменса ван Рейна Рембрандта, написанный им несколько сотен лет назад. Спустя еще несколько сотен лет эту женщину увидят и наши потомки».

Как говорится, дай бог! К сожалению, иногда прекрасные картины и статуи исчезают вовсе или остаются лишь в копиях. Но главное — разве такая долговечность присуща только изобразительному искусству? Разве мы не можем читать произведения словесного искусства, созданные тысячи лет тому назад? Разве не можем услышать Амвросианские или Григорианские хоралы IV—VI веков?

Если верить тому, что в «Кратком словаре» определяется как счастливая особенность произведений изобразительного искусства, то окажется, что этой особенностью у них нет, что нет у живописи никакого зато — ничего, что могло бы оправдать и искупить ее неподвижность.

Термин «модернизм», как установлено на странице 205, охватывает различные направления «современного буржуазного реакционного искусства», «начиная с крайних форм натурализма и кончая абстракционизмом и ташизмом. При всем различии этих направлений всех их объединяет решительное отрицание реализма в искусстве и материализма в эстетике, проповедь крайнего субъективизма в художественном творчестве, отход от прогрессивных гуманисти-

ческих и демократических традиций мирового искусства».

Слова, слова — где-то слышанные, откуда-то вычитанные слова, соединенные между собой лишь типографским «арсеналом средств».

Что такое «крайний натурализм» и где он начинается? Что такое «крайний субъективизм»? Какая мера «субъективизма» (не субъективности!) допустима, чтобы не быть причисленным к «буржуазному реакционному искусству»? «Решительное отрицание реализма»... А разве часто не бывает совсем наоборот: модернисты клянутся реализмом, отрицают «иллюзорность» и пр.? А из художников-реалистов многие и многие не были «материалистами в эстетике».

В общем, усвоив словарное объяснение, читатель вряд ли опознает модернизм в лицо, даже встретясь с ним вплотную.

Кстати, об иллюзорности. На странице 118 читаем: «Иллюзия (лат. *illusio* — обман, насмешка) — искаженное отражение явлений и предметов реальности в восприятии человека, возникающее в силу: а) закона ощущений и восприятий (например, кажимость увеличения светлых предметов по отношению к равноценным темным), б) субъективных причин (определенная настроенность, связанная с возбужденным состоянием психики человека)».

Ну уж тут, видимо, все объяснено по-научному. Однако и это лишь иллюзия.

Какую опору для понимания иллюзии в искусстве дает нам приведенное определение?

Для первого примера, взятого авторами словаря (фокусники, иллюзионисты в цирке), значения «обман», «искаженное отражение явлений» и т. д. еще пригодны. Но когда дальше (стр. 119) нам сообщают, что в «живописи на основе закона перспективы создается иллюзия удаленности той или иной детали», то в чем нас хотят уверить? Что соблюдение законов перспективы — это «искаженное отражение явлений и предметов реальности», а не верное их воспроизведение? Известно, что именно так — как «иллюзорность» — трактуют перспективу в живописи те самые модернисты, которых порицает «Краткий словарь»...

Несколько утешает оговорка: «В реалистическом искусстве иллюзия служит одним из приемов (!) наиболее глубокого раскрытия правды жизни»; значит, в хороших ру-

ках и обман идет на пользу. Но таким «приемом» может воспользоваться не всякое искусство. «В литературе об иллюзии можно говорить лишь условно, так как в этом виде искусства исключена возможность непосредственного восприятия различных сторон действительности нашими органами чувств»...

Так и хочется спросить: как можно, имея такие смутные понятия об искусстве и об эстетике, выступать перед читателями, да еще их поучать? Но воздержимся от этого вопроса и просто заметим, что в статье, посвященной роли иллюзии в искусстве, рассматривается узкоремесленное значение этого слова применительно к живописи, говорится о фокусах, иллюзионистах, о пускание пыли в глаза и оставлено в стороне идейно-художественное значение иллюзии, очень часто связанной в истории с попытками писателей постигнуть те или иные закономерности развития, сущность которых по разным причинам не могла быть ясна им. Это значение — иллюзии Руссо, Фурье, Бальзака — начисто забыто в словаре по эстетике.

Читаем дальше. Произведения Шарля Бодлера, проклинавшего общественное устройство своего времени и развращенность человека, названы на странице 137 первым «практическим выражением теории «искусства для искусства», хотя отчаяние довело его до желания уйти от действительности лишь после 1848 года. К поздним представителям антиобщественной теории отнесены Альберт Николаевич Бенуа (почему-то именно Альберт, а не Александр; см. стр. 476) и весь «Мир искусства», занимавший «откровенно эстетскую позицию». По-видимому, политические карикатуры Добужинского в 1905—1906 годах, его «Человек в очках», иллюстрации к «Медному всаднику» Александра Бенуа в счет не идут. Авторы словарной статьи мог бы заставить немного придумать Гюстав Флобер, тоже имевший отношение к «искусству для искусства»; защищая этим лозунгом свою независимость художника, он наносил удары по презираемому им буржуазному обществу. Однако Флобер не упомянут в словаре.

Наш рассказ невесел. Но приходится сказать о еще худшем: краткий словарь не пощадил и Фридриха Энгельса. В статье «Классовость в искусстве» читаем: «Общеизвестно, например, что в рома-

нах великого французского реалиста О. Бальзака, вопреки его симпатиям к представителям дворянства, содержатся передовые идеи о неизбежности победы нового над старым. О. Бальзак «видел настоящих людей будущего...» (Ф. Энгельс)».

Это напечатано на страницах 155—156 и именно так — с многоточием, обрывающим цитату.

Возьмем первое издание сочинений Маркса и Энгельса, том XXVIII, страницу 28. В письме к Маргарет Гаркнесс Ф. Энгельс писал: «Правда, Бальзак по своим политическим взглядам был легитимистом. Его великое произведение — непрерывная элегия по поводу непоправимого разложения высшего общества». Но «его сатира никогда не была более острой, его ирония более горькой, чем тогда, когда он заставлял действовать именно тех людей, которым он больше всего симпатизировал, — аристократов и аристократок. Единственные люди, о которых он всегда говорит с нескрываемым восхищением, это его самые ярые противники, республиканцы — герои улицы Cloître Saint Merri, люди, которые в то время (1830—1836) действительно были представителями народных масс. Я считаю одной из величайших побед реализма, одной из наиболее ценных черт старика Бальзака то, что он принужден был идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, то, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он видел настоящих людей будущего там, где их единственно и можно было найти».

Выписывая эти слова после общения с кратким словарем, мы испытываем радость человека, вышедшего из болота на твердую землю. Однако как же так? Как можно так излагать мысль Энгельса, как можно подменять конкретное историческое указание на рабочих из республиканской левой, вставших против власти крупной буржуазии, какими-то неопределенными «людьми будущего»? Как можно зачатки пролетарской революционности подменять абстрактной идеей неизбежности победы нового над старым? Фразеология эта — дань той бездумной, опошляющей марксизм-ленинизм «публицистике», которая порождена «философской» четвертой главой «Краткого курса»...

Перейдем к более веселым вещам.

Статья «Коллективное творчество» (стр. 156—157) оповещает, что «коллективные формы творчества характерны прежде всего (!) для синтетических искусств: театра, кинематографии, хореографии, исполнения симфонической и особенно оперной музыки и др.». Опять это «др.»! Но что в нем скрывается на этот раз? Нет ли здесь намек на рецензируемый словарь? Он мог бы в таком смысле служить более убедительным примером «коллективного творчества», чем кинофильм. В кинофильме известны по крайней мере фамилии сценаристов, режиссеров, постановщиков, актеров (вплоть до исполнителей эпизодических ролей), операторов, звукооператоров, композиторов, художников, и всегда бывает ясно, что кем в фильме сделано. В «Кратком словаре по эстетике» не только «др.», но и все сорок три названных по фамилии автора как бы ответственны за все двести пятьдесят анонимных статей. Однако, зная по их серьезным работам некоторых упомянутых в списке авторов, мы вправе в этом усомниться.

Впрочем, возможно, что на этот раз в «др.» скрывается безымянная народная поэзия, народная песня, народное орнаментальное искусство, былины, сказки, пословицы, вовсе не упомянутые в статье о коллективном творчестве.

О «таланте художественном» (стр. 354—355) со всей точностью сказано, что он есть «особая способность человека к художественно-творческой деятельности, к успешной творческой работе в отдельных видах и жанрах искусства (музыка, живопись, художественной литературе и т. д.), а иногда одновременно в нескольких видах искусства». Это бесспорно. «Зачатки таланта коренятся в физической организации человека, в соответствующем развитии его органов чувств (острота зрения, слуха, гибкость пальцев и т. д.)». В пример приведены только Моцарт и Прокофьев, но можно было бы добавить, например, Чингачука (острое зрение), Фаддея Булгарина (острый слух), гоголевского Ихарева или лермонтовского Казарина (гибкость пальцев) и т. д. Следовало бы хотя бы между прочим, вскользь упомянуть, что таланту не чужды и такие свойства, как художественное мышление, воображение.

Нельзя не пожалеть также, что нет примеров, иллюстрирующих категорически сформулированное положение: «Развитие этих задатков возможно лишь в благоприятной

общественной среде». Благоприятна ли была общественная среда для Пушкина, Лермонтова, Щедрина? Не так, видно, однозначна и эта проблема.

«Экспрессия, экспрессивность... проявляется в подчеркнутой выразительности образов.» Она «в творческой практике художников часто выступает как яркое своеобразие их таланта, образного отображения действительности» (стр. 435—436). Примеры? М. А. Врубель, А. И. Куинджи в живописи, А. Н. Скрябин, А. И. Хачатурян в музыке, американские писатели Э. Хемингуэй и У. Фолкнер в литературе. Читатель, знакомый с произведениями Хемингуэя, оценит, конечно, меткость характеристики.

«Экстравагантность» (стр. 439) в живописном искусстве иллюстрируется... «Незнакомкой» (настоящее название «Неизвестная») Крамского.

Интересно заново познакомиться по краткому словарю с Бенвенуто Челлини (стр. 186, статья «Маньеризм»). Мы узнаем, что Челлини принадлежал к группе тех злокозненных личностей, которые, «бездушно подражая манере художников эпохи Возрождения, по существу, порвали с гуманистическими и реалистическими традициями их искусства, подменив его вычурным, изощренным и жеманным формотворчеством, не лишенным, правда, внешнего блеска». (Разве что имеется в виду то, что почти все работы Челлини сделаны из благородных металлов?)

Мы вполне согласны с тем, что в маньеризме искусство Ренессанса шло к упадку. Более того, мы считали бы полезным указать, что восхищение им современной буржуазной эстетикой помогает понять модернизм XX века как своего рода маньеризм. Но жеманный Челлини!.. Один из замечательнейших художников и писателей Возрождения, Челлини... подражающий художникам Возрождения?!

Печально и то, что книга, призванная воспитывать эстетическое чувство, помочь пониманию искусства, написана удручающим казенным языком и почти канцелярским жаргоном рассказывает о «прекрасном», «возвышенном» и даже «изышном». Чего стоит, к примеру, статья «Эстетическое воспитание», которое, по определению авторов, есть «система мероприятий (!), направленных на выработку и совершенствование в человеке способности воспринимать, пра-

вильно понимать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве» (стр. 451). «Соответствие формы определенному содержанию обеспечивает простоту и совершенство, которые являются признаком подлинного, высокого искусства» (стр. 397). Или: «Художественность... в узком смысле слова — мера совершенства произведения искусства, степень его способности оказывать более или менее сильное эмоционально-эстетическое воздействие на людей, определяющие (!) общественно-эстетическую ценность этого произведения» (стр. 420). «Чувство эстетическое — специфическое переживание, вызываемое в человеке восприятием эстетического своеобразия окружающей действительности» (стр. 430). До чего же все это грустно!

Аннотированный указатель имен, приложенный в конце книги, пестрит сшибающими с толку откровениями и ошибками. Вот некоторые из них:

Леонид Андреев — «писатель-декадент, творчество которого близко к экспрессионизму, а в области драматургии — к символизму» (стр. 473). Леонид Андреев оказался начисто отлученным от реалистических традиций русской литературы.

Повесть Гоголя «Тарас Бульба» не входит, оказывается, в цикл «Миргород» (стр. 486).

Поэт М. А. Кузмин, умерший в 1936 году, оказывается, жив еще сейчас (стр. 501).

«Бесприданница» А. Н. Островского сочинена в 1872 году, а не в 1878 году, как до сих пор думали (стр. 513).

«Дело» А. В. Сухова-Кобылина сочинено в 1869 году, а не в 1861 году, как считалось (стр. 526).

Поэт Б. А. Садовской дважды упоминается в словаре под фамилией Садовский (стр. 8, 522).

Пикассо — «примыкал к кубистам» (стр. 515). Редкий случай: художник примыкал к самому себе.

Роман Ф. Сологуба «Навьи чары» получил название «Новые чары» (стр. 525).

М. И. Петипа, с именем которого связан расцвет русской классической хореографии, назван французским балетмейстером (стр. 514) и т. д. и т. п.<sup>1</sup>

В списке авторов словаря от «А» до «Я» нет имен советских деятелей, пишущих о музыке. Очевидно, таких людей нет и среди «др.», потому что только совсем посторонний этому делу человек может написать, например, что лейтмотив — «мелодичный оборот» (стр. 180), что «отдельные музыкальные жанры имеют свой ритм» (стр. 298), что «мелодия — последовательный ряд музыкальных звуков различной тональности» (стр. 191), что «лирические произведения и мотивы в музыке отличаются своей мелодичностью, плавностью, напевностью («Времена года» П. И. Чайковского, «Лунная соната» Л. Бетховена)» (стр. 181). Все это — забавнейшие нелепости, которые обличают не только теоретическое невежество, но просто незнакомство с музыкальными произведениями: «Времена года» — цикл из двенадцати пьес, среди которых есть, например, «Масленица», «Охота», а соната Бетховена ор. 27, № 2 (не Бетховен ее назвал «Лунной») состоит из трех частей, и последняя часть вся проникнута драматизмом, редким по напряженности даже у Бетховена.

Сведения о П. И. Чайковском взяты для словаря из старого-престарого анекдота: он «создатель... 4-й и 6-й симфоний, 1-го концерта для фортепиано с оркестром». Кто же создал 1-ю, 2-ю, 3-ю, 5-ю симфонии и 2-й и 3-й концерты для фортепиано с оркестром, обычно приписываемые Чайковскому?

До сих пор мы думали, что опера «Каменный гость» написана Даргомыжским на подлинный пушкинский текст. Ничуть не бывало. Опера эта, как мы читаем на странице 490, создана всего лишь «по мотивам» пушкинской трагедии. Не повезло и Глинке. Чайковский писал о нем: «Не меньшее проявление необычайной гениальности есть «Камаринская»... Почти пятьдесят лет с тех пор прошло; русских симфонических сочинений написано много, можно сказать, что имеется настоящая русская симфоническая школа. И что же? Вся она в «Камаринской», подобно тому как весь дуб в желе! И долго из этого богатого источника будут черпать русские авторы, ибо

А. Иконников обратил внимание на другие, не отмеченные нами фактические ошибки в статьях об изобразительном искусстве.

Однако мы и теперь не убеждены в том, что недостатки издания выявлены полностью. Емкость краткого словаря в этом смысле, по-видимому, практически беспредельна.

<sup>1</sup> Наша статья была уже набрана, когда в № 1 журнала «Звезда» за 1965 год, в отделе «Горестные заметы», появился отклик на «Краткий словарь по эстетике». Автор его

нужно много времени и много сил, чтобы исчерпать все его богатство». В словаре же творец «Камаринской» является только лишь создателем «аранжировок народного музыкального творчества» (стр. 486).

По мнению авторов словаря, из всего Шуберта «наиболее популярное произведение — фортепианный квинтет «Форель» (стр. 539), не песни, не «Серенада», «Лесной царь», не музыкальные моменты, вальсы, неоконченная симфония и другие.

«Рубинштейн Антон Григорьевич... автор... книги об искусстве «Мысли и афоризмы» (стр. 521). Эта книга искажена цензурой и переводчиком (она написана на немецком языке) и потому уже имеет неизмеримо меньшее значение, чем не упомянутая в словаре широко известная книга «Музыка и ее предшественники».

Последний пример (стр. 438): «Для экспрессионизма в музыке (Г. Малер, А. Шёнберг и его школа) характерны отказ от традиций, поиски обостренной музыкальной выразительности, создание произведений вне гармонии, мелодии и ритма».

Здесь есть открытие, даже два открытия. Первое: до сих пор музыканты чаще обвиняли Малера в чрезмерной приверженности

к традициям; некоторое основание для того, чтобы видеть в нем предшественника экспрессионизма, дают лишь последние его произведения, в частности «Песнь о земле». Но это открытие, так сказать, второстепенное. А вот музыка «вне гармонии, мелодии и ритма» — это новость сногшибательная. Из чего же эта музыка состоит?

Вернемся к предисловию: «Редакция просит читателей присылать свои отзывы, замечания и пожелания. Исполним эту просьбу.

Наш отзыв уже известен. Замечаний могло бы быть во много раз больше. Пожеланий у нас три: 1) редакции справочной литературы желаем не подрывать в дальнейшем доверия к своим изданиям выпуском недоброкачественных книг; 2) книготоргу желаем более правильно определять тиражи изданий — «Краткий словарь по эстетике» дважды отпечатан в общей сложности в 335 тысячах экземплярах; 3) читателям желаем не тратить шестидесяти копеек на покупку этого словаря, так как цена эта непомерно высока.

Гр. БЕРНАНДТ.

★

### Политика и наука

## КРУПНЫЙ ВОЕННЫЙ ТЕОРЕТИК

М. Н. Тухачевский. Избранные произведения. В двух томах. Том первый. 1919—1927 гг. 320 стр. Том второй. 1928—1937 гг. 264 стр. Воениздат. М. 1964.

Советская военная наука по праву считается наиболее передовой и действенной. Свидетельством тому — победоносный итог Отечественной войны и все послевоенное развитие советских Вооруженных Сил, оснащенных самым современным вооружением и ведущих свою подготовку на основе научного предвидения характера современной войны. Фундамент советской военной науки заложен Лениным в годы подготовки и осуществления социалистической революции, в ходе гражданской войны и в первые годы мирного строительства Советского государства.

К числу учеников Ленина, разрабатывавших советскую военную теорию, наряду с М. В. Фрунзе, С. И. Гусевым, А. С. Бубновым и другими следует с полным основа-

нием отнести и Михаила Николаевича Тухачевского.

М. Н. Тухачевский стал кадровым офицером старой армии буквально в канун первой мировой войны. Поэтому было бы неверно причислить его к числу старых военных специалистов, которых партия привлекла к делу строительства Красной Армии и обороны страны. Тухачевский сам пришел в революцию как ее убежденный сторонник и энтузиаст. Уже весной 1918 года он становится членом Коммунистической партии и беззаветно отдает свой недюжинный талант полководца и военного теоретика делу социалистической революции.

Создавая Вооруженные Силы и используя при этом опыт и знания старых военных специалистов, Советская республика не мог-

ла безоговорочно и полностью положиться на них: не только потому, что не все из них заслуживали политического доверия, но и в силу того, что их взгляды подчас вступали в резкое противоречие с революционной действительностью. Надо было взять от старой военной науки то, что могло быть использовано в интересах революционной войны, и отбросить все чуждое, отсталое или просто враждебное духу и целям Красной Армии. Короче — надо было создавать новую, советскую военную науку. Одним из первых, кто понял необходимость разработки новой революционной военной теории и сделал первые серьезные попытки в этом направлении, был М. Н. Тухачевский. Уже в 1919 году он разрабатывает проблему «Стратегия национальная и классовая». На эту тему Тухачевский прочел лекцию в Академии Красного Генерального штаба (ныне Военная академия имени М. В. Фрунзе) и опубликовал статью в сборнике «Война классов». Он хорошо понимал, что именно стратегия прежде всего нуждалась в переосмыслении на классовой основе.

Если тактика, то есть учение о бое, не сразу претерпела заметные изменения в силу того, что на первых порах и оружие, и способы его применения оставались прежними, то стратегия — орудие политики — сразу же столкнулась с таким своеобразием условий гражданской войны, которые никакая старая теория не предвидела.

Разрабатывая теорию стратегии, Тухачевский показал источники ее формирования, одним из которых он считал статистику. В статье «Статистика в гражданской войне» он прослеживает основы военного могущества, различную оценку его для войн национальных и войн гражданских. Идти таким своеобразным путем в разработке военной теории Тухачевский учился у Ленина. Достаточно вспомнить, как использовал В. И. Ленин статистику для глубочайшего проникновения в сущность общественного и экономического развития России.

Тухачевский разрабатывает проблемы, связанные с ведением и обеспечением крупных стратегических операций. Одновременно его внимание привлекают вопросы обучения войск, методика подготовки Красной Армии. С большой убежденностью он доказывал необходимость органического сочетания политического воспитания с военным обучением.

М. Н. Тухачевский удачно сочетал в себе качества выдающегося полководца: органи-

затора военных действий и исследователя — аналитика и теоретика, способного к крупным обобщениям и находкам в области теории военного дела. Большой интерес представляют его военно-исторические труды, в которых он самокритично разбирал проведенные под его руководством операции.

К числу таких трудов относятся прочитанные им в Военной академии РККА в 1923 году лекции, посвященные советско-польской войне и вошедшие затем в книгу «Поход за Вислу». В отличие от многих авторов, которые позднее описывали эту войну с позиций культа личности Сталина и извращали истинный ход и оценку событий, в этой книге дан правдивый анализ событий.

Закончив победоносно гражданскую войну и вышвырнув интервентов за пределы родины, Красная Армия перешла на мирное положение. Она переживала трудный период — необходима была коренная реформа военной организации Советского государства. При этом надо было преодолеть враждебные взгляды и добросовестные заблуждения старых и молодых военных кадров. Тухачевский упорно отстаивал ленинские принципы организации советских Вооруженных Сил, призывал к правильному использованию опыта гражданской войны с учетом всех ее особенностей наряду с изучением опыта мировой войны.

С большим проникновением в будущее, основанным на научном анализе характера будущей войны, разрабатывает Тухачевский проблемы оперативного искусства, и в частности теорию глубоких последовательных операций, формы их ведения, управления действиями войск.

В короткой статье трудно достаточно подробно рассмотреть и оценить тот вклад в военную науку, который успел сделать молодой талантливый командарм, а затем командующий фронтом. Несомненно, что высказанные им глубокие и хорошо аргументированные взгляды были серьезным вкладом в основы советской военной доктрины.

Начало тридцатых годов ознаменовалось в нашей стране коренными сдвигами в ее экономике. Уже первая пятилетка радикально изменила производственный потенциал страны, дала возможность оснастить армию новой военной техникой. Это обстоятельство, а также угроза войны со стороны агрессивных фашистских государств определили необходимость переработки советской

военной доктрины, приведения ее в соответствие с изменившимися условиями.

Начальник штаба РККА, а затем заместитель наркома обороны и начальник вооружений РККА, Тухачевский продолжает оставаться одним из самых передовых советских военных теоретиков. Умело сочетая свои теоретические предположения с реальными обстоятельствами, с уровнем развития военной техники, с практикой, он убедительно показывает, что прежняя «пехотно-артиллерийская» доктрина нуждается в замене доктриной «авиамотомеханизации». Он настойчиво пропагандирует идею мобильности, учитывая растущую подвижность и ударную силу армии, в которой быстрыми темпами осуществляется моторизация и механизация. В то же время Тухачевский подвергает резкой критике модные теории «малых армий» и одностороннее увлечение танками и авиацией, которые в это время широко распространяются на Западе. Немалый интерес в связи с этим представляет написанное им предисловие к книге Дж. Фуллера «Реформация войны».

Как серьезный военный ученый, государственный и политический деятель ленинского типа, Тухачевский постоянно отмечает важнейшую роль сознательности в решении военных задач, подчеркивает важность политической работы. В поле его зрения постоянно находились военно-философские проблемы. Он понимал необходимость усвоения единственно правильного марксистско-ленинского мировоззрения по вопросам войны, без чего ее истинное познание немислимо. К этой теме он обращается неоднократно.

В отличие от упрощенного взгляда, отождествляющего войну и вооруженную борьбу, Тухачевский в полном соответствии со взглядами Ленина рассматривал войну как сложное общественно-историческое явление, как продолжение политики насильственными средствами. Он писал: «Политика государства, ведущего войну, сказывается в целях войны, в борьбе классов, в экономике, внутренней и внешней политике, а для пролетарского государства она неизбежно «прорывает» вооруженный фронт и объединяет интернациональные классовые интересы пролетариата. Она объединяет все экономические и социальные ресурсы для согласованного достижения целей войны». Он уделял большое внимание проблемам коалиционной войны, ибо отчетливо предвидел эту характерную особенность современных войн.

Необычайно широк был диапазон интересов, взглядов и трудов талантливого военачальника. Его привлекало исследование исторических фактов, в результате чего им был написан ряд трудов по гражданской войне. Он был автором множества статей по вопросам стратегии, оперативного искусства и тактики, писал содержательные предисловия к военно-историческим и военно-научным трудам, оценивая их содержание с позиций марксистско-ленинского мировоззрения.

Отчетливо предвидя характер надвигающейся войны, Тухачевский правильно оценивал роль организации устойчивого тыла страны и действующей армии. Он указывал на возрастание роли автомобильного и воздушного транспорта.

Как военачальник, обладающий огромным практическим опытом руководства войсками, он уделял пристальное внимание вопросам управления, которые должны быть тем совершеннее, чем сложнее становятся бой и операция, чем труднее и вместе с тем необходимее поддерживать непрерывное взаимодействие разнородных сил и средств, принимающих совместно участие в военных действиях. Это нашло свое отражение, в частности, в статье «О развитии форм управления», которая печатается впервые (том 2, стр. 206). Заметим кстати, что и некоторые другие труды М. Н. Тухачевского печатаются в двухтомнике впервые.

Правильно оценивая опыт истории, Тухачевский обращает особое внимание на проблемы начального периода войны, характер действий войск на этом ответственном ее этапе. Не все, естественно, на практике сложилось так, как это предвидели теоретики, но Тухачевский пытался приблизиться к истине, и, как показал опыт Великой Отечественной войны, в ряде случаев ему это удалось.

Михаил Николаевич серьезно анализировал военные замыслы гитлеровской Германии, трезво оценивал масштабы ее вооружений, своевременно указывал на угрозу, которую представляла политика агрессии и реваншизма со стороны немецкого фашизма не только для СССР, но и для других миролюбивых стран.

Избранные произведения Маршала Советского Союза М. Н. Тухачевского — это хрестоматия развития советской военной теории и истории советских Вооруженных Сил от битв гражданской войны до тридцатых годов. Собранные работы показывают,



как выработывалась стройная система взглядов на военное дело в нашей стране, как она воплощалась в уставы и наставления, а через них — в практику боевой и оперативной подготовки Вооруженных Сил.

Вместе с тем эти произведения дают представление об их авторе — военачальнике-коммунисте, воспитанном революцией, талантливом стратеге, серьезном военном историке и мыслителе и в то же время активном практическом деятеле, который постоян-

но сочетал теоретические обобщения и поиски с опытом, живой жизнью.

Думаю, что двухтомник Тухачевского с интересом прочтут не только военные, но и гражданские читатели. Им с успехом воспользуются историки, изучающие нашу эпоху, развитие советских Вооруженных Сил. В издании напечатан список опубликованных трудов М. Н. Тухачевского.

*Генерал-майор С. КОЗЛОВ.*



## ПУЛЬС ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

**Соревнование двух систем. Справочник. Политиздат. М. 1964. 256 стр.**

У нас выпускается много всевозможных статистических справочников. Из литературы одного только Центрального статистического управления можно составить библиотечку. Да еще книги издательства «Мысль», Политиздата... И это очень хорошо. Обилие и разнообразие статистической литературы — одна из примет времени. Лет десять назад этого богатства и в помине не было.

Очередная новинка — статистический справочник «Соревнование двух систем» увлекает читателя, как увлекает зрелище всякой напряженной борьбы, подлинного соревнования.

Справочник не похож на ранее изданные. В обычных статистических сборниках мы привыкли видеть цифры, так сказать, в чистом виде — таблица за таблицей. Сам смотри, сам разбирайся, сам комментируй. Для того, чтобы ими пользоваться, нужна некоторая подготовка. Здесь же цифры сопровождаются комментарием, который не только помогает лучше понять их, сопоставить, но и приоткрывает завесу над самой «кухней» статистики, показывая кипение страстей вокруг такого, казалось бы, прозаического предмета, как цифры.

Вот всего лишь одна из тысяч в этой книге, к тому же не новая, давно известная нам из сообщений ЦСУ: в 1963 году объем промышленного производства СССР составил 65 процентов уровня США. Только одна цифра, подсчитанная советскими статистиками. Но сколько же споров разгорелось вокруг нее, какая развернулась борьба! Авторы сборника подробно описывают ее перипетии. Ряд видных экономистов ФРГ, США, Англии прямо или косвенно подтвердили

верность этого расчета. Два американца — Кэмпбелл и Тарн — сочли его слишком скромным. Сопоставив физические объемы производства и условно-чистую продукцию по группе почти в двести товаров, они пришли к выводу, что еще в 1960 году промышленное производство СССР составляло 75 процентов по отношению к объему продукции, выпущенной в США.

Оценка Кэмпбелла и Тарна, очевидно, опередила события на несколько лет. Вряд ли два американца нарочно старались преувеличить наши достижения. Такая уж, видно, у них методика счета. Это ведь не так просто — выразить в одной цифре соотношение объемов всей продукции двух стран: теплоходы и авторучки, костюмы и самолеты — все вместе. Существуют разные способы счета, и экономисты спорят, какой точнее. Но американский профессор Наттер нашел свой способ. Неизвестно, по каким уж там «научным» соображениям он исключил из составленного им индекса значительную часть продукции машиностроения СССР. Дальше Наттеру стало легче. Он «доказал», что объем производства у нас возрос с 1913 года по 1955-й не в 24,6 раза, как было на самом деле, а в 6,2 раза и что темпы нашего роста почти не отличаются от американских. В результате, по его мнению, СССР догонит США по объему производства не раньше, чем через 555 лет.

Наттер старается не один. Книга далее напоминает известную историю о том, как включился в статистическое сражение главный центр американского шпионажа — Центральное разведывательное управление, как ЦРУ сделало доклад, по которому получалось, что советские темпы развития ни-

же американских, и как «Нью-Йорк таймс», ссылаясь на большинство университетских специалистов, назвала эти данные фантастическими. Объединенная экономическая комиссия конгресса США за последние восемь лет четыре раза обследовала ход соревнования и каждый раз приходила ко все более не утешительным для американской экономики выводам.

Книжка «Соревнование двух систем» оперирует фактами, с которыми не могут спорить ни Наттер, ни ЦРУ. В 1953 году советское производство стали составляло 37 процентов американского уровня, в 1963 — уже 79. По железной руде десять лет назад было 50 процентов — ныне 172. По нефти было 17 — стало 55. Советский Союз вышел на первое место в мире по производству цемента, каменного угля, сахара-песка, шерстяных тканей, тракторов (по суммарной мощности), тепловозов и электровозов, пиломатериалов, сборного железобетона.

Впрочем, показатели абсолютного объема производства еще не раскрывают всей картины. Высшая производительность труда — вот чем определяется экономическое превосходство. Справочник сообщает, что по уровню производительности труда СССР обогнал главные капиталистические страны Европы и значительно сократил разрыв с США. В Программе партии поставлена задача поднять производительность труда в промышленности СССР за двадцать лет в 4—4,5 раза, превывсив современный американский уровень примерно вдвое.

Мы не знаем, какое положение займет к тому времени американская экономика. Планов развития народного хозяйства в США, как известно, не бывает, а прогнозов справочник не дает, он опирается лишь на факты. Но американские экономисты обычно не скупаются на прогнозы. Один из наиболее солидных прогнозов содержит книга «Энергетика в экономике США», которую написали сотрудники корпорации «Ресурсы для будущего» Сэм Шер и Брюс Нетчерт при участии восьмидесяти пяти организаций и специалистов США (корпорация «Ресурсы для будущего» финансируется за счет фонда Форда). Шер и Нетчерт в своих расчетах исходят из того, что среднегодовой темп прироста производительности труда (часовой выработки) за двадцатилетие с 1955 по 1975 год составит в американской промышленности 2,75 процента. Они оговариваются при этом, что такой темп значи-

тельно превосходит все показатели, имевшиеся в течение длительного времени в прошлом, и предупреждают, что сознательно превышают вероятные темпы роста американской экономики, следуя задаче своей книги: посмотреть, хватит ли энергетических ресурсов даже при самом быстром развитии хозяйства, какое только можно предположить. В оценках различных авторитетных американских источников, включая президентские комиссии и комитеты, называется более умеренная цифра: 2,5 процента. Но и заведомо завышенный темп (2,75 процента в год) не даст даже двукратного увеличения за двадцать лет. Так что не только по абсолютному объему продукции, но и по производительности труда нас отделяет от американского уровня небольшой срок.

Дальнейшие разделы справочника повествуют об успехах народного хозяйства Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Монгольской Народной Республики, Польши, Румынии, Чехословакии. Эти разделы построены по тому же принципу сравнения показателей социалистической страны с наиболее сходными по уровню развития и характеру экономики капиталистическими странами. Данные о народном хозяйстве Болгарии сопоставляются с аналогичными показателями Турции, Греции, отчасти Италии; Венгрия сравнивается с Австрией, Бельгией, Италией и Францией; Польша и ГДР — с Англией, ФРГ, Францией, Италией. В большинстве случаев страны народной демократии, вступая на социалистический путь, стояли на гораздо более низком уровне развития хозяйства, чем те капиталистические страны, с которыми их сейчас сравнивают. Тем ярче видны успехи народов социалистических стран, достигнутые за короткий срок.

Остановимся только на одной небольшой таблице из этой части книги: производство электроэнергии на душу населения в Болгарии, Греции, Турции и Италии. Перед войной Болгария стояла по этому показателю на одном из последних мест в Европе и была примерно на одном уровне с Грецией. Италия, наоборот, занимала одно из передовых мест и превосходила Болгарию почти в 9 раз. В 1962 году душевое производство электроэнергии значительно увеличилось во всех четырех сравниваемых странах, но соотношение между ними резко изменилось. Теперь Болгария опередила Грецию более чем вдвое, Турцию — в 6 раз и достиг-

ла 58 процентов итальянского уровня. (Кстати, в этой таблице есть досадная ошибка. Болгарский уровень 1962 года явно составляет не 179,5 процента к довоенному, как напечатано, а 1795 процентов. Неточно дана, по-видимому, также исходная цифра по Греции.)

В. И. Ленин писал: «Статистика была в капиталистическом обществе предметом исключительного ведения «казенных людей» или узких специалистов,— мы должны понести ее в массы, популяризировать ее, чтобы трудящиеся постепенно учились сами понимать и видеть, как и сколько надо работать, как и сколько можно отдыхать...» Справочник «Соревнование двух систем», сопоставляя и комментируя различные цифры, выполняет именно такую задачу популяризации статистики, и это само по себе уже хорошо. Но, думается, выполняется эта работа пока еще робко, комментарий дается ограниченный. Он не затрагивает нерешенных задач, а они ведь тоже видны из цифр.

В целом промышленное производство СССР составляет сейчас 65 процентов американского, а производство электроэнер-

гии — 39 процентов. Такое явно невыгодное соотношение показывает одну из отраслей, куда должны быть направлены в ближайшее время наибольшие усилия.

Сопоставление цифр позволяет увидеть и более глубокие явления. Среднегодовой прирост капитальных вложений в СССР за годы последнего десятилетия — 11,1 процента, а прирост промышленной продукции — 10,5 процента. Из этого видно, что вложения растут быстрее, чем отдача. Иначе говоря, эффективность вложений падает. Это один из главных недостатков нашей работы в последние годы, особенно в период семилетки. Из данных ЦСУ СССР видно, что, если бы в 1962 году эффективность использования основных фондов сохранилась на уровне 1958 года, национальный доход был бы у нас значительно выше нынешнего. Страна продвинулась бы гораздо дальше в экономическом соревновании двух систем.

Статистика отражает не только наши успехи. Она показывает и те участки работы, где еще не все благополучно. И не надо бояться говорить об этом в полный голос.

О. ЛАЦИС.



## КОМИССАРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СТРОЙ

Комиссары. Составители И. Гаглов и И. Селищев. Политиздат. М. 1964. 424 стр.

Эта книга по праву одета в обложку цвета солдатской шинели. На ее сером фоне в отблесках штыков и кумачовых полотнищ поднялся во весь рост в митинговом порыве человек с красной звездой на шлеме.

Двадцать четыре биографических очерка рассказывают о нелегкой, полной подлинного героизма деятельности коммунистов-комиссаров, которые по воле партии стояли на передних рубежах борьбы в крутой, переломный период нашей истории. Очерки не ставят задачей раскрыть весь жизненный путь своих героев, а посвящены лишь определенному периоду их деятельности. Таким образом, повествование о выдающихся борцах за власть Советов сочетается в книге с показом многих событий героической эпохи гражданской войны, в которых они участвовали. И, что особенно ценно, эта книга не только о тех, чьи имена давно знает народ — железном комиссаре-латыше Яне Фабрициусе, герое боев на Волге и Каме

Николае Маркине, чапаевском политкомом Дмитрие Фурманове и его трагически погибшем преемнике Павле Батурине, но и о многих других замечательных политических работниках, деятельность которых впервые становится широко известна.

Вот открывающий книгу очерк о комиссаре 22-й дивизии, или, говоря армейским языком тех лет, военкомдиве-22 Иване Ильиче Андрееве. Что было известно о нем? Несколько теплых, но лаконичных фраз в фурмановском «Чапаеве», скудные упоминания в мемуарах. И все. Но где-то в архивах лежали разрозненные документы, в хранилищах библиотек желтели от времени газетные листы. Теперь они заговорили. И из далекой легендарной дымки поднялся образ двадцатитрехлетнего рабочего-коммуниста, который в разгар боев с колчаковцами весной девятнадцатого взял в свои твердые руки политическое руководство дивизией, уже прославившейся героизмом и вместе с тем, как нередко бывало тогда, бродившей

духом партизанской вольницы. Рассказ об Андрееве — это рассказ о том, как под огнем противника выковывалась и крепла регулярная рабоче-крестьянская армия. Он не только знакомит нас с замечательным человеком, но и помогает по-новому взглянуть на уже, казалось бы, известные события. Немало написано, например, о героической обороне Уральска в мае — июне 1919 года. Очерк об Андрееве, о его деятельности в осажденном городе — существенное дополнение к написанному: десятидневная блокада была выдержана потому, что в Уральске были такие коммунисты, как военкомдив-22.

Тот, кто читал изданную несколько лет назад книгу американского журналиста, свидетеля революционных событий семнадцатого года Альберта Риса Вильямса «О Ленине и Октябрьской революции», возможно, помнит теплое упоминание в ней о большевике Янышеве («человек большого ума и кристально чистой души»). Но мало кто знал, что Михаил Петрович Янышев в 1919—1920 годах был военкомом. Очерк, помещенный в книге, впервые воссоздает многие штрихи портрета этого замечательного коммуниста, героически погибшего на врангелевском фронте в бою за безвестное поселение Гохгейм. Жена и друг комиссара А. А. Янышева вспоминает, что когда ее встретил В. И. Ленин, он сказал: «Что же вы, товариш Шура, не уберегли Янышева? Ведь таких Янышевых немного». Я рассказала про гохгеймский бой. «В такой обстановке, Владимир Ильич, а вы где были бы?» — спросила я, и Ленин ответил спокойно: «Там, где он».

Там, где был Янышев — в самой гуще борьбы, — находились и другие герои этой книги: военные комиссары С. П. Восков, О. Ю. Калнин, А. А. Кондратьев, В. С. Ковалев, А. А. Юдин. Их жизнь оборвалась в боях. Но восторжествовало дело их горячих сердец.

А героические военкомдивы А. С. Булин и Г. Н. Пылаев, уральский военком Ф. И. Голошекин, член Реввоенсовета 6-й армии Н. Н. Кузьмин, член Реввоенсовета 3-й армии, а затем Кавказского фронта В. А. Трифонов, видный политработник Г. А. Осепян! Очерки об этих коммунистах, погибших от рук ежовско-бериевской банды, кладут конец несправедливому замалчиванию их деятельности.

В книге приведен замечательный документ, написанный одним из ее героев Сергеем Антоновичем Смирновым. В тяжелые дни августовского контрнаступления белополяков на Западном фронте в двадцатом году 6-я дивизия, в которой он был комиссаром, как и соседние 5-я и 56-я дивизии, потеряла связь с командованием 3-й армии. А враг наседал, грозя окружением не только 3-й, но и 15-й и 4-й армиям. И тогда всенкомдив-6 Смирнов отдал приказ:

«Начдиву 56 т. Миронову.

Копия Начдивам 5 и 6...

Ввиду потери связи с Командармом 3 и отсутствия единой воли командования в столь ответственный для Красной Армии момент именем Революционного закона РСФСР приказываю Вам как старшему Начальнику принять и объединить командование частями 5, 6 и 56 дивизий 3 армии впредь до установления связи с РВС 3 армии. Революционной задачей ставлю Вам обеспечить отход 15 и 4 армий, удерживать фронт 3 армией г. Остров, Зембров-Мазовецк. Военным комиссаром при Вас объявляю себя...»

Как предельно выразительны эти скупые строки! В каждой из них — железная воля посланца партии, в сумятице отступления навоявшего «именем Революционного закона» порядок среди дрогнувших войск.

О людях разных характеров и разных судеб рассказывается в книге. Среди них — профессиональный революционер и крупный ученый П. А. Кобозев, политический руководитель легендарных латышских стрелков К. А. Петерсон, ныне здравствующие герои-краснознаменцы комиссары И. И. Жуков и И. Ф. Куприянов. Вместе с тысячами других армейских коммунистов они стояли у истоков советских Вооруженных Сил, в огне войны строили и закаляли нашу армию, обеспечивали ее победу.

К сожалению, составители не воспользовались возможностью объединить очерки общей задачей, тесно связать их между собой и на богатом биографическом материале выдающихся армейских политработников создать книгу, которая в целом дала бы широкую картину деятельности военных комиссаров в 1918—1920 годах.

Вообще создается впечатление, что при ее подготовке не было четко определено, о каких именно комиссарах будет идти речь. Предисловие ориентирует читателя на то,

что перед ним книга о военкомках периода гражданской войны. И действительно, подавляющее большинство очерков написано по этой теме. Однако наряду с ними помещен рассказ о комиссаре Петроградского военно-революционного комитета на «Авроре» в октябре семнадцатого года А. В. Бельшеве. За ним следует очерк, посвященный комиссару депо Москва-Сортировочная И. Е. Буракову. В рассказе о деятельности П. А. Кобозева его армейская работа упоминается лишь мимоходом, а все внимание сосредоточено на событиях установления советской власти в Оренбуржье. Нет необходимости объяснять, что задачи комиссара Петроградского военно-революционного комитета в дни Октябрьского восстания или, скажем, чрезвычайного комиссара Оренбурго-Тургайской области, каковым был в конце 1917 — начале 1918 года П. А. Кобозев, существенно отличались от тех задач, которые позже выполняли комиссары Красной Армии. Это совершенно разные проблемы. Попытка объединить их привела к тому, что книга утратила единый стержень, намеченный в предисловии, и превратилась в сборник разрозненных рассказов о комиссарах «вообще».

Немалую роль в том, что она слабо воспринимается как единое целое, сыграл характер распределения материалов. Составители, вместо того чтобы сгруппировать очерки, например, по фронтам, придерживаясь при этом последовательности основных событий, расположили их в алфавитном порядке в соответствии с начальными буквами фамилий героев. В результате читатель сначала знакомится с событиями девятнадцатого года на Восточном фронте, а затем переходит к очерку, в котором идет речь об осени семнадцатого года и т. д. Это разрушило единую ткань книги, породило многочисленные отступления, повторения, а нередко и противоречия.

Отсутствие четкого замысла и последовательности в отборе материалов сказалось не только на книге в целом, но и на ее отдельных очерках.

Автор одного из них, перебирая документы, со страниц которых встает отдаленная от нас временем жизнь, пишет: «Зачем же я ворую ее страницы? Не знаю». В данном случае риторический вопрос и ответ на него — литературный прием. Но есть очерки, при чтении которых невольно вспоминаешь

эту фразу в ее буквальном значении. Отсутствии ясно определенной задачи, стремления сосредоточить внимание на главном привело к тому, что такие очерки либо сбиваются на простое изложение биографических сведений, либо подменяют рассказ о деятельности героя изложением событий, в которых он участвовал.

Так случилось, например, с упомянутым очерком об И. Е. Буракове. На две трети он посвящен истории возникновения первых коммунистических субботников, уже многократно описанной и широко известной. И хотя в портрете комиссара депо Москва-Сортировочная есть отдельные живые штрихи, в целом он оказался не раскрытым, а приведенная в заключение краткая биографическая справка не показывает, как пришел к И. Е. Буракову тот большой авторитет, которым он пользовался среди рабочих.

Не чем иным, как изложением основных событий борьбы с дуготщиной в конце 1917 — начале 1918 года, является и очерк о П. А. Кобозеве.

Четвертая часть очерка о Ф. И. Голошкеине посвящена судьбе царской семьи в 1917—1918 годах. Зато главное — деятельность Ф. И. Голошкеина-комиссара — излагается скороговоркой. Его работе на посту политкома 3-й армии, когда, как утверждает в очерке, «наиболее полно проявился талант Филиппа Исаевича как организатора масс», посвящено немногим более двадцати строчек. А между тем серьезный анализ военной деятельности этого выдающегося революционера позволил бы показать сложные условия, в которых шла борьба за создание регулярной армии, в том числе и за преодоление внутри партии ошибочных взглядов по военному строительству, которые, как известно, одно время разделял Ф. И. Голошкеин, входивший в так называемую военную оппозицию и выступивший на VIII съезде РКП(б) против централизованного военного управления и единого командования. Однако об этом в очерке даже не упоминается.

Перегруженность некоторых очерков малозначительными, второстепенными деталями в ущерб раскрытию действительно важных вопросов является, на наш взгляд, прямым следствием того, что в книге нет ясно определенной тематики, которая бы подчинила все материалы единой задаче.

В книге встречаются и неточности, а также неправильные утверждения. «Гражданская война,—говорится в том же очерке о Ф. И. Голошкеине,— как известно, началась на Урале с контрреволюционного мятежа белочехов. 25 мая 1918 года, подогреваемые агентами контрреволюции, некогда плененные и отпущенные советской властью чехи восстали и захватили власть в Челябинске» (стр. 103). Между тем этот мятеж начался не только на Урале, но и одновременно в Сибири, где 25 мая был захвачен Марининск (Челябинск пал на следующий день, 26-го), и в Поволжье. Опасность его в том и заключалась, что мятеж не был локальным, а сразу охватил огромную тысячеверстную территорию. Именно эти события (а не только уральские), развернувшиеся в широком масштабе и тесно связанные с другими действиями внешней и внутренней контрреволюции, повлекли за собой вступление нашей страны летом 1918 года в новый период — период военной интервенции и гражданской войны.

«Осень 1918 года была ознаменована,— утверждает далее в очерке,— разгромом на Восточном фронте белоказаков Дутова и выходом сводного Южно-Уральского отряда под командованием В. К. Блюхера на соединение с регулярными частями Красной Армии» (стр. 110). Здесь дана совершенно неправильная оценка положения на фронте в то время. Во-первых, высоко оценивая героический рейд южноуральцев, следует признать, что все же не он явился наиболее знаменательным событием на фронте, а известное сентябрьско-ноябрьское наступление советских войск, в результате которого были освобождены Казань, Симбирск, Самара, Бугуруслан, Ижевск и другие города. Во-вторых, никакого разгрома белоказаков Дутова осенью 1918 года не было, наоборот, шли тяжелые бои с ними, и только в январе 1919 года красные полки, нанеся белоказакам поражение (но еще не разгромив их), освободили Оренбург.

Неправильно и утверждение, будто бы Ф. И. Голошкеин возглавлял Сиббюро ЦК РКП(б) (стр. 111). Он являлся членом бюро, а председателем был И. Н. Смирнов. Неверно также связывать, как это сделано на странице 112, с деятельностью бюро

омское антиколчаковское восстание в декабре 1918 года по той простой причине, что восстание произошло 22—23 декабря, а бюро было создано лишь за четыре дня до этого и, естественно, еще не могло оказать влияния на борьбу сибирского подполья.

Подобные неточности имеются и в других очерках. На странице 401 говорится, что 3-я армия перешла в решительное наступление весной 1919 года, в действительности это произошло позже, летом. В биографической справке, приведенной в конце очерка о П. А. Кобозеве (стр. 154) и основанной на данных БСЭ (см. т. 21, стр. 495), вслед за этим источником утверждается, что в 1922—1923 годах П. А. Кобозев был предсовмином Дальневосточной республики, между тем известно, что ДВР была ликвидирована в середине ноября 1922 года.

Можно привести немало таких примеров. Однако, коль мы уж коснулись событий на востоке, отметим попутно другое — неравномерность, так сказать, географического распределения материалов в книге: половина ее очерков рассказывает о борьбе на Восточном фронте и только четыре посвящены героям, сражавшимся на не менее важном — Южном.

Сложный жанр биографического очерка начал широко разрабатываться в нашей литературе по истории советского общества лишь в последние годы. Рассматриваемая книга — примечательное явление в этом плане. Собранные в ней очерки, и прежде всего наиболее удачные из них — М. Жохова об И. И. Андрееве и М. П. Янышеве, И. Селищева о С. А. Смирнове (кстати, последний не только один из героев этой книги, но и автор опубликованного в ней интересного очерка об А. С. Булине), П. Александрова о С. П. Воскове, М. Сбойчакова о Н. Н. Кузьмине, П. Бокля о Г. Н. Пылаеве, а также другие создают галерею портретов борцов за власть Советов. Их жизненный подвиг — замечательный пример для нашей молодежи. Воспитательное значение лучших очерков — основное достоинство книги.

**Д. ШЕЛЕСТОВ.**

## ДЕЯТЕЛИ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Б. Поршнева. Мелье. «Молодая гвардия». М. 1964. 240 стр.

А. Акимова. Дидро. «Молодая гвардия». М. 1963. 480 стр.

Михаил Герман. Давид. «Молодая гвардия». М. 1964. 301 стр.

А. Левандовский. Дантон. «Молодая гвардия». М. 1964. 384 стр.

Минуло сто семьдесят пять лет, без малого два столетия, со времени начала Великой французской революции.

За это время, отделяющее нас от тех далеких исторических событий, о них написаны тысячи книг: исследований, воспоминаний, философских раздумий, памфлетов, стихотворений, исторических этюдов. И многим нашим современникам представляется, что тема эта уже исчерпана — все исследовано, изучено, выяснено до конца.

Мнение это ошибочно. И опровергается оно прежде всего выходящими в нашей стране и за рубежом новыми работами, посвященными первой французской революции.

Было время — оно еще у всех нас свежо в памяти, — когда этой революции в декретивном порядке было присвоено название: Французская буржуазная революция восемнадцатого века, и мельчайшее отклонение от этого жесткого определения рассматривалось как недопустимое правонарушение.

Спору нет, эта революция была действительно по своему объективному содержанию буржуазной. Однако сводилось ли только к этому ее историческое значение? Ведь история общественной мысли знала и иные определения, и некоторые из них принадлежали величайшим из мыслителей.

Владимир Ильич Ленин называл французскую революцию иначе, чем авторы только что приведенного жесткого определения. Во всех или почти во всех своих произведениях он называл ее Великой французской революцией. Он называл ее так и до Великой Октябрьской социалистической революции, и после нее. Ленин доверял своим читателям и слушателям, он не опасался того, что если французская революция не будет названа буржуазной, то они — читатели — не сумеют разобраться в ее классовой природе и еще, чего доброго, примут ее за пролетарскую. Он не усматривал и какого-либо умаления Великой Октябрьской социалистической революции — величайшей из всех известных в истории революций — оттого, что иная революция — иной исторической эпохи и с иными задачами — в соответствии

с ролью, сыгранной ею в свое время, будет также названа великой.

Ленин видел величие французской революции в том, что эта революция, буржуазная по своему характеру и по своим объективным задачам, сумела пробудить и поднять на борьбу широкие народные массы, давшие сокрушительный отпор всем силам старого мира, что благодаря участию народных низов революция на своем якобинском этапе поднялась на такую высоту, которой не достигала ни одна из буржуазных революций, что эта революция дала замечательный пример смелости, решимости, бесстрашия.

Как всякое подлинно великое историческое событие, творимое инициативой и энергией пробудившихся к борьбе народных масс, Великая французская революция сохраняется в памяти человечества как одна из ярких и славных страниц его прошлого. Конечно, за долгие десятилетия, прошедшие с памятных дней взятия Бастилии, с грозного Девяносто третьего года, новые поколения и иные классовые силы, взявшие в свои руки решение человеческих судеб, прошли огромный путь. Великая освободительная борьба рабочего класса и пролетарские социалистические революции двадцатого века, конечно же, грандиозней, величественней и героичней всех революций прошлого, включая сюда и французскую революцию восемнадцатого века. Но из этого вовсе не следует, что Великая Октябрьская социалистическая революция и Великая французская буржуазная революция должны рассматриваться только в плане их противопоставления, как это в недавнем прошлом также декретировалось в том же обязательном порядке. Разве Октябрьская революция и созданное ею Советское государство не являются осуществлением на новой и высшей основе всех давних мечтаний лучшей части человечества о более справедливом общественном строе, гуманистических и демократических устремлений прошлого?

Великая французская революция восемнадцатого века всегда имела и сохраняет и ныне непреходящее значение как один из важных переломных рубежей в поступатель-

ном движении человеческого общества. И именно поэтому она остается неумирающей темой, всегда привлекающей к себе общественное внимание и остающейся предметом научных изысканий, исследований.

Как много ни написано о самых разных аспектах этой революции, тема остается неисчерпаемой, и исследователи вносят — каждый в меру открывшихся ему возможностей — свою долю в долголетний процесс познания великой революции восемнадцатого века, сохраняющей интерес и для поколений двадцатого столетия. Об этом свидетельствует, в частности, вышедшая недавно интересная работа В. Далина о Гракхе Бабефе.

Книги, названия которых вынесены в подзаголовок этой статьи, не могут быть отнесены к историческим исследованиям в их строгом научном понимании. Это работы иного жанра — исторические портреты, биографии выдающихся деятелей, по-разному прославивших свое имя, написанные в форме, доступной восприятию широкого круга читателей. Понятно, что и жанр научно-популярных биографий должен опираться на исследования — собственные или существующие в научной литературе, — и эта работа, выполненная на какой-то предварительной стадии, должна быть критически переосмыслена и обобщена.

Сказанным я отнюдь не хочу принизить или умалить значение исторической портретной живописи. Напротив, это тот вид литературы, значение которого весьма велико и пользуется заслуженным признанием читателей. История, прошлое вообще лучше всего постигается через образы живых людей — политических деятелей, ученых, мастеров искусства. И не случайно научно достоверные биографии, исторические характеристики людей, заслуживших память потомства, неизменно пользуются большим успехом у читателей и в нашей стране, и за рубежом. В этой связи нельзя не признать важности и большой общественной пользы книг, издаваемых «Молодой гвардией» в серии «Жизнь замечательных людей».

Книги, которые мы сейчас рассматриваем, во многом весьма различны. Две из них посвящены мыслителям (тоже весьма несходным) предреволюционного времени. Третья книга рассказывает о великом художнике, ставшем на какое-то время — и оно осталось самым ярким в его жизни — деятелем

революции, якобинцем. Наконец четвертая повествует об одном из вождей революции, о политическом деятеле, игравшем большую роль на решающих поворотах того бурного времени. Книги эти, естественно, отличаются и по авторской манере письма, по стилю, по степени документальной оснащенности, по объему. Но при всех различиях они имеют и нечто общее. Это книги о главных действующих лицах Великой французской революции. Ранее уже были выпущены биографии Робеспьера и Марата; еще ряд книг предстоит написать. Но и то, что уже есть, позволяет лучше понять далекий мир революционной Франции восемнадцатого века, дает возможность по воссозданным портретам ее героев лучше почувствовать дух эпохи, глубже проникнуть в значение и смысл ожесточенной борьбы тех бурных лет.

Бедный скромный приходский священник из Этрепиньи в Шампани, проживший ничем не приметную жизнь в сельской глуши, смиренный кюре, пользовавшийся благоволением церковного начальства и доверием прихожан, этот добрый Жан Мелье предстал после смерти совсем иным, чем казался при жизни. Он всех перехитрил, всех обманул: он скрывал под черной сутаной тайные мысли и чувства, о чем никто не имел представления; он заносил их в уединении в никому не ведомую тетрадь. Она потрясла всех, кому довелось ее прочитать после смерти Мелье. Этот сельский кюре, казавшийся смиренным служителем господ-бога и церкви, оказался безбожником и материалистом, врагом абсолютной монархии, феодальных порядков и церкви, он подвергал их беспощадной критике; он был бунтовщиком и звал крестьян к вооруженной борьбе, к насильственному свержению феодально-абсолютистской и церковной власти.

Вольтер, прочитав эту запретную рукопись, по собственному признанию, «дрожал от ужаса». Французская просветительская мысль не знала столь бунтовщического произведения. Но «Завещание» Мелье было не результатом, не продуктом просветительской мысли; оно само стояло у истоков Просвещения, и Мелье, не ведая этого, объективно стал одним из зачинателей Просвещения или во всяком случае левого, демократического крыла Просвещения.

«Мелье» Б. Поршнева — не обычная биография в привычном понимании этого вида литературы. Крайняя ограниченность достоверных сведений о жизни, о реальных



фактах биографии героя повествования делала невозможным сколько-нибудь подробный рассказ о его жизни. Автор не пошел по пути домыслов; для ученого этот путь исключен. Собственно биография Жана Мелье остается такой же скупой и краткой, она по-прежнему обведена лишь крупным пунктиром, и автор был, конечно, прав, не дополняя ее какими-либо новыми штрихами, не опирающимися на безусловно достоверные данные.

Книга Б. Поршнева — интересная и оригинальная работа. В ней прослеживается не столько жизнь самого Мелье, сколько по-смертная судьба его тайного произведения. Б. Поршневу вступает в спор с историками французского Просвещения восемнадцатого века, которые игнорируют воздействие «Завещания» Мелье на последующее развитие общественной мысли либо утверждают, что подлинная полная рукопись Мелье оставалась неизвестной мыслителям восемнадцатого века. В сущности, книга Б. Поршнева — это взволнованная, порой доходящая до горячности речь в пользу Мелье. Автор справедливо усматривает источник мировоззрения Мелье не столько в литературных влияниях, сколько в воздействии народной среды; в его бунтовщических мыслях находило свое выражение подспудное брожение не желающих мириться с непомерными страданиями крестьянских масс. Но именно крайность мыслей Мелье, революционная смелость его размышлений и выводов делали его запретную книгу столь притягательной; ее в действительности знали, ее тайно читали и многие из прославленных писателей Просвещения.

«Дидро» А. Акимовой вводит читателей в мир просветительской мысли той эпохи. Автор воссоздает на страницах своей книги полную и всестороннюю биографию своего героя: рассказывает о его детстве, юности, о первых шагах на литературном поприще будущего автора «Племянника Рамо», благо нет недостатка в вполне доброкачественных биографических материалах. Редактор и идейный руководитель знаменитой «Энциклопедии» был подготовлен к этой роли всей своей предыдущей жизнью: по своему образованию, по кругу интересов и наконец по накопленным знаниям он был энциклопедичен, то есть стоял на уровне достижений всей передовой науки того времени. А. Акимова, и это составляет достоинство ее книги, старается представить Дидро

во всей его многосторонности. Говоря о его универсальных для того времени знаниях, о его праве быть одним из действительных руководителей знаменитой «партии философов» — партии, подготовившей умы для будущей революции, она стремится показать и духовный мир творцов и авторов «Энциклопедии», друзей и недругов Дидро, из которых многие имеют право на не меньшее внимание, чем сам главный редактор «Энциклопедии».

Думается, что в стремлении А. Акимовой исторически достоверно воспроизвести внутренний мир и духовную атмосферу того содружества передовых людей века, которое вошло в историю под именем «энциклопедистов», в ее желании показать и внешние преграды, и внутренние трудности, которые им приходилось преодолевать, — главная удача автора. Это книга не только о Дидро, но и о «Энциклопедии», и о долгой и мужественной борьбе «партии философов» против могущественных сил реакции. Жаль только, что автор не использовал вышедшей в 1962 году в Париже монографии Жака Пруста о Дидро, имеющей первоклассное значение для выяснения роли Дидро в «Энциклопедии».

Мелье и Дидро — это яркие страницы в истории идеологической подготовки революции. Дантон и Давид — это уже сама революция, это, следовательно, и претворение идей Просвещения на практике революционной борьбы, и те существенные поправки и изменения, которые внесла революционная практика в идейные конструкции, созданные до 1789 года.

Дантон — один из наиболее противоречивых образов в ряду революционных вождей. В начальную пору жарких схваток с силами абсолютизма, в критические часы смертельной опасности, нависшей над революционной Францией, когда армии интервентов рвались к Парижу, Дантон показал себя великим патриотом, полным веры в неиссякаемые силы народа, «величайшим мастером революционной тактики», как называли его Энгельс и Ленин. Но вместе с тем Дантон оказался и тем политическим вождем, в деятельности и облике которого резко всего проступило буржуазное начало, присущее революции, и не случайно именно он по мере обострения внутренних противоречий якобинской диктатуры стал притягательным центром, объединявшим вокруг се-

бя силы, готовые атаковать революционное правительство справа.

А. Левандовский не в первый раз выступает с работами в серии «Жизнь замечательных людей». Известны его хорошая книга о Жанне д'Арк и исторически верная в основном биография Робеспьера. В «Дантоне» автор правильно в главном воспроизводит основные этапы жизненного пути знаменитого трибуна. Однако образ Дантона в целом представляется несколько упрощенным, в нем подчеркиваются прежде всего своекорыстные, сугубо личные мотивы. В книге чувствуется непреодоленное влияние враждебных Дантону работ Альбера Матъеза, шедшего в своих обвинениях трибуна порою дальше доказуемого. А. Левандовский оговаривает свое несогласие с Матъезом, но оно остается в значительной мере декларативным. Противоречивость и сложность образа Дантона, который в определенное время жил интересами своего народа, своей родины, революции, а не только своими личными, в книге, к сожалению, не предстала в должной мере.

«Давид» Михаила Германа рассказывает о жизни, трудах, свершениях прославленного живописца. Книга эта прежде всего радует своим ясным и чистым языком. Но все

же ее основные достоинства не в этом. Автор прослеживает весь жизненный путь Давида, который был большим художником до революции и оставался им и после нее. И все-таки расцвет творчества Давида, его высшие достижения — это годы революции, в особенности суровое время якобинской диктатуры. В книге хорошо показано, как Давид всем сердцем, всеми чувствами и помыслами связывает свою судьбу с героическим подвигом революционного народа и как это высокое служение делу революции отливается в строгое величие линий и красок «Смерти Марата» и других замечательных творений кисти Давида революционных лет.

Четыре разные книги, о которых шла речь, рассказывают о разных судьбах, разных жизненных путях ни в чем друг на друга не похожих замечательных людей далекого прошлого. Но это книги о людях предреволюционной и революционной эпохи. И хотя в них речь идет об уже давно пройденном этапе общественного развития, эти книги о героях революции, совершившейся сто семьдесят пять лет назад, вызывают живой интерес и в наше время.

*Проф. А. МАНФРЕД.*



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**И. ТИПНЕР.** В огне революции. Эстонское государственное издательство. Таллин. 1964. 310 стр.

«Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции», — писал В. И. Ленин о тех суровых днях 1919 года, когда белогвардейская армия Деникина рвалась к столице Советской республики — Москве. В эти дни под Орлом, захваченным врагом 13 октября, решалась судьба революции. Воины Красной Армии — сыны русского, украинского, латышского, эстонского и других народов, — защищая столицу, готовились перейти в контрнаступление. В 14-й армии Южфронта (командарм И. П. Уборевич, член Реввоенсовета Г. К. Орджоникидзе) была создана ударная группа, в состав которой вошла прославленная Эстонская дивизия. Воинам этой дивизии выпала высокая честь участвовать в освобождении Орла. Утром 20 октября они первыми с боем ворвались в город.

О славном пути эстонских воинов в годы гражданской войны рассказывается в книге недавно умершего эстонского историка И. Типнера.

Из сухих на первый взгляд строчек боевых приказов, сводок и донесений, резолюций партийных конференций и рапортов командиров и комиссаров встает величественная картина массового героизма эстонских воинов, показавших беззаветную преданность советской власти и проявивших высокое чувство интернационального долга в борьбе за ее победу. Эти чувства особенно полно выражены в телеграмме командования Эстонской дивизии трудящимся Петрограда от 7 января 1920 года из Мариуполя, куда к этому времени дивизия с боями пришла от берегов Балтики: «Эстонская дивизия на берегу Азовского моря приветствует героический пролетариат Красного Питера, ибо полагает, что защитникам Красного Питера самый дорогой подарок — освобождение пролетариата Украины и Донецкого бассейна. Движемся неудержимо вперед, ибо нет препятствий для вооруженного пролетариата».

Впервые в нашей литературе так подробно описана героическая борьба за власть Советов руководителей эстонской партийной организации и военачальников — Я. Анвельта, В. Кингисеппа, Х. Пегельмана,

Я. Пальвадре, И. Тамма, И. Лехта, И. Махмастая и многих других.

**А. Мельчин,**

*кандидат исторических наук.*

★

**ПИСЬМА СЛАВЫ И БЕССМЕРТИЯ.** 1905—1920 годы. Политиздат. М. 1964. 192 стр.

История сохранила не много документов, которые по силе эмоционального воздействия и морально-политическому значению производили бы на читателя такое впечатление, как предсмертные письма пролетарских борцов, павших за власть Советов от руки царских палачей и белогвардейцев. Опубликованные в разные годы и в разных изданиях, эти полные драматизма и революционного пафоса письма (в сборнике их около пятидесяти) впервые собраны вместе в одной книге (составитель В. А. Кондратьев). Авторы писем объединило на страницах книги бессмертие: все они отдали жизнь за правое дело, за торжество ленинских идей. Прощаясь с родными, близкими, боевыми товарищами, приговоренные к смерти коммунисты передавали грядущим поколениям эстафету борьбы. Они не стали перед врагом на колени, они до конца остались верными партии. Обращаясь к потомкам, эти мужественные люди говорили: «Мы рано уходим из жизни, но горячо верим в светлое будущее человечества, продолжайте наше дело...»

Книга открывается письмами героев революции 1905—1907 годов: участника восстания на броненосце «Потемкин» А. М. Петрова, видного деятеля большевистской организации Сибири А. И. Попова и одного из руководителей легендарного севастопольского вооруженного восстания в ноябре 1905 года С. П. Частника.

Несомненно, каждого взволнуют последние письма молодой большевички, секретаря Замоскворецкого районного Совета рабочих депутатов Москвы Л. А. Лисиновой, члена ВЦИК В. А. Басенко, замечательного борца за советскую власть на Дону М. В. Кривошлыкова.

Публикуемые письма коммунистов сопровождаются краткими очерками об их жизни и деятельности, малозвестными фотографиями, необходимыми справочными сведениями.

К сожалению, как справедливо отмечает в предисловии к книге старейший член Коммунистической партии Ф. Н. Петров, не во всех случаях собран достаточно полный фактический материал, не удалось даже установить имена и фамилии некоторых героев. Поиски безусловно должны быть продолжены.

А. Иглицкий.

★

**И. Д. ОЧАК.** Данило Сердич — красный командир. Политиздат. М. 1964. 80 стр.

Одно из собраний Югославянской секции интернациональных землячеств, организованных иностранными участниками гражданской войны при Центральном доме Красной Армии в Москве, в начале тридцатых годов было особенно людным. Присутствовавшие с вниманием слушали богатырски сложенного человека в военной форме с петлицами комдива и двумя орденами Красного Знамени на гимнастерке. Это был один из героев гражданской войны, серб Данило Сердич — представитель славной когорты интернационалистов, сражавшихся вместе со своими братьями по классу — российскими рабочими и крестьянами — за власть Советов.

«Будущие историки, — говорил Сердич, — запечатлеют в прекрасных, волнующих книгах героическую борьбу красноармейцев-сербов... В этих книгах будет рассказано о людях, которые, движимые великими идеалами коммунизма, беззаветно преданные пролетарскому интернационализму, боролись и умирали за Советскую власть на полях России».

Слова Сердича сбылись. С каждым годом на книжные полки становятся новые и новые работы о замечательном подвиге иностранных трудящихся, поднявшихся в тяжелую годину на защиту первой в мире Республики Советов. Теперь к ним по праву прибавилась и книга И. Д. Очака о Даниле Сердиче.

Советские люди хорошо знают легендарное имя Олеко Дундича. Однако не менее героическая деятельность его земляка и товарища по оружию Данилы Сердича долгое время замалчивалась: в трагическом тридцать седьмом году, будучи командиром кавкорпуса, он стал жертвой злостной клеветы и погиб.

С небольшим отрядом интернационалистов-сербов Д. Сердич прибыл в восемнадцатом году на Царицынский фронт и вскоре стал командиром полка. В девятнадцатом году — одно за другим ранения в боях, но Сердич возвращается в строй. Осенью двадцатого года он принимает командование кавбригадой, входившей в Первую Конную армию. Участием в штурме Чонгара завершился его славный боевой путь в гражданской войне.

Казалось бы, на этом можно закончить повествование, но автор книги ведет читателей дальше. Он показывает, как в мирных буднях Д. Сердич вместе с тысячами других командиров укреплял армию, на-

стойчиво овладевал новейшими военными знаниями. Боец переднего края не только в дни войны, но и в годы мирного строительства — таким встает Д. Сердич со страниц этой книги.

Д. Татьянин.

★

**Л. П. ЛАВРОВ.** История одной капитуляции (Как Франция была выдана Гитлеру). «Международные отношения». М. 1964. 336 стр.

Капитуляция Франции в начале второй мировой войны является до сих пор предметом многочисленных исследований и объектом дискуссий. Большинство буржуазных историков на Западе считает, что военная и национальная катастрофа Франции в июне 1940 года — явление случайное и неожиданное. В противоположность таким утверждениям советские и зарубежные историки-марксисты доказывают, что капитуляция Франции была закономерной, как и сама война. Этой концепции придерживается и Л. П. Лавров.

В отличие от предшествовавших работ на эту тему, которые рассматривали только период так называемой «странной войны» (сентябрь 1939—июнь 1940 года), Л. П. Лавров начинает с Мюнхена (сентябрь 1938 года). Он использовал исследования как советских, так и зарубежных историков, мемуары и дневники руководителей Третьей республики, фашистских генералов, а также многие малоизвестные и неизвестные документы.

В книге рассказано, что французское правительство стремилось к тому, чтобы путем сговора с гитлеровской Германией заставить ее начать войну против СССР.

Л. П. Лавров подвергает критике выдвинутый буржуазными учеными тезис о «неожиданности» наступления германских войск на Западном фронте 10 мая 1940 года и убедительно доказывает несостоятельность этого положения. Правящие круги Третьей республики, особенно Петэн, Вейган, Лаваль и другие, были хорошо информированы о предстоящем германском наступлении и заранее подготовляли капитуляцию страны. Несмотря на грозившую Франции катастрофу, правительство Третьей республики, возглавляемое Полем Рейно, отказывалось от сотрудничества с Советским Союзом в деле обеспечения совместной безопасности. Капитулянтская клика Петэна — Лавала ликвидировала во Франции республиканский строй и установила профашистскую диктатуру, вставшую на путь непосредственного сотрудничества с гитлеровской Германией.

Автор показывает, что только Французская коммунистическая партия, несмотря на тяжелые условия подполья, боролась за сплочение народных масс для отпора гитлеровской агрессии, за сближение и сотрудничество Франции с Советским Союзом.

В. Неганов.

**К. ЗЕЛИГ.** Альберт Эйнштейн. Сокращенный перевод с немецкого. Атомиздат. М. 1964. 205 стр.

Жалуюсь на обременительность славы, Гёте говорил Эккерману: «На мне оправданы слова одного мудреца, который сказал: если ты что-либо делаешь из любви к миру, то мир уже позаботится о том, чтобы ты этого не сделал вторично».

Эти иронические слова Альберт Эйнштейн мог бы с полным правом сказать о себе. С тех пор как он сформулировал теорию относительности, он стал предметом назойливого внимания журналистов и жадного любопытства широкой публики. Эйнштейн, ненавидевший почести и рекламу, глубоко страдал от этого. Он говорил однажды, что идеальным местом для ученого было бы место смотрителя маяка, так как оно дает время, необходимое для размышлений и работы. Личные склонности и естественное чувство самосохранения толкали Эйнштейна к уединению, к незаметности. В этом, вероятно, кроется причина того, что об Эйнштейне-человеке написано неизмеримо меньше, чем об Эйнштейне-ученом.

Книга К. Зелига, хотя в ней немало места посвящено научной деятельности величайшего физика двадцатого века, рассказывает главным образом об Эйнштейне-человеке. Автор лично знал ученого, встречался с его друзьями и сотрудниками, и свои выводы он строит на многочисленных свидетельствах самого Эйнштейна и людей, которые близко его знали. Он излагает события в хронологической последовательности, но не чувствует себя чрезмерно связанным этим принципом. Он то забегает вперед, то совершает экскурсии в прошлое, воссоздавая не только внешние обстоятельства жизни ученого, но стремясь постигнуть его характер.

Самыми характерными чертами Альберта Эйнштейна были дух исследования, непосредственность, внутренняя честность. Единственное, чему он служил преданно, неутомимо, самозабвенно, была истина. Никогда он не стыдился признаться в том, что заблуждался, никогда не жалел о потраченном времени. Он знал, что для настоящего ученого нет даром потраченного времени, потому что сознание своих сегодняшних ошибок — шаг к истине, которая будет открыта завтра.

Не замыкался Эйнштейн и в узкий круг своей профессии. Он был не только великим ученым, но и прекрасным скрипачом, зачитывался Толстым и Достоевским.

Книга К. Зелига воссоздает характер и духовную биографию Эйнштейна. Прочитав ее, каждый еще лучше узнает замечательного ученого, совершившего подлинный переворот в естественнонаучных представлениях о мире, почувствует к нему искреннюю любовь, которую вызвать могут только люди большого сердца, каким и был замечательный человек двадцатого века Альберт Эйнштейн.

**А. Бельский.**

**АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН.** Память. Стихи. Центрально-Черноземное книжное издательство. Воронеж. 1964. 64 стр.

Эта книга попадет к вам в руки разве что по счастливой случайности, — она издана в местном издательстве тиражом в три тысячи экземпляров. А жаль! Открыв ее, вы услышали бы голос, исполненный достоинства и спокойной сосредоточенности: молодой поэт пишет стихи не потому, что ему хочется вам понравиться, а потому, что ему есть о чем сказать.

При развитой ныне стихотворной технике ничего не стоит имитировать поэтический темперамент; в этом одинаково успели и взвинченная, задыхающаяся от пафоса риторика, и нарочитая расхлябанность домашнего «модернизма». Но в сдержанной простоте, когда она собственная, а не подражательная, есть глубина чувства, недоступная светливой нервности. В стихах Анатолия Жигулина чувствуется характер: его серьезность, нравственная основательность, чистосердечие.

В жизни поэта была полоса, когда ему, осужденному без вины, пришлось отбывать свой срок на Колыме, рядом с Иваном Денисовичем и его товарищами. Стихи его об этом времени мужественны, не слезливы. Память поэта бережно удержала из прошлого все, что говорит о непобежденной, не задавленной в людях человечности.

Вот стихотворение «Бурундук», которое, будь оно рассказано по-иному, могло бы выглядеть наивным или сентиментальным, здесь же, думаю, никому не покажется таким. Работавший у реки скрепер задел ковшом гнездо бурундука, кто-то поймал заматавшегося, испуганного зверька и принес его в своей рукавице в «зону». Бурундука прозвали Тимошкой, он прижился в барак.

А нарядчик, чудак-детина,  
Хохотал, увидав зверька:  
— Надо номер ему на спину.  
Он ведь тоже у нас — зека.

Каждый сытым давненько не был,  
Но до самых теплых днейков  
Мы кормили Тимошу хлебом  
Из казенных своих пайков.

А весной, повздыхав о доле,  
На делянке под птичий шелк  
Отпустили зверька на волю.  
В этом мы понимали толк.

У Анатолия Жигулина есть дар повествовательности, он умеет рассказывать в стихах. Повествовательность в лирике трудна — поэзия улетает, когда рифмуется то, что не хуже можно сказать и в прозе. Но лучшие стихотворения А. Жигулина, такие, как «Береза», «Золото», «Воспоминание», «Кострожоги», поэтичны в самой зримой «натуральности» рассказа.

До сих пор наибольшие поэтические удачи А. Жигулина были связаны с суровой памятью о той беде, какую пережил он в юности. Но поэт упорно ищет себя и в других темах, которые стали бы его личным, кровным достоянием: слава богу, жизнь ими

не бедна. Не все пока выходит у него ладно, в новом сборнике есть неудачные стихи, слабые строки. И, однако, о его поэтическом будущем думаешь с надеждой.

В стихотворении, заключающем сборник, рассказано о том, как внезапно град перебил яблони в саду, за которыми ухаживал и которыми так дорожил отец. Сын утешает старика:

...Настанут дни погожие.  
Добавим в грунт золы.  
Закутаем рогожами  
Разбитые стволы.  
Наплывами затянется  
Кора, где выбил град,  
И выложит,  
Поправится  
Наш перебитый сад.

Спокойная уверенность, выношенный, некрикливый оптимизм слышатся в этих стихах Анатолия Жигулина.

В. Л.

★

**Д. ДАР. Богиня Дуня и другие невероятные истории.** «Советский писатель». М.—Л. 140 стр.

Автор этой небольшой книжки — старый журналист и литератор. Он хорошо знает жизнь рабочей среды: в молодости Д. Дар сам работал на Балтийском судостроительном заводе в Ленинграде, а позже по заданиям редакции исколесил почти всю страну. Рассказы, собранные в книжке, написаны в разное время, некоторые — более десяти лет назад. Главное, что подкупает в ней, — доброе отношение к человеку, умение видеть и находить хорошее даже под наносной шелухой.

Рассказы Д. Дара, по его собственному определению, «полусказочного жанра». Город, где живут его герои, не имеет точного названия. Город как город, улица как улица, общежитие как общежитие, ребята как ребята — обыкновенные рабочие парни, которые «жили в одной комнате, в один час уходили на завод, одинаковые обеды заказывали в столовой, одни кинофильмы смотрели в кино; и когда один получал премию, то все покупали обновки, а когда одного должна была посетить подружка, то все шли в парикмахерскую». Белокурый красавчик Витя Влюбченко, умный Миша, который «умел объяснить все на свете», толстый и добродушный Ванечка, о котором все знали, что он «не будет стоять, если можно сидеть, и не будет сидеть, если можно лежать», и наконец долговязый Петя Коржик, скромнее и честнее которого нет никого. Эти герои переходят из рассказа в рассказ, с ними случаются немудреные и в то же время «удивительные истории».

Толстому, ленивому Ванечке все постоянно твердили, что он глуп. Но вот однажды пришла девушка, которая открыла в нем и ум и настойчивость, заставила поверить в себя. Или еще один совсем дикий случай. Рыжая красавица официантка Дуня по совету Вити Влюбченко была как богиня

красоты установлена в музее на пьедестале. Но как скучны ей показались «должность» богини и всеобщее поклонение по сравнению с радостями простой жизни!

Короткие рассказы Д. Дара, немного навивная поучительность которых действительно близка сказочной, написаны легко и живо, с мягким юмором.

К. Бродер.

★

**АЛЕКСЕЙ МАЛЕНЬКИЙ. Покорители тундры.** Роман. «Советский писатель». М. 1964. 664 стр.

Известно, что книги, как и люди, имеют свою судьбу, свою историю, свою жизнь — завидно легкую или, наоборот, трудную. Роман А. Маленького «Покорители тундры» принадлежит к книгам, судьба которых сложилась трагически.

Читатели старшего поколения помнят Алексея Маленького — комсомольца двадцатых годов, неутомимого, энергичного журналиста. Он был одним из организаторов советской печати в Сибири и на Урале. Человек большой души, он весь свой талант отдавал тому, чтобы в своих рассказах и очерках воспеть нового советского человека. А. Маленький искал и находил своих героев в Якутии и Новосибирске, на Магнитке, в Надеждинске, на золото-платиновых Исцовских приисках.

Кипучая деятельность писателя внезапно оборвалась в 1937 году. Он был арестован и сослан на Дальний Север. И вот этот безвинно пострадавший человек в труднейших условиях пишет роман «Покорители тундры», который, как и его прежние произведения, весь пронизан верой и неизбежность нашего пути.

Роман ушел чудом. А. Маленький передавал его по страницам своей жене М. Архангородской, которая работала в том же лагере. Автору не удалось увидеть напечатанным свое произведение: он умер, не дождавшись освобождения, и книга вышла в свет спустя восемнадцать лет после его смерти.

В романе «Покорители тундры» рассказано о начатом в 1940 году строительстве железной дороги, которая должна была открыть доступ к Студеновскому углю Заполярья. В центре романа образ начальника строительства Крушинского — фигура, типичная для литературы тех лет (вспомним хотя бы Батманова из книги В. Ажаева «Далеко от Москвы»). Крушинский обладает огромной волей, железным характером, колоссальной работоспособностью. Любой ценой, не считаясь ни с какими трудностями — ни с тем, что не хватало материалов, что пурга заметала пути и поселки, ни с тем, что люди мерзли в землянках и бараках, голодали и болели, — он выполняет приказ и добивается того, чтобы железная дорога была построена в кратчайшие сроки.

Убежденность коммуниста помогла со-здать А. Маленькому роман пусть не во

всем глубокий, но согретый любовью к людям, которая жила в душе писателя до конца его дней.

Г. Павлова.

★

**АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО.** Юмористические рассказы. «Художественная литература». М. 1964. 287 стр.

В ноябре 1921 года в «Правде» была напечатана рецензия В. И. Ленина на сборник рассказов «Дюжина ножей в спину революции», написанных в эмиграции известным писателем-сатириком Аркадием Аверченко. «Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки», — писал Ленин. Давая убийственную характеристику ограниченности автора, изображавшего революцию с точки зрения «старой, помещицкой и фабрикантской, богатой, обвешанной и обвешавшей России», Ленин в то же время подчеркивал талантливость книжки и рекомендовал некоторые рассказы переиздать.

Плотью от плоти буржуазно-помещицкой России и старого Петербурга «сытых и богатых» был Аверченко и до революции. Его враждебное отношение к революции было закономерным продолжением предшествующей жизни и деятельности. Среди его рассказов и фельетонов, печатавшихся в «Сатириконе» и «Новом Сатириконе», было много пустых, бессодержательных, пошловатых. Уровень сатиры и юмора в них решительно снизился по сравнению с «Искрой» Курочкина, сатирой Салтыкова-Щедрина, рассказами Чехова.

И все же Аверченко как писатель испытал на себе воздействие революции 1905 года, русского реализма творчества Салтыкова-Щедрина и Чехова. Бытующее представление о нем как о талантливом, но пустом паяце нуждается в существенных коррективах. В своих лучших дореволюционных рассказах Аверченко выступает против полицейщины, черносотенной печати, политической реакции, обывательщины, декадентства в искусстве. В ряде рассказов, написанных в эмиграции, он безжалостно издевается над выброшенным из России белогвардейским «зверинцем». Объективное значение его рассказов и фельетонов часто значительно шире и глубже субъективных намерений писателя. Я уже не говорю о том, что талант и остроумие Аверченко сказываются даже в рассказах, не отличающихся серьезным содержанием: он обладал даром смешить читателей, был мастером короткого юмористического рассказа и фельетона...

Вступительная статья О. Михайлова написана живо, интересно и дает творчеству Аверченко объективную характеристику. Хотелось бы обратиться на книгу внимание

читателей, а заодно рекомендовать издательству попытаться составить сборник из лучших вещей других прозаиков и поэтов «Сатирикона» и «Нового Сатирикона».

А. Д.

★

**В. ДУВАКИН.** Радость, мастером ковванная. Очерки творчества В. В. Маяковского. «Советский писатель». М. 1964. 444 стр.

Эта книга — итог более чем тридцатилетней деятельности ее автора в «маяковедении». Через год после смерти Маяковского пришел В. Д. Дувакин в бригаду Маяковского при Литературном музее, и с тех пор вся его жизнь связана с изучением и пропагандой творчества поэта. Он первым занялся систематизацией и исследованием «Окон РОСТА», еще в предвоенные годы начал собирать и записывать воспоминания людей, встречавшихся с Маяковским, и вот уже более четверти века, сначала в ИФЛИ, а затем в МГУ, ведет семинары, читает лекции и спецкурсы о Маяковском.

В отдельных, написанных в разное время статьях автор прослеживает процесс становления и развития поэзии Маяковского на разных этапах его творчества. Здесь и предоктябрьский Маяковский в соотношении с различными поэтическими группировками тех лет. Здесь и сатира Маяковского — от «сатириконских» гимнов до ненаписанной поэмы «Плохо», ее эволюция и связь с классической русской сатирой. Здесь и труднейшая работа Маяковского в РОСТА, и его поэмы. Обо всем этом В. Дувакин пишет с большим знанием дела.

Книга полемична: она спорит с теми из зарубежных исследователей, кто противопоставляет гражданскую и интимную стороны поэзии Маяковского, вольно или невольно наводя на мысль о двуличности поэта. Слияние, переплетение «лирика» и «агитатора» в поэзии Маяковского, единство в нем человека, поэта и гражданина убедительно доказывается всей логикой книги В. Дувакина.

Горячая увлеченность автора «объектом своего исследования» имеет и оборотную сторону: порой В. Дувакин выпрямляет и облегчает путь поэта, рисует его образ гораздо менее сложным, чем он был на самом деле. (Этому, кстати, способствует и тот факт, что в книге нет анализа драматургии Маяковского.) Справедливости ради надо отметить, что этот недостаток присущ многим работам о Маяковском: нередко он выглядит человеком, который «постоянно ясен», а его трудный творческий путь — прямолинейным.

В целом же книга В. Дувакина дает много нового для понимания творчества поэта, его работы, о которой он сам сказал: «А я раскрываю мое ремесло, как радость, мастером кованную».

В. Швейцер.

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

Записная книжка партийного активиста. 1965. 224 стр. Цена 29 к.

История СССР. Эпоха социализма (1917—1961 гг.) Учебник. 648 стр. Цена 1 р. 3 к.

А. Н. Косыгин. О государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1965 год. Доклад и заключительное слово на пятой сессии Верховного Совета СССР шестого созыва 9 и 11 декабря 1964 года. 64 стр. Цена 6 к.

Международный ежегодник. Политика и экономика. Выпуск 1964 г. 264 стр. Цена 77 к.

Ф. Михайлов. Загадка человеческого Я. 272 стр. Цена 43 к.

Основы научного атеизма. Учебное пособие. 400 стр. Цена 56 к.

П. Подляшук. Партийная кличка—Лунный. Документальная повесть о П. К. Штернберге. 248 стр. Цена 23 к.

## «МЫСЛЬ»

А. Арлетти. Трампеодор. Перевод с итальянского. 144 стр. Цена 38 к.

Д. Арманд. Нам и внукам. 184 стр. Цена 50 к.

Г. Бауэр. Книга о слонах. Перевод с немецкого. 160 стр. Цена 32 к.

А. Влани. Коммунистическая партия Германии в борьбе против фашистской диктатуры (1933—1945). 397 стр. Цена 1 р. 20 к.

П. Волобуев. Пролетариат и буржуазия России в 1917 году. 358 стр. Цена 1 р. 8 к.

Т. Гоббс. Избранные произведения в двух томах. Том I. 583 стр. Цена 2 р. 20 к.

Деятельность органов партийно-государственного контроля по совершенствованию государственного аппарата (От XII до XVI съезда партии). Сборник документов. 335 стр. Цена 50 к.

Дж. Даррелл. Перегруженный ковчег. Перевод с английского. 224 стр. Цена 33 к.

Дж. Даррелл. Под пологом пьяного леса. Перевод с английского. 191 стр. Цена 49 к.

Диалектика в науках о неживой природе (Физико-математические науки). 599 стр. Цена 1 р. 92 к.

В. Ельмеев. Коммунизм и развитие человека как производительной силы общества. 317 стр. Цена 1 р. 13 к.

Земля и люди. Географический календарь. 1965. 304 стр. Цена 1 р. 33 к.

В. Касьяненко. Как была завоевана технико-экономическая самостоятельность СССР. 255 стр. Цена 93 к.

Кибернетика, мышление, жизнь. 511 стр. Цена 1 р. 92 к.

Ф. Книппинг. Авантюры Дома Шпрингера. Перевод с немецкого. 248 стр. Цена 81 к.

С. Лавров. Нидерланды. 72 стр. Цена 10 к.

Е. Михайлов, Ф. Талызин. По городам США. Путевые заметки. 239 стр. Цена 48 к.

На суше и на море. 608 стр. Цена 1 р. 34 к.

П. Пфедфер. Бивуаки на Борнео. Перевод с французского. 189 стр. Цена 53 к.

Союз коммунистов—предшественник Интернационала (Сборник документов). 422 стр. Цена 72 к.

А. Спирник. Курс марксистской философии. 503 стр. Цена 84 к.

Физическая география Китая. 739 стр. Цена 2 р. 65 к.

В. Чепраков. Государственно-монополистический капитализм. 382 стр. Цена 1 р. 33 к.

Л. Шур. Россия и Латинская Америка. Очерки политических, экономических и культурных отношений. 158 стр. Цена 48 к.

Экономическая политика правительства Кеннеди. 1960—1963. 413 стр. Цена 1 р. 48 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Л. Агеев. Лица встречных. Стихи. 88 стр. Цена 17 к.

Я. Белянский. Шаги. Стихи. 152 стр. Цена 30 к.

Л. Гинзбург. О лирике. 384 стр. Цена 86 к.

Г. Горбовский. Спасибо, земля. Стихи. 116 стр. Цена 14 к.

Д. Демирчян. Во имя жизни. Рассказы. Перевод с армянского. 276 стр. Цена 50 к.

День поэзии. 1964. (Москва). 172 стр. Цена 76 к.

В. Кетлинская. День, прожитый дважды. Рассказы. 484 стр. Цена 65 к.

С. Кирсанов. Однажды завтра. Стихи и поэмы. 176 стр. Цена 47 к.

М. Миршанар. Любовь и долг. Поэмы. Перевод с таджикского. 128 стр. Цена 24 к.

М. Поцхишвили. Вишни под дождем. Стихи. Перевод с грузинского. 84 стр. Цена 12 к.

Поэты 1880—1890-х годов. 640 стр. Цена 71 к.

Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке. Сборник 4. 612 стр. Цена 1 р. 20 к.

П. Руммо. Дневник отпускника. Поэмы. Перевод с эстонского. 64 стр. Цена 12 к.

М. Светлов. Охотничий домик. Стихи. 104 стр. Цена 16 к.

В. Смирнова. Современный портрет. Статьи. 344 стр. Цена 67 к.

С. Тхоржевский. Тихая ночь у костра. Повести и рассказы. 212 стр. Цена 29 к.

С. Щипачев. Ладошь. Новые стихи. 1962—1964. 192 стр. Цена 22 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Бажан. Дорога. Избранные стихи. Перевод с украинского. 263 стр. Цена 62 к.

Н. Гей. Народность и партийность литературы. 135 стр. Цена 17 к.

Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневник. Записки о литературной жизни. Избранные страницы. В двух томах. Перевод с французского. Том I. 712 стр. Цена 1 р. 27 к.

Том II. 751 стр. Цена 1 р. 40 к.

Л. Камознс. Сонеты. Перевод с португальского. 95 стр. Цена 35 к.

В. Кардин. Повести Павла Нилина. 183 стр. Цена 31 к.

А. Карпентьер. Потерянные следы Роман. Перевод с испанского. 327 стр. Цена 82 к.

И. Крамов. Эффенди Капиев. 152 стр. Цена 20 к.

Литература и современность. Сборник 5-й. Статьи о литературе 1963—1964 годов. 416 стр. Цена 1 р. 5 к.



**Лу Синь.** Сатирические сказки. Перевод с китайского. 195 стр. Цена 33 к.

**А. Парфенов.** Кристофер Марло. 223 стр. Цена 55 к.

**С. Петров.** Русский исторический роман XIX века. 440 стр. Цена 1 р. 13 к.

**К. Симонов.** Живые и мертвые. Роман. 416 стр. Цена 1 р. 50 к.

**У. Фолкнер.** Город. Роман. Перевод с английского. 343 стр. Цена 1 р. 6 к.

**А. Яковлев.** Октябрь. Повести и рассказы. 384 стр. Цена 75 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Ю. Анобилов.** Девушка, которую я ищу. Повести. Перевод с таджикского. 176 стр. Цена 20 к.

**М. Витин.** Белояннис. 128 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 37 к.

**За нашу и вашу свободу.** Герои 1863 года. 448 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 89 к.

**И. Ильинский.** Со зрителем наедине. Беседы о театральном искусстве. 168 стр. Цена 61 к.

**Г. Кублицкий.** Три нью-йоркских осени. 271 стр. Цена 55 к.

**В. Левашов.** Не ищите его среди мертвых. Повесть. 160 стр. Цена 38 к.

**В. Микоша.** С киноаппаратом в бою. 144 стр. Цена 16 к.

**А. Перфильева.** Призвание. Рассказ о юном художнике Вадиме Макееве. 160 стр. Цена 55 к.

**Слово непобежденных.** Письма итальянских антифашистов из тюрем и ссылки. 158 стр. Цена 21 к.

**А. Штегли.** Джордано Бруно. 384 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 73 к.

#### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Г. Ганейзер.** Какая ты, Камчатка? 93 стр. Цена 27 к.

**В. Дружинин.** Неси меня, Дунай! Путевые заметки. 223 стр. Цена 47 к.

**В. Келер.** Приглашение к открытиям. 192 стр. Цена 35 к.

**Махабхарата, или Сказание о великой битве потомков Бхараты.** Пересказала Н. Гусева. 213 стр. Цена 55 к.

**Дм. Петров (Бирю).** Степные рыцари. Историческая повесть. 157 стр. Цена 35 к.

**Ф. Петров.** Рассказы большевика-подпольщика. 86 стр. Цена 27 к.

**Плутарх.** Слава далеких веков. Из Плутарха. С древнегреческого пересказал С. Маркиш. 270 стр. Цена 72 к.

**В. Рич, М. Черненко.** Мушкетеры. Фантастическая повесть. 174 стр. Цена 36 к.

**В. Рушник.** Повесть о славных делах Волли Крууса и его верных друзей. 206 стр. Цена 42 к.

**О. Саган-оол.** Счастливая звезда. Повесть. Перевод с тувинского. 112 стр. Цена 27 к.

**Б. Фомин.** Покоренная плазма. 223 стр. Цена 48 к.

**С. Чекмарев.** Стихи. Письма. Дневники. 158 стр. Цена 32 к.

**А. Якимович.** Васильев курган. Повести и рассказы. Перевод с белорусского. 285 стр. Цена 54 к.

#### ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (ИРКУТСК)

**Ж. Балданжабон.** Голубые сопки. Роман. Перевод с бурятского. 240 стр. Цена 36 к.

**И. Гольдберг.** Сладкая польнь. Повести и рассказы. 327 стр. Цена 50 к.

#### «ЛИТЕРАТУРА ДА ХЕЛОВНЕБА» (ТБИЛИСИ)

**К. Гамсахурдиа.** Избранные произведения. В 6-ти томах. Перевод с грузинского. Том I. 560 стр. Цена 1 р. 39 к.

**Грузинские повести XIX века.** Перевод с грузинского. 575 стр. Цена 1 р. 17 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 31/XII 1964 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>.  
А 02713.

Объем 18 п. л.  
Зак. 2966.

Подписано к печати 16/II 1965 г.  
9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)  
Тираж 119.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636